Иностранная литература

8
1966

Иностранная литература

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

РОМАНЫ

ГОФФРЕДО ПАРИЗЕ — Хозяин 5

ПОВЕСТИ

СЕМБЕН УСМАН — Почтовый перевод 137

СТИХИ

МУНЭТОСИ ФУКАГАВА — Хиросимские пятистишия 3

БЕРТОЛЬТ БРЕХТ — Стихи разных лет (К 10-летию со дня смерти) 127

М. Б. Б. ШАХ — Жатва стихов 175

КРИТИКА

ЛИТЕРАТУРА, ДОКУМЕНТ, ФАКТ. Творческая встреча в журнале «Иностранная литература». Выступления: П. Палиевского, Ник. Атарова, Н. Павловой, А. Зверева, С. Ильинской, И. Бернштейн, М. Кораллова, Л. Козлова, С. Корытной, С. Великовского, Бор. Агапова 178

8

АВГУСТ

1966

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ»

Москва

ЧТО ЧИТАЮТ СЕГОДНЯ

КАЙ ЛАЙТИНЕН — Год интересный, хотя и не богатый (Письмо из Финляндии) 208

ПУБЛИЦИСТИКА

ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ — Расставаясь с иллюзиями 211

ДНЕВНИКИ, ВОСПОМИНАНИЯ

МИРКО МАРКОВИЧ — Я знал Хемингуэя 228

НАШИ ГОСТИ

И. ЗОРИНА — «Я вырубаю из жизни своих героев...» (Сид Чаплин в «Иностранной литературе») 238

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

СОВРЕМЕННАЯ ГРАФИКА ГРЕЦИИ (Сопроводительная статья Г. Петриса) 241

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

(Заметки на полях зарубежных газет и журналов)

П. ВАСИЛЬЕВ — Президент Джонсон и две культуры 250

ГЮНТЕР АНДЕРС — Нюрнберг и Вьетнам 253

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

С. Ильинская — Распахнуть железные ворота. ◇ Валерий Макиев — Суман, дочь таваиф... ◇ А. Дорошевич — Зеленеющее древо жизни. 259

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

Т. Балашова — Мятежные нашего времени. ◇ Г. Потехина — Новая книга Сембена Усмана. ◇ М. Салганик — Два полюса: Тринидад и Англия. 264

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

Хроника 273

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА 287

На обложке: гравюра монгольского художника Д. АМГАЛАНА.

МУНЭТОСИ ФУКАГАВА

Хиросимские пятистишия

Перевод с японского
АНАТОЛИЯ МАМОНОВА

* * *

Капля крови — луна
Убегает прочь с небосвода,
Освещая мрачную землю
Мерцающим светом...
Падает пепел смерти.

* * *

Дети стайкой слетелись
Удить бычков,
Но в устье реки
В тот день
Водоворотом кружились трупы.

* * *

Коснувшись
Зимней травы,
Мотылек, теряющий силы,
На развалины падает —
Белой снежинкой...

* * *

Комочек сморщенный —
Женская грудь,
Опаленная атомным жаром,
Совсем утонула
В белой коже.

* * *

Озябшие воробьи,
Сбившись в кучку,
Чирикают в сумерках
На обгоревшем каркасе
здания—
Под ледяным дождем.

* * *

Тень от меня
Упала
На тень человека,
Сгоревшего в огненном вихре...
Клубится желтая пыль.

* * *

По реке,
Протекающей там,
Где в эпицентре взрыва
Не было уцелевших,
Тихо плывут ромашки...

* * *

В этом камне таится
Гнев:
Как глубоко
Впечаталась тень
Человека, сгоревшего заживо!

* * *

В лучах заходящего солнца
Пруд отливает
Кровью,
А рыба, как прежде,— живая!—
Плещется в алой воде.

* * *

Сохнет трава,
А цвет — травянисто-зеленый,
Стена же
От атомной вспышки
Так побелела!

■ ■ ■

Ветер сдувает
Теплый туман с реки —
В разрывах
Из черноты глядят
Вечерние огоньки.

■ ■ ■

Когда над рекой,
Подожженной закатом,
Вечерний колокол бьет,
Я вспоминаю надпись:
«No More Hiroshimas!» *

■ ■ ■

О тайный жар земли,
Полыхай!
Девушку,
Что разбрасывала листовки,
Арестованную, ведут.

■ ■ ■

Даже простой разговор —
О траве, укрывающей пепел,—
Вызывает слезы
У вас,
О японские женщины!

■ ■ ■

Страдая, работаешь,—
Неизлечимо больна,
Но тебе
Отказывает завод
В страховании по болезни.

■ ■ ■

Столько месяцев
Держит тебя в постели
Лучевая болезнь,
А вокруг ателье, где работала ты,
Расцветают пышные розы.

■ ■ ■

Келоид ** —
Словно препятствие,
Вставшее на пути,
Но любовь моя только крепче,
Оттого что нельзя встречаться

■ ■ ■

Я с тобой
Очищаю спелую грушу —
В счастливую ночь
Небо
Роняет звезды!

■ ■ ■

Как я живу,
Пристально смотрят
Тысячи, тысячи глаз,
В тот день устремленных к небу
Над Хиросимой.

■ ■ ■

Протянуты к небу
И распростерты руки
С мольбой о спасенье жизни...
Стоишь перед статуей
И отойти не в силах.

---

* Пусть никогда не повторится Хиросима *(англ.)*.
** Рубец на коже — след ожога, полученного при взрыве атомной бомбы.

ГОФФРЕДО ПАРИЗЕ

Хозяин

РОМАН

Перевод с итальянского
Ю. ДОБРОВОЛЬСКОЙ

I

Это мой первый день в большом городе, где я нашел себе работу. Не скрою, я немного взволнован: отныне жизнь моя коренным образом переменится. До вчерашнего дня я был всего лишь провинциальным молодым человеком, жил в захолустье, без всяких средств, на иждивении у родителей. А сегодня я уже мужчина, я поступил на работу и могу сам себя прокормить. Более того, я подумываю даже о том, что пора завести семью... А со временем начну помогать и вам, мои дорогие родители!

Я уехал из родного города с пятьюдесятью тысячами лир в кармане, которые вы мне дали. Я буду обращаться с ними бережно; помня, как трудно они вам достались, не растранжирю на пустяки.

Дорогие мама и папа! Я буду видеть вас все реже и реже, вы совсем поседеете. На ваших лицах, озаренных верой в мое будущее, резче обозначатся признаки старости. Я знаю, вы любите меня гораздо сильнее, чем я вас, но это не моя вина — таков закон природы, закон продолжения жизни. И все-таки я весь день думал о вас, о нашем городе, о бабушке с дедушкой, о тетках, обо всех дорогих мне людях, среди которых я прожил столько лет, и слезы не раз наворачивались мне на глаза.

Справлюсь ли я с работой и вообще окажусь ли достойным той жизни, которая мне здесь предстоит? Думаю, что да, но мне хотелось бы доказать это не словом, а делом, чтобы все вы это увидели и чтобы мои успехи в какой-то мере служили вам на старости лет утешением.

Сегодня утром я отправился в фирму, откуда получил вызов. Когда я подошел к улице, на которой она находится, у меня забилось сердце. Это небольшая старинная улочка, каких много и у нас в городе, так что я почувствовал себя почти как дома. Неужели резиденция такой крупной торговой фирмы расположена в этом закоулке, в окружении лавчонок, мастерских, тратторий, дешевых закусочных и бродячих торговцев, недоумевал я.

Дом номер двадцать один, указанный в адресе, я нашел сразу, но все же, задрав голову кверху, прошел дальше, в конец улицы: я подумал, что, быть может, здание фирмы возвышается где-то за барьером домов. Однако ничего, кроме старых стен, не обнаружил. Быть может, именно в одном из этих унылых зданий и расположен вход в фирму?

Я пристально гляжу перед собой, озираюсь по сторонам, но все еще не вижу, где то место, которое, весьма вероятно, послужит мне пристанищем до конца моих дней.

Погруженный в эти мысли и подстегиваемый инстинктом (той нелепой штукой, которая основывается не на реальной действительности, а на иллюзиях), я несколько раз приподнимался на цыпочки, пытаясь взглянуть поверх крыш и водосточных труб, рассмотреть, что там за ними. Но никакого стеклянного дворца так и не обнаружил и вернулся обратно, к дому номер двадцать один.

Это был четырехэтажный дом, такой же, как все остальные дома на этой улице, разве что немного поопрятней: на его стенах не было таких трещин и мутных подтеков, как на соседних.

Дом номер двадцать один был выкрашен в темно-желтый цвет, ставни второго, третьего и четвертого этажей были притворены, как в покойном барском доме, временно оставленном хозяевами. Через просторный вестибюль, по-видимому, можно было пройти в густой сад. Вернее, никакого сада, никаких деревьев я не видел, но вестибюль упирался в стеклянную матовую стену, за которой шевелились яркие пятна зелени, это навело меня на мысль о ботаническом саде со свежим ветерком и порхающими птицами.

Я вошел в вестибюль, сделал несколько шагов. Дойдя до широкой лестницы, поднимающейся вверх справа от большой арки, я мысленно отметил, что уличный шум сюда не проникает: здесь царили полутьма и покой. Как я и предполагал, из-за витража доносились шелест листвы, бульканье воды в фонтане, пенье и щебет птиц (я тотчас различил знакомый свист скворца).

Я простоял так, возле лестницы, минуту или две и только тогда заметил, что в одной из стен вестибюля, как раз напротив лестницы, открылось окошечко, в которое выглянул мужчина с гладким, как камень, черепом. Когда взгляды наши встретились, лысый человек отошел от окошка, в витраже отворилась небольшая дверь, и он вышел ко мне. Как и можно было предположить по очертаниям его крупного волевого лица с черными мохнатыми бровями, затенявшими глаза, человек этот — ему уже, наверно, перевалило за пятьдесят — был очень высокого роста и телосложением походил на бывшего борца, хотя его мощная, слегка сутулая фигура могла бы принадлежать и гимнасту в хорошей спортивной форме. Сильный голос — баритональный бас — придавал еще больше мужественности его и без того внушительному виду.

Он тотчас спросил, что мне нужно. Я ответил, что разыскиваю торговую фирму, на что он коротко сказал:

— Второй этаж.

При этом он наклонился и вытянул руку в направлении лестницы. В этом движении в сочетании с глубоким звучным голосом сказалась вся его натура, которую, как мне думается, я сразу угадал по затененным бровями глазам: натура обезьяны. Он попытался улыбнуться, но попытка придать своему лицу нечто человеческое, изобразить радушие и вежливость лишь еще больше подчеркнула его унылый и мрачный нрав. В глазах промелькнуло что-то вроде обманутой надежды — подсознательная, затаенная грусть, какую можно увидеть у огромных старых орангутангов в зоопарке.

Принято считать, что эти орангутанги грустны оттого, что живут в неволе, тоскуют по родной стихии, по джунглям. Но это неверно. Орангутанг грустнеет, когда, после долгого общения с человеком, обнаруживает у себя много схожего с ним и подсознательно начинает испытывать желание тоже стать человеком. Привыкнув за много лет механически подражать людям, орангутанг начинает улавливать преимущества человеческого существования. Воспоминания о прародителях и о приволь-

ной лесной жизни тускнеют, и орангутанг начинает надеяться, что в недалеком будущем решетки уберут и он сможет приобщиться к пестрой толпе, которая с утра до вечера фланирует перед его глазами и у которой он перенял все жесты и повадки, олицетворяющие цивилизацию. Поскольку он — самый старый и, следовательно, самый опытный из всех своих сородичей, он проникается презрением к себе подобным, словно его тайная надежда действительно, того и гляди, сбудется. Но время идет, а надежда все не сбывается... Орангутанг чувствует, что силы уже не те, что конец его близок и что ему не суждено стать человеком; никогда в его глазах не будет той ясности и глубины, которая так его притягивает... Внешнее сходство оказалось обманчивым. И орангутанг совсем сдает: перестает воевать с одолевающими его паразитами, не принимает от людей никаких подношений, ограничиваясь минимумом, необходимым для поддержания жизни. Любопытство к окружающему постепенно сходит на нет, седалище покрывается язвами, и орангутанг понимает, что единственное преимущество, которое ему остается,— это выставлять напоказ то, чего он так стеснялся в первые годы своей жизни в зоопарке.

Вот на какие мысли навел меня швейцар фирмы, его каменный череп, его взгляд исподлобья и медленный, унылый взмах руки.

Итак, я поднялся по широкой лестнице на второй этаж и очутился на просторной площадке, куда выходили три двери. На одной из них — той, что была посредине,— висела медная дощечка с названием фирмы. Я у цели! Сердце мое снова затрепетало. Ведь, в сущности, кто я такой? Двадцатилетний юнец! Какое счастье, что я получил путевку в жизнь!

Я отворил дверь и оказался в большой полутемной комнате, настолько простой и невзрачной, что напрашивалось сравнение с монастырской приемной. Стены выкрашены в белый цвет, потолок тоже, пол выложен серыми плитками. Никакой мебели: только стол и стул возле окна, где сидит курьер. Комната, пол, стул и курьер составляли единое целое, гармонично сливались, как части композиции, состоящей из одинаковых элементов, сделанных из одного и того же материала. Стол был обычный, из простого дерева; стул тоже обычный, курьер — обычный человек, застывший в неподвижной позе. Он спокойно сидел на своем месте, сложив руки на столе, потом посмотрел на меня. Его взгляд, не будь в нем этой меланхолической рассеянности, граничащей с отрешенностью, мог даже показаться добрым, но в действительности он был лишь таким же неподвижным и безобидным, как стул, стол и сама комната. Мне почему-то пришло в голову, что у этого человека нет языка или что у него вырезаны тестикулы, как у евнухов в гаремах, но я тотчас отогнал от себя эту бредовую мысль, столь неуместную для первого в жизни трудового дня. Такой ход мыслей объяснялся, по-видимому, тем, что сидевший передо мной человек ничего не говорил и, казалось, был не столько погружен в размышления, сколько пребывал в состоянии какой-то безмолвной растительной сосредоточенности.

Я подошел к нему почти вплотную. Только тогда он разнял пальцы сплетенных рук и оперся ладонями о стол, словно собираясь встать и поклониться — в знак того, что его интересует цель моего прихода, что он оказывает уважение посетителю.

Но он так и не встал, а остался сидеть и слабым, бесцветным голосом, таким же, как его лицо и фигура, произнес:

— Что вам угодно?

Я вытащил из кармана рекомендательное письмо, которое мне дал торговый агент, представляющий эту фирму в нашей провинции.

— У меня назначена встреча с доктором Диабете,— сказал я, не повышая голоса, который, однако, прозвучал на всю комнату, словно говорил не я, а кто-то другой. В действительности же этим другим был

я сам в новой роли — роли служащего торговой фирмы, с которой теперь связано все мое будущее. Этот звонкий голос был не чем иным, как подтверждением моего прихода в фирму, словно звуки моего голоса благодаря особенностям акустики этой большой комнаты уже впитались в ее стены и тем самым как бы свершилось и мое поступление на службу.

Мужчина поднялся. (Он был высокий, тощий и чуть кренился влево. Одет он был в темный шерстяной костюм, который висел на нем, как на вешалке.) Отодвинув стул, он быстро смахнул со стола несуществующие крошки и, не глядя на меня, сказал:

— Проходите!

Я последовал за ним по направлению к обитой темным сукном двери, оказавшейся за моей спиной, рядом с той, в которую я вошел. Шагая позади него, я обратил внимание на его разношенные ботинки, намазанные ваксой так густо, что они покрылись трещинами. Уродливые ноги, на которые были надеты эти расхлябанные, сношенные набок, бугристые башмаки, были явно не пригодны для ходьбы: мужчина устремился вперед быстрыми шагами, чтобы груз тела как можно меньше давил на нижние конечности... Я видел, что ему больно идти, но он это старался скрыть и ковылял, переваливаясь с боку на бок, наподобие игрушки «неваляшки», так что полы пиджака разлетались во все стороны. Наконец он доковылял до двери, распахнул ее, подождал, пока я войду, и сказал:

— Сейчас он придет.

Небольшая комната с мягким креслом и низким столиком походила на приемную врача или дантиста. Ее освещал тусклый свет, струившийся из окна, к которому я от нечего делать подошел. И тут я увидел нечто такое, от чего у меня ёкнуло сердце,— это чувство я буду помнить всю жизнь.

Я прижался носом к стеклу; передо мной на расстоянии нескольких метров сверкала во всем своем великолепии стена из стекла и стали. Поскольку я находился внизу (всего на втором этаже) и окно было небольшое, я не мог разглядеть ни верхние этажи, ни бока здания. Зато я мог видеть во всех подробностях близлежащие два этажа: стальные несущие конструкции, ряды крупных болтов вдоль перекрытий, внутренность конторских помещений (мебель, служащих — мужчин и женщин, сидевших или стоявших у письменных столов). Лампы дневного света освещали бесконечную анфиладу административных отделов. Я взглянул вниз: на высоте пола комнаты, в которой я находился, я увидел большой купол из толстого матового стекла, соединявший старое здание с новым. Тогда я сообразил: как я и предполагал, дирекция осталась в старом доме, где я был сейчас и где раньше, по-видимому, размещалась вся фирма, а административные отделы и собственно торговые секции были расположены в новом здании, высившемся передо мной. Что же касается стеклянного купола с отверстиями вроде иллюминаторов, то он предназначался для того, чтобы скрывать сад или часть его от любопытных глаз служащих. Но разрешалось ли служащим выглядывать в окна? Движимый каким-то детским любопытством, за которое мне сейчас просто стыдно, я поискал ручку, чтобы открыть окно. Мне хотелось высунуть голову, бросить хотя бы беглый взгляд вверх, туда, где на головокружительной высоте маячила верхушка здания, и тотчас спрятаться обратно. Я нашел ручку, оглянулся вокруг (словно мог тем самым удостовериться, что в комнату никто не войдет, дверь отворялась снаружи — стало быть, могла распахнуться в любой момент) и открыл окно. Я высунулся и окинул взглядом сверкавшее на солнце здание фирмы. Только я успел насладиться этим сиянием и убрать голову, как заметил рядом с собой полного приземистого человека, который

смотрел на меня улыбаясь, с выражением мягкого, ласкового укора на лице.

— Нравится, да? — спросил он, похлопывая меня по плечу.— Ну, а теперь закрывай, хватит!

Я тоже улыбнулся и поспешил закрыть окно. Однако рама, по-видимому не привыкшая к подобным манипуляциям, жалобно заскрипела, но не поддалась. Я снова попытался соединить створки, но они заскрипели еще сильнее. Возможно, заело в пазах. Когда еще одна моя попытка не увенчалась успехом, у толстяка лопнуло терпение.

— Дай я попробую! — сказал он уже без улыбки и, энергично отстранив меня, подошел к окну.

Он распахнул настежь обе створки и быстрым опытным взглядом окинул края рамы, отыскивая, где заело. Проведя по раме пальцами, он осторожно ощупал ее сверху донизу, потом убрал руку и резким движением захлопнул обе половинки. Они плотно прилегли друг к другу. Толстяк поднял руку: он держал двумя пальцами стальной или алюминиевый осколок длиной в два-три сантиметра.

— Красиво-то оно красиво... Но лишь для тех, кто там! А тем, кто сидит в этой развалюхе, достаются только вот такие штуки... На, посмотри! Это осколок окалины, налета, который образуется на стальных конструкциях и на алюминиевых каркасах. В ветреные дни они сыплются нам на голову градом... Дом, конечно, очень красивый, но непрочный... Садись сюда!

И он указал мне на кресло.

Я сел.

— Я — доктор Диабете и, как тебе, наверно, известно, ведаю отделом внешних сношений.

Прервав себя на полуслове, он снова улыбнулся и спросил:

— А сколько тебе лет?

— Двадцать,— ответил я.

Он потрепал меня по щеке и, стоя рядом (я смотрел на него снизу вверх), продолжал:

— Я прочитал рекомендательное письмо, которое тебе дал наш торговый агент, но можно было обойтись и без него. Твой отец, наверно, не знает или уже забыл, что в старые добрые или, скажем, иные времена я был с ним знаком... Ты попал сюда именно благодаря этому. Я уже подготовил почву: поговорил с торговым агентом, несколько месяцев назад намекнул насчет тебя здесь, в фирме, держал все время связь с провинцией, устроил телеграфный вызов и лично разговаривал о тебе с доктором Максом, которого ты сейчас увидишь.

Глаза его засияли от удовольствия. Он был счастлив не меньше, чем я, и это меня растрогало. Подумать только! Первый же человек, которого я встречаю, так добр, так ласков со мной! Он заявил, что будет меня опекать. Увидев, что у меня увлажнились глаза, Диабете потрепал меня по плечу и спросил:

— Ты доволен? Доволен, что увидишь доктора Макса?

— Уж не знаю даже, как вас и благодарить! Скажите, а кто такой доктор Макс?

Услышав этот вопрос, Диабете натужно закашлялся. Глаза его вылезали из орбит и возвращались на место, как у лягушки. Он бросил на пол сигарету и несколько раз наступил на нее своими маленькими, начищенными до блеска, остроносыми туфлями, все еще пытаясь что-то сказать.

— Кто такой доктор Макс?— переспрашивал он и кашлял.— Как это — кто?— выдавливал он и, высунув язык, кашлял снова. Тонкая струйка слюны медленно стекала на пол.— И ты еще спрашиваешь?!

Протяжно завывая, он сделал мне знак, чтобы я уступил ему кресло, что я тотчас исполнил, и все так же, знаками, попросил похлопать его по спине. Он сел, я несколько раз стукнул его по спине, и кашель внезапно прекратился. Диабете смотрел на меня, качал головой и медленно, глубоко дышал, вытянув руку в мою сторону и как бы говоря: «Подожди». Я ждал. Немного погодя, отдышавшись, Диабете заговорил снова.

— Я выкуриваю по сорок сигарет в день. А ведь я больной человек! Сам не знаю, почему не брошу курить... Но разве тебя это интересует? Ведь нет же?..

Я, в замешательстве, ничего не отвечал. Впрочем, Диабете, не дожидаясь ответа, продолжал:

— Как ты можешь спрашивать, кто такой доктор Макс? Милый мой, неужели ты не знаешь?

Я ответил, что не знаю.

Наверно, Диабете по моей интонации наконец понял, сколь я прост и наивен. Он посмотрел на меня с доброй жалостливой улыбкой и тихо, но отчетливо, сопровождая каждое слово кивком головы, прошептал:

— Доктор Макс — это хозяин.

Я удивился: неужели хозяин, глава торговой фирмы, мог заниматься таким незначительным и уже почти решенным делом, как зачисление в штат какого-то безвестного молодого человека? Неужели у него есть время заниматься такими мелочами... Я даже спросил об этом Диабете. В его глазах мелькнула тень обиды, словно мой вопрос в каком-то смысле умалял его авторитет как работника фирмы.

— Прежде всего, доктор Макс — мой друг, хотя я гожусь ему в отцы. В сущности, я с ним и обращаюсь как с сыном. Скажу по правде, я его просто люблю. Он славный парень, всего на несколько лет старше тебя.

Я поинтересовался, каким образом человек моего возраста может быть хозяином фирмы.

— Собственно, хозяин — не он, а его отец. Но тот стар, очень стар и почти всегда в отлучке: охотится на китов. Стало быть, за хозяина остается сын. Доктор Макс ведает планированием торговли, то есть возглавляет самый важный отдел фирмы. А остальные отделы, занимающие несколько этажей нового здания, почти все работают самостоятельно, не нуждаясь в руководстве. Они сформированы из более или менее равноценных работников, и хозяйский глаз может уследить за всеми разом, как если бы это был один человек. Это счетные работники и персонал, ведающий погашением счетов и рассрочкой. Ведь одно дело — производить, а совсем другое — продавать, то есть превращать продукцию в выручку. Значение этого различия, а следовательно и отдела, куда тебе посчастливилось попасть, ты поймешь сам, общаясь с доктором Максом. Он — как ты сам скоро убедишься — человек нервный, но добрый. Я с ним о тебе уже говорил, и он выразил желание с тобой познакомиться. Он со мной очень считается, прислушивается буквально к каждому моему слову. Именно этому ты и обязан тем, что сегодня его увидишь. Но мы еще потолкуем с тобой позднее, а сейчас пойдем ко мне в кабинет!

Кабинет доктора Диабете представлял собой небольшую комнатушку с двумя приставленными друг к другу столами. Вдоль стен тянулись пыльные книжные полки, вся комната была завалена газетами. На столе доктора Диабете, за который он уселся со вздохом, тоже высились груды газет, готовые рухнуть с минуты на минуту. Я не сразу заметил, что за вторым столом, на котором ничего не было, сидел молодой мужчина в очках с толстыми стеклами. По тому, как косо он на меня посмотрел, я тотчас понял: хочет подчеркнуть, что я здесь — лицо постороннее. Диабете нас познакомил. Протягивая мне руку, тот многозначительно улыбнулся, как бы желая этой улыбкой сообщить мне нечто такое, чего

Диабете знать не должен. Затем он сел и продолжал заниматься своим делом.

Я взглянул, что он делает: он что-то чертил с помощью линейки и угольника. Работал он на редкость медленно, часто стирал резинкой только что проведенную линию, потом изо всех сил дул на чертеж.

— В отличие от меня, Тропиа — очень аккуратный человек,— заметил Диабете.

Я стоял перед столом своего покровителя, он смотрел в мою сторону. Но взгляд его витал где-то далеко-далеко, и фраза повисла в воздухе, осталась без отклика.

Некоторое время в комнате царило молчание — быть может, Диабете собирался с мыслями, раздумывал обо мне. Я смотрел в окно, на широкую оживленную улицу. Наконец, он снял телефонную трубку и попросил доктора Макса. После небольшой паузы неожиданно веселым, игривым тоном Диабете сообщил, что я — здесь, к услугам доктора Макса. Затем выражение его лица снова изменилось, стало серьезным, почти печальным, и он положил трубку.

— Я говорил с доктором Максом,— внушительно произнес он.— Мне удалось заручиться его согласием на встречу во второй половине дня. Видишь, чего я только для тебя не делаю! Надеюсь, ты этого не забудешь...

Мне было неудобно перед Тропиа, ибо он при этих словах улыбнулся. Я сказал, что не забуду.

— А сейчас пошли обедать! Сегодня ты мой гость. После обеда сходим посмотреть комнату, которую я тебе приискал, это недалеко отсюда. Видишь, об этом я тоже позаботился. Где ты оставил свой чемодан?

— В гостинице,— ответил я.

— Зачем?

— Я не предполагал, что придется сразу остаться.

— Значит, ты мне не поверил... В телеграмме же было все сказано!

— Да, но я вас не знал...

— Ну ладно, я все понял. Если комната тебе понравится, сходишь в гостиницу и заберешь свой чемодан. А сейчас не будем терять время. Пошли! Двенадцать уже пробило. До обеденного перерыва осталось всего несколько минут; впрочем, я могу уйти и пораньше. Мне же не надо отмечаться...

Эти последние слова Диабете произнес нарочито громко и даже вызывающе: они были явно предназначены для Тропиа, который, однако, не поднял глаз и ограничился улыбкой — блуждающей улыбкой мечтателя.

Мы с Диабете снова прошли через приемную, где в прежней неподвижной позе, положив сплетенные руки на стол, сидел человек с уродливыми ногами. Мы спустились по лестнице (швейцар с каменным черепом окинул нас взглядом через свое окошечко, особенно внимательно посмотрев на Диабете — сначала на него, а потом на что-то еще, что находилось над его головой, должно быть, на часы) и вышли на улицу.

Обедал я у Диабете дома, в обществе его жены и дочери. По множеству мелких деталей я, как мне кажется, понял, что он ни жену, ни дочь не любит и вообще считает их обузой. Жена — маленькая, нервная женщина — встретила нас очень приветливо и участливо справилась у мужа о самочувствии. Дочка тоже показалась мне очень ласковой девочкой, но то ли потому, что Диабете сразу провел меня к себе в кабинет, не обращая внимания на застывших в выжидательной позе женщин, то ли потому, что за короткое время, понадобившееся, чтобы дойти от передней до кабинета, он, не переставая, жаловался на беспорядок в доме и на то, что с ним в семье не считаются, я не успел ее как следует рассмотреть. Она показалась мне самой заурядной девчушкой. Впрочем, в

том, что я был так рассеян и ненаблюдателен, нет ничего удивительного: в голове моей царил сумбур — как-никак, первый день в большом городе! Сколько незнакомых лиц промелькнуло перед глазами... Мы с Диабете ехали сначала на троллейбусе, потом пересели на один трамвай, потом на другой. От этой сутолоки я совершенно отупел. Однако по дороге я все же успел разглядеть много дворцов из стекла и стали, много магазинов, небоскребов, широких оживленных улиц и, что меня больше всего поразило, уйму народа. Такого скопления людей мне еще никогда не доводилось видеть.

Когда мы подошли к дому Диабете — большому зданию со множеством крохотных балкончиков, куда высыпали женщины и дети в ожидании мужей и отцов, которые должны были вот-вот появиться со стороны троллейбусной остановки на углу,— у меня немного кружилась голова.

Поэтому я был даже рад, что Диабете решительным шагом направился в свой кабинет, не обращая внимания на жену и дочь, провожавших его встревоженными, виноватыми взглядами.

Он указал мне на кресло, я сел и, уставившись на книжные полки за его спиной, дал отдохнуть глазам и голове. По-видимому, Диабете тоже устал: он начал было излагать какую-то мысль, успел произнести только «доктор Макс», уронил голову на грудь и, как мне показалось, задремал.

Воспользовавшись паузой, я мысленно обратился к своим родителям. В эту минуту они, несомненно, тоже думали обо мне: мать смотрела на мое пустующее место за столом, а отец говорил: «Ничего не поделаешь, он уже взрослый человек, ему пора стать самостоятельным. Хорошо еще, что он нашел работу! Если он устроится в этой торговой фирме, то будущее его обеспечено. Не забывай, что сын у нас умный, крепкий, волевой. Он сумеет пробиться скорее, чем многие другие. Старость не за горами, скоро я уже не смогу работать, а пенсию мне дадут мизерную, так что нам будет не под силу снимать нашу теперешнюю квартиру. Но сын позаботится о нас, как мы заботились о нем все эти годы. Он обеспечит нам и крышу над головой, и спокойную старость. Кто знает, может быть, раз в кои-то веки мы сможем позволить себе даже такую роскошь, как поездку к морю или в горы... Так и проживем до смерти — спокойно, безбедно и, главное, у себя дома, а не в приюте для престарелых, где нас наверняка бы разлучили. Не будь у нас такого сына, разве мы могли бы на это рассчитывать?».

Мысли эти, которые я приписывал моему отцу и моей матери, еще больше укрепили меня в сознании, что мне невероятно повезло, и во время предстоящей встречи с хозяином я решил, не умаляя своего достоинства, высказать готовность предоставить себя в полное распоряжение фирмы.

Занятый этими размышлениями, я смотрел на погруженного в глубокий сон Диабете: удивительно, как он мог спать при таком шуме! Рядом за стеной, сверху, снизу отчетливо слышались веселые, возбужденные, преимущественно мужские голоса: это отцы семейств, вернувшиеся домой вскоре после нас, наполняли дом своими разговорами. Они рассказывали женам и детям, как прошло трудовое утро, описывали свои взаимоотношения с коллегами, с начальниками, с хозяином.

Голос главы семейства, проживавшего этажом выше, звучал восторженно: он радостно сообщал, что умудрился найти в какой-то отдаленной горной деревне нового клиента, совершенно не сведущего в торговых делах; ничего не зная о льготных условиях покупки в рассрочку, клиент уплатил за товар всю сумму наличными. Далее глава семейства принялся описывать, как он, набив портфель деньгами, вернулся в фирму и вывалил ассигнации на стол в тот самый момент, когда в комнату с сумрач-

ным видом входил представитель хозяина. Глава семейства считал, что ему следует ждать добрых вестей в тот же день после обеда, и от нетерпения не находил себе места, так что жена, прервав его на полуслове, велела ему принять таблетку дистониума. Глава семейства, по-видимому, послушался, потому что он на время умолк, но вскоре снова затараторил, так же весело и энергично. Жена снова прервала его, и голоса зазвучали приглушеннее.

Разговоры, доносившиеся с нижнего этажа и из соседней квартиры, тоже были слышны совершенно отчетливо, но я не уловил, о чем там шла речь, мое внимание было занято верхними жильцами. Все же в тот момент, когда верхний глава семейства запивал таблетку, я понял, что в семье этажом ниже дела складываются гораздо хуже, чем наверху: жена, по-видимому, заплакала, потому что муж произнес следующую фразу (которая ясно донеслась до моего слуха, ибо пришлась как раз на паузу): «Но, Лучана, почему ты плачешь? Я же не виноват! Клянусь тебе, что я не виноват!»

Все эти впервые услышанные мною голоса создавали приятное ощущение, что я становлюсь частью сообщества, частью трудового коллектива, от которого до двадцати лет я был оторван. Это незнакомое мне дотоле прекрасное ощущение немного напоминает чувство, которое испытываешь, сидя в кино на хорошем фильме, когда все зрители, их сердца, их разум охвачены единым волнением. Я был глубоко взволнован и размечтался о том, что когда-нибудь у меня тоже будет такая квартира, как у Диабете, будут жена, сын, соседи; они будут слушать меня, мои рассказы о коммерческих успехах в фирме, а я — их. Но пока я не хочу об этом думать. Ясно одно: если чего-нибудь очень захочешь и направишь все силы на достижение цели, то в конце концов своего добьешься.

От этих мыслей отвлек меня Диабете.

— Видал этого Тропиа, с которым я тебя познакомил? — спросил он.— Попомни мои слова, ему долго не продержаться. Он устроился к нам по знакомству, а доктор Макс таких типов не жалует. Нисколько не удивлюсь, если тебя назначат на его место. Знаешь, кто его рекомендовал? Отец доктора Макса, так что можешь себе представить...

— Но ведь отец доктора Макса — хозяин фирмы. Значит...

— Вот именно. Доктор Макс молод. Думаешь, он захочет держать человека, навязанного ему отцом? Вот увидишь, Тропиа долго не продержится. И доктор Макс прав. Торговой фирме нужны не чьи-то протеже, а люди с подлинно деловыми качествами, которыми, надеюсь, ты обладаешь. Собственно, потому-то я и решил — как только торговый агент сказал мне о тебе — непременно взять тебя под свое крылышко. Мне, таким образом, представляется двойная возможность отличиться. Во-первых, Тропиа на самом деле никудышный работник; во-вторых, с твоей помощью я помогу доктору Максу заменить его и тем самым лишний раз продемонстрировать папеньке, кто истинный хозяин фирмы. И, наконец, ты приехал из провинции, тебя раздирает любопытство — жажда познать современный мир, любопытство, которое у меня уже на исходе; тебе присущи скромность и умение помнить добро — качества, которые нынче можно встретить только у людей из захолустья. А главное — ты молод, очень молод. Ты почти мальчик. Я стараюсь для тебя от чистого сердца — отчасти в память нашего знакомства с твоим отцом, отчасти потому, что ты мне симпатичен. Хорошенько запомни все, что я тебе сказал, потому что эти три твоих достоинства отвечают предъявляемым требованиям, а сие немаловажно. Подобная возможность представляется человеку не каждый день. Смотри же не упусти ее! Понятно? А сейчас пойдем к столу!

С этими словами Диабете встал со своего креслица, взял меня под руку и повел в столовую, где нас ждали его жена и дочь. Жена тотчас вскочила, побежала на кухню и вернулась с супницей, от которой шел пар. Диабете налил себе супу первым, попробовал, потом сделал знак жене, чтобы она налила мне тоже.

— Моя жена вечно болеет, поэтому она, в известном смысле, немалая обуза; зато готовит она прекрасно. Попробуй суп и убедишься сам!

Я попробовал суп и похвалил кулинарные способности супруги Диабете, которая продолжала стоять. Такой избыток усердия рассердил Диабете, и он велел ей тоже сесть за стол. Она села и налила себе супу, после всех. Рассмотрев ее получше, я, однако, заметил, что ее лицо не выражало ни мягкости, ни покорности, а лишь укоренившуюся застарелую нервозность, в которой я с первого взгляда угадал причину всех ее недугов.

Мы беседовали на самые разные темы. Я описал им свою семью, место, где я жил до сих пор, первые впечатления от большого города. Диабете несколько раз принимался ругать дочку: насколько я понял, она плохо учится и он по вечерам вынужден с ней заниматься, вместо того чтобы выполнять поручения доктора Макса — обрабатывать торговые отчеты, получаемые фирмой из-за границы.

Под конец, после кофе и рюмки ликера, от которой я не счел возможным отказаться, Диабете показал мне свою квартиру. Он повел меня в белоснежную, сверкающую никелем кухню, напоминавшую операционный зал, затем в спальню с гарнитуром из дорогого дерева, после чего мы вернулись в кабинет, где он продемонстрировал мне, как кресло, где я раньше сидел, превращается в кровать для девочки.

Я все похвалил: квартирка на самом деле была уютная и удобная.

Диабете сказал, что хочет обменять ее на бóльшую, чтобы иметь комнату для дочки. Мне и в голову не пришло бы помышлять о чем-либо подобном. Такая квартира, как у него, показалась бы мне верхом роскоши, даже если бы я был женат. Но Диабете старше меня, стало быть, его претензии вполне обоснованны: ему положено иметь большую квартиру, чем мне. Кстати, после того как я осмотрел его квартиру и убедился, что у него нет прислуги, я подумал, что Диабете, должно быть, не так уж много зарабатывает и не пользуется в фирме особым весом. Иначе у него, наверно, была бы прислуга и он не говорил бы так много о своей дружбе с доктором Максом. Но поскольку я еще не в курсе дела — ведь сегодня первый день, как я приехал! — то я рассматриваю эти свои выводы не более как условные и предположительные. У фирмы всегда есть свои соображения относительно того, кому сколько платить, и, наверно, Диабете занимает то место и получает то жалованье, на которые объективно имеет право.

После осмотра квартиры, обменявшись несколькими учтивыми фразами с женой и дочкой Диабете, я отправился вместе с ним на свое новое место жительства. Мы сели на троллейбус, проехали несколько остановок, потом прошли немного пешком. По дороге я приметил, что дома здесь не такие новые и многоквартирные, как тот, в котором живет Диабете, а скорее старые, по крайней мере пятидесятилетней давности. В этом районе можно увидеть только безликие четырех- или, самое большее, пятиэтажные здания.

Мы поднялись на лифте на последний этаж одного из таких домов; Диабете остановился возле застекленной двери и сказал:

— Они хорошие люди и до тебя комнат никогда не сдавали. Адрес мне дал Тропиа; он живет в этом доме, на первом этаже. Да, я забыл тебе сказать, сколько они с тебя возьмут за комнату: десять тысяч лир в месяц. По-моему, очень недорого. Я поэтому и оставил ее за собой.

Он позвонил. Дверь нам открыла женщина лет пятидесяти, на вид очень чувственная, несмотря на преклонный возраст. У нее были большие, черные, влажные глаза, мясистые, неровно — пятнами — накрашенные губы и лицо со следами косметики, оставшимися, должно быть, еще со вчерашнего дня. Ее вырисовывавшееся под халатом тело, такое же дряблое, как щеки и руки, таило в себе необычайный заряд заплесневелой, ищущей выход чувственности.

По тому, как она нас встретила и пригласила войти, видно было, что она действительно никогда комнат не сдавала и что ей как-то неловко.

Она сразу показала мне мою будущую комнату — нечто вроде небольшой гостиной с тахтой у стены; один столик стоял напротив тахты, другой в углу, между окном и громоздким платяным шкафом. Из комнаты вела дверь на террасу, простиравшуюся на уровне крыш.

Я тут же сказал, что комната мне подходит как нельзя лучше и что вечером я вернусь с чемоданом.

Хозяйка пожелала угостить нас кофе, и, пока она возилась на кухне, куда мы вошли вслед за ней (ради такого случая она вытащила фарфоровые чашки, серебряный поднос и серебряную сахарницу), разговор шел об уборке. Готовя кофе и беседуя с нами об уборке (надо признаться, квартира сверкала чистотой), она то и дело переходила от угодливого тона к высокомерному, как бы желая подчеркнуть, что знавала лучшие времена и ни за что не снизошла бы до того, чтобы пустить в свою квартиру жильцов.

Диабете был явно склонен задержаться подольше. Потягивая кофе и почти не спуская глаз с хозяйки, он спросил, чем занимаются ее муж и сын. Оказалось, что оба служат в торговых фирмах. Уточняя, чем именно торгует ее муж, она немного смутилась, так как ей пришлось назвать весьма неходкий товар. Я даже удивился, услышав, что он все еще существует и что есть целая фирма — с отделами, бухгалтерией, штатом сотрудников, швейцарами и курьерами,— которая занимается сбытом такого устаревшего, давно никого не интересующего товара. Но из дальнейшей беседы выяснилось, что владелец фирмы, ее управленческий аппарат, швейцары, курьеры и прочие объединены в лице мужа хозяйки и размещаются в одной комнате. Как бы желая сгладить неприятное впечатление, которое могло произвести на меня это признание, она заговорила о сыне, который кончил курсы усовершенствования торговых работников при одной из самых крупных торговых фирм мира.

Когда хозяйка стала объяснять, какую должность займет по окончании курсов ее сын, Диабете, посмотрев на часы, сказал, что уже поздно и нам пора идти (словно его вдруг одолела зависть к ее сыну или торговой фирме, при которой тот учится).

Хозяйка поднялась со своего плетеного кресла и проводила нас до дверей. Я спросил, надо ли оставить задаток; она улыбнулась, как бы давая понять, что так положено. Я вынул из кошелька и отдал ей пять тысяч лир. Получив деньги, синьора в знак благодарности улыбнулась мне уже совершенно иной улыбкой, что лишь подтвердило мое предположение относительно ее повышенной чувственности.

Двумя автобусами мы добрались до фирмы и поднялись к Диабете. Тропиа еще не было, и Диабете усадил меня к своему столу, по другую сторону баррикады из газет и журналов. Он справился по телефону, на месте ли доктор Макс, и, узнав, что того еще нет, просил напомнить ему о намеченной встрече и предупредить, что я нахожусь у него. Он предложил мне выбрать что-нибудь почитать из того, что лежало на столе. Ведь я уже не постороннее лицо, значит, от меня нет секретов и, позволяя мне читать газеты и журналы, Диабете не совершал должностного преступления.

Сам он погрузился в изучение какого-то доклада. Он уткнулся лбом в ладони, подпер большими пальцами уши и, поддерживая таким образом голову, принялся внимательно читать. То ли потому, что за грудой бумаг его не было видно, то ли потому, что я не слышал шороха переворачиваемых страниц, у меня создалось впечатление, что Диабете решил воспользоваться послеобеденным затишьем и подремать.

Так прошло больше получаса. Я сидел, не зная, что делать, и боясь пошевелиться, чтобы не потревожить Диабете: насколько я мог судить, он очень обидчив и мог на меня рассердиться.

Диабете спал и даже не заметил, как в комнату вошел какой-то молодой человек, молча сел на место Тропиа и, улыбнувшись мне ничего не значащей улыбкой, уперся локтем в стол, подпер ладонью щеку и погрузился в глубокое и печальное раздумье. Мое присутствие, по-видимому, нисколько ему не мешало; возможно, он меня даже не замечал.

Молодой человек был одет в темный стариковский костюм. Лицо у него было бледное, маленькое — с кулак; казалось, его точил какой-то мучительный неизлечимый недуг. Светлые ледяные глаза выглядывали из-под век, как из щелок. Вокруг рта, по-женски маленького и тонкогубого, белели какие-то пятна, особенно заметные в уголках рта; в них, возможно, и таился секрет его печали.

Тем не менее это лицо, эти глаза, эти руки, весь его облик могли принадлежать только очень чистому человеку — студенту-романтику, юноше-идеалисту, стремящемуся к высоким идеалам классической гармонии. Еще не зная, кто он, я проникся к нему симпатией.

Как раз в этот момент (после прихода незнакомца прошло минут десять) Диабете выглянул из-за своей бумажной горы, внимательно посмотрел в мою сторону и собирался было заговорить, но тут заметил молодого человека. Он сомкнул губы, вновь нырнул в свою пучину, время от времени озираясь по сторонам, как утопающий, который тонет, но не зовет на помощь, затем вынырнул и стал делать мне глазами какие-то непонятные знаки. Наконец, он откашлялся и проговорил:

— О, доктор Макс! Мы вас давно ждем...

Вот как! Значит, этот молодой человек с такой романтической и меланхолической внешностью и есть доктор Макс! А мне и невдомек: я себе сижу, молчу и, раз мы не знакомы, стараюсь даже не смотреть в его сторону. Что он мог обо мне подумать?! Сидит молча, на чужом стуле, в чужом кабинете и не может по собственной инициативе даже представиться! Судя по всему, ничего хорошего он подумать обо мне не мог. Впрочем, я и сам стал думать о нем иначе. Теперь, когда я знал, что это доктор Макс, мое первое впечатление как-то поблекло, его облик стал постепенно, но неумолимо таять у меня на глазах, и вместо него возникал другой, совсем не похожий на прежний: на первый план выступили белесые апигментные пятна вокруг рта, а сам рот почему-то напомнил мне хоботок большого раненого насекомого. Это второе впечатление было подкреплено звуком его голоса, похожим на стрекот, слабый и в то же время шипящий, этакий агрессивный звук, издаваемый раненым насекомым. Доктор Макс, внезапно очнувшись от своего грустного раздумья, которое длилось десять минут (но здесь возникает вопрос, было ли это действительно раздумье или же своего рода тягостное оцепенение, характерное для больных насекомых в период, когда у них появляются эти отвратительные пятна), своим пронзительным голосом выкрикнул:

— Где эта вареная рыба — Тропиа? Если сделка с японцами не будет заключена до среды, то нам крышка, капут, понятно? Это вам понятно?!

Последние слова доктор Макс прокричал еще пронзительнее; голос его, и без того скрипучий, перешел в шипение. Пятна вокруг рта обо-

значились резче. Но вместе с тем в его словах прозвучали отчаяние и бессилие.

Диабете приподнялся на цыпочки и, вытаращив глаза, выпалил:

— А я что говорил? Я вам первый это сказал, доктор Макс, вы не должны этого забывать!

Но доктор Макс его уже не слушал, он снова сел, опершись локтем о стол Тропиа и подперев ладонью щеку, снова принял позу человека, поглощенного невеселыми думами. С той разницей, что сейчас он смотрел в мою сторону. Тут меня осенило: а вдруг он и раньше подглядывал за мной из своей внутренней норы и увидел меня таким, каким я сюда явился,— совершенно безоружным, под ненадежной защитой своих двадцати лет?

Диабете вышел из-за стола, подошел ко мне и, по-отечески поглаживая по голове, обратился к доктору Максу со следующими словами:

— Это и есть тот молодой человек из провинции, о котором вам говорил наш торговый агент и с которым вы выразили желание познакомиться. Я взял его под свое покровительство, потому что хорошо знаю его родителей. Если, конечно, вы не возражаете. Если же вы против, то я отстраняюсь и передаю его на ваше попечение, гораздо более плодотворное, чем мое.

После этих слов Диабете залился благодушным смехом, длившимся несколько дольше, чем следовало. Смутно почувствовав, однако, что этот его благодушный смех и последняя реплика были излишними, он решил сгладить неблагоприятное впечатление еще одной фразой, которая, впрочем, учитывая отсутствующий вид доктора Макса, могла сыграть весьма сомнительную, а может быть, даже и отрицательную роль. Как бы заканчивая мою характеристику, Диабете заявил:

— Тем более что я гожусь вам обоим в отцы!

Доктор Макс протянул мне руку (бессильную, сухую руку с морщинистой ладонью) и вяло вложил ее в мою, будто желая подчеркнуть, что он не сторонник и никогда не был сторонником такой глупой условности, как рукопожатие, и лишь соблюдает повсеместно установившийся обычай. (И правда, кто я такой? Откуда явился? Кто я ему — друг, родственник, близкий человек?) Когда он убирал руку, по его лицу скользнуло нечто вроде улыбки, в которой был заключен тот же смысл.

— Ах да, простите, сегодня утром по телефону до меня как-то не дошло... Действительно, наш торговый агент говорил мне о вас...

— Он с раннего возраста интересуется торговым планированием! — вмешался все с тем же хохотком Диабете, продолжая гладить меня по голове.— Вундеркинд. Сейчас ему двадцать лет... Желаю тебе продолжать в том же духе! Как вы считаете, доктор Макс?

— Вы хотели бы устроиться здесь насовсем? Вы живете в нашем городе? — расспрашивал доктор Макс, не обращая никакого внимания на Диабете и на его хохоток.

— Да, если бы это оказалось возможным, я был бы рад устроиться в этом городе,— твердо отвечал я.

Доктор Макс улыбнулся — в первый раз за все время.

— А почему? Ведь жить в провинции так хорошо! Почему всех так тянет в большие города? Это какая-то мания! Если бы я только мог! Будь я на вашем месте, я бы не раздумывал ни минуты. Но я, к сожалению, не могу...

Быть может, этой фразой доктор Макс хотел сказать, что он уже составил мнение обо мне и что, как бы там ни было, не считает мою кандидатуру подходящей для работы в фирме. А возможно, этими словами он давал мне понять, что пока ничего определенного обещать не может.

— Мне надо зарабатывать на жизнь,— возразил я.— Мои родители уже не молоды, а в провинции устроиться негде. Кроме того, как вам только что сказали, я уже кое-что делал в области торгового планирования...

Я хорошо взвесил свои слова: все, что я сказал, было истинной правдой; тем не менее, когда я их произнес, у меня появилось отчетливое ощущение, что я падаю вниз. Дать точное определение тому, что я внутренне называл «низом», я бы не мог, но одно было несомненно: доктор Макс стоял наверху, а я — внизу. Более того, что бы я ни сказал, какую бы мысль ни облек в слова, моя мысль и мои слова оставались бы где-то внизу, в то время как молчание доктора Макса возвышалось бы над ними. Уже в ту минуту я почувствовал, что главная особенность наших отношений — высокое положение хозяина и низкое положение подчиненного,— ощущаемая нами обоими, по сути дела заранее предопределена, как точное уравнение в математике природы. Скажем, тле, для того чтобы выделить из брюшка каплю, нужен муравей — против этого никто спорить не станет. По той же причине нужен доктору Максу и я. Но одновременно я чувствовал, что в этой приниженности (которая, впрочем, уже не ощущалась мною как приниженность) таился секрет моего будущего, прелесть существования в полной зависимости от фирмы; она, эта приниженность,— залог того, что я буду жить в таком же доме, как Диабете, и составлять хотя бы крохотную частицу (которая, однако, может расти — для этого потребуется лишь время и непреклонная воля с моей стороны) той великой защитной оболочки, которая так необходима человеческому роду и имя которой — труд.

Дойдя в своих размышлениях до этого места, то есть мысленно представив себе то, чего я еще не знал, но в чем интуитивно угадывал единственный способ выжить и, по существу, единственную цель своего начинающегося социального бытия, я неожиданно для себя самого признался:

— Кроме того, позвольте сказать вам, доктор Макс: я испытываю к вам не только зависть оттого, что вы делаете большое и важное дело, но и глубокую симпатию!

— Благодарю вас! — бросил доктор Макс и засмеялся. К его короткому, пронзительному смешку тотчас присоединился булькающий, отеческий, самодовольный смех Диабете.— Вы мне тоже симпатичны. Вы молоды, приехали из провинции, и я постараюсь сделать для вас все, что будет в моих возможностях.

— В ваших возможностях...— насмешливо повторил осмелевший Диабете, как бы желая подчеркнуть, что возможности доктора Макса почти неограниченны, во всяком случае, слишком велики, чтобы он мог так скромничать. Подметив иронию, доктор Макс заулыбался и, обращаясь к Диабете, пояснил:

— Я говорю «все, что будет в моих возможностях» потому, что в моем положении... вы же знаете: отец все время самовольничает, стало быть, я располагаю весьма ограниченной свободой действий,— короче говоря, не могу делать все, что хочу. Я тоже связан. Но, в конце концов, сколько вам надо в месяц на жизнь? Как по-вашему, какая бы сумма вас устроила?

— Не знаю,— ответил я.

Доктор Макс тотчас продолжал:

— Скажу вам прямо: много я вам платить не смогу... И недолго: всего несколько месяцев, чтобы помочь вам устроиться, осмотреться в большом городе, наладить связи...

Тем временем он взял меня под руку и вывел в коридор. Диабете хотел было последовать за нами и уже сделал несколько коротких не-

решительных шажков, как бы желая подчеркнуть этим свое право на участие в разговоре, но, поскольку доктор Макс взял меня под руку и увел с собой, беседа наша явно должна была протекать наедине. Как и следовало ожидать, доктор Макс обернулся к улыбавшемуся Диабете и сказал:

— Спасибо, Диабете! Извините, мы на минуточку вас покинем. Потом я его вам пришлю.

Я повернулся к доктору Максу и хотел было попросить, чтобы он взял Диабете с нами, но старик, понурившись, уже удалялся по коридору.

Доктор Макс привел меня в свой кабинет — самую обычную комнату, такую же, как у Диабете, только попросторнее и менее захламленную,— сел за стол и, приняв свою излюбленную позу человека, изнывающего от скуки, погрузился в размышления.

— Пятьдесят-шестьдесят тысяч лир в месяц вам хватит? — спросил он.

— Да,— согласился я, но доктор Макс, не дожидаясь моего ответа, уже снова заговорил, словно течение его беспрестанно сменяющих друг друга мыслей немедленно требовало выхода в словах.

— Я пока не могу дать вам больше; считайте, что это я просто так, по-дружески, оказываю материальную помощь юноше из провинции. Но у меня много планов, много идей, и даже такой человек, как вы, может оказаться полезным, очень полезным. Надо будет вас пристроить, найти вам кабинет, хоть какую-нибудь дыру — откровенно говоря, места у нас здесь маловато. Хорошо, если бы вы были неподалеку от меня, под рукой. Новое здание фирмы вы видели? Что говорить! Безумие, настоящее безумие и безнравственность! И все эти электронно-счетные устройства — тоже безнравственность, тоже безумие! Впрочем, весь мир обезумел и потерял стыд. Поверьте мне, вам повезло, что вы родились в провинции. Вы еще можете вернуться... Я лично никак не хочу вас связывать, вы в любой момент можете уехать обратно, я вас не держу и никогда удерживать не стану. Конечно, молодой человек, интересующийся проблемами планирования торговли... Но стоит ли этим заниматься? По-моему, эта штука давным-давно себя изжила. Планирование торговли родилось в прошлом веке и годилось только для тогдашних рынков и тогдашней экономики. Сейчас оно утратило всякий смысл. Главное сейчас — это философия. Простите, я неточно выразился. Философия тоже не играет никакой роли, кому она нужна? Я говорю только о себе. Будь я свободен, я бы уехал в деревню — изучать великих философов прошлого. Мне думается, я был бы крупным мыслителем. Впрочем, что я говорю! Не крупным, а рядовым, вернее, даже не философом, а читателем, толкователем великой философской мысли современности. Нет ничего лучше хорошей философской книги и деревенского уединения! А жизнь, практика — это борьба; к тому же, поверьте, борьба бесполезная и в высшей степени безнравственная. И дворец из стекла, который вы видели, безнравствен, как безнравствен тот факт, что я им владею. Зачем было строить новое здание? Чтобы повысить производительность труда? Ну, ладно, все это необходимо, более того — это наш долг, точнее говоря, требование некоей негативной морали. Если вдуматься, то самое безнравственное во всем этом — принцип частной собственности. Извините, что я с вами так разговариваю, но почему вы решили заниматься планированием торговли? Я, собственно, так и не понял...

— По правде говоря, эта проблема всегда меня интересовала... И получилось как-то само собой,— ответил я, но доктор Макс, не дослушав фразы до конца, продолжал свою мысль:

— Конечно, если подойти к этому делу с охотой, то оно представ-

ляет интерес и может даже увлечь. Это своего рода призвание, которого я, увы, начисто лишен. Может быть, мне следовало бы попробовать свои силы, но как? Признаюсь, мне очень трудно заставить себя заниматься. Я всегда завидовал людям, которым ничего не стоит сесть и составить торговый проект. Для этого требуется прежде всего воображение, которого у меня никогда не было. Я больше склонен к спекулятивному мышлению, у меня характер мыслителя, а не созидателя. А человек, разрабатывающий торговые проекты, это созидатель. Признаюсь, я лишен этих качеств. Зато я отлично умею реализовать торговые проекты на рынке. Посмотрите! Я взял в свои руки эту фирму два года назад, и вы сами, наверно, убедились, что кое-какие успехи уже достигнуты. Другое дело, что, быть может, это не моя заслуга... Извините...

Зазвонил телефон, и доктор Макс снял трубку. Он дважды переспросил:

— Как, как?

Потом узнал:

— Ах, это ты, дорогая! Как ты себя чувствуешь, мамуля?..

И, прикрыв ладонью трубку, обратился ко мне:

— Извините, пожалуйста! Не будете ли вы так любезны подождать меня минутку в коридоре? Пожалуйста, будьте добры...

Я встал, тихонько отворил дверь и вышел в коридор, который вывел меня в приемную, где на своем обычном месте, слегка накренившись влево и положив руки со сплетенными пальцами на стол, по-прежнему сидел человек с уродливыми ногами. Если бы я его попросил, он провел бы меня в комнату для ожидания. Но мне не хотелось объясняться с ним — я предпочел постоять в приемной. Кроме того, я предпочел бы избежать встречи с Диабете, который наверняка меня ждал, или хотя бы оттянуть ее: надо было прежде собраться с мыслями.

В этот момент курьер улыбнулся мне, улыбнулся мягкой, добрейшей улыбкой. Он медленно разнял руки и, все еще улыбаясь, не спеша, шутливо погрозил пальцем. Не поняв его жеста и не сообразив, к кому он относится, я никак не реагировал и сделал вид, будто ничего не замечаю. Но, взглянув на него краешком глаза через несколько секунд, я обнаружил, что он продолжает на меня смотреть и, склонив голову набок, качает пальцем перед своим улыбающимся лицом.

— Вы курите? — спросил он, посмеиваясь.

Ничего не понимая, я тоже улыбнулся и ответил, что курю.

— Оно и видать. Взгляните!

С этими словами он встал, кособоко ковыляя, подошел ко мне, схватил меня своей сухой цепкой рукой за локоть и показал на пол: на блестящих серых плитках виднелись следы пепла.

— Но... не думаю...— возразил я.

Курьер сжал мою руку еще крепче, почти до боли.

— Вы, вы, больше некому! Когда выходили вместе с доктором Максом из коридора... Как раз здесь вы и шли...

И, вцепившись в мою руку, он заставил меня последовать за ним, чуть не тыча носом в пол, как нашкодившего щенка.

— Видели? Теперь вы убедились, так это или не так? — произнес он, покачиваясь на своих ножищах, и напоследок хихикнул еще раз.

— Да, убедился,— ответил я.— Но я же не нарочно...

— Знаю, знаю! Я только хотел обратить ваше внимание... Доктор Сатурно,— добавил он, понизив голос до шепота,— терпеть не может, когда на полу остаются следы пепла и валяются окурки. Курильщики его раздражают; сам он бросил курить много лет назад, и при нем лучше за сигарету не браться. В кабинетах курить разрешается, но при одном условии: не стряхивать пепел и не бросать окурков на пол. Разве это не правильно? Так или не так?

— Правильно,— машинально согласился я.

В позе курьера, в его лице, а главное, в его смехе сквозила какая-то настораживающая детская веселость, от которой становилось не по себе.

— Вот и молодец! — произнес он, отпустил мою руку и заковылял на свое место.— Здесь я сам занимаюсь уборкой. Для курящих есть пепельницы. Вот смотрите!

Он выдвинул ящик, вынул обшарпанную пепельницу, продемонстрировал ее мне и снова запер в стол.

— Стоит только сказать...

С этими словами он положил руки на стол, сплел привычным движением пальцы, и лицо его, точно листок тонкой бумаги, брошенной в огонь, в последний раз полыхнуло, сникло и погасло. Глядя на него, я снова подумал, что он похож на евнуха: может быть, его оскопили, или он попал в аварию, или получил ранение во время войны (среди курьеров, как правило, много инвалидов), и теперь перед его отсутствующим взглядом вырисовываются картины недоступной женской наготы.

В этот момент, будто от мощного порыва ветра, распахнулась дверь и в комнату акробатическим прыжком влетел мужчина с гладким розовым лицом, на котором сияла улыбка и ослепительно сверкали зубы. Своим одеянием он очень походил на гондольера: большой, завязанный бантом галстук, широкополая белая панама, которую он, войдя, размашистым жестом сорвал с головы. Под мышкой он держал объемистую папку с рисунками. Все с теми же ужимками он подошел к курьеру, который, завидев его, сразу заулыбался. Прижимая к груди свою широкополую шляпу, незнакомец отвесил глубокий поклон и трижды произнес:

— Добрый день, добрый день, добрый день!

Голос у него оказался звонким и веселым. Затем он спросил, на месте ли доктор Макс.

— Сейчас я его позову! — ответил курьер, но не успел он договорить, как доктор Макс собственной персоной показался в дверях своего кабинета.

Его длинные светлые волосы мягкими прядями падали на виски и на уши. Раскрыв объятия, он устремился навстречу гондольеру.

— Шут, паяц, арлекин! — выкрикивал доктор Макс, крепко обнимая гостя. Тот сделал вид, будто не может ответить тем же, так как у него заняты обе руки: в одной — папка с рисунками, в другой — панама, бросил то и другое на пол, в свою очередь заключил доктора Макса в объятия и энергично похлопал его по спине.

Их возбужденные голоса, веселый хохот мужчины-гондольера и визгливый смех курьера привлекли внимание служащих. Впрочем, я думаю, о приходе гостя они узнали еще раньше, в тот самый момент, когда он открыл дверь, потому что из обоих коридоров вдруг потянулись улыбающиеся люди, в том числе Диабете, который, быстро семеня своими короткими ножками, подоспел раньше всех.

— Хотя бы поцелуй меня, бедовый ты человек! — проговорил он, приподнялся на цыпочки, с трудом дотянувшись, обхватил «бедового человека» за шею и громко чмокнул его в щеку. Вслед за Диабете подошли другие служащие — мужчины и женщины, молодые и пожилые, и все удивленно и радостно восклицали:

— Художник Орацио! Художник Орацио! Когда вы вернулись?

Они сгрудились вокруг него и одолевали расспросами.

Окруженный со всех сторон, художник Орацио прыгал, точно паяц на ниточке. Дамы смеялись, он целовал им ручки; мужчин приветствовал рукопожатием, иных дружески трепал по щеке. Было ясно, что с его при-

ходом в учреждение, где обычно никого не видно и где все поглощены серьезной работой, ворвалась струя веселья и благодушия.

Доктор Макс тоже, казалось, помолодел, стал похож на мальчишку. Меланхолии, в которую он погружался во время своих длинных монологов, произносимых едва слышным голосом, как не бывало: лицо его преобразилось; изменилась даже походка. Прислонившись к косяку, он с ясной улыбкой на лице слушал художника Орацио, изощрявшегося в остроумии. На какой-то миг он отвел в сторону повеселевший взгляд, как бы отвлеченный мыслью, мелькнувшей перед ним точно крыло пролетевшей птицы; этого оказалось достаточно, чтобы он вновь погрузился в задумчивую грусть. Однако, устремившись вслед за мелькнувшей мыслью, доктор Макс остановил свой взгляд на мне: глаза его снова засветились, и он ринулся в мою сторону.

— Ах, Орацио, у нас здесь ваш земляк! Вот с кем вы найдете общий язык! Он тоже из провинции. Только сегодня приехал! — высоким пронзительным голосом возвестил доктор Макс, схватил меня за руку и подтащил к художнику. Тот пожал мне руку с ослепительной и в то же время приторной улыбкой. Выражение его глаз, до сих пор такое веселое, внезапно переменилось: он посмотрел на меня так, будто впился мне в зрачки тонким безболезненным зондом.

Никто ничего не заметил. Как я уже сказал, это длилось ничтожную долю секунды. После чего он наклонился к моему уху и на нашем диалекте шепнул:

— Запомни: здесь, в большом городе, предприимчивый человек — все равно что бельмо на глазу!

Я не понял, что означали этот неприятный угрожающий взгляд и эта фраза и зачем ему понадобилось произносить ее на диалекте. Чтобы нас не понял никто из присутствующих? Или своим взглядом и этой фразой он хотел меня предостеречь? От кого? От него самого? Или это было предложение заключить дружеский союз? И почему он позволил себе обратиться ко мне на «ты»? Чтобы подчеркнуть разницу в летах и в занимаемом положении? (Диабете делал это тоже, но совсем в другой, мягкой форме.)

Я ничего не понял и даже не мог попросить объяснения: служащие все еще толпились вокруг Орацио и засыпали его вопросами. Женщины рассматривали и комментировали его странный наряд, а доктор Макс то и дело повторял:

— Вот ведь шут, вот симпатичный паяц!

Диабете, кивая на Орацио, говорил:

— Ему хорошо, он художник и может одеваться, как ему вздумается, никто ничего не скажет. А попробуй я выйти на улицу в таком виде! Живо запрут в сумасшедший дом!

— Да, но вы же не художник! — возразил доктор Макс, словно не расслышав первой части фразы.

Тем не менее Диабете с готовностью согласился:

— Вот именно!

Когда первые восторги по поводу появления художника Орацио улеглись, служащие умолкли. Улыбка погасла на их губах; доктор Макс стоял и искоса, сурово посматривал на художника, будто раскаивался, что допустил изъявление столь бурных чувств. Тогда Орацио обвел их, одного за другим, сверкающим взглядом фокусника и выставил вперед руки, как бы говоря: «Обождите!»

— Стоп, стоп, одну минуточку! — бросил он и, как настоящий фокусник, с невероятной ловкостью подскочил к столу, где лежала подобранная курьером папка. Прищелкивая пальцами, он развязал тесемки, извлек большой твердый лист картона и прижал его к груди, как бы

пряча от посторонних глаз. Это разожгло всеобщее любопытство: все приготовились к какому-нибудь сюрпризу или фортелю, но на всякий случай краешком глаза наблюдали за доктором Максом, какой он подаст сигнал — оставаться или расходиться по местам. Между тем художник Орацио все так же — прыжками и пируэтами — приблизился к стене, перевернул картон другой стороной и, вытащив из кармана своей гондольерской куртки кнопки, прикрепил его. Перед нами висел незатейливый плакат, настолько простой и никому не нужный, что в комнате воцарилось неловкое молчание. На нем некрупными белыми буквами, отчетливо выделявшимися на ярко-красном фоне, было написано название торговой фирмы. Художник, казалось, развеселился еще больше. Глаза его сияли от удовольствия. Не в силах больше сдерживаться, он покатился со смеху и долго хохотал, держась за живот, раскачиваясь с пяток на носки и обратно.

Чем громче он смеялся, тем более угнетающей становилась воцарившаяся в комнате тишина. Многие в страхе переглядывались, какая-то девушка нервно хрустела пальцами. Доктор Макс стал еще печальнее и желтее, чем обычно, а Диабете, вобрав голову в плечи, почти невидимыми шажками засеменил прочь, в сторону коридора. Однако именно благодаря этому и раскрылся секрет странного плаката. Пройдя полпути, Диабете искоса, как бы с упреком, взглянул на художника, на его произведение и вдруг остановился как вкопанный, издав возглас удивления... Отступил на несколько шагов, не сводя глаз с плаката, снова охнул, отступил в сторону, подбежал к плакату вплотную, уткнулся носом, выпрямился во весь свой невысокий рост и с неожиданной торжественностью протянул художнику руку.

— Поздравляю! Ты настоящий мастер! Поздравляю от всего сердца! — сказал Диабете и прослезился.

После этого все присутствующие, включая доктора Макса и меня, затаив дыхание двинулись к плакату, чтобы рассмотреть его получше. По мере приближения я обнаружил, что красный фон постепенно менял цвет. Из красного стал фиолетовым, потом голубым, потом черным, что производило поразительный оптический эффект, как будто чья-то невидимая рука на наших глазах подменяла один лист картона другим. При удалении цвет снова менялся: из красного становился оранжевым, из оранжевого — желтым, из желтого — белым; а на белом фоне отчетливо выступали черные буквы названия фирмы. То же самое можно было наблюдать, двигаясь сбоку или по диагонали. Потрясающим было и то, что краткая надпись, составляя резкий контраст с очередным фоном, сначала бросалась в глаза, затем на мгновение исчезала и снова появлялась уже в другом цвете и на другом фоне. Проходя мимо плаката, удивленный этой сменой цветов человек поначалу мог подумать, что ошибся, или решить, что странное явление объяснялось оптическим обманом, а может быть, каким-нибудь непонятным и вызывающим тревогу перерождением сетчатки его глаз. Прохожий поневоле остановится, чтобы себя проверить. Вот он всматривается и видит красный фон, хотя за секунду до этого, казалось, видел фиолетовый. Он делает еще шаг. Сейчас фон черный. Еще шаг — и фон становится оранжевым. У человека возникает мысль, что он болен, что с ним происходит что-то неладное, что под угрозой его работоспособность, а может быть, и сама жизнь. Появляется опасение, что здоровье пошатнулось (и действительно начинается сердцебиение). Уж не опухоль ли в мозгу? Возникает предчувствие близкой смерти... Готовый к самому худшему, он оглядывается вокруг и видит, что все осталось прежним: улица с яркими витринами, зеленые троллейбусы, голубое небо... Тогда он снова обращает взгляд на плакат (который тем временем, наверное, опять изменил цвет), догадывается, в чем дело, и, быстро (даже слишком быстро!) забывая

свои мрачные мысли о смерти, надолго запоминает название торговой фирмы.

Таков был ход моих мыслей, и я уверен, что все присутствующие подумали то же самое.

Первым заговорил доктор Макс.

— Прекрасно, великолепно... Потрясающая находка! — повторял он.

До сих пор он стоял, не вынимая рук из карманов, прислонясь к косяку и пристально глядя перед собой, а теперь направился к плакату и подошел к нему почти вплотную.

— Молодец,— заключил он.

Тем не менее в его голосе и в тоне, каким он похвалил художника Орацио, чувствовался холодок. То же ясно выражал и его взгляд.

Если учесть, какую революцию должно было произвести изобретение художника и как эффектно оно было преподнесено, тонкий голос доктора Макса прозвучал слишком спокойно и сдержанно. В его взгляде вдруг отразилась скука и даже усталость, словно ему хотелось поскорее заняться чем-нибудь другим. Он еще раз сказал:

— Молодец, молодчина.— И добавил: — Однако уверены ли вы, что эта штука еще не получила распространения? Не полагаете ли вы, что как рекламная находка она несколько устарела? Мне кажется, я уже видел нечто подобное. Не помню где, но что видел — это точно.

Художник Орацио посмотрел на него долгим взглядом — сначала пристально, в самые глаза, потом иронически. Он не спеша вынул кнопки; плакат соскользнул на пол. Орацио подобрал его, вложил обратно в папку, ласково провел по нему рукой и завязал тесемки. Наконец, все с той же улыбкой, повернулся к доктору Максу (служащие к этому времени уже разбежались по комнатам — так же проворно, как раньше сбежались сюда).

— Если так, будем считать, что разговор не состоялся. Отнесу в М.,— и он назвал крупную торговую фирму.— А для вас сделаю что-нибудь другое.

При этих словах доктор Макс снова прислонился к косяку (должно быть, это его излюбленная поза) и, приглаживая свисавшие на лоб волосы, сказал:

— Как вам будет угодно, Орацио. С вами невозможно иметь дело: чуть что — вы сразу лезете в бутылку! Я же вам сказал, что вы сделали прекрасную вещь; вы знаете, что я вас считаю великим художником, самым выдающимся из всех современных живописцев. Вы это знаете, и я вам это тысячу раз доказывал. Своим вопросом я никого не хотел обидеть: я лишь заметил, что, как мне кажется, нечто подобное я где-то уже видел, где — не помню. Может быть, во сне. Я вовсе не имел в виду, что вы подражатель или находитесь под чьим-то влиянием. Как раз наоборот! Другие, все остальные художники, пытаются вам подражать, но безуспешно. Ибо вы — гениальны, а они — нет. Но вы знаете лучше меня, что по нынешним временам искусство носится в воздухе и, в известном смысле, является всеобщим достоянием; имитаций — хоть пруд пруди; весь мир, а особенно наш город, кишит псевдохудожниками, то есть художниками, которые таковыми совершенно не являются. Если вы действительно обиделись, я, право, не знаю, как быть. Я вами очень дорожу, и напрасно вы на меня дуетесь. Ну, а если вы надумали идти в другую фирму, скатертью дорога: вы, Орацио, как, впрочем, каждый, кто здесь работает,— свободный человек. Насильно, на цепи я не держу никого, тем более вас, свободного художника!

Тут за распахнутой дверью кабинета доктора Макса настойчиво зазвонил телефон, и доктор Макс широкими легкими шагами умчался к себе.

Пока он разговаривал по телефону, Орацио не открыл рта — стоял

потупившись, грустно улыбался и теребил тесемки своей папки. Я не понял причины такого отношения доктора Макса к художнику и был склонен думать, что он завидует его таланту. Я подошел к Орацио и сказал:

— Мое мнение, конечно, для вас мало что значит, но позвольте мне выразить вам свое восхищение: вы сделали прекрасную вещь! Не расстраивайтесь! Ведь доктор Макс первый это признал.

Художник Орацио ничего не ответил, даже не взглянул в мою сторону, а лишь приподнял не спеша свою белоснежную панаму над широким лбом, увенчанным жидкими волосами в легких, как у ребенка, завитушках. Вообще, если смотреть на него вблизи, все в нем напоминает огромного младенца: и круглое розовое лицо, и пухлые пальцы, и туго обтянутые костюмом мясистые округлые конечности,— все, кроме маленьких, очень черных глаз, в которых еще светились те хитрые веселые искорки, которые он метнул в меня, произнося не понятую мною фразу. Более того, казалось, он вот-вот выкинет какой-нибудь фортель — подпрыгнет, сделает пируэт и расхохочется. Глаза его шныряли по сторонам, то и дело поглядывая на открытую дверь кабинета доктора Макса, где тот как раз заканчивал телефонный разговор.

Доктор Макс быстрыми шагами вышел из кабинета и подошел к нам. Резко отстранив меня рукой, он продекламировал:

— Извините меня, Орацио, простите меня, Орацио! Что я должен сделать? Встать на колени?

И, подражая шутовским повадкам художника, припал на одно колено и отвесил глубокий поклон.

— Что вы, доктор Макс! — Художник впервые за все время назвал его доктором Максом.— Дело совсем не в этом. Мы же не дети. Ведь выкладываешься весь до конца, только и думаешь, как бы угодить фирме и вам... Будь на вашем месте кто-нибудь другой, разве я бы согласился работать штатным художником торговой фирмы? Да ни за какие деньги! Я ведь не из таких... Если что не так — до свидания, только меня и видели. Понятно? Значит, дело не в прощении, а в понимании, во взаимопонимании...

Но доктор Макс его уже не слушал. Своими легкими, быстрыми шагами, на ходу приглаживая волосы, он направился к двери и стал громко, отчаянно громко звать:

— Бомболо! Где Бомболо?

Он неожиданно обратился даже к курьеру:

— Вы не видели Бомболо?

Тот вскочил. Лицо его исказилось гримасой боли (заныли ноги — не успел, как всегда, вставая, опереться руками о стол).

— Доктор Бомболо? Не знаю, пришел ли... Может быть, он наверху.

Доктор Макс вышел было на площадку, но снова вернулся и сказал:

— Извините, Орацио, давайте сходим к Бомболо, послушаем, что он скажет!

Затем, обращаясь ко мне, добавил:

— Простите, я совсем о вас забыл! Идемте, идемте с нами наверх!

Он взял нас обоих под руки и потащил на площадку. Там одна из дверей, на которые я обратил внимание еще утром, была распахнута, за ней стояла освещенная кабина лифта. Доктор Макс втолкнул нас в лифт (художник немного замешкался — большая папка с рисунками еле влезла в кабину) и нажал кнопку. В лифте было прохладно: наверно, работал вентилятор или прибор для кондиционирования воздуха. Поля панамы художника Орацио трепыхались, будто от морского ветерка. Скоростной лифт быстро взлетел к верхним этажам.

— Мы едем в новое здание? — глупо спросил я. По-видимому, в моем взгляде и голосе мелькнул наивный испуг провинциала, потому что доктор Макс рассмеялся.

— Ах да, вы же еще не были в новых отделах! Вы в первый раз, да?

— Да,— просто ответил я.

Художник Орацио комментировал мой односложный ответ недоверчивым взглядом, который, казалось, говорил: «Я прекрасно вижу, куда ты метишь, изображая этакую святую невинность! Представляешься деревенским простачком, чтобы втереться в доверие. Не на того напал: тебя тут в два счета раскусят. Тогда пеняй на себя!»

А вслух противным голосом протянул:

— Ах вот как? В таком случае советую: как только доберешься до верха, напиши открытку маме! — тем самым ясно подтвердив то, что за минуту до этого выразил его взгляд.

К счастью, доктор Макс, по своему обыкновению погруженный в размышления, не заметил ни этих взглядов, ни намеков.

Лифт завершил свой сумасшедший взлет вверх (временами мне казалось, что я не поднимаюсь, а плавно, как перышко, спускаюсь вниз), дверь на роликах легко раздвинулась, и перед нами открылся огромный зал, утопающий в солнечном свете. Две боковые стены его были сплошь из зеленовато-голубоватого стекла; солнце выглядело сквозь них черным диском с золотистыми дымящимися краями. Пол, казалось, был тоже из стекла или из черного мрамора. Я шел по нему со всей осторожностью, какую позволяла мне стремительность доктора Макса, тащившего меня за собой. Внезапно доктор Макс остановился и прошептал мне на ухо:

— Сейчас это кажется вам очень красивым, потому что внове. Но все это глубоко аморально, безнравственно! Безнравственно так далеко уводить человека от природы! Похоже, что летишь в самолете... Будь моя воля, я бы и минуты здесь не пробыл. Всех сюда тянет, а я здесь не бываю месяцами.

— Это замечательно! — вырвалось у меня.

Я попытался немного задержаться посредине зала, чтобы взглянуть через огромные стекла на простиравшийся внизу город — низкие крыши, большое зеленое пятно парка, легкую гряду плывущих облаков (хотя в тот момент мне показалось, что плывем мы), на большой самолет, который стремительно взмывал в воздух, оставляя позади себя длинный хвост черного дыма.

— Это чудесно! — повторил я, ослепленный морем света, всей этой великолепной панорамой.

На секунду я осознал, как велико мое счастье. Сколько событий произошло за один день! Я нашел работу, познакомился с хозяином торговой фирмы доктором Максом (который в это время так крепко держал меня под руку, что у меня даже мелькнула мысль о западне), видел много других людей, с которыми мне предстояло познакомиться еще ближе. А сейчас я находился на самом верхнем этаже новой резиденции фирмы. Не далее как утром я был счастлив уже тем, что мог любоваться ею снизу, да и это почитал за дерзость юнца. А теперь? Что будет теперь?

Но доктор Макс уже тянул меня дальше, в глубину зала. Возможно, он понял по моим глазам, как я был восхищен увиденным, потому что раздраженно проворчал:

— Не вздумайте приходить сюда, грязнить себе душу, как все! Вы только сегодня утром приехали из провинции, чистым и незапятнанным. Пусть ваши глаза всегда отражают то, что сейчас,— нетронутость души. Пожалуй, мне следует позаботиться об этом самому. Будете работать внизу, в старом здании, на втором этаже рядом со мной!

— А можно мне время от времени приходить сюда? — спросил я, сам поражаясь своей смелости.

Доктор Макс ничего не ответил. К тому же в этот момент в задней стене зала открылась дверь. Ее огромные створки распахнулись еще до того, как мы к ней приблизились.

Мы вошли в коридор, освещенный рассеянным светом, со множеством дверей по обеим сторонам. С возгласом «Бомболо! Бомболо!» доктор Макс открыл одну из этих дверей. Она вела в небольшой кабинет, с передней стеной из сплошного стекла. За письменным столом из металлических трубок сидел тучный мужчина и что-то диктовал секретарше, которая, увидев нас, тут же упорхнула. Мужчина засмеялся. Его смех был похож на верещание и в то же время на лошадиное ржание. Он смеялся смачно, мячиком подпрыгивая на вращающемся кресле. Из глаз его градом текли слезы, и, чтобы осушить их, ему пришлось извлечь из кармана носовой платок.

— The Little Big Boss!* — выкрикнул он писклявым голосом в виде приветствия доктору Максу, который тотчас насупился.— Какими судьбами вы здесь, на олимпе безнравственных?

— Шут! Наконец-то! В котором часу вы являетесь на работу?! Где я вас только не искал! — оборвал его доктор Макс. Но сразу же осекся: — Знаю, знаю, у вас свободное посещение. Я спросил просто так. Но вы совершенно неуловимы.

— Любовные дела, Herr Doktor Max**. Même l'amour c'est un commerce***,— продолжал толстяк.— Шучу, шучу! Неужели нельзя пошутить? Вспомните, что вы молоды. Жизнь так хороша! Правда...

Тут Бомболо заговорил тоном ниже; в голосе его зазвучали серьезные, задумчивые нотки, словно то, о чем он собирался сказать, требовало глубокого, чуть ли не благоговейного отношения.

— Я просидел весь день у Бибендума. Его торговый проект — великолепная штука! Что ни говорите, он незаменимый специалист. В составлении такого рода проектов ему нет равных. Большой стилист и большой поэт.

— Вот как? — заинтересовался и встревожился доктор Макс.— Когда же он его представит?

— Если дело пойдет так, как сейчас, то он через месяц кончит...

— Не слишком ли быстро? Впрочем, вы говорите «стилист»... Я молчу.

Лишь тут Бомболо заметил меня и художника Орацио.

— Все будет отлично! Voilà le grand maître!**** — И он протянул Орацио руку. Тот подскочил, чтобы ее пожать. Затем Бомболо обратил взгляд в мою сторону, но, должно быть, из-за слез, которые он снова стал утирать скомканным мокрым носовым платком, так меня и не разглядел.

Доктор Макс сел на место секретарши и принялся с любопытством рассматривать бумажки, которые она оставила на своем столе. Схватив одну из них, он закричал:

— Если вы виделись с ним сегодня утром, то зачем вам понадобилось писать ему письмо?!

Было совершенно очевидно, что Бомболо соврал и придумал встречу с Бибендумом, чтобы оправдать свой поздний приход на работу.

Доктор Макс смотрел на него с тем выражением, которое я уже подметил у него,— как насекомое, приготовившееся ужалить. Он пожелтел; глаза спрятались в щелках век; в углах рта выступили белые апигментные пятна; он весь съежился, по телу от затылка к спине пробегала мелкая дрожь.

---

* Маленький большой хозяин *(англ.)*.
** Господин доктор Макс *(нем.)*.
*** Любовь — тоже коммерция *(франц.)*.
**** А вот и наш великий мэтр *(франц.)*.

Доктор Бомболо покраснел. Мокрые от слез глаза расширились от удивления. Ему было явно не по себе... В комнате воцарилась такая глубокая тишина, что стало слышно ритмичное посапывание установки для кондиционирования воздуха.

— Какое письмо? Что за письмо? — промямлил, наконец, доктор Бомболо, сгорая от стыда.

Не говоря ни слова, доктор Макс бросил ему в лицо листок — словно влепил пощечину. Доктор Бомболо вздрогнул и заслонился рукой. Потом с натугой, кряхтя, нагнулся за упавшей на пол бумажкой. Поднеся ее к самому носу (значит, он близорук), Бомболо несколько раз пробежал глазами написанное от начала до конца. Воспользовавшись паузой, он собрался с мыслями и, готовый отразить удар, вскочил, залился пронзительным смехом, от которого затряслось все его тучное тело, и затараторил:

— Ах, это? Хи-хи-хи... Да это же частное письмо! Как vous vous permettez *, mein Doktor **, заглядывать в мою личную переписку? Хи-хи-хи, извините, но это нехорошая привычка...

Не успел он договорить, как доктор Макс, ярость которого, равно как и сходство с насекомым, достигла предела, весь затрясся, вскочил со стула, схватил все лежавшие перед ним бумаги и швырнул их Бомболо в физиономию.

— Здесь я хозяин! Понятно?! — пронзительно взвизгнул он.— Хозяин — я, я, я! Мне надоело быть рабом своих подчиненных; иметь дело с хитрюгами, с лисицами, ежами и ласками! Я больше не в силах это терпеть, я вас всех выгоню вон... Просто противно! Я плачу вам деньги и взамен требую уважения. Дело даже не в деньгах. Плевать мне на деньги, я бы прекрасно мог обойтись и без них! Важна моральная сторона дела! А это аморально, безнравственно, безнравственно, понимаете? К сожалению, бог вас почему-то не карает, но дайте срок, я сам найду на вас управу! Понятно вам? Понятно? Понятно?!

Он докричался до того, что из горла его вырывалось лишь сипенье. Швыряя листки бумаги вверх и в лицо доктору Бомболо, он выскочил в коридор и хлопнул дверью с такой силой, что она снова распахнулась. Его хриплые выкрики еще долго слышались в отдалении, но слов разобрать уже было нельзя.

Я тотчас последовал за доктором Максом. В кабинете Бомболо я чувствовал себя непрошеным гостем (нас так и не представили друг другу). Мне там явно нечего было делать. Мое присутствие только усугубило бы раздражение Бомболо: я, безусый юнец, оказался свидетелем безобразной сцены, вся вина за которую — это было совершенно очевидно — ложилась на него. Да и художнику Орацио я тоже действовал на нервы. Ему надо было поговорить с Бомболо, похвастаться плакатом. Значит, я был помехой обоим. Сейчас они будут долго обсуждать все, что произошло с тем и с другим, и ни к чему им, чтобы при этом присутствовал человек, сопровождавший доктора Макса.

Воспользовавшись их временным замешательством, я вышел из комнаты и по длинному коридору, через зал, залитый золотисто-зеленоватым светом (солнце за стеклянными стенами клонилось к закату), побежал к лифту. Лифт был занят, кто-то спускался — возможно, сам доктор Макс,— и мне пришлось подождать.

Безмерное счастье, которое я испытывал незадолго до этого, было отчасти омрачено случившимся. Я спрашивал себя, как станет относиться ко мне Бомболо (должно быть, занимавший видное положение в фирме), увидев меня при столь неблагоприятных обстоятельствах. Весьма вероятно, что и он, и художник Орацио (большой мастак всех передраз-

* Вы себе позволяете *(франц.)*.
** Мой доктор *(нем.)*.

нивать и высмеивать!) приняли меня за подручного, или советчика, или просто за тайного агента доктора Макса. Было бы полбеды, если бы я встретился с ними в первый и в последний раз. Но поскольку я, можно сказать, уже принят на работу в фирму и в ближайшие же дни оба они так или иначе опять со мной увидятся, то их подозрения или предположения подтвердятся: ведь доктор Макс ясно сказал, что он не желает, чтобы я находился в новом здании, а хочет держать меня только при себе.

Меня подмывало вернуться в кабинет доктора Бомболо, объяснить им обоим, что мое присутствие было случайным, что оно было вызвано только тем, что я легкомысленно, не подумав, принял приглашение доктора Макса составить ему компанию, отправиться вместе наверх. И я пошел было обратно. Но дойдя до середины зала, остановился — остановили меня два весьма веских соображения. Во-первых, мое неудержимое желание внести ясность и заверить их в моей честности могло выглядеть назойливостью (даже если я постучу и назову свою фамилию — ведь ни тот, ни другой ее не знают), или же попыткой подлизаться, продиктованной страхом, что меня приняли за сторонника доктора Макса, или же попросту шпионским маневром с целью подслушать, о чем они говорят. Во-вторых, меня удерживала собственная совесть: ведь в этой истории доктор Макс был прав, а доктор Бомболо показал себя как последний лгунишка!

И я вернулся назад, к лифту; в этот момент как раз застрекотало реле — значит, лифт освободился. Дверь отворилась, я вошел и нажал кнопку второго этажа. Спускаясь, я ругал себя: вместо того чтобы ломать голову над тем, что подумают обо мне доктор Бомболо и художник Орацио, лучше бы я полюбовался закатом из стеклянного зала, который, быть может, мне больше никогда не доведется увидеть! А доехав до низа, я ругал себя за то, что занимался всю дорогу сетованиями, вместо того чтобы наслаждаться медленным спуском лифта в ничто — ощущением, которое я незадолго до этого уже испытал и даже определил как невесомость, вызванную скоростью подъема.

Но тут, увы, двери лифта на втором этаже распахнулись, и я вышел. Курьера на месте не было. Я прошел в кабинет Диабете. Там тоже было пусто. Возможно, Диабете уже ушел, а может быть, старое и новое здание работали по разным графикам, и здесь, внизу, рабочий день уже кончился. Тогда я вернулся обратно в приемную, спустился по лестнице и вышел на улицу.

Почти совсем стемнело. Там, наверху, еще сиял закат, но отсюда, из-за домов, его уже не было видно. В небе плавало несколько розовых облаков; их неровные края были освещены последними лучами заходящего солнца. Но вот на темно-фиолетовом небосклоне зажглись звезды, а на улицах и в магазинах — неоновые огни.

Наконец я остался один, сам себе хозяин. Добрый город, сразу предложивший мне работу, раскинулся перед моими глазами.

Я шел, шел, шел, без устали рассматривая дома, улицы, магазины, кинотеатры, нескончаемый поток весело — будто в шутку — сигналивших автомобилей, приглядывался к людям, шагавшим рядом со мной по тротуару. Я даже сделал несколько покупок. Зашел в магазин готового платья и спросил, сколько стоит коричневый плащ, выставленный в витрине. Ко мне подошел один из продавцов. Когда я спросил насчет цены, он ничего не ответил, сказав лишь:

— Присядьте!

И указал мне на кресло у прилавка. Усевшись в красное кожаное кресло, я уже не посмел переспросить относительно цены и дождался, когда продавец вынес мне плащ, оказавшийся еще красивее, чем я предполагал. Продавец не похвалил товар и вообще не произнес ни слова.

Прошептав: «Парашютный шелк», он быстрым движением своих красивых нервных рук сжал плащ в комок и подбросил кверху. Плащ парашютом раскрылся в воздухе и медленно опустился на подставленные ладони. Продемонстрировав таким образом свою ловкость, продавец улыбнулся. Зубы у него были ослепительно белые и ровные, как, впрочем, и у остальных продавцов. Я даже подумал, не родные ли они братья. Следя за тем, как раскрывался и планировал подброшенный вверх плащ-парашют, они улыбнулись и приоткрыли рты, показав тем самым, что, кроме одинаковых синих пиджаков с золотыми пуговицами, у всех у них еще и одинаковая белозубая улыбка. «Здорово им повезло,— подумал я,— что они устроились в магазин, владелец которого заботится не только об их одежде, но и о состоянии зубов! У многих из них, несмотря на молодой возраст и приятную внешность, были наверняка никуда не годные гнилые, кривые зубы, что, к сожалению, вообще свойственно нашей расе, и только благодаря заботам хозяина во рту у них сверкают два ровных ряда симметричных и безукоризненно белых зубов, какие можно наблюдать только у африканцев».

Тут продавец предложил мне померить плащ, что я и сделал с его помощью перед зеркалом. Плащ был великолепный, и я снова спросил, сколько он стоит. Не переставая улыбаться, продавец чуть слышно назвал цену. Она была очень высока. Мне еще никогда в жизни не приходилось выкладывать единовременно такую уйму денег, и я не знал, как быть. По-видимому, угадав мое замешательство, продавец, уже без улыбки, предложил:

— Если желаете, можете приобрести его в рассрочку: часть внесете сразу, а остальное — в несколько приемов.

— Очень красивый плащ! — сказал я в ответ, намереваясь добавить для приличия еще несколько фраз и ретироваться, но продавец не дал мне договорить и, поджав губы, процедил:

— Как вам будет угодно.

Тогда я твердо заявил:

— Я его беру.

И так же твердо добавил:

— В рассрочку.

— Прекрасно! Спасибо! — обрадовался продавец. В тот же момент, нарушая торжественную, почти благоговейную тишину магазина, застрекотала счетная или счетно-электронная машина.

— Будьте любезны, соблаговолите заполнить вот этот личный листок! — попросил продавец.— Присядьте сюда, пожалуйста! А я тем временем распоряжусь, чтобы вам завернули покупку.

И он подал знак стоявшей неподалеку девушке.

Я проделал все, что от меня требовалось. По мере того как я заполнял очередную графу, счетная машина, тикавшая где-то в отдалении, ее перепечатывала. Затем мне пришлось подписать три бланка — по одному на каждый взнос.

Однако возникла небольшая трудность в связи с моим местожительством. Они не могли оформить продажу в рассрочку лицу, проживающему в провинции; оказывается, в каждой провинции у них есть свой представитель, и только он имеет право оформлять продажу и взимать взносы. Другое дело, если бы я купил плащ за наличный расчет...

— Но я не могу приобрести его за наличные! — возразил я, желая покончить с этим сложным вопросом.— Придется зайти в другой раз...

Видя, что я приподнимаюсь с красного кожаного кресла, продавец поспешно проговорил:

— Сидите, сидите! Это невозможно...

Приложив руку ко лбу, он немного подумал и, снова заулыбавшись, сказал:

— Это невозможно! Видите ли, бланки уже отпечатаны. Более того, вы их уже подписали.

— Ну и что?

— Значит, плащ уже является вашей собственностью. Все равно как если бы вы оплатили его полностью.

— Не понимаю,— недоумевал я. Дело в том, что я впервые приобретал вещь в рассрочку. Поспешность, с какой они провернули всю операцию, по-моему, свидетельствовала о неуважении к клиенту.

— Подождите минуточку, я узнаю, нельзя ли что-нибудь сделать! — сказал продавец и направился к внутреннему телефону. Переговорив с кем-то — должно быть, с хозяином,— он, зардевшись от удовольствия, снова подошел ко мне.— Вы здесь проездом или поживете несколько дней?

— Я полагаю, что буду жить здесь постоянно! — с наивной гордостью ответил я.

Продавцы переглянулись.

— Тогда все в порядке! Оставьте нам номер вашего телефона или здешний адрес, и вы будете регулярно получать наши извещения.

Я дал свой новый адрес, внес задаток, взял пакет с плащом и удалился.

По дороге я сделал еще покупку: приобрел бумагу, конверты и чернила для вечного пера. Со свертками под мышкой я еще немного побродил по улицам.

Я совсем не помню маршрута этой своей первой прогулки по городу. Из всего, что я видел, мне особенно запомнились огромный собор, большая площадь, застроенная зданиями, испещренными неоновыми надписями, ярко освещенный небоскреб, тоже весь из стали и стекла (еще грандиознее, чем резиденция моей фирмы), возвышающийся среди водяной глади, где плавают широкие круглые листья и кувшинки; внутри него, насколько я мог разглядеть, расположены просторные выставочные залы, где на стендах выставлены какие-то предметы из стали и стекла.

На одной из оживленных улиц (вернее, на одном из ее поворотов, где мчащиеся с огромной скоростью автомобили то и дело издают колесами протяжный, завывающий звук) мне бросилась в глаза большая неоновая вывеска над баром: «Секси-джин». По-видимому, привлеченные гигантской рекламой, в бар вереницей тянулись посетители. По первому знаку официанты в белых пиджаках наливали джин в фужеры с полоской сахарного песка по краям, стоявшие наготове вдоль всей стойки.

Я, как и все, выбил в кассе чек. Как здесь все дорого! Я уж пожалел, что уступил своему «сексуальному любопытству» и соблазнился знаменитым ликером. На вид — ничего особенного: ликер как ликер, зеленоватого цвета, но по вкусу и запаху ни на один другой не похож. Отдает мхом, влажными корнями, молоком и каким-то образом наводит на мысль о красивой, очень молодой женщине. По виду он не густой, но в действительности чуть вязкий. Запах производит такое же впечатление, как и вкус, только еще интенсивнее.

Когда я вышел из бара, у меня слегка шумело в голове; я был доволен, что все-таки не пожалел денег и попробовал знаменитый «секси-джин». Однако вскоре я почувствовал, что пьянею, и в состоянии какого-то непонятного внутреннего возбуждения принялся скакать с трамвая на троллейбус, с троллейбуса на автобус и скакал до тех пор, пока перед моими глазами не выросла громада центрального вокзала. Я сходил за чемоданом, после чего снова пустился колобродить по трамваям и троллейбусам и, в конце концов, заблудился, так как незаметно для себя в одном из трамваев уснул. Проснувшись, я сошел и долго брел по

какому-то нескончаемому пустынному бульвару, освещенному длинными локтями ламп дневного света, потом взял такси и приехал домой.

Ключей у меня не было, а позвонить по телефону хозяйке я не догадался. Пришлось разбудить привратницу, которая проводила меня наверх. Я долго звонил. Наконец, дверь открыл толстый и высокомерный парень моего возраста, который не имел ни малейшего намерения впускать меня в дом. Тогда из спальни вышла хозяйка. Она меня узнала, я рассыпался в извинениях, прошел, наконец, в свою комнату, и вот я здесь.

Я очень устал, а заснуть не могу — не спится. Раздумываю обо всем, что сегодня было, о людях, которые прошли передо мной, о тех, с кем я познакомился. Но в голове у меня полный сумбур. Я очень взволнован. Оттого, наверно, мне и не удается привести в порядок свои мысли, уловить связь между одной встречей и другой, сделать для себя вывод, который в будущем мог бы оказаться весьма полезным. К примеру, как надо понимать то особое расположение, если не сказать — дружбу, которую выказал ко мне с момента нашего знакомства доктор Макс? И каково его отношение к Диабете, который ввел меня в фирму и представил ему? Что значат непонятные слова художника Орацио? Как истолковать властный и грустный взгляд обезьяны-швейцара? (А может, вовсе и не грустный, а притворно любезный — я уж сейчас не помню!) И как мне вести себя с Бомболо после того, что случилось? Он явно в приятельских отношениях с Бибендумом, а Бибендум — один из крупнейших знатоков торгового планирования в нашу эпоху. Уж не говоря обо мне, все считают его гением. Общеизвестно, что он вершит судьбами значительной части товаров, наводняющих рынок. Неужели наступит такой день, когда он узнает и обо мне, о том, что я существую на свете, о моем приходе в фирму?

А как будет с оплатой плаща? Вдруг копии счетов начнут пересылать в фирму? В таком случае, как к этому отнесутся? Как к не стоящему внимания пустяку или, с легкой руки доктора Макса, расценят мою безумную расточительность, как аморальный поступок? (Дескать, не успел приехать и поступить на службу, как уже влез в долги!)

Впрочем, что толку ломать себе голову! Все равно я не в состоянии ответить на все эти вопросы, по крайней мере сейчас. Поэтому я предпочитаю смотреть не вперед, а назад и мысленно переношусь в родной город, где я оставил родных и невесту Марию, о которой я за целый день ни разу не вспомнил.

Прости меня, Мария! Но если бы ты знала, что это был за день! Не думай, что я тебя разлюбил. Ты же знаешь, я приехал сюда, в большой город, только для того, чтобы найти работу и поскорее выполнить свои обязательства перед тобой, перед твоей семьей, перед всеми, кто знает, что мы с тобой вот уже три года как помолвлены. Работу я нашел и надеюсь, что теперь все будет в порядке.

Перед моим мысленным взором предстают родной город, родители, главная площадь, вдруг потемневшая от тучи вспорхнувших голубей, медлительная илистая река, некогда судоходная, а сейчас превратившаяся в сероватый ручей, на поверхности которого плавают зеленоватые бороды праотцев, дедов, прадедов и прочих наших предков, чьи тела и кости размыла загрязненная кислотами речная вода. Я вижу стариков и старушек, выходящих из глубокой тени многочисленных церквей, где уже навсегда погасли тонкие свечки. Среди них и мои родители. Вот они: мать идет впереди, отец на полшага отстал. Раздвинув тяжелый, обшитый кожей занавес церкви, они выходят на улицу, бредут меж деревьями и о чем-то беседуют. О чем, я не знаю. Быть может, о том, оправдаю ли я их надежды. Ну что ж, дорогие мои! Вы меня сейчас не слышите, но могу вам сказать, что я счастлив и что не напрасно вы воз-

лагаете на меня все свои надежды: за один сегодняшний день я уже сделал столько... Много, очень много, гораздо больше того, что вы, при всей вашей любви ко мне, могли от меня ожидать!

II

от я и при деле, в своем новом кабинете,— маленькая частица производственного коллектива, именуемого торговой фирмой. Я счастлив. Доктор Макс сдержал слово и действительно поместил меня рядом с собой. Моя комната — как раз напротив его кабинета, нас разделяет лишь небольшой коридор. Она очень мала — раньше здесь помещалась персональная уборная доктора Макса. Унитаз и умывальник сняли, и вместо них сейчас здесь я, стул, стол, пепельница и вешалка у окна. Признаться, настоящей работы у меня еще нет. Доктор Макс сказал, что намерен использовать меня в самых различных областях, на первых порах — в подсобной роли, о чем, впрочем, свидетельствует и выбор рабочего места. Но он заверил, что настанет и мой черед, когда от меня потребуется максимальное напряжение сил, максимальная отдача. Я только о том и мечтаю, я к этому готовлюсь. Вернее, я уже готов и даже полон нетерпения, потому что провожу долгие часы, сидя за столом и ничего не делая. Правда, я усиленно размышляю о своем будущем.

Я прекрасно знаю, что прошел слух, главным образом благодаря стараниям Бомболо, будто доктор Макс посадил своего протеже в сортир, но я не обращаю на болтунов никакого внимания. Я согласен с доктором Максом, считающим, что новое здание фирмы — это средоточие безнравственности, как безнравственны все те, кто там работают. Впрочем, никакой разницы (если не считать некоторого различия в жалованье, да и то незначительного) между мною и служащими, которые сидят в просторных кабинетах с застекленными стенами, сверкающей мебелью и кондиционированным воздухом, нет. Жалкие людишки! Они не понимают, что в любом кабинете они так же, как и я, полностью зависят от фирмы, что их престиж и внешние атрибуты власти ничегошеньки не стоят, а, напротив, лишь подчеркивают их ничтожество в глазах посторонних людей и доктора Макса.

Прежде всего я благодарен доктору Максу уже за то, что он отказался в мою пользу от персональной уборной, продемонстрировав тем самым, как последовательно он проводит в жизнь свои моральные принципы. Он сказал мне буквально следующее:

— Почему я должен иметь персональную уборную? Это аморально! Почему у меня она есть, а у других — нет? Лучше переделаем ее в кабинет, а кабинет отдадим вам. Вы слишком умны, чтобы обидеться на это. Впрочем, вам предоставляется выбор. Что вы предпочитаете: быть рядом со мной, здесь, на втором этаже (в таком случае мы сможем все время обмениваться мнениями, мне с вами будет веселее), или получить кабинет наверху? Выбирайте!

Я не задумываясь ответил:

— Решайте вы, доктор Макс! —Я инстинктивно почувствовал, что могу называть его без всяких церемоний доктором Максом.— Для меня главное — начать работать. Конечно, желательно, чтобы мой кабинет отвечал требованиям предстоящей работы. Но где именно он будет, здесь или там, мне совершенно безразлично.

Уж не знаю, приятно или неприятно, но мой ответ поразил доктора Макса.

— Как? Вам все равно? Для многих людей это — самый больной вопрос. Приходится идти им навстречу. Удовлетворяя очередную просьбу, я, однако, делаю про себя вывод относительно того, что представляет собой человек. А вывод таков: если ты так настаиваешь на том, чтобы иметь шикарный кабинет, то тобою движет одно из двух. Либо ты требуешь этого от меня, то есть от владельца фирмы, в качестве внешнего знака уважения, как бы говоря тем самым, что, работая в таком кабинете, ты можешь претендовать и на соответствующее жалованье. Либо тобой движет своего рода психологический стимул — стремление приобщиться к собственности, к фирме, хотя бы восемь часов в день чувствовать себя в какой-то, пусть очень небольшой, мере ее совладельцем. Эта тяга к собственности, это цеплянье за собственность, с одной стороны, неприятны, а с другой — трагичны, ибо сколько бы такие люди ни старались, собственниками им все равно не стать, а придется удовольствоваться лицезрением своих кабинетов и себя восседающими в них, до тех пор пока они с ними не сольются. Они забывают, что кабинет принадлежит мне и что, сливаясь с зеркальными стеклами стен, с мебелью, кондиционированным воздухом и, самое скверное, с сутью всех этих вещей, они автоматически тоже становятся моими.

И в том, и в другом случае они были и остаются не более как моими подчиненными. Все остальное — иллюзия. Что касается вас лично, то я благодарен вам за то, что вы согласились занять эту комнату. Вы сняли с меня большой моральный груз, ибо иметь отдельную уборную — безнравственно, хотя небезызвестные вам люди типа Бомболо и Диабете только и том и мечтают.

— Но вам было так удобно... Прямо напротив кабинета... Я бы не хотел, чтобы из-за меня...— возразил я.

— Да, это было удобно, ну и что же? Если человек не в силах ни в чем себе отказать, если свести жизнь к неистовой погоне за удобствами, то до чего мы докатимся? Я прекрасно могу сделать два шага — дойти до конца коридора и воспользоваться общей уборной, даже если для этого понадобится некоторое психологическое усилие и если это вредно из гигиенических соображений. (Когда уборная открыта для общего пользования, никогда не знаешь, кто в нее может зайти. А, как вам известно, уборная, сколько ее ни дезинфецируй,— рассадник всех болезней.) Но я охотно принесу такую жертву. По сути дела в чем состоит моя политика по отношению к подчиненным? Я рассуждаю так: вам нужны шикарные кабинеты и персональные уборные? Прекрасно. Если вам так хочется, я вам их даю. А сам буду занимать простую безликую комнату и буду пользоваться общей уборной. Иначе говоря, я буду вести себя как подчиненный, а вы — как крупные деятели или даже хозяева. Однако между мною и вами есть небольшая разница: в действительности-то хозяин — я, а не вы! И все-таки не могу понять, почему вам безразлично, где сидеть...

— Так вы же сами объяснили, доктор Макс! Я полностью отдаю себе отчет в том, что хозяин — вы, и не тешу себя никакими иллюзиями насчет совладения собственностью. Я первым заявляю: раз вы взяли меня в свою фирму, значит, я наравне со всем, что здесь находится, принадлежу вам. Если вас интересует, что мне больше по душе, извольте, я скажу: я предпочел бы остаться в этом кабинете. Во-первых, он маленький, уютный, тихий. Я себя хорошо здесь почувствовал с первой же минуты — как только сел на этот стул. К тому же, возвращаясь, с вашего разрешения, к основному вопросу нашей беседы — вопросу о собственности,— должен сказать, что, по-моему, хозяину всегда спокойнее, когда его имущество находится у него под рукой.

— Стало быть, вы считаете себя моей собственностью? — прервал меня, улыбаясь, доктор Макс.

— Да, по крайней мере до тех пор, пока буду здесь, с вами, в этой торговой фирме. Но так как я надеюсь остаться навсегда...

Доктор Макс вдруг скорчил презрительную гримасу, и я запнулся на полуслове.

— Вы глупец! Стыдитесь! Что за рабские, расистские, гнусные рассуждения! Как может человек быть собственностью другого человека?! Что за чепуху вы несете!

— Но...— пробормотал я.

— Вы свободный человек! Понятно? И должны себя вести соответствующим образом. Вы принадлежите только самому себе и больше никому. И меньше, чем кому бы то ни было, вы принадлежите мне. Еще этого не хватало!

С этими словами он стукнул по столу своей сухощавой рукой с длинными ногтями (я впервые обратил на них внимание).

— И прекратите курить! Вы здесь так надымили, что хоть топор вешай! — крикнул он и вышел, хлопнув дверью.

— Доктор Макс! — закричал я прерывающимся от волнения голосом и бросился вслед за ним.

Но доктор Макс уже скрылся в своем кабинете — красная лампочка, горевшая возле двери, ясно показывала, что он просит его не беспокоить. Я вернулся к себе и в полном смятении чувств распахнул окно. Весь дым сразу вышел (жаль, что слишком поздно!), облаком поплыл вверх, вдоль стекол верхних этажей, и рассеялся. Я захлопнул окно, сел на свое место и схватился за голову.

Я был в отчаянии. Что делать? Прежде всего я подумал: зачем я сижу на этом стуле, к которому уже привык (но на который теперь не имею никакого права), в этом кабинете? Сижу, вместо того чтобы открыть дверь, пересечь приемную, спуститься по лестнице и выбежать на улицу? Сейчас я встану. Пройдет минута, и я встану... Я попытался подняться и не смог, словно меня пригвоздили к стулу. Возможно, причиной была внезапная слабость. И тем не менее, безуспешно пытаясь подняться и выпрямиться, я продолжал рассуждать: а что, если не трогаться с места? Что, если я откажусь уйти? Ведь официально доктор Макс меня не уволил, не прогнал, ничего такого мне не сказал. Может быть, еще все обойдется... Зачем спешить? Чтобы соблюсти собственное достоинство? Но что достойнее — уйти, тем самым проявив глупую нетерпимость, которая ни к чему хорошему привести не может, или, напротив, проявить стойкость, продолжая сидеть? Во всяком случае, оставшись на своем месте после такой отповеди, которая, судя по всему, означала окончательный и бесповоротный разрыв, я бы по крайней мере доказал, что верен самому себе. Пока я еще собственность доктора Макса. Чтобы отделаться от меня физически, как отделываются от ненужной вещи, он или кто-то другой по его поручению должен вышвырнуть меня отсюда: физически поднять со стула (причем я, так же как любой неодушевленный предмет — вот эта пепельница, этот стул, этот стол, эта вешалка,— не окажу никакого сопротивления), вывести за дверь и выставить на улицу. Ну что ж, посмотрим, что будет! Нет, я сдержу обещание, которое дал своим родителям: войду в фирму, буду работать, получать жалованье, женюсь, обзаведусь семьей, квартирой, куплю современную мебель, радиоприемник, телевизор, холодильник, стиральную машину — все, что полагается. А летом получу (если мне дадут!) законный двадцатидневный отпуск и поеду отдыхать, как все — как все люди на свете! Нет! Я с этого места не тронусь!

Буду сидеть, сжав зубы, никого не буду слушать и, повторяю, в любом случае останусь верным самому себе. Раз я — собственность доктора Макса, стало быть, ему и решать, а не мне. Мое дело — сидеть здесь и

выполнять функции, которые выполняют сотрудники и сотрудницы, мебель, пишущие машинки старого и нового образца и все прочее...

В этот момент дверь распахнулась, и появился доктор Макс.

— Простите меня! Вы, очевидно, уже заметили, что я истерик. Вернее, не то чтобы истерик, но меня одолевает столько мыслей и забот... Особенно моральных. В моем положении вечно бьешься над какой-нибудь дилеммой. Быть человеком и одновременно хозяином нелегко. Это тоже моральная проблема: ведь то и другое предполагает два противоречащих друг другу моральных кодекса. Так что вы меня уж извините! Что касается курения — курите, сколько хотите, это не мое дело. Только чтобы не видел мой отец. Он не терпит дыма в помещении. Я лично не курю. Раньше курил — до сорока сигарет в день. А потом бросил, так как понял, что курю не столько ради удовольствия, сколько в пику отцу. Будь я заядлым курильщиком, я бы не бросил, как вы считаете?

— Да, курение — порок, и от него нелегко избавиться,— машинально, едва слышным голосом подтвердил я.

— К тому же ваш ответ мне понравился. Вы продемонстрировали редкую последовательность, какой у нас здесь не встретишь. Однако запомните: даже если вы справедливо и трезво считаете себя моей собственностью, в действительности это не так — вы совершенно свободны. Иными словами, вы правильно делаете, рассматривая себя как мою собственность; это свидетельствует о наличии у вас практического ума, каким я, например, в ваши годы не обладал. И тем не менее вы все равно можете считать себя свободным. Кстати, я хотел сказать: вам не обязательно отмечаться по утрам. Пусть это делают другие. А вам не стоит. Это даст вам моральное право, в отличие от всех прочих, приходить на работу вовремя или даже раньше времени. И не из опасения, что вас оштрафуют, а по собственной инициативе.

Я воспрянул духом и, улыбаясь, сказал:

— Я вам очень благодарен, доктор Макс! Но зачем мне эта свобода? Я хочу быть таким, как все, иметь равные со всеми права и обязанности.

— Ах, вы уже тоже усвоили термин «права и обязанности»? Какие отвратительные слова...

— Вы правы. Они вырвались у меня непроизвольно... Я хотел сказать, что желаю быть таким, как все, не пользоваться никакими привилегиями; мы оба могли бы впоследствии об этом пожалеть.

— Ладно. Вы сами признали, что эти слова вырвались у вас непроизвольно. Пусть будет так, как вы хотите. Мне все равно. Но, знаете ли, слово «привилегия» мне тоже не нравится. Это и подобные выражения плохо звучат в устах двадцатилетнего юноши. Вы молоды и, надеюсь, не обидитесь на то, что я вам скажу. Какое дело молодому парню до «прав», «обязанностей», «привилегий»? Его голова должна быть занята футболом. Я, например, играл в футбол, а вы?

— Я тоже! — просияв, ответил я.

Чудеса! Только что я погибал от отчаяния, а сейчас беседую с доктором Максом о спорте...

— Тогда в воскресенье, если вы свободны, сходим вместе на матч!

Я согласился. Доктор Макс с улыбкой открыл дверь и, видимо, желая показать мне свое расположение, на прощание передразнил мой нервный тик (когда я чем-нибудь взволнован, я выбрасываю вперед правую руку и при этом икаю).

С того дня мы с доктором Максом виделись мало, зато я получил дополнительные сведения о нем от одной из его секретарш — Селене. Под разными предлогами Селене ежедневно заглядывает ко мне. Первое время она тихонько стучала в дверь (через ребристое матовое стекло я видел, что это она), а потом взяла себе за привычку входить без стука,

торопливо озираясь, нет ли кого в коридоре. Это дало мне повод думать, что она не всегда приходит по делу, потому и озирается: хочет убедиться, что никто не видит, как она входит.

Проскользнув в комнату, она встает у вешалки в расчете на то, что если кто-нибудь, проходя по коридору, бросит взгляд на мою дверь, то на фоне вешалки ее не заметит.

Поскольку Селене очень молода и красива, я пока не установил причины ее частых посещений; мне не раз приходило в голову, что ее подослали ко мне, чтобы совратить, а потом обо всем доложить кому надо. Я незаметно расспросил о ней Диабете. Тот презрительно поморщился и сказал, что она любовница того-то и того-то (кто эти люди, я не знаю, так как они работают в других отделах).

Селене очень молода и сексапильна. Я уверен, что у нее под черным атласным халатиком кроме трусиков и бюстгальтера ничего нет. Это и навело меня на мысль о том, что она подозрительная личность. Во всяком случае, совсем не похожая на остальных секретарш — ничем не примечательных, замученных работой девушек, поблекших от многочасового сидения за пишущей машинкой. Будьте уверены, у них под халатом надета комбинация, а может быть, и юбка с джемпером. На Селене же, по-моему, нет ничего. Меня это даже удивляет, потому что в нашем отделе работает мать доктора Макса и есть много других людей, которых полуголая секретарша доктора Макса могла бы шокировать. Может быть, она его любовница? Никак не могу понять. Диабете такое предположение отвергает. Впрочем, я его тоже исключаю, так как, по-моему, у доктора Макса не может быть ни времени, ни желания заниматься вопросами пола. Кстати, я этими вопросами тоже не интересуюсь и не желаю интересоваться. Во-первых, потому что должен думать о работе, во-вторых, не хочу обманывать доверие доктора Макса, и, в-третьих, потому что не доверяю Селене.

На днях она задала мне странный вопрос, явно с провокационной целью:

— Вы уже пили «секси-джин»? Ручаюсь, что да!

С этими словами она, чем-то очень возбужденная, прижалась к вешалке.

Последовало долгое молчание. У меня сдавило горло, я посмотрел на нее, она опустила глаза. Потом Селене сказала, что недавно ездила к морю; и в самом деле у нее еще не сошел загар. Ее кожа пахнет точь-в-точь как «секси-джин». Потому она, наверно, и заговорила об этом. Я посмотрел на нее долгим взглядом. Талия у нее перетянута пояском; под халатом, туго облегающим тело, вырисовывается точеная фигура. Она похожа на рекламную картинку с обложки календаря: ноги длинные, грудь упругая, высокая; маленький, плоский, круглый живот чуть приподнимается при дыхании. В тот день она была чем-то явно взволнована или смущена.

От учащенного дыхания живот ее трепетал; халат так плотно прилегал к нему, что я мог ясно рассмотреть впадинку пупка. Но лицо у нее правильной овальной формы, совсем детское. Нос, уши, рот очень миниатюрные, глаза удлиненные, ясные, волосы короткие, кудрявые. Судя по лицу, она человек очень скрытный. И действительно, говорит она мало, с трудом, зато тело ее всегда в движении. Как бы компенсируя ее неразговорчивость, оно вибрирует и содрогается, словно она стоит нагишом на ветру.

— Да. И у «секси-джина» ваш запах,— наконец проговорил я.

Селене не ответила, медленно запустила руку под халат и, насколько я мог видеть, сжала грудь длинными загорелыми пальцами. Глазами-щелочками и чуть припухшими губами она походила на девочку, которая спит и чуть вздрагивает от мимолетных сновидений. Некото-

рое время она стояла так, выпятив живот, склонив всклокоченную голову к плечу и опершись ею о стену. Несколько раз, внезапно зардевшись, она бормотала какие-то непонятные слова. (Наверно, в этот момент ей как раз и являлись сновидения.)

Я, как во сне, подошел было к ней, но тотчас опомнился и устыдился. У Селене тоже был вид провинившейся девочки: она стояла с зардевшимся лицом и дрожащими пальцами застегивала халат. Так она и вышла, не поднимая головы, оставив в моей комнате свой запах.

Я распахнул окно. Мне было безмерно стыдно за то, что произошло. Среди прочего мне пришло в голову, что из нового здания фирмы нас могли видеть. Я решил проверить, так ли это, и встал на то место, где стояла Селене. Нет, видеть нас не могли, потому что из окон новых отделов виден как раз противоположный угол моей комнатушки — тот, в котором сидел я. Стало быть, Селене это известно, потому-то она, входя в мой кабинет, и проскальзывает в угол, к вешалке.

С того дня между нами больше ничего не было. Я не хочу.

Из-за Селене меня мучали угрызения совести и лезли в голову разные мысли. Я понял, что ее никто ко мне не подсылал и что она в некотором роде влюблена в меня. Значит, на этот счет можно быть спокойным. Но если она повела себя так со мной с первых дней знакомства, то чем же она занята весь день, бродя из кабинета в кабинет, по всем отделам, начиная от моего и кончая новым зданием и складами? Послушать Диабете, так у нее куча любовников, но я не склонен этому верить, потому что Селене хотя и сексуальна, в то же время очень целомудренна.

При виде ее гладкого выпуклого лба у меня почему-то возникает мысль, что эта толстая выпуклая крышка, тянущаяся от виска к виску,— не полая, что она гораздо массивнее, чем ей положено быть. Возникает желание стукнуть по ней молотком и посмотреть, что там внутри. Но когда Селене вдруг впадает в состояние эротического транса, ее выпуклый лоб (под которым несомненно таится секрет ее странного характера) белеет, утрачивает свою массивность, становится чуть ли не прозрачным, как у новорожденного младенца. Костная броня превращается в белую, как алебастр, лучезарную поверхность. И тогда ее тайна становится еще непостижимее, на лице и губах появляется истома, ноздри белеют, а бледные, без кровинки, веки, кажется, вот-вот сомкнутся навсегда.

Я не знаю, что Селене делает и в чем состоят ее обязанности. Обычно она приходит ко мне сама, и мне неизвестно, есть ли у нее постоянное рабочее место, в каком она отделе — в том же, что и я, или в другом, где-нибудь в новом здании. Однажды, подойдя к окну и посмотрев вверх, на стеклянную стену, я увидел Селене на четвертом этаже: она стояла, прислонившись к стене; я узнал ее по ногам. У меня екнуло сердце. В этот момент она сердито отвернулась (я узнал ее манеру), поглядела в окно. Она улыбалась. Стекло отсвечивало, поэтому я не мог определить, говорит она или молчит. Вдруг, обратив взгляд вниз, она, должно быть, заметила, что я на нее гляжу, прижала свой маленький носик и ладони к стеклу, чтобы увидеть меня получше, и простояла так несколько минут (правда, стекло тут же запотело и ее лица не стало видно). Потом внезапно исчезла, словно кто-то схватил ее за руку и оттащил от стеклянной стены.

Она никогда не рассказывает ни о себе, ни о своей работе, и расспрашивать ее бесполезно. Как-то я спросил ее, кем она работает.

— Машинисткой-стенографисткой,— ответила Селене.

— Вы — секретарь доктора Макса?

— Нет. Если бы я была его секретарем, я бы работала внизу, на втором этаже. Но время от времени доктор Макс меня вызывает, потому что я быстрее всех пишу под диктовку.

— Но разве вы не закреплены за определенным отделом?

— Нет. Куда позовут, туда я и иду. Так лучше — чувствуешь себя свободнее.

— А кстати, где вы бываете в свободное время?

Она не ответила и потупилась.

— Ну где же, скажите!

Она упрямо смотрела в пол и не отвечала. Я понял, что она не хочет, чтобы ее об этом спрашивали, и переменил тему разговора.

— Сколько вы зарабатываете?

— После вычетов остается восемьдесят восемь тысяч семьсот лир.

— Что же вы с ними делаете?

— Почти все оставляю себе. У меня дома не очень нуждаются в деньгах, поэтому я отдаю только небольшую часть.

— Вы здесь всех знаете?

— Нет, не всех, но многих. Например, я часто бываю у доктора Бомболо. Именно там я и слышала, как они с доктором Максом говорили о вас.

— А что они говорили?

— Доктор Бомболо подтрунивал над вами, а доктор Макс рассердился и встал на вашу сторону. Он сказал, что вы сделаете блестящую карьеру, потому что вы умница.

— А что он еще сказал?

— Я уж не помню. Помню только, что он защищал вас от нападок доктора Бомболо. Ах да, когда они ругались, то доктор Бомболо крикнул доктору Максу: «Вы еще пожалеете, что оказали протекцию этой... бледной спирохете!» Я точно запомнила его слова.

— А что ответил доктор Макс?

— Он расстроился... Как обычно, задумался, стоя в дверях, потом вдруг выбежал вон и с того дня больше к доктору Бомболо не заходил.

— А откуда вы знаете, что он больше к нему не заходил?

— Знаю. Но не задавайте мне столько вопросов!

— Значит, вы работаете у доктора Бомболо... Вы все эти дни были там... И в тот день, когда мы видели друг друга через стекло,— тоже.

Она взмолилась:

— Хватит!

И так как я приближался к ней, Селене замахала руками, словно защищаясь от нападения, потом юркнула мне под локоть и выскользнула из комнаты.

Немного погодя она вернулась: приоткрыла дверь, глянула по своему обыкновению в левый и в правый конец коридора и просунула голову. Волосы у нее были растрепаны, лицо пылало, около носа обозначились две белые полосы.

— Что происходит? — спросил я и схватил ее за руку, пытаясь втащить в комнату... Но она с тихим стоном вырвалась и снова исчезла.

Когда я пришел в себя (Селене вывела меня из равновесия на добрых полчаса), я снова задумался о своих делах и о будущем. Несмотря на постоянные взлеты и падения, которые я претерпеваю из-за непостижимого характера доктора Макса (никогда не знаешь, чего от него ждать) и из-за своего шаткого положения в фирме, я почти счастлив. Почти, но не совсем. Я уже не испытываю того счастья, какое испытал в день приезда,— счастья, вызванного нежностью к родителям, детским восторгом по поводу того, что я поступил в фирму и скоро получу свои первые трудовые деньги.

Мое теперешнее счастье совсем иное: более осознанное и в то же время омрачаемое мыслями, угрызениями совести, раздумьями и опасениями.

Вот, например, Бомболо. Зачем ему понадобилось употребить по отношению ко мне такое отвратительное выражение, как «бледная спирохета»? Доктора Макса оно, несомненно, покоробило. Селене говорит, что сначала он глубоко задумался, а потом выбежал вон. Или Диабете: вот уже несколько дней, как я его не вижу, но не по своей вине. Я ежедневно отправляюсь поздороваться с ним, но он всякий раз останавливает меня в дверях, под разными предлогами уклоняясь от встречи. То ему надо поговорить по телефону, то он кого-то ждет, то занят и обещает попозже заглянуть ко мне сам. Однако я заметил, что стоит мне появиться в дверях его кабинета, как он тут же берется за трубку, хотя занят он ничуть не больше, чем в другие дни. К тому же после его слов я отчетливо слышу хихиканье его соседа Тропиа.

Конечно, «бледная спирохета» — кличка злая и двусмысленная. Она могла относиться к кому угодно — к доктору Максу лично и к доктору Максу косвенно, то есть ко всей фирме, а могла относиться и к Селене, которая там присутствовала. Сама Селене понятия не имеет, что означает этот венерологический термин. Или только притворяется, что не знает? А может, вообще все это — ее выдумка? Нет, вряд ли она способна на такую изощренную ложь.

Не удивительно, что в ту ночь я очень неспокойно спал. Эти неспокойные сны (каких я раньше не видел — по крайней мере не припомню), а также заботы и тревожные мысли нарушают мой покой и мешают нормально работать.

За все это время я не написал ни одного письма — ни родителям, ни Марии. Прошло всего несколько дней, как я от них уехал, а какими они мне кажутся далекими, каким бесконечно далеким представляется мне родной город... При желании я мог бы в пятницу вечером после работы сесть в поезд и съездить домой. Я долго об этом думал, но решил, что не стоит. И вместо этого, освободившись, пошел в парк и сел на скамейку возле огромного фонтана, где стайки ребятишек пускали парусные лодочки. Вдруг поднялся крик: кто-то из них поймал головастика. У меня в голове мелькнула неприятная мысль. Я встал, подошел к фонтану и обнаружил, что мутная вода кишит головастиками. Вспомнил Бомболо, его «бледную спирохету», сон, все прочее и страшно расстроился. Конечно, ни дети, ни фонтан не виноваты в том, что там полно головастиков, но мне стало так муторно, что я решил сесть на другую скамейку под деревьями. Пересев, я стал наблюдать за тем, как солнце опускалось за здание фирмы. Небоскреб стоял пустой и прозрачный; когда солнце зашло за его стеклянные стены, он из оранжевого стал черноватым. В тот же миг парк, деревья, подстриженные лужайки, фонтан и одежда на детях — все преобразилось: зелень померкла; там, где раньше что-то беспрестанно шелестело и искрилось бликами, сейчас легли глубокие густые тени; птицы разом перестали петь и чирикать, только кое-где еще раздавался их пронзительный свист. Изменилось даже настроение детей и тех, кто был с ними: дети стали нервничать, капризничать; матери и гувернантки увели их от фонтана к зоосаду или туда, куда еще не добралась голубая тень стеклянного дворца и где еще светились пятна заходящего солнца.

И, несмотря ни на что, глядя на этот стеклянный дворец, одиноко вздымавшийся среди домишек, на его острый шпиль, покрытый сверкающей алюминиевой чешуей, как у какой-то звездной рыбы, я не мог не видеть его чистой и глубокой красоты. В нем была сконцентрирована, от него исходила такая притягательная сила, которую можно сравнить только с притягательной силой религии. И хотя фирма не обладала ни непостижимостью религиозной веры, ни ее таинствами, она, подобно вере, призвала меня к себе, и отныне ей принадлежит вся моя жизнь.

III

Мало-помалу я становлюсь организованнее. Благодаря тому, что рабочий день в фирме делится пополам: четыре часа утром, четыре после обеда,— моя жизнь стала гораздо более рациональной и упорядоченной. Я замечаю, что в связи с работой стал делать некоторые вещи, которых раньше никогда не делал.

Я просыпаюсь в семь часов, встаю, иду в ванную, одеваюсь. Выпиваю кофе, оставленный для меня хозяйкой на столике возле кровати, и выхожу на улицу. Иду пешком до троллейбусной остановки, которая находится примерно в двухстах метрах от дома. Жду троллейбуса. Свободных мест, как правило, нет. Часто троллейбус бывает переполнен настолько, что люди висят на подножках, уцепившись за поручни. Тогда я дожидаюсь следующего, где поменьше народа. До бульвара, куда выходит переулок, в котором находится фирма, примерно полчаса езды — семнадцать остановок. Я уже хорошо знаю маршрут своего троллейбуса, хотя улицы застроены совершенно однотипными домами.

По пути я проезжаю мимо большого парка, где растут высокие ливанские кедры и тянутся оранжереи со множеством цветов. Вдоль всего маршрута — рекламы, рекламы, рекламы... Я знаю их наизусть, от них становится веселее на душе. Наконец я доезжаю до своей остановки, схожу с троллейбуса и по переулку направляюсь к зданию фирмы. Есть еще один вход, но он ведет в новое здание, и хотя через него тоже можно попасть в мой кабинет, я предпочитаю входить там, где мне положено. В переулке есть бар, где я завтракаю — выпиваю чашку кофе с печеньем и покупаю сигареты. После чего, не позднее чем в двадцать—двадцать пять минут девятого, вхожу в здание фирмы. Отмечаться мне не надо, но, как правильно предсказал доктор Макс, именно поэтому я чувствую себя не вправе опаздывать. Я поднимаюсь по лестнице, прохожу через приемную (курьер уже на своем месте), вхожу к себе в кабинет, вешаю плащ и сажусь за стол.

В отличие от многих других служащих, газет я не покупаю. Теперь, когда я работаю в торговой фирме, мне незачем интересоваться делами, которые происходят вне ее стен. Это дает Бомболо еще один повод для издевок. Он обвиняет меня в том, что я — реакционер. (Слово-то какое глупое!) Но он не понимает, что, сколько бы газет он ни читал, в его жизни все равно ничто не меняется и не изменится.

В половине первого я покидаю свой кабинет и пешком отправляюсь в столовую, которая находится метрах в четырехстах от фирмы. Собственно говоря, пользоваться этой столовой я не имею права, так как она предназначена для служащих совершенно другой фирмы, которая не имеет никакого отношения к той, где я работаю, а быть может, даже конкурирует с ней. Меня уговорил питаться там один молодой человек, с которым я познакомился в парке и подружился. Он учится на торговых курсах при ИБМ *, но особыми успехами похвастаться не может. Его подлинная страсть — музыка, он мечтает поступить на радио или на телевидение составителем музыкальных программ. Сам он тоже пробрался в эту столовую «зайцем», через знакомых, а теперь, в свою очередь, пристроил меня. Однако там на это смотрят сквозь пальцы. Разумеется, только потому, что ведают столовой духовные лица и предприятие — государственное. Будь оно частным, нас бы ни за что не пускали.

Помещение состоит из четырех отсеков и имеет форму креста. Касса, где продаются чеки,— в центре. Чтобы поесть, надо выстоять длинную очередь за чеками и к столику. Столики — на четверых. Кормят хорошо:

---

* ИБМ («Интернейшнл бизнес мэшинз») — всемирно известная фирма, производящая счетные машины.

дают первое, затем мясное блюдо с гарниром; хлеба сколько хочешь, есть вино.

После обеда возвращаюсь в фирму, не дожидаясь конца перерыва. Обычно Селене наносит мне визит именно в это время.

В половине третьего я принимаюсь за работу и сижу до половины седьмого. С половины седьмого до ужина я гуляю. Ужинаю в той же столовой. По вечерам там почти никого не бывает, потому что многие служащие, живущие за городом, разъезжаются по домам с Северного вокзала на поездах и на трамваях. В столовой я встречаюсь со своим молодым приятелем-джазистом Кларино. Немного поболтав, мы отправляемся в кино. В одиннадцать—полдвенадцатого я возвращаюсь домой, сажусь позаниматься или беседую с хозяином, который очень озабочен (и не без оснований) состоянием дел в своем коммерческом предприятии. После чего наконец ложусь спать.

Если бы фирма и, особенно, доктор Макс не держали меня в постоянном напряжении (речь идет о самой настоящей борьбе за существование), я бы считал свою теперешнюю жизнь идеальной.

Бывают минуты, когда, затерянный в толпе и в то же время надежно защищенный ею,— например, находясь в троллейбусе, в столовой, на работе (где за моими плечами целый дом, кишащий такими же, как я, озабоченными своей судьбой людьми),— я испытываю чувство опьянения и великого счастья. Есть в этом отрешении от собственной личности, в этой безымянности нечто от природы, от религиозного экстаза. В таком же бессознательном возбуждении, наверно, пребывают муравьи, когда они лихорадочно, вереницами снуют туда-сюда от муравейника к источнику пропитания и обратно. Я чувствую себя совсем как один из этих муравьев: готов приветствовать каждого встречного и видеть свое сходство с другими; мне хотелось бы, чтобы и эти другие поступали так же по отношению ко мне.

Я думаю, что аналогичным образом сближает людей и религия. Но между религиозным экстазом, который царит в церквах, и духом, которым веет от крупных городских конгломератов — особенно от торговых фирм, промышленных предприятий и других трудовых ячеек,— большая разница. Ибо первый всегда обращен к смерти, то есть к некоей неподвижности и даже абстрактности, а второй, напротив, целиком связан с жизнью, с конкретной реальностью.

Поначалу мне казалось, что счастье мое недолговечно, но сейчас оно явно упрочилось. Превыше всего я доволен тем, что стал собственностью доктора Макса. Если бы он услышал мои слова, он бы рассвирепел, но потом, как уже бывало не раз, он бы меня понял и был бы вынужден отступить перед фактами. Я часто задаю себе вопрос: что я представлял собой до того, как приехал в этот город, до того, как благодаря доктору Максу устроился на работу в торговую фирму? Что от такого мальчишки можно было требовать? Свое место в жизни надо найти смолоду. Я же не только его не нашел, но и не стремился найти. Жил себе под крылышком у родителей, и все тут! До тех пор пока я не сел в поезд и не приехал сюда, я жил только чувством — только своей привязанностью к отцу и матери, к Марии, к старым друзьям. Теперь эти чувства улеглись и уступили место реальности, представленной прежде всего фирмой, а также моим хозяином — доктором Максом.

Я часто задаю себе еще и другой вопрос: что бы я делал, не будь у меня хозяина, то есть человека, который считает меня своей собственностью и каждодневно пользуется мною, как если бы я был стаканом, автомобилем, стулом, кроватью? Что бы со мной было? Я был бы стаканом, автомобилем, стулом или кроватью, которые никому не нужны и, стало быть, не выполняют никакой функции. И не только не выполняют никакой функции, но и лишены смысла существования: стакан,

которым никто не пользуется, нельзя назвать стаканом, он не достоин даже упоминания, это лишь пустая оболочка, нечто, бывшее раньше стаканом, но сейчас выброшенное на помойку и переставшее быть тем, чем было раньше.

Каждая минута моего дня или, вернее, каждый мой шаг, жест, поступок (утреннее вставание, езда на троллейбусе, еда, работа, возвращение на работу после перерыва, ужин, отход ко сну) никогда не являются самоцелью, а осуществляются в прямой зависимости от доктора Макса и от фирмы, которую он представляет, вдохновляются ими. Я сплю, потому что устал, ем, потому что голоден, сажусь в троллейбус, потому что необходимо вовремя являться на работу. Постепенно я отвыкаю делать что-либо другое. Кино мне разонравилось, телевидение — тоже. Так или иначе, когда я рано возвращаюсь домой и хозяева зовут меня к себе, предлагая выпить рюмку ликера, я от ликера отказываюсь, а сидя у телевизора, изнываю от скуки. На футбол я больше не хожу, гуляю, только чтобы размять ноги, книг и газет не читаю — одним словом, не делаю ничего такого, что не имеет прямого отношения к фирме и к доктору Максу.

Того, что я зарабатываю, мне едва хватает на жизнь, но все же хватает. А если бы не хватало, я бы тоже как-нибудь перебился. Если мне увеличат жалованье, я буду счастлив — не столько из-за самих денег, сколько потому, что, увеличивая мне жалованье, доктор Макс воздаст мне по заслугам и покажет, что дорожит мною как собственностью, то есть что я — предмет, который заслуживает хорошего обращения.

В общем, моя жизнь, как я и предвидел с самого начала, коренным образом переменилась. Я зажил совсем иначе. Внешне может показаться, что я стал усердным служащим. Но это не так. Мне не надо проявлять никакого усердия: чтобы быть тем, кто я есть, усердия не требуется. Просто я веду жизнь, которая дает мне ощущение полной гармонии и безмятежного спокойствия.

Правда, мое безоблачное существование подчас нарушается. Прежде всего из-за неуравновешенности доктора Макса. С утра никогда не знаешь, какое у него будет настроение. Дело даже не в настроении. В конце концов, настроение, будучи чем-то непостижимым, необъяснимым, связанным с физическим состоянием, все же плохо ли, хорошо ли, но регулируется разумом. У доктора Макса постоянно меняется не настроение, а состояние самого разума: он все время находится в плену противоречивых мыслей, которые в итоге влияют на настроение. Причем эти мысли отражают различные аспекты одной дилеммы: нравственно ли быть хозяином и вести себя по-хозяйски?

Его денно и нощно терзает одна и та же мысль. «Я — хозяин, владелец крупной торговой фирмы со многими филиалами,— рассуждает он.— Мне принадлежит здание, в котором расположена фирма, и прочее недвижимое имущество, в том числе склады, магазины. Есть у меня и другие владения. Будучи хозяином недвижимости, пишущих машинок, счетных машин и всего прочего, я, естественно, являюсь и хозяином своих служащих, которым вынужден платить больше, чем им необходимо для существования. Всем, чем я владею, я могу распоряжаться по собственному усмотрению: могу сохранить или уничтожить, разбить вдребезги или сберечь (что я и делаю). Вопрос о том, как я должен распоряжаться своим имуществом, чтобы оно приносило мне деньги, которые позволяют его приумножать, естественно, решаю я, а не мои служащие. Я в своем уме и не собираюсь ничего уничтожать и разрушать. Но при желании мог бы. Что меня удерживает? Нравственное начало, голос совести, который мне говорит: «Ты всемогущ, ты можешь сделать все, что захочешь, и твое дело — решать, чему быть, чему нет. Ты отлично

знаешь, что стоит тебе захотеть, и ты можешь загубить фирму, а вместе с ней и жизнь твоих служащих. Ты волен поступать, как хочешь. Какой же ты сделаешь выбор?» Мой выбор таков: я решаю сохранить фирму. Я с утра до вечера слежу за тем, чтобы эти самые служащие по рассеянности или по недобросовестности не причинили фирме, от которой зависит их жизнь, вреда, а приносили бы ей только пользу. Однако я вовсе не волен решать и действовать только соответственно своему нравственному принципу, которому, казалось бы, должен был подчиняться, а вынужден безумствовать — прислушиваться к требованиям подчиненных, к требованиям профсоюзов, принимать в расчет чьи-то политические махинации и прочее и прочее.

Мало того. Будучи хозяином, я в действительности вовсе таковым не являюсь, а чуть ли не попадаю в подчинение к своим подчиненным, которые требуют себе роскошные кабинеты, высокое жалованье и прочие блага. Как же мне быть? Воспользоваться предоставленной мне властью и наказывать по своему усмотрению людей, лишенных моральных устоев, или закрыть на все глаза и самому опуститься до их уровня, а то и еще ниже?»

Эти мысли совершенно затуманили мозг доктору Максу; достаточно взглянуть на него, чтобы почувствовать, как он страдает. Иногда белые апигментные пятна вокруг рта проступают в таком изобилии, что он начинает вытирать их носовым платком. Эти пятна и частая смена настроений — прямое следствие раздирающих его противоречий.

Как-то раз, выслушав его, я сказал:

— Вы не должны принимать это близко к сердцу, доктор Макс! Как бы там ни было, вы хозяин, а все прочие — ваши подчиненные. До тех пор пока роли не переменятся (а этого не произойдет, потому что такова логика вещей), вы будете хозяином, а они — подчиненными. Стало быть, и ведите себя как хозяин!

Доктор Макс слушал меня, сидя скособочившись на стуле. Эта его манера полусидеть-полустоять у стола, так же как и привычка останавливаться в дверях, облокотившись о косяк, словно он заглянул в комнату лишь ненароком и вот-вот уйдет,— наглядное свидетельство раздирающих его противоречий, ощущения неловкости, его желания показать людям, что он вовсе не хозяин этих стульев и дверей, что он не злоупотребляет ими и настолько не считает своей собственностью, что старается как можно меньше ими пользоваться.

— То есть вы хотите сказать, что я должен руководствоваться только своей совестью?

— Вот именно.

— Но в таком случае я должен был бы всех разогнать!

— Ну и разгоните!

— Вы порете ерунду! Понятно?! — заорал вдруг доктор Макс. Но я уже почти привык к его вспышкам, и когда он начинает рвать и метать, меня это почти не пугает.

— Не сердитесь, доктор Макс! — спокойно произнес я.

— Как это «не сердитесь»? Вы же несете неслыханную чушь! Знаете ли вы, что значит всех разогнать? Это значит платить миллионные неустойки, вступить в затяжной конфликт с профсоюзами; начнутся забастовки, и, кроме всего прочего, придется заменять уволенных служащих другими, совершенно неизвестными людьми, которые могут оказаться еще хуже, гораздо хуже прежних. Это значит вывести фирму из строя на многие месяцы, а может быть, и годы. Вот что это значит! К тому же не следует забывать и о моральной стороне дела: вы мне предлагаете выставить на улицу людей, на иждивении которых — жены, дети... Вы понимаете, что вы говорите?!

— Прекрасно понимаю, доктор Макс! Но вы же сами сказали, что

вам хочется всех разогнать. Что, по-вашему, было бы наиболее нравственным?

— Наиболее нравственным? Чтобы эти люди поняли, что они моя собственность и я могу делать с ними все, что хочу. Если бы можно было втемяшить им это в голову, мы сделали бы великое дело!

— Для этого требуется очень немного. Пустяк.

— То есть?

— Такой пустяк, что нет нужды даже беспокоиться. Ведь эти люди, как и все, что находится в этих стенах, действительно принадлежат вам. А понимают они это или нет, не имеет значения.

— Но я хочу, чтобы они это поняли! Для меня это имеет большое значение!

— А на самом деле это не имеет значения. Но если уж для вас это так важно, можете мне поверить: они полностью отдают себе отчет в том, что они — ваша собственность. Настолько, что притворяются, будто не понимают этого.

— Вот как? Вы считаете, что они понимают?

— Не только считаю, но уверен. Взгляните, к примеру, на меня. Я не умею притворяться и с первого дня высказал вам все, что думаю. То есть признал себя вашей собственностью. Почему же вы на меня так рассердились?

— Потому что я не желаю, чтобы об этом говорилось вслух. Надо соблюдать декорум.

— Почему?

— Заявляя, что вы — моя собственность, вы накладываете на меня определенные моральные обязательства и вынуждаете меня цацкаться с вами, оказывать вам всяческие знаки внимания...

— Это уже другой вопрос, и касается он только вас. Вы вынуждены цацкаться и оказывать знаки внимания потому, что не хотите воспользоваться своим правом. Повторяется та же история, что и с утренней отметкой. Вы мне сказали, что я волен приходить, когда захочу, но я этим правом не пользуюсь, хотя отмечаться не должен. Я являюсь всегда вовремя. То же самое происходит и с вами. Если подчиненный раз и навсегда признал себя вашей собственностью, вам не следует этим злоупотреблять. Не так ли?

— Пожалуй, что так.

— Другое дело, если человек изображает из себя этакую свободную личность, нисколько не зависящую от хозяина,— вот, например, как художник Орацио. Своей экстравагантной манерой одеваться он тоже пытается подчеркнуть свою независимость. Но в действительности я в тысячу раз свободнее, чем он, хотя одеваюсь, как все люди.

— Нет, Орацио — художник, а художнику полагается быть экстравагантным. Иначе он не был бы художником.

— Но желание продемонстрировать свою самостоятельность движет им тоже. Иначе зачем бы ему вечно грозиться, что он отнесет свои плакаты в другую фирму?

— Да, это очень неприятно.

— Так вот, предоставьте ему поступать, как он хочет. Пусть идет в другую фирму.

— А как же мы?

— А мы обратимся к другому художнику, который не будет вам так досаждать и в связи с которым у вас не будет возникать никаких моральных проблем.

— Но Орацио — самый талантливый!

— А если он самый талантливый, то платите ему намного больше, чем платят остальным, и захваливайте его так, чтобы ему даже в голову не приходило, что можно обратиться в другую фирму!

— Да, но я немного скуп,— с улыбкой признался доктор Макс.— Хотя, как я вам уже объяснил, эта скупость тоже диктуется моральными соображениями. На что ему так много денег?!

— Я не знаю. Но если он вам нужен, вы должны руководствоваться не моральными, а реальными соображениями.

— Вы правы, вы правы... Я знаю, что вы правы! Но у меня голова состоит как бы из двух половинок. Впрочем, эти соображения приходили мне на ум и без вас.

— Конечно. Однако вы никогда их не высказывали; стало быть, я высказал их первым.

— Нет, первый — я!

— Нет, к сожалению, первый — я.

— Нет. Раз я сказал нет, значит, нет!

— Нет да!

— Довольно! Кто здесь хозяин: вы или я? Вы сами признали, что — я, значит, и мысли мои.

— Это верно.

— А сейчас уходите, оставьте меня одного!

Доктор Макс вскочил, по своему обыкновению, засуетился, протянул мне — якобы в знак благодарности — свою руку-лапку и вытолкал меня за дверь.

Мы с доктором Максом беседуем довольно часто. Он то и дело вызывает меня к себе и нередко звонит мне по телефону домой — иногда даже поздно вечером,— чтобы обсудить какие-нибудь детали моей будущей работы. По тому, как звучит на другом конце провода его голос, я могу судить, в каком он настроении, или, точнее, измерить глубину его отчаяния. Иной раз голос его похож не столько на голос человека, сколько на писк грызуна, к чему я никак не могу привыкнуть. Его речь бывает такой же неразборчивой, как и почерк. Если бы записать его голос на пленку, то диаграмма звуковых колебаний, несомненно, совпала бы с его почерком. Создается впечатление, что когда он пишет или говорит, то гласные и согласные, из которых складывается слово, служат для него помехой и что употреблять их он вовсе не считает для себя обязательным. Поэтому иной раз его речь сводится к чередованию высоких и низких звуков (но чаще — высоких), представляющих собой долгий непрерывный скрип, а письмо — к одной длинной зубчатой линии, не поддающейся расшифровке.

Он звонит мне еще и потому, что ему скучно. Хотя скучать ему некогда: надо следить за подчиненными, изучать их моральный облик и уровень производительности труда. Но и тут в рассуждениях доктора Макса царит полнейшая неразбериха. Если подчиненный слишком много работает, то, по мнению доктора Макса, это создает предпосылку для морального сдвига, выражающуюся в пересмотре материального обеспечения данного служащего или в премии, что приводит, в свою очередь, к другому моральному сдвигу, который объясняется появлением у данного работника слишком крупной суммы денег. И так далее и тому подобное — до бесконечности.

Впрочем, не будь этих сдвигов, дилемм и нравственных мук, не знаю, как бы он жил: ему пришлось бы их выдумывать. Что он довольно часто и делает. Так, он наказывает подчиненного, чтобы после этого терзать себя: «Зачем я его наказал?» Доктор Макс несчастлив, это факт. Тем самым он омрачает и мое счастье: ведь я его собственность. Всякий раз, как у него возникают сомнения, связанные с проблемой собственности, почва уходит у меня из-под ног; я чувствую, что все вокруг рушится; я перестаю что-либо понимать; заведенный порядок, привычная схема — все летит вверх тормашками, и я с ужасом думаю о том, как бы мне не пришлось искать другого хозяина.

Кроме того, доктор Макс легко поддается влиянию. Приходится принимать меры: просиживать с ним долгие часы и вести нескончаемые беседы, которые мало-помалу оказывают нейтрализующее действие. Например, мне известно (все от той же Селене), что особенно большое влияние имеют на него два человека — его мать и Бомболо. С матерью я еще не знаком и, стало быть, о ее влиянии судить не могу, разве что иной раз интуитивно кое-что улавливаю по репликам доктора Макса. Зато Бомболо я знаю более чем достаточно, хотя вижусь с ним совсем редко (сам я к нему не хожу никогда, но мы часто встречаемся на заседаниях). Его влияние на доктора Макса диаметрально противоположно влиянию матери. Оно сказывается крайне отрицательно и на докторе Максе, и на мне. Во-первых, Бомболо беспрестанно напоминает о том, что я (он называет меня не иначе, как «протеже доктора Макса») работаю в бывшей уборной, и пользуется этим обстоятельством для того, чтобы подтрунивать над властолюбием доктора Макса. Бомболо острит, не смущаясь присутствием самого доктора Макса и других служащих, так что доктор Макс обычно уходит от него просто не в себе. Иногда Бомболо доводит его до настоящего нервного припадка: доктор Макс убегает домой и укладывается в постель. Этому кретину Бомболо и невдомек, что такие приступы всегда приводят к вспышке ненависти к нам обоим. Ко мне — потому что я являю собой пример или образец человека-вещи, а к нему — потому что, будучи в действительности тем же, что и я, он делает вид, будто совсем не таков.

Но именно он, Бомболо, иначе не называет доктора Макса, как «Big Boss» — «Великий босс», в то время как я называю его скромно и просто: «доктор Макс».

Оба мы переживаем пренеприятнейшие минуты, когда доктор Макс вдруг от нас отдаляется: бывает на других этажах, в других кабинетах, а к нам — ни ногой. Что с ним тогда творится, с беднягой Бомболо! Куда девается его спесь и показное вольнолюбие! Весь красный, прикрывая слезящиеся глаза носовым платком, он мышью проскальзывает в лифт — боится, как бы не встретить меня или доктора Макса, а потом, запершись у себя в кабинете, начинает названивать по телефону.

Коммутатор находится в закутке у швейцара-обезьяны, который подслушивает все телефонные разговоры. Таким образом выясняется, что Бомболо целый день названивал в разные места в поисках другого хозяина. Не найдя ничего подходящего (о чем мне и доктору Максу уже известно), он, жалко улыбаясь, протискивается в дверь и подобострастно пищит:

— Herr Doktor, mein Doktor!*

Я же в подобных случаях никаких мер не принимаю. «Как будет, так и будет»,— решаю я. Других хозяев я не ищу, так как я уже принадлежу одному, и хватит с меня. Я уверен, что он вернет мне свое расположение, потому что моя преданность безмерна, абсолютна, не омрачена ни иронией, ни глупым стремлением соблюсти собственное достоинство. И действительно, через несколько дней доктор Макс приходит снова как ни в чем не бывало.

Большое влияние оказывает на доктора Макса и его отец, престарелый доктор Сатурно, которого я тоже еще не видел. Правда, вернее было бы говорить не о его влиянии, а о его власти. Дело в том, что доктор Сатурно был и остается главным и полновластным хозяином фирмы. Его никогда не терзали никакие сомнения (среди прочего потому, что он принадлежит к другому поколению). Но он устал заниматься коммерцией и, несмотря на свой преклонный возраст, признает только охоту на китов.

---

* Господин доктор, мой доктор! *(нем.)*

Доктор Макс его очень боится, в известном смысле ненавидит и, как часто бывает в подобных случаях, любит. Достаточно посмотреть на фотографию доктора Сатурно, чтобы понять, что он излучает такую силу, такую хозяйскую власть, которые доктору Максу и не снились.

Легко поддаваясь влияниям, терзаясь нравственными сомнениями и страдая от белых апигментных пятен вокруг рта, доктор Макс, конечно, не может быть счастлив. Я бы на его месте тоже чувствовал себя несчастным. Уж лучше быть таким, как я. Не хотел бы я быть на его месте...

Особенно тяжело он переживает то, что не все его считают полновластным хозяином, каким он в действительности является. При малейшем подозрении, что кто-то подверг сомнению полноту его власти, он сначала приходит в бешенство, а потом погружается в глубокое отчаяние. При этом он хочет, чтобы все вокруг не только признавали его власть (а ее признают, сколько бы на эту тему ни шутили), но и обращались к нему по малейшему поводу. Так, на днях он заметил, что на Диабете новый костюм. Доктор Макс помрачнел и спросил:

— У вас новый костюм? Наверно, дорого заплатили?

Диабете, полагая, что доставит хозяину удовольствие, пустился в бесконечные подробности насчет того, как он его заказывал и во сколько он ему обошелся: материя английская, портной — один из лучших в городе, покрой отличный... Одним словом, Диабете так расхвастался, что доктор Макс не выдержал:

— Наверно, вы богатый человек, если можете так сорить деньгами!

— То есть как это «сорить деньгами»? — удивился Диабете, видя, что доктор Макс не на шутку рассвирепел (когда он злится, это замечают все, даже самые неискушенные люди).— За такой костюм, за такую работу это совсем не дорого...

— Значит, вы не сорите деньгами? Ну что ж, скоро вы сами в этом убедитесь! — прошипел доктор Макс.

— В чем? Что я сделал? — недоумевал Диабете.

— Сколько вы зарабатываете?

— Сами знаете: сто восемьдесят тысяч лир, не считая семейного пособия. Не так уж густо, доктор Макс! — И он глупо захихикал.

— Вот-вот: сто восемьдесят тысяч лир. Во сколько вам обошелся этот костюм?

— Я же вам сказал: в шестьдесят тысяч.

Диабете все еще не понимал, куда тот гнет, и, вытянув губы трубочкой, смотрел на меня и на курьера, как бы призывая нас в свидетели и спрашивая: «Вы что-нибудь понимаете?»

Однако я не открывал рта, а курьер смахивал со стола несуществующие крошки.

— Тогда давайте подсчитаем! Ваше жалованье — сто восемьдесят тысяч лир. Костюм стоит шестьдесят тысяч. Стало быть, вы истратили на него треть того, что вы получаете. Так?

— Так,— подтвердил Диабете. Он сосредоточился и пытался уследить за ходом мысли доктора Макса.

— Вы полагаете, что такой человек, как вы, имеет право истратить треть своего жалованья на новый костюм! Вы считаете, что это правильно? Что это нравственно? Что это логично? Взгляните на меня! Кажется, у меня больше возможностей, чем у вас...

Вне себя от ярости, доктор Макс поднял ногу и показал Диабете ботинок с дырявой подошвой. Диабете, не в силах преодолеть свое тупое тщеславие, упрямо не желал понимать, о чем ему толкуют.

— Но... Но...— бормотал он.

Однако доктор Макс уже направился к двери и потащил меня за собой.

— Подумайте, подумайте о том, что я вам сказал, пошевелите мозгами! — несколько раз повторил он, обернувшись к Диабете. Тот застыл на месте и, не снимая шляпы, зажав в руке зонт, смотрел на нас, пока за нами не захлопнулась дверь лифта.

Мы поднялись в бухгалтерию, и доктор Макс распорядился урезать в этом месяце жалованье Диабете на одну треть. Главный бухгалтер улыбнулся, потому что доктор Макс почти ежедневно прибегает к такой форме наказания подчиненных. Эта мера материального воздействия производит также большой психологический эффект.

В день получки, 28 числа, провинившийся, выложив содержимое конверта на стол, весело болтая (в эти минуты все почему-то приходят в самое веселое расположение духа), пересчитывает деньги — обычно в присутствии коллег — и вдруг обнаруживает, что ему срезали жалованье. Он решает, что недостающая сумма за что-то удержана, просматривает список вычетов, но в нем эта сумма не значится. Он снова пересчитывает деньги. Бывает, что недостает одной четверти или одной трети, а в наиболее серьезных случаях и целой половины причитающегося жалованья. Он отправляется в бухгалтерию, просит объяснить, в чем дело. Кассир и работники бухгалтерии ничего не знают, они не в курсе. Тогда служащий просится на прием к главному бухгалтеру или к его заместителю. Их нет на месте. Он приходит еще раз, но ему ничего не удается выяснить, его не принимают. Тогда (если этот служащий не может обратиться непосредственно к доктору Максу) он пытается связаться с главным бухгалтером по телефону или пишет ему записку, которая остается без ответа. Дни идут, а он тем временем «шевелит мозгами». Наконец ему удается повидаться с главным бухгалтером (добиться, чтобы тот его принял, или просто встретить ненароком в коридоре или даже на улице). Главный бухгалтер разводит руками и ссылается на приказ доктора Макса. Но поймать доктора Макса нелегко, так как он, естественно, не может быть к услугам всех и каждого, и вообще его трудно поймать. Тем не менее бедняга охотится за ним повсюду. Если повезет, то наступает день, когда они случайно сталкиваются нос к носу в коридоре, в лифте или еще где-нибудь.

Доктор Макс возмущается, беснуется — сначала тихо, потом все громче и громче, в зависимости от акустики данного коридора или лифта и количества людей, оказавшихся рядом.

— Уф, опять этот кретин (следует фамилия)! Оказывается, он еще здесь! Все еще вертится под ногами! Когда он наконец уберется отсюда?

С того дня несчастный больше не будет показываться ему на глаза, сгинет.

Перед провинившимся теперь два пути: либо доводить дело до конца, настаивать, чтобы начальник отдела кадров или главный бухгалтер подробно разъяснили ему существо дела, что весьма труднодостижимо, и одновременно пытаться самому разобраться в случившемся (но это ему не удается) либо обратиться к юристу. Как известно, это еще более осложняет положение. Прежде всего, использовать юриста против работодателя — значит решиться на крайность; это неизбежно приведет к окончательному разрыву и может иметь серьезные последствия. К тому же юрист потребует времени, денег. (Прилично ли, нравственно ли, чтобы в семейном и личном бюджете служащего фигурировала графа «расходы на адвоката», да еще по делу, возбуждаемому против своего работодателя? Не только неприлично, безнравственно, но и абсурдно!) Адвокат требует, чтобы вы полностью и безоговорочно верили в свою правоту, но в таком деле всегда есть сомнительные стороны, и полной уверенности у истца быть не может. Если же учесть, что речь идет о таком работодателе, как доктор Макс, которого всюду знают, то защищать вас вообще никто не возьмется. А если возьмется, то по каким-

нибудь темным соображениям или с намерением воспользоваться вами для политических махинаций, от которых лучше держаться подальше: мало того, что натерпишься от собственного хозяина и окажешься на улице с волчьим билетом в кармане, без всякой возможности устроиться на другое место, тебя еще обдерут как липку!

Если пострадавший — человек благоразумный, он сообразит, во что может вылиться эта история, причем сообразит сразу же, как только обнаружит недостачу, и, не поведя бровью, будет продолжать улыбаться коллегам (как если бы его жалованье не только не урезали, а еще и увеличили), поняв, что ни одно из двух решений, которые в первую минуту показались ему хотя и проблематичными, но вероятными, в действительности неосуществимо. Рассуждая подобным образом (а следуя какому-то внутреннему, животному инстинкту самосохранения, все рассуждают именно так), он примет верное решение и вздохнет с облегчением, словно избежал неминуемой беды. Принятое им решение, единственно реальное из всех возможных,— сидеть и молчать, делая вид, будто ничего не произошло, иными словами: примириться или, в лучшем случае, отложить выяснение причин на потом. Нет сомнения, что он до них со временем докопается, однако не разумом, а с помощью интуиции.

Теперь Диабете, который уже не раз попадал в подобные переделки, получив в конце месяца жалованье, будет знать, как реагировать. За пятнадцать лет работы в фирме он эту операцию по выяснению причин и по принятию решения проделывал неоднократно, и, хотя интуиция отнюдь не является его сильной стороной, он все же будет действовать так, как подсказывает ему инстинкт самосохранения.

Мне известно, что Бомболо тоже попадался, но, будучи гораздо хитрее других, всякий раз умудрялся вернуть себе изъятую сумму, манипулируя финансовыми отчетами, которые он, как начальник отдела, имеет возможность предъявлять не по одному, а гуртом, в конце каждого месяца.

Мне же подобная мера не грозит. Почему я так думаю? А вот почему. Я долго размышлял на эту тему и пришел к выводу, что доктор Макс никогда меня не накажет, так как я сам поставил себя в рамки, которые исключают такую вероятность. Несмотря на все настояния доктора Макса (чисто тактические, притворные, рассчитанные на то, чтобы прозондировать, действительно ли у меня нет никаких притязаний), я не хочу, чтобы меня официально зачисляли в штат фирмы. Я прошу, чтобы мне платили самое низкое жалованье, хотя доктор Макс все время порывается его удвоить, а то и утроить. Я отказался от приобретения какой-либо собственности (не нужны мне ни квартира, ни мебель, ни телевизор, ни стиральная машина, ни прочие бытовые приборы, ни автомобиль). Я не делаю никаких покупок в рассрочку (три взноса за плащ, который я купил по неопытности, уже погашены). Все мое имущество состоит из двух костюмов и нескольких рубашек — стало быть, наказывать меня не за что. Напротив, доктор Макс с каждым днем все настойчивее повторяет свои предложения и в глубине души завидует моей свободе. Это единственное, что может его тревожить. Далекий от мысли, что я довольствуюсь минимальным жалованьем и жалкой меблированной комнатой лишь для того, чтобы вызвать к себе жалость, доктор Макс отлично понимает, что моя позиция — это позиция нравственного соперничества с ним. Он никогда не сможет меня наказать. Скорее наоборот (как ни смешно, но это факт): он боится быть наказанным мной. Конечно, наказание, которое я могу к нему применить, не имеет ничего общего с теми мерами воздействия (вроде урезывания жалованья), к которым прибегает он, зато оно носит сугубо моральный характер. Например, я одним взглядом даю ему понять, что заметил его новый костюм или — что еще хуже — новую машину.

Больше всего в этом моральном соревновании и соперничестве сразил его мой ответ на один вопрос, который он поставил, как говорится, ребром. Разговор шел о том, что мои родные живут весьма скромно и что после ухода отца на пенсию будут жить еще скромнее. Когда речь зашла о моей невесте Марии, он выразил желание с ней познакомиться. Кто знает, понравится она ему или нет? (Этой проблемой мне тоже надо заняться и найти какое-то решение.) Среди прочего обсуждалось мое материальное положение, точнее, мое жалованье, которого, конечно, не хватит, если я надумаю жениться и буду помогать родителям.

Что касается меня, то я все время молчал и ни разу ни о чем его не попросил. Видя, что ни одна из этих тем не вызывает с моей стороны повышенного интереса, доктор Макс задал мне напрямик следующий вопрос:

— К чему вы стремитесь? Должна же у вас быть какая-то сокровенная цель? Вы наверняка, как и все, хотите урвать что-нибудь от жизни или от меня. Или вы еще присматриваетесь, примеряетесь, что бы ухватить... Следовательно...

Впервые за все время, прервав его, я сказал:

— Да, у меня тоже есть своя цель.

— Какая же? Послушаем!

Желая его осчастливить, я ответил:

— Умереть.

Но про себя с горечью подумал, что это правда.

IV

Доктор Макс помолвлен. Это известие всех взбудоражило. По словам Селене, в новом здании (а там больше двухсот служащих) только об этом и говорят, но толком никто ничего не знает.

Со мной доктор Макс тоже не обмолвился по этому поводу ни единым словом, да и его родные, по-видимому, пребывают в полном неведении. Это очень странно, потому что мать доктора Макса, доктор Урадза, следит за каждым его шагом и живет в постоянной тревоге за него. Многие надеются, что женитьба пойдет ему на пользу и будет содействовать решению многих проблем — как его личных, связанных с состоянием его нервной системы, так и касающихся фирмы.

Я тоже такого мнения, хотя меня и пугает, что в сферу влияния, оказываемого на доктора Макса, войдет еще один человек, чья роль, несомненно, будет решающей.

О помолвке и о предстоящей женитьбе доктора Макса говорят так, будто, решая свою половую проблему, утихомиривая и умиротворяя свои внутренние органы, он одновременно «умиротворяет» внутренние звенья фирмы — дескать, теперь наладятся и производство, и реклама, и увеличение сбыта, и торговля за наличные, и продажа в рассрочку, и бухгалтерия, простая и электронно-вычислительная, и выплата жалованья, и прочее, и прочее.

Должен признаться, что известие о помолвке доктора Макса явилось для меня полнейшей неожиданностью. (Собственно, почему? Разве доктор Макс не такой человек, как все? Нет, не такой. О том, что он принадлежит к совершенно особой породе людей, свидетельствуют хотя бы белые апигментные пятна вокруг рта. Об этом не следует забывать.) Я не мог себе представить, чтобы доктор Макс, целиком поглощенный проблемами трудовой морали и делами фирмы, мог решиться обзавестись женой! Значит, от меня укрылась какая-то важная сторона его характера. Что, впрочем, вполне естественно — я же не женщина. (Только женщины обладают обостренным чутьем в таких делах.)

Надо сказать, что Бомболо не раз намекал на эту неясную для

нас сторону характера доктора Макса, не раз ехидничал на эту тему, однако он тоже ничего не понял. Тем не менее факт остается фактом: Бомболо над этой проблемой задумывался, а я — нет. А она имеет немаловажное значение. Ведь теперь все зависит от того, насколько удачным окажется этот брак. Прежде всего, подходит ли доктору Максу его невеста? А кто это может сказать? Никто, даже сам доктор Макс! Может быть, в принципе и подходит, а может быть и нет. Ведь речь идет о чисто химических реакциях. Я в химии не разбираюсь, но даже если бы и разбирался, то как можно узнать, насколько их союз возможен и нужен?

Если деятельность желез внутренней секреции, а также тысячи других химических факторов окажутся у них не гармоничными, то как это повлияет на фирму и, в частности, на меня? Будем надеяться, что поглощенный своими моральными проблемами доктор Макс не обратит внимания на то, как действуют железы внутренней секреции у его невесты (зато она может раздуть из этого целую историю!), и будет печься только о моральной стороне дела (то есть о самой невесте и об институте брака вообще).

Единственное, что удалось выяснить, это то, что невеста бедна. Неизвестно, красивая она или уродливая, добрая или злая, честная или нечестная; известно только, что она бедна. Это обстоятельство, конечно, проливает некоторый свет на интересующий нас вопрос и свидетельствует о том, что в своем выборе доктор Макс руководствовался высоко моральным принципом. Доктор Макс выбрал себе в невесты и в жены бедную девушку. На первый взгляд это может показаться добрым предзнаменованием: доктор Макс лишний раз продемонстрировал, что он нам ровня, что он ничем не отличается от тех, кто может взять себе в жены только бедную или, во всяком случае, небогатую девушку. Это поступок того же порядка, что и отказ от персональной уборной, продиктованный нежеланием пользоваться особыми привилегиями и необходимостью выделить мне кабинет.

Казалось бы, все хорошо? Но лишь на первый взгляд. Ибо доктор Макс не знает, что богатство, то есть деньги,— это прерогатива людей особого вида, не похожих на бедняков, причем слово «вид» здесь употребляется как биологический термин: речь идет о сумме определенных физических, психических и психологических особенностей, которые почти никогда не наблюдаются у особей другого вида. Может статься, что в силу каких-нибудь обстоятельств — каких именно, я сказать не могу — в организме бедняка обнаруживаются элементы или сочетания элементов, которые могут привести его к созданию или к достижению богатства. Точно так же у богача возможно наличие элементов, ведущих к уничтожению богатства и толкающих его к нищете. Но это происходит лишь тогда, когда данный вид находится в переходной стадии, пока совершенно не изученной: когда бедные находятся на подъеме, а богатые переживают упадок.

Было бы ошибочно предполагать, что доктор Макс находится на этой промежуточной стадии. Правда, богатство его семьи накоплено лишь предыдущим поколением. Из осторожности, а также учитывая его молодой возраст, я бы не хотел говорить, что доктор Макс находится на стадии восхождения, и нет никаких оснований считать, что он катится вниз. Несмотря на явные признаки интоксикации — апигментные пятна, слабую конституцию, тягу к морализированию и прочее,— доктора Макса можно безусловно причислить к молодым и крепким экземплярам данного вида. У него нет ни малейших признаков или симптомов той хрупкости, отрешенности и чрезмерной, граничащей с рассеянностью меланхолии и печали, того беспричинного страдания, тех сладостных и одновременно мрачных предчувствий, которые составляют истинную

причину упадка (финансового) и очень часто выступают предвестниками конца.

Нет, доктор Макс не имеет с этим ничего общего и, при всем своеобразии своего характера, является типичным представителем данного вида. А что будет дальше, посмотрим.

Вчера утром доктор Макс позвонил мне по телефону и сказал, что через полчаса заедет за мной. Я не стал расспрашивать зачем. Как всегда по воскресеньям, принял ванну, надел чистую рубашку, оделся и спустился вниз. На сей раз доктор Макс приехал не на малолитражке, на которой он ездит обычно, а на длинной машине персикового цвета (из чего я понял, что за какие-нибудь несколько дней все радикально переменилось). Он резко притормозил и, широко улыбаясь (доктор Макс никогда не смеется, поэтому я расценил его улыбку как положительный и, в известном смысле, обнадеживающий признак), распахнул дверцу машины, приглашая меня войти. Я вошел и чуть не утонул в подушках сиденья, обитого шкурой леопарда. Не переставая улыбаться, доктор Макс произнес первую фразу, настолько странную, что, откровенно говоря, я ее не понял и не пожелал понять, ибо знаю, к каким неожиданным поворотам и аллегориям склонна его мысль.

Фраза звучала так:

— Вам нравится? Знаю, знаю, что это безнравственно, но мне наплевать!

С этими словами он захлопнул дверцу, и мы плавно тронулись в путь.

Я внимательно осмотрел автомобиль. Он — американской марки, с откидным верхом. Внутри все обито мехом, кроме дверей и верха, обтянутых розовой кожей. Приборная доска со множеством кнопок и индикаторных лампочек отделана перламутром. Стекла голубые.

Доктор Макс ехал с большой скоростью по малолюдным улицам, потом резко затормозил возле какого-то дома — машина еще долго качалась на рессорах, меня даже затошнило. Из дома вышел Бомболо. Непрерывно хохоча и, по своему обыкновению, превознося до небес доктора Макса, он влез в машину. Со мной он даже не поздоровался. Впрочем, чего же еще было ожидать от человека, который решил меня игнорировать? Тем не менее, разговаривая с доктором Максом, он неоднократно упоминал обо мне, называя почему-то «младым семенем». Немного погодя, убаюканный мягким покачиванием рессор, он уснул. Во сне он разговаривал и жестикулировал — испуганно махал перед собой руками, словно отгоняя кого-то.

Машина пересекла из конца в конец весь город, выехала на развилку шоссе и помчалась. Мы ехали с такой скоростью, что пейзаж, краски и запахи, проникавшие через неплотно прикрытые окна, смешивались в одну многообразную разноцветную массу, так что ничего, кроме двух радужных полос, бежавших мимо окон, я не видел. Наконец я заметил на горизонте высокие горы, и внезапно перед нашими глазами возникла спокойная плотная гладь черного озера. Тут машина свернула на дорогу, которая спускалась серпантином к озеру, и вскоре остановилась в нескольких метрах от дома, напоминавшего купол астрономической обсерватории. Две алюминиевые дольки купола отворились внутрь, и из отверстия вышла молодая женщина, по виду служащая. На ней была клетчатая юбка и светло-серый свитерок. Волнистые волосы до плечей были перехвачены повыше лба черным бархатным ободком.

Мы вышли из машины, и доктор Макс сказал:

— Разреши тебе представить двух моих сотрудников! Знакомьтесь — моя невеста!

Молодая женщина подошла к нам какой-то странно напряженной походкой, широко расставляя ноги. Она улыбалась и высовывала кончик

языка, будто облизывала усы, и водила им слева направо, соответственно ворочая глазами.

— Отень плиятно! — прошепелявила она и выбросила вперед руку с растопыренными пальцами.

Мы с Бомболо почтительно пожали протянутую руку и, поклонившись, отошли в сторонку.

Затем мы все вошли в дом — посмотреть, что представляет собой вилла (весьма странное сооружение), подаренная доктором Сатурно сыну.

Я все время внимательно рассматривал невесту доктора Макса. Ее зовут Минни. Голос у нее нормальный, но разговаривает она капризным тоном избалованной девочки (хотя и не противно), много жестикулирует и издает какие-то странные звуки. Чтобы выразить какую-нибудь мысль, она делает смешные гримасы и принимает уморительные позы, сопровождая их восклицаниями и междометиями. Если она хочет погладить доктора Макса, то издает звук «сцип», если хочет потрепать его по щеке или по руке, то «смак», если толкает кулаком в бок (в шутку, конечно), то «шанг», если целует — «с-чак». Если ей хочется спать, она мурлычет «рон-рон», если хочется есть, то она урчит «грон-грон-грон», и так далее. Эти звуки сопровождаются уморительными телодвижениями. Например, она вдруг напускает на себя грозный вид и, широко шагая, покачиваясь на раскоряченных ногах, вытянув сжатые в кулаки руки, направляется к доктору Максу и дает ему тумака. Потом хлопает своими длинными ресницами, умоляюще складывает руки и — «с-чак!» — чмокает его в щеку. Пофыркивая («фр-р-фр-р»), она взъерошивает ему волосы, затем с громким «сплак», раскинув в стороны руки и ноги, высунув язык, плюхается в кресло.

Во всем остальном она вполне нормальна.

Я долго на нее смотрел и не мог взять в толк, почему доктор Макс с его миллиардами остановил свой выбор на такой Минни с ее «смаками», «с-чаками» и «рон-ронами». Это путало все мои прогнозы и предположения, опрокидывало все понятия о химических законах брака, равно как и о законах исторических и экономических. Можно ли предугадать, какое влияние — положительное или отрицательное — окажет все это на коммерческую фирму, с более чем двумястами служащих, на судьбу этих людей, на судьбу административного отдела, отдела торгового планирования, старой и новой резиденции, фирмы в целом и моего кабинета в частности!

После осмотра дома Минни вдруг пискнула «цип», и появился швейцар-обезьяна в белом медицинском халате. Доктор Макс улыбнулся, швейцар-санитар подошел к нам и пробасил:

— Укол.

Бомболо принялся хохотать, приговаривая что-то вроде «Потрясающе! Сказочно!», хотя тоже не понимал, что происходит, и пытался своим лошадиным ржанием все свести к шутке. Но швейцар-обезьяна-череп вовсе не шутил. Думая, что Бомболо смеется над ним, он угрожающе стал на него наступать.

Тогда Минни объяснила:

— Уколь витамина дологим гоштям!

И, показывая, как делают укол, пропищала:

— Циипп!

Я ничего не понимал. Бомболо тоже. Он постепенно затих и, не зная, как себя вести, вытирал глаза носовым платком. Тогда вмешался доктор Макс:

— Мы с Минни делаем себе сейчас уколы витамина. Она хочет угостить и вас. В общем, если хотите, можете сделать себе тоже. На меня они действуют прекрасно.

Я, извинившись, отказался.

— Право, не стоит из-за меня беспокоиться.

А Бомболо, напротив, сказал:

— С удовольствием!

Не успел он это произнести, как швейцар уволок его в соседнюю комнату. В течение нескольких минут не было слышно ничего, кроме бормотанья Минни («грон-грон-грон»); затем в соседней комнате послышался вскрик, после чего, уже застегнутый на все пуговицы, появился Бомболо.

Теперь очередь была за мной. Я заартачился, стал благодарить:

— Нет-нет, спасибо большое! Мне совсем не нужно, спасибо, спасибо, благодарю вас за заботу!

Но меня никто не слушал.

Минни приставала к доктору Максу («цип-цип-цип») до тех пор, пока он не вышел из себя и не заорал:

— Кретин! Слушайте, когда вам говорят! Нет, вы только посмотрите, что за кретин!

И захохотал...

Я не сдавался, но швейцар силой потащил меня в соседнюю комнату. (Однако я все же оказал сопротивление: повис как труп у него на руках; ноги мои безжизненно волочились по полу.) Он швырнул меня на кушетку, протянул ко мне свою волосатую лапу, расстегнул брюки и вонзил длинную иглу в верхнюю часть бедра. Мне было больно. Как он колол, я не видел, но порция, очевидно, была большая, потому что он провозился со мной гораздо дольше, чем с Бомболо. Потом, широко улыбаясь, отошел. Я оделся и вышел в гостиную, где при моем появлении все загоготали и громче всех — Минни, которая вскрикивала («уафф-уафф-уафф») и хлопала себя по животу.

Наконец они угомонились. Доктор Макс, Бомболо и я завели разговор о фирме. Перейдя в столовую, мы продолжали разговаривать о том же. Минни внимательно слушала и время от времени вставляла свои «замечания» в виде жестов и мяуканья, понятных только доктору Максу — во всяком случае, он отвечал ей в тон. Я тоже принимал участие в разговоре. Между тем Минни забавлялась большим резиновым молотком. Под конец — по-видимому, ей наскучили наши разговоры о делах — Минни произнесла «уфф», подошла ко мне и ничтоже сумняшеся — «бонг!» — стукнула меня молотком по голове. Я потерял сознание.

Совершенно непостижимо, в чем заключается секрет влияния Минни на доктора Макса. Судя по первым симптомам, влияние это, видимо, благотворное: например, апигментных пятен вокруг рта не стало, а вместе с ними отступила на задний план и большая часть моральных проблем. Зато появилось ярко выраженное стремление к насилию. Не знаю, идет ли оно изнутри или имеет наносный характер, но, так или иначе, последнее время доктор Макс то и дело срывается.

Возможно, произошло то, чего я опасался с самого начала: их союз оказался неудачным и они не подходят друг к другу. В самом деле, если все идет как надо, то почему он в последнее время так неистовствует? Хочется думать, что между ним и Минни еще не было близости и что он ищет в работе и в усиленной деятельности выход своему неудовлетворенному желанию. Но в таком случае, почему исчезли апигментные пятна? Конечно, это вопрос сугубо личный и ответить на него может только доктор Макс; я же, как всегда, могу высказывать лишь предположения, которые при соприкосновении с действительностью рассеиваются точно дым. По-моему, доктор Макс силится показать невесте, что он — настоящий мужчина, хотя на самом деле это не так. Причем он хочет продемонстрировать ей не ту власть, какою располагает благодаря отцовским деньгам, а ту, которая проявляется в работе, в реальном воздействии

на людей. Иными словами, доктор Макс хочет властвовать вместо отца — доктора Сатурно, который эту власть создал.

Все это, разумеется, мои домыслы. Но факт остается фактом: доктор Макс во многих отношениях переменился. С одной стороны, он стал мягче, менее резок, менее противоречив. А с другой — еще более неистов. Его мать, доктор Урадза, к которой до недавнего времени он был очень привязан, чрезвычайно обеспокоена происшедшими в сыне переменами.

Я никогда ее не видел и вчера был весьма удивлен, когда какая-то высокая рыжеволосая женщина приоткрыла дверь моего кабинета и, улыбаясь, сказала:

— Я Урадза, мама доктора Макса.

Потрепав меня по щеке, она предложила:

— Приходите ко мне завтракать сегодня! Мне надо с вами поговорить.

Я было приподнялся со стула, но доктор Урадза махнула рукой, чтобы я не вставал.

— Сидите, сидите, не беспокойтесь! — бросила она и, оглядев мою комнатушку, добавила: — У вас очень славный кабинетик.

После чего улыбнулась и шутливо погрозила мне пальцем. Я сначала не понял, что должен был означать этот жест, но она продолжала:

— Это вы во всем виноваты! Теперь Максу приходится пользоваться общей уборной... Я, конечно, ничего не имею против, но все-таки предпочла бы, чтобы у него был свой туалет. Ведь это была моя идея устроить для него отдельную уборную! А он мне назло велел ее ликвидировать и поместить сюда вас.

— Но, доктор Урадза, если вам угодно, я готов...

Мне хотелось сразу объяснить ей, что я тут ни при чем, что доктор Макс сам пожелал, чтобы я занял эту комнату.

— Знаю, знаю, знаю, что сам! В известном смысле он поступил даже правильно, его решение было высоконравственным. (Как? Доктор Урадза тоже толкует о нравственности? Стало быть, у доктора Макса это наследственное! Теперь я начинаю понимать, в чем причина ее неожиданного визита, первого за столько месяцев.) Но как сочетать мораль и гигиену? По нынешним временам это не просто. Не правда ли? Так вы придете?

Поскольку я медлил с ответом, она прошептала:

— Я жду вас ровно в половине первого.

И исчезла.

Я снова погрузился в мысли о работе, но голова моя была занята доктором Урадзой. (Зачем ей понадобилось приглашать меня в гости?) Собственно, моя работа (и не только моя, но почти всех служащих фирмы) сводится к тому, что мы сидим и размышляем о внутренних взаимоотношениях. Прежде всего, об отношениях с доктором Максом (об их начале, развитии и завершении — вернее, об одном из возможных вариантов их завершения, ибо конец обычно бывает один). Мы размышляем также по поводу бесконечных трений между отделами, тоже зависящих от позиции доктора Макса, о том, в каком сегодня доктор Макс настроении, к кому он воспылал симпатией, а к кому — ненавистью; наконец, мы думаем о взаимоотношениях доктора Макса с другими людьми, о других отделах, в том числе о тех, относительно которых трудно получить информацию,— надо же иметь о них хотя бы примерное представление, чтобы знать, как ориентироваться в будущем.

Итак, доктор Урадза. Что ей могло от меня понадобиться? И почему она обратилась именно ко мне, пригласила именно меня? Я был этим встревожен, поэтому употребил все утро — до половины первого — на то, чтобы разгадать если не намерения, то хотя бы ту сторону характера

доктора Урадзы, которая приоткрылась мне после ее слов и особенно при виде копны ее мягких огненно-рыжих волос, составляющих наиболее характерную ее черту. Свойство их таково, что при всей своей удивительной легкости они стоят дыбом. (Возможно, это стремление вверх и предопределило высокое положение доктора Урадзы и ее сына... По-видимому, благодаря своей невесомости, они приходят в движение от малейшего колебания воздуха, на что другие волосы фирмы не реагируют.) А может быть, в них заключен своего рода магнетизм или центробежный электрический заряд (это бывает у многих), который приподнимает их и устремляет ввысь, уподобляя тысячам тончайших антенн, вибрирующих в пространстве.

Вполне возможно, что апигментные пятна — признак нарушения деятельности желез внутренней секреции,— проступающие не только у доктора Макса, но и вокруг широкого рта доктора Урадзы (правда, в гораздо меньшей степени), тоже унаследованы доктором Максом от матери и в известном смысле порождены тем огромным зарядом чувствительности, который содержится в ее волосах.

В целом, доктор Урадза произвела на меня одновременно положительное и отрицательное впечатление. Положительное — потому что в ее улыбке есть что-то детское, чистое (и вместе с тем мрачное и застывшее: так мог бы улыбаться комар). Отрицательное — потому что ее волосы похожи на аппарат, обладающий сверхмощной чувствительностью, которая дана только ей и совершенно недоступна для стоящего рядом человека. Вполне возможно, что такое ощущение создается не у всех и что многие не видят в ее волосах ничего особенного, а тем более опасного. Я же убежден, что в отличие от обычных чувствительных приборов, волосы доктора Урадзы представляют собой мощное оружие, и она им, несомненно, пользуется. Я уверен, что, побывав рядом со мной и с моей комнатой (ибо доктор Урадза так и не вошла в мой кабинет: ей было достаточно просунуть в дверь свою шевелюру), волосы сообщили ей по каким-то неведомым каналам такую информацию, такие данные обо мне, о которых я не имею даже отдаленного представления.

Ровно в двенадцать тридцать я спустился вниз, на первый этаж, где меня уже поджидал ненавистный швейцар (никогда не забуду, на какие подлости пускался этот тип — только на том основании, что у него стальные мускулы). Как ни в чем не бывало, словно видел меня первый раз в жизни (вернее, вовсе не глядя на меня, а уставившись в пол), швейцар отпер небольшую дверь в стеклянной стене вестибюля.

Как я и предполагал со дня своего прихода в фирму (с тех пор прошло уже много времени, а кажется, будто было вчера...), за этой стеной под стеклянным куполом, через который поступает свет, растут деревья — нечто вроде ботанического сада или большой оранжереи. От влажного воздуха, от резкого запаха цветов и растений у меня на мгновение захватило дух, но я быстро освоился.

В ожидании, когда кто-нибудь выйдет ко мне из глубины оранжереи, где на нижнем этаже нового здания фирмы расположены апартаменты доктора Урадзы, я разглядывал противные мясистые листья деревьев, разросшиеся легким облаком пучки капельвенере, похожие на растущие из земли человеческие волосы (кстати, очень напоминающие шевелюру доктора Урадзы), мягкие, гибкие, переплетающиеся ветки глицинии и густой мох, покрывающий почти все дно круглого фонтана. Настоящего прохода через сад не было: надо было пробираться по запутанным тропкам, замаскированным мхом и длинными стеблями ириса, неожиданно высовывающего то тут, то там свои лиловатые головки. Вокруг меня росли и апельсиновые деревья, и лимоны, и большая магнолия, на которой белели свежие сочные цветы. Не имея возможности из-за купола расти в высоту, деревья походили на толпу коренастых, глазастых карликов.

Даже небольшие растения были чрезмерно упитанными, как бы страдали от тучности. Цветы, видневшиеся средь листвы, выглядели свежими, только что распустившимися, но отдельные лепестки достигли огромных размеров, поблекли и напоминали куски мяса или клочья кровоточащей кожи. А стволы магнолий, нескольких персиковых деревьев, глициний и виноградных кустов выглядели приземистыми и мускулистыми — совсем как ноги карликов.

Сад был сказочно красив, весь благоухал, но в то же время от него исходил стойкий похоронный запах, всегда возникающий в атмосфере искусственной жизни. В этих корнях, стволах, ветвях, листьях и цветах, в их бессмысленной тучности таилась мрачная, мощная и даже грозная сила, напоминавшая не дыхание естественной флоры, а, скорее, сопение огромной фауны, подстерегающей в чаще свою добычу. У меня мелькнула мысль, что этот сад олицетворяет всех нас, работающих в фирме, в том числе и доктора Макса и его мать — доктора Урадзу. Все мы, в том числе хозяин и хозяйка, попали в большую западню и, так же как эти персиковые деревья, виноградные кусты, глицинии и магнолии, вынуждены остановиться в своем естественном развитии, не давать выхода своей энергии и, в конце концов, превратиться в таких же вот уродцев. Но в отличие от этих растений, бессознательно демонстрирующих свое уродство в особой яркости красок и в повышенной влажности, выставляющих напоказ свое мясистое и убогое растительное благополучие, мы свою ненормальность не демонстрируем, а, напротив, всячески стараемся скрыть, отчего в нас с каждым днем накапливается все больше и больше взаимной ненависти.

От этих мыслей меня отвлек слуга в белой куртке, сделавший мне знак следовать за ним. Стараясь ступать туда же, куда и он, я подошел к веранде, через веранду прошел в коридор, затем, поднявшись по винтовой лестнице, оказался в гостиной, обставленной старинной мебелью, увешанной коврами и гобеленами. Посреди комнаты стоял диван, обращенный к четырем окнам, откуда видны были вход в новое здание и запруженная автомобилями улица. Я тотчас заметил, что на диване кто-то сидит и дремлет; это был доктор Сатурно.

Он был стар, очень стар, но на вид еще крепок, хотя в позе его и чувствовалась усталость: он весь как-то обмяк. Квадратная голова, длинные седые волосы, большие, когда-то сильные руки, голубые глаза, прозрачные и по-детски невинные... Сейчас эти детские невинные глаза, смотревшие весело и в то же время ненасытно жадно, были устремлены на меня. Но в глубине их маячила какая-то белесая тень, похожая на взболтанный молочный осадок, который затуманивал, приглушал их яркость.

Доктор Сатурно вперил в меня свой детский взгляд (бесплотная белесая тень тотчас появилась тоже), потом, похлопав по дивану рядом с собой, позвал:

— Садись сюда!

Я сел. Он вытащил из бокового кармана пиджака пенсне со стеклышками в форме полумесяца, надел его, посмотрел на меня еще раз и, довольный, улыбнулся.

— Знаешь, что я тебе скажу? — произнес он вполголоса и сделал долгую паузу.— Деньги ничего не значат! Понял? Запомни это. Я знаю, что говорю!

Он взглянул на меня снова, чтобы проверить, какое впечатление произвели на меня его слова. Я не удержался и хмыкнул, он поднес к губам бледный сморщенный палец с волнистым, как у покойника, ногтем.

— Ш-ш-ш... Только чтобы никто не слышал!.. А то опять начнут меня пилить за то, что я, видите ли, веду себя как мужлан. Я не желаю, чтобы меня пилили. Каждый такой разговор приближает меня к зубастой.

— А кто это? — спросил я.

— «Зубастая»-то? Эх, дорогой мой... Вот послушай!

Он, кряхтя, поднялся с дивана и тихо, но отчетливо запел:

У нее одна нога деревянная,
А другая нога — картонная...
А под пятками — по картошине,
Что ни шаг — поклоны отвешивает...

Пропев эту странную песенку, он с трудом разогнул поясницу, выпрямился и пошел к накрытому столу, выкрикивая:

— Будем мы есть или нет? Когда же мы будем есть?

Он сел за стол и принялся колотить ложкой по серебряным тарелкам. Прибежал слуга, а вслед за ним — доктор Урадза.

— Что такое? Что случилось?

— Будем мы сегодня есть или нет? А ты, балбес, что на меня уставился? Чем глазеть на меня, лучше неси еду!

— Но, Сатурно! — с упреком проговорила доктор Урадза.

Он схватил ее за руку и силой усадил рядом с собой.

За обедом доктор Сатурно не разговаривал. Под конец явился доктор Макс — поздороваться с родителями. Отец тотчас вывел его из себя. Смеясь чуть не до слез, доктор Сатурно спросил:

— Послушай, балбес! Это правда, что твою девчонку зовут Минни? Но ведь Минни — это жена Мышонка Тополино.

Доктор Макс стал бледен как смерть.

— Я не позволю...— начал он, но запнулся, не смог больше произнести ни слова и забормотал себе под нос что-то бессвязное.

— Бу-бу-бу... Балбес! Значит, если ты женишься на Минни, ты превратишься в Мышонка Тополино. Нет, что я говорю! Не в Мышонка, а в Гусенка Пеперино, потому что папа — Гусь Лапчатый, Пеперон деи Пеперони — это же я!* Ну-ну, Мышонок, не злись! Что ты так взъерепенился?

И доктор Сатурно, не обращая внимания на жену, которая сжимала ему руку, умоляя замолчать, снова расхохотался. Доктор Макс был взбешен. Он еще раз выдавил из себя:

— Я не позволю... Не позволю...

У него дрожал подбородок. Он опять не смог договорить: от дрожащего подбородка злость пошла кверху, перекосила лицо и вырвалась наружу всхлипыванием. Доктор Макс расплакался и выбежал из комнаты. Доктор Сатурно, передразнивая сына, бросил ему вдогонку:

— «Не позволю, не позволю»... Балбес ты этакий! А эта твоя Минни — продувная бестия!

С этими словами доктор Сатурно вонзил ложечку в мороженое и принялся его уписывать за обе щеки. Доктор Урадза выскочила из комнаты вслед за сыном, и мы остались вдвоем. Но доктор Сатурно больше не сказал ни слова. Покончив с мороженым, он поднялся и, уставившись на пляшущую белесую тень в глазах, на которой было сосредоточено, по-видимому, все его внимание (быть может, он пытался таким образом проникнуть в ее тайну), не замечая моего присутствия, медленными размеренными шагами вышел из комнаты.

Так вот каков он, доктор Сатурно, человек, основавший нашу торговую фирму и накопивший несметные богатства! С тех пор как я приехал в большой город и начал работать в фирме, главной отличительной чертой людей, с которыми я познакомился, и самого города была нереальность, призрачность: они казались мне несуществующими и одновременно отвратительными, словно то были не живые люди, а сомнамбулы. У доктора Сатурно, вопреки его имени, эта черта отсутствовала: он был вполне реальным существом. Впервые за много месяцев передо мной был

* Минни, Тополино, Пеперон деи Пеперони — персонажи популярных итальянских комиксов. *(Прим. перев.)*

человек, а не призрак. Такое же впечатление производили и находившиеся в комнате предметы: посуда, столовые приборы, картины, гобелены, диваны,— а также окна, улица под окнами и проезжавшие по ней автомобили. Все это были реальные вещи, которые я мог потрогать руками и назвать, не боясь ошибиться. Слуга, обслуживавший нас за столом, был не кто иной, как слуга, доктор Урадза — несчастная старуха, а доктор Макс — ребенок; как с ребенком отец с ним и обращался.

Но это ощущение длилось лишь до тех пор, пока доктор Сатурно был здесь. Стоило ему выйти из комнаты, как окружающие предметы — люди и вещи — мало-помалу снова приобрели свой обычный вид призраков, а с приходом доктора Урадзы последние намеки на реальность и вовсе исчезли.

Плача, она села возле меня на диван. Ее пламенеющие волосы колыхались в воздухе наподобие куста водорослей на дне моря.

— Вы видели, как он с ним обращается? — возбужденно заговорила она, сжимая мою руку.— Вы видели? Я так больше не могу. Я чувствую, что мне приходит конец!

Желая ее утешить, я сказал:

— Что вы, доктор Урадза! Он, наверно, шутил... Ведь доктор Макс — сын ему.

Но она, продолжая сжимать мою руку, прервала меня на полуслове:

— Шутил? Ничего подобного! Он нарочно его оскорбляет, доводит до исступления, особенно в присутствии посторонних. Он всегда так делает. И в этот раз тоже: воспользовался вашим присутствием, не упустил случая... Старается унизить мальчика при посторонних, чтобы доказать, что хозяин все-таки он, Сатурно! Теперь Макс куда-то убежал, у него опять будет припадок, как бывало уже не раз. Меня он ни в грош не ставит. Даже ударил...

— Ударил?!

— Да, да, смотрите!

Доктор Урадза отняла от лица мокрый носовой платок. Левая скула припухла, на ней обозначилось что-то вроде синяка.

Я не мог поверить, что доктор Макс мог дойти в своем озлоблении до того, чтобы ударить родную мать, но факт был, как говорится, налицо. А может быть, она просто поскользнулась, упала и теперь показывает мне синяк, чтобы разжалобить? Ведь она еще утром заявила, что ей надо со мной поговорить. Тогда о докторе Сатурно не было сказано ни звука; я даже не знал, что увижу его здесь. Я полагал, что доктор Урадза будет советоваться со мной насчет Минни или вообще захочет поговорить о помолвке доктора Макса.

— Ну разве это не безобразие? — продолжала доктор Урадза, прикладывая к скуле платок, от которого сильно пахло уксусом.— Но мне его так жаль... Он доведен до крайности и может натворить глупостей. Я живу в постоянном страхе. Поэтому я и советую ему изливать свое раздражение на окружающих, в том числе и на меня: это гораздо полезнее для здоровья, чем сдерживаться. Но, послушайте, скажите мне, вы — добрый человек? — скороговоркой выпалила она.

— Кто, я?!

— Да, вы, вы! Вы — добрый человек? Вы мне — друг?

Ее вопрос меня озадачил. Добрый ли я человек? Друг ли я ей? Я не знал. Но надо было отвечать. Я чувствовал, что должен быстро принять решение и дать доктору Урадзе как можно более удовлетворительный ответ. И слова сами сорвались с моих губ:

— Добр ли я, я не знаю. Надеюсь, что да. Что касается вас, доктор Урадза... Ведь я вижу вас впервые... Как же я могу сказать вам, что я вам друг? Я могу лишь выразить надежду, что я — друг доктора Макса...

— Вот и прекрасно! Это как раз то, что я желала от вас услышать.

Если вы — друг доктора Макса, значит, вы и мой друг. Ведь я его мать, стало быть... Именно это я и хотела от вас услышать. Ах, извините... Не желаете ли чашечку кофе?

Слуга уже давно стоял рядом, с подносом. Доктор Урадза, забыв про меня, взяла себе чашку, положила в нее сахару и выпила кофе, а слуга по своей инициативе мне не предложил и уже собирался уходить. Я взял чашку, но пить не стал (из опасения, как бы доктор Урадза не подумала, что меня больше занимает кофе, нежели беседа с ней).

— Вы видели, как он с ним обошелся? Разве Макс научится командовать, если родной отец так его третирует! Правда, я, со своей стороны, всегда ему внушала, чтобы он никогда не пользовался преимуществами своего положения и был чуток к подчиненным. Чтобы слушался голоса сердца, а не прибегал к силе. Потому-то я и хотела знать, добры ли вы. Впрочем, нечего было и спрашивать: я это знаю от самого Макса. Спасибо. Я благодарна вам за все то, что вы уже сделали и еще сделаете для него. Я знаю, как много вы для него делаете. Я все, все знаю...

— По правде говоря, я ничего не делаю...

— Вот, вот! Уже один этот ваш ответ говорит о том, как вы добры! Вы действительно ничего не делаете. Ничегошеньки...— Тут доктор Урадза, прикрыв рот рукой, хихикнула.— Но вы, по крайней мере, это признаете. Остальные тоже сидят сложа руки, но разве они признаются? Никогда! Поймите, если человек ничего не делает, палец о палец не ударяет, и ему еще за это платят, то он, естественно, сам подставляет себя под удар. Хозяин просто вынужден наказывать...

— Извините, но я не понимаю...

Я действительно не понимал, о чем она толкует, но догадывался, что доктор Урадза тоже завела знакомую песню о морали и труде. Веки мои точно налились свинцом: я стал клевать носом. К счастью, доктор Урадза повысила голос и вывела меня из сонливого состояния.

— Как это не понимаете?! — пронзительно взвизгнула она.— Почему не понимаете? Потому что вы — тупица или потому, что вы спите?— И стукнула по стоявшему возле дивана столику своей сухой рукой, напомнив мне воспитательницу из монастыря.— Что значит — вы не понимаете? Или вы прикидываетесь? Почему все считают возможным притворяться, будто они не понимают, что им говорят, а сами выкачивают из доктора Макса деньги и доводят его до белого каления? Я знаю, вы — не такой, хотя вы тоже... Извините, сколько вы получаете? Скажите, не стесняйтесь! Я же гожусь вам в матери...

— Семьдесят тысяч лир в месяц,— едва слышно ответил я.

Доктор Урадза, наверно, считала, что это слишком много. И действительно, она пробормотала:

— Неплохое жалованье... У Макса очень доброе сердце. А ведь он все, решительно все делает сам, хотя под его началом более двухсот человек! Он за них работает, а те требуют, чтобы им платили! Платить надо, я ничего не говорю, служащим полагается жалованье, но и в этом вопросе надо уметь отличать добро от зла. Хороших надо поощрять, а дурных наказывать.

С этими словами доктор Урадза снова стукнула ладонью по столу.

— Вот, например, вы — хороший человек. Когда Макс мне рассказал, что вы работаете в бывшей уборной, мы хохотали до упаду. Молчал один Сатурно, но он никогда не смеется и никого не слушает. Ему ни до кого нет дела. Как сейчас помню, приходит Макс ко мне — веселый такой, смеется, совсем как в детстве! — и говорит: «Знаешь, мама, я взял на планирование торговли очень хорошего молодого человека». Этот молодой плановик и были вы (хотя, по правде говоря, ни планов, ни торговли мы от вас пока не видели). Боже, как мы смеялись... Но я сразу поняла, что вы, должно быть, очень хороший человек, даже если...— Тут

доктор Урадза сделала паузу и, внимательно вглядываясь мне в лицо, заключила: — ...даже если вы делаете покупки в рассрочку, еще не поступив на работу!

— Я не знал, синьора...— слабо возразил я.

— Ладно, не стоит об этом говорить! Теперь это в порядке вещей, все так делают, но не в вашем возрасте, разумеется... Вы должны оставаться таким же незапятнанным, каким были до сих пор, не делать долгов и не зазнаваться. Короче говоря, быть таким, как сейчас, и ни на что не претендовать. Вот увидите: если вы сумеете от всего отказаться, отказаться, если понадобится, ради любви к доктору Максу, даже от жалованья, то он тоже будет вас любить и навсегда сохранит для вас уголок в своем сердце. (Отказался же он, чтобы иметь вас поближе, от собственной уборной!)

— Я это знаю,— ответил я и снова почувствовал, что у меня слипаются глаза. «Уж не подсыпали ли мне в кофе (я отхлебнул, правда, всего один глоток) какое-нибудь сильнодействующее снотворное?» — подумал я и, чтобы не заснуть окончательно, посмотрел на часы.— Мне пора идти... Надо бежать! — воскликнул я и даже подскочил на диване.

— Так скоро? Хотя, конечно, если вы заняты... Макс тоже вечно спешит,— проговорила, вставая, доктор Урадза. Она рассеянно оглядывалась по сторонам, словно хотела сказать что-то еще и не решалась. Наконец она спросила: — Я узнала, что вы познакомились с Минни. Так ли это?

— Да.

— Она очень смешная, но милая. Правда?

— Да,— снова подтвердил я, не зная, что говорить.

— Важнее всего, чтобы она действительно была такой хорошей, какой кажется на первый взгляд. Максу необходимо отвлекаться от работы, думать о чем-нибудь другом, и Минни для него — вполне невинное развлечение. Макс всегда любил истории про Тополино, он до сих пор ими увлекается. Минни его очень забавляет. Он мне сознался, что с детства мечтал жениться на Минни, и вот теперь он ее нашел. Но самое главное то, что она бедна. Будь она богатой, она бы, конечно, не могла быть Минни. Как вы считаете?

Я снова не мог взять в толк, о чем говорит доктор Урадза.

— Лишь бы он не забывал обо мне. Вот сегодня, например, он стукнул меня кулаком. Я знаю, он шутит, но это что-то новое. Раньше он меня щипал или выкручивал руку, но чтобы пускать в ход кулаки... Уж не Минни ли его надоумила? Макс, как вам, наверно, известно, очень легко поддается влиянию. Как вы полагаете? Скажите мне откровенно...

Я попал в весьма затруднительное положение. Скажи я, что Минни ни при чем, что не она подучила доктора Макса двинуть мать кулаком (пусть в шутку!), это значило бы, что он ударил мать всерьез. В таком случае доктор Урадза расстроилась бы до слез и обрушилась на сына с жалобами и упреками. Если бы я сказал, что она права и что доктор Макс действительно ударил ее в шутку, любя, так же, как раньше щипал или выкручивал руку, то вышло бы, что удар, хотя и безобидный, нанесен по наущению Минни. И тогда представление о Минни как о невинной забаве, с такой готовностью составленное доктором Урадзой, оказалось бы ошибочным. Незначительная фигура Минни выросла бы и превратилась в личность, оказывающую на доктора Макса еще более сильное влияние, чем мать.

— По-моему, доктор Урадза...— бормотал я, еще не зная, что скажу дальше.

— Что по-вашему?

Она впилась в меня взглядом, и я должен, должен был немедленно найти какой-то ответ! Я уже явно замешкался...

— По-моему, этот удар был направлен против доктора Сатурно! — по какому-то наитию выпалил я.

— Тогда почему же он достался мне?

Я про себя отметил, что доктору Урадзе не чужда известная логика. Значит, я тоже должен рассуждать логично.

— Потому, что доктор Сатурно стар и слаб. Не мог же доктор Макс этим воспользоваться! Вот он и сорвал злость на вас...

— Ах, так? — протянула доктор Урадза. Но чувствовалось, что я ее не очень убедил.

— Мне кажется, что Минни тут ни при чем,— настаивал я.

— Но она как раз любит драться. В шутку, конечно...

— Да, но на сей раз она ни при чем.

— Стало быть, вы полагаете, что он ударил меня потому, что был зол на доктора Сатурно, а не потому, что Минни, возможно в шутливой форме, подучила его надавать матери тумаков?

— Несомненно. Выбросьте это из головы! Доктор Макс слишком вас любит, чтобы бить. А если он это и делает, то в шутку или тогда, когда, выйдя из себя, не знает, на ком сорвать злость. Так оно и было в данном случае.

Доктор Урадза улыбнулась и одновременно прослезилась.

— Спасибо. Спасибо! — повторяла она сдавленным от волнения голосом.— Знаете, когда человек одинок, как я, то в голову лезет всякая всячина. Спасибо вам большое, вы действительно очень добры!

И с этими словами она меня обняла. По щекам ее текли слезы. Видя, как она одинока и как страдает, я не мог не ответить на ее ласку. В эту минуту я видел в ней просто несчастную женщину, избитую собственным сыном. Когда я ее обнимал, она показалась мне вдруг такой хрупкой, чистосердечной... И действительно, стоило ей хоть на миг проникнуться подлинно человеческим чувством, как ее волосы, обычно приподнятые волной нервной восприимчивости, тотчас рассыпались по плечам. Правда, они оставались такими же рыжими, как и раньше. Выпустив меня из объятий, доктор Урадза сказала:

— Подождите минуточку! — и убежала.

Вскоре она вернулась, держа в руках какой-то сверток. Волосы ее снова вздымались, как обычно.

— Возьмите себе! Это почти новый костюм доктора Макса. Ему он немного узковат, а вам будет впору. Еще раз спасибо, спасибо вам большое! Да, вот что: насчет костюма доктору Максу — ни слова, иначе он рассердится, обвинит меня в патернализме и, в конце концов, разозлится на вас тоже. Что поделаешь, я человек иного склада и не умею подавлять свои порывы, как вы, молодежь!

Она вложила мне сверток в руки и на цыпочках опять выбежала из комнаты.

Я снова не знал, как быть. Принять в подарок ношеный костюм доктора Макса или нет? Примешь — доктор Макс наверняка разозлится (доктор Урадза сама это предвидела). Не примешь — может обидеться доктор Урадза. Как бы там ни было, а она пользуется еще очень большим влиянием на сына и если не обидится, то в лучшем случае решит, что я — собственность слишком колеблющаяся, не стабильная, какой обязана быть всякая собственность. С другой стороны, принимая подарок от доктора Урадзы, а не от ее сына, я все же получаю костюм, принадлежавший ему, и, стало быть, надев его (неужели я решусь и на это?), я еще больше подчеркну свою принадлежность доктору Максу. Нет, нет!

Как я ни бился, но алиби, которое годилось бы в обоих случаях, придумать не мог. В вопросе собственности, так же как и в любви, нельзя лукавить: либо я душой и телом принадлежу доктору Максу, либо нет.

Неважно, что доктор Урадза — его мать и что костюм раньше носил он. Дело в том, что я получил его в подарок не от доктора Макса, а от другого человека. А для доктора Макса такая благотворительность, если она исходит не от него (кстати, его доброта никогда не идет дальше бутылки кока-колы),— острый нож. Значит, мне оставалось одно: рассказать обо всем доктору Максу. Зайти к нему в кабинет со свертком и постараться свести весь инцидент к шутке. Так я и сделал, в тот же день. Однако номер не прошел. Доктор Макс, и без того злившийся на отца и мать из-за их недоброжелательного отношения к Минни, рассвирепел.

— Эх вы, шут гороховый! Неужели у вас нет чувства собственного достоинства?! Вы, один из руководителей крупнейшей торговой фирмы (для меня это было новостью: он впервые, в присутствии секретарши, назвал меня «руководителем»), принимаете в подарок костюм с чужого плеча (пусть даже мой)! Как вам не стыдно! Значит, вы за все это время ничему не научились... Кто мы такие? Свободные люди или рабы? И, кроме того, какие у вас могут быть дела с моей матерью?

— Я думал, что было бы невежливым...— робко возразил я.

— Что было бы невежливым? С чьей стороны? Со стороны моей матери или с вашей, если бы вы отказались?

— С моей стороны, если бы я отказался.

— Час от часу не легче! Значит, вы приняли подарок из вежливости, а не потому, что вы в нем нуждаетесь. Если бы он был вам нужен, куда ни шло! Но из вежливости... И зарубите себе на носу: у вас с моей матерью никаких дел нет и быть не может! Какое вы имеете к ней отношение? Кому вы подчиняетесь — мне или моим родителям?

— Вам.

— Ага! Так верните же немедленно это тряпье. Обидится моя мамаша или нет, это ее дело. Но отдайте ей это обратно или выкиньте на помойку!

— Нет, доктор Макс, я бы не хотел, чтобы доктор Урадза обиделась... Ведь она руководствовалась самыми благими намерениями. Уверяю вас!

— Поступайте, как знаете! Идите! Я буду вести себя соответственно. Всего хорошего!

И так как я все еще торчал у него перед глазами со свертком в руках, он повторил:

— Всего хорошего!

Я вышел и заперся у себя в кабинете. Что мне было делать? Тут же, при всех вернуть сверток доктору Урадзе или оставить его у себя, предоставив доктору Максу подозревать, что я затеял с его матерью бог знает какие интриги? Я не мог принять никакого решения и промучался до вечера. Что означала сказанная доктором Максом фраза: «Я буду вести себя соответственно»?

В тот же вечер я встретил его на улице вместе с Минни, и он пригласил меня пойти с ними в кино. Я обрадовался: может быть, неприятный инцидент как-нибудь уладится? И действительно, во время перерыва доктор Макс взял меня под руку и своим обычным доверительным тоном, наклонившись к самому уху, начал нашептывать:

— Вы меня извините за сегодняшний разговор. Я был резковат. Но я ненавижу патернализм, особенно на таком современном предприятии, как наше. Служащий фирмы — не раб, а свободный человек, черт возьми! Он сам, свободно, по собственному выбору решает, работать ему в фирме или нет. Ведь не хозяин, а он сам, по своей воле решает, стоит ли ему превратиться в собственность фирмы и, следовательно, в собственность хозяина... Неужели так трудно понять, что служащий поступает в фирму в результате свободного выбора, а не потому, что его к этому принуждают?! Есть у нас конкуренция или нет? А если есть, значит, делайте

вывод! Как бы там ни было, вы поступили правильно, что приняли подарок от моей матери. Наденете вы мой костюм или нет, дело ваше. Но вы хорошо сделали, взяв его, потому что теперь моя мать и мой папаша, которому она непременно все расскажет, будут знать, какие у нас с вами отношения... Короче говоря, приняв в подарок мой старый костюм, вы оказали мне услугу. Отец усвоит, наконец, кто тут хозяин... Да, кстати, с завтрашнего дня мне начнут делать уколы витамина. Как тот, который вам сделали тогда, на вилле. Предлагаю вам присоединиться ко мне. Наш швейцар, он же — отличный дипломированный медбрат, будет приходить по утрам и колоть нас обоих. Для вас одного это было бы слишком дорого, а так я возьму все расходы на себя. Согласны?

Опять эта волынка насчет морали, собственности, свободы выбора... Пришлось ответить, что я согласен.

V

Каждое утро ровно в половине десятого раздается стук в дверь: это Лотар, швейцар-обезьяна-череп, приходит делать мне укол. Он входит, приветствует меня то ли улыбкой, то ли гримасой и начинает готовиться к ритуалу. Я знаю наперед все, что он сделает; его движения вырисовываются передо мной, как на экране. У него с собой коробка из нержавеющей стали величиной с дамский дорожный несессер, в ней — все необходимое для инъекции: шприц, несколько вколотых в марлю иголок, несколько ампул, пузырек с эфиром и пачка ваты. Он ставит коробку на мой стол, нажимает на кнопку — пружинка, герметически закрывающая крышку, срабатывает, и коробка распахивается. Вот пахнуло теплой волной эфира — значит, пора вставать и снимать пиджак. Пока я расстегиваю брюки, Лотар встряхивает две ампулы, одну побольше, другую поменьше: в маленькой — витамин, в большой, заполненной до половины,— дистиллированная вода.

Лотар готов. Я тоже готов: стою, прислонившись к столу, лицом к двери.

Иногда без стука входит доктор Макс. Он молча устремляет взгляд сначала на меня, затем на иглу. По окончании процедуры он возвращается к себе в кабинет — ждать Лотара. Лотар складывает принадлежности в стальную коробку; чтобы выветрился запах эфира, распахивает окно (которое я тотчас после его ухода закрываю), опять выдавливает не то улыбку, не то гримасу и уходит.

Как я уже сказал, эти уколы очень болезненны, причем боль держится весь день напролет. Однако это пустяк, совершеннейший пустяк по сравнению с испытываемыми мною психологическими муками. Сами уколы — еще полбеды. В гораздо большей степени я страдаю от сознания, что доктор Макс навязал мне их только потому, что это больно, с единственной целью — истязать меня руками Лотара.

Я совершенно не нуждаюсь в инъекциях и говорил это тысячу раз. Видя, что доктор Макс настаивает, я, в подтверждение своей правоты, просил его устроить мне медицинское освидетельствование, что было, конечно, глупо: спроси любого врача, и он скажет, что уколы витамина не только не вредны, но необходимы всякому; доводов в пользу уколов окажется сколько угодно, и опровергнуть их будет нелегко даже с помощью других врачей.

Услышав мою просьбу, доктор Макс побледнел как полотно, подпер голову руками и, пристально глядя на меня, тихо произнес:

— Значит, вы меня подозреваете? Подозреваете в том, что я хочу навязать вам лечение, которое вам противопоказано, короче, хочу вас отравить, да? Скажите правду, посмотрите мне в глаза! Что вы уставились в пол?!

Я посмотрел ему в глаза.

— Я ничего не подозреваю, доктор Макс! Просто я уверен, что уколы мне не нужны. Вот и все.

— Но мне же их тоже делают! Вы прекрасно знаете, что мне делают точно такие уколы, как и вам! Или вы думаете, что мне вводят что-нибудь другое? Хотите поприсутствовать? Убедиться собственными глазами? Неужели вы до такой степени мне не доверяете? Для меня это очень и очень огорчительно... Но почему же при таком недоверии ко мне вы продолжаете работать в моей фирме? Чем жить в таком аду, не лучше ли вовсе уйти, и как можно скорее?!

Сказав это, он умолк.

В общем, я смирился. Почему? Чтобы доктор Макс не думал, будто я подозреваю, что он хочет меня отравить. И не только поэтому: я поверил в его искренность, в то, что он действительно печется о моем благе, о моем здоровье.

Я прекрасно знаю и всегда знал, что уколы, которые Лотар делает мне каждое утро, вовсе не ядовитые и не вредные и что точно такие уколы он делает доктору Максу. Возможно, они даже идут мне на пользу, укрепляют организм. Но то, что они очень болезненны и что делать их поручено именно Лотару, навело меня на мысль, что доктор Макс затеял их неспроста.

Подозрительность мне не свойственна. Я скорее грешу излишней доверчивостью и склонен думать, что если люди помогают друг другу, то делают это из лучших побуждений, из желания оказать поддержку, из любви, короче, движимые чувством, которое, возможно, они сами не могут определить, но которое безусловно продиктовано человеколюбием, дружеским участием или состраданием. Людей, пекущихся о чужом благе, очень немного, я это прекрасно знаю, и я не столь наивен, чтобы считать, будто доктор Макс готов разбиться ради меня в лепешку. В данном случае это был один из тех порывов великодушия, которое, как правило, вызывают у него импульс обратного действия, аннулирующий предыдущий, после чего все возвращается в исходное положение.

Например, не раз случалось, что доктор Макс увеличивал мне жалованье — в три, в четыре, а однажды даже в десять раз,— причем не только в присутствии других людей и не только в виде устного распоряжения, но и в форме письменного приказа бухгалтерии, который он тут же, при мне, диктовал и копию которого я получал на руки. Потом, не позднее, чем через день, два, три, этот приказ, конечно, отменялся — публично или в разговоре с глазу на глаз с главным бухгалтером — и мое жалованье оставалось таким же, как и прежде.

Мне, разумеется, даже в голову не приходило, что я могу отправиться в бухгалтерию и предъявить свои копии приказов. Это привело бы лишь к тому, что доктор Макс, рассердившись, применил бы ко мне свое излюбленное наказание, то есть урезал бы жалованье, чего со мной, слава богу, еще ни разу не бывало.

Историю с уколами я тоже воспринял как следствие одного из этих противоречивых импульсов. Я был уверен, что скоро доктору Максу самому надоест колоться и что если все время возражать (что я, кстати, и делал), то он окончательно разобидится и отменит уколы, как отменял свои приказы об увеличении жалованья.

Но мои расчеты не оправдались. Несмотря на все мои возражения (высказываемые вежливо, но твердо), он с диким упорством настаивал на своем и дошел до того, что стал обвинять меня в недоверии к нему, в неслыханной подозрительности, на которую способен разве что психопат (и которая, как я уже говорил, мне совершенно не свойственна). Поскольку я в своем уме и вообще-то совсем не склонен к подозритель-

ности, мне пришлось, в конце концов, смириться, и если эта история приняла такой затяжной и трагический характер, то лишь из-за доктора Макса. Мне-то что: я мог сжать зубы и как-нибудь притерпеться. В конце концов, ничего бы со мной не случилось. Никакого химически вредного действия витамины оказать не могут. Правда, уколы причиняют мне физические и, что еще хуже, моральные страдания, которые я почувствовал с первого дня и по сравнению с которыми физическая боль — ничто. Это терзает меня беспрестанно. Начинаясь утром, в половине десятого, мои муки, по существу, не имеют ни начала, ни конца; они не покидают меня ни на одну секунду, ни днем, ни ночью.

Реально, осязаемо они возникают в половине десятого, когда раздается стук в дверь и в комнату входит Лотар.

Лотара я уже охарактеризовал в начале своих записок и особенно подробно останавливаться на его особе не собираюсь, так как одна мысль о нем вызывает во мне отвращение.

Он мастер на все руки: выполняет обязанности швейцара, подслушивает телефонные разговоры, следит за почтой (при малейшем подозрении задерживает адресованные служащим частные письма и вместе с корреспонденцией, припрятанной в воскресенье, относит их доктору Максу). Он и медбрат, и садовник, и шофер, а если надо, прислуживает хозяевам за столом. Но в действительности Лотар представляет собой нечто большее. Он — олицетворение силы, в данном случае силы слепой и тупой, управляемой со стороны. Приказ, куда ее направить, он получает извне, но как достичь цели, решает сам. Извне — это значит, разумеется, от доктора Макса, а все, что в нем есть самостоятельного, индивидуального, сводится к мощному, зловещему заряду эротики, всегда направленному к одной определенной цели. Когда Лотар движется, выполняя одну из своих многочисленных функций, от всей его фигуры веет этой зловещей, немой, подчас застывшей целенаправленностью. Даже когда он стоит на месте или сидит, в нем все равно что-то движется, стремится к цели. Когда он находится в движении, эта устремленность к цели еще ощутимее, она пронизывает каждый его жест. Если же ему приказали что-то сделать, то уж тут все члены его тела приходят в состояние крайней, чуть ли не космической стремительности.

Так вот Лотар — это управляемое орудие, но в отличие от явлений природы, на которые он так походит своей слепой неистовостью, он принадлежит и подчиняется доктору Максу.

Вот он входит в мой кабинет, готовый выполнить свою функцию, на сей раз — функцию медбрата, делающего мне укол. Перестает существовать все: инъекция, витамин, эфир, вата, пациент, приказ доктора Макса, его противоречивые намерения... Есть только Лотар, который подступает ко мне и, жарко дыша, останавливается за моей спиной. По существу, ничего особенного он не делает — подумаешь, укол! Но звериный азарт, с каким он всаживает в мое бедро иглу (хотя, признаться, работает он с легкостью, которую трудно ожидать от таких рук и от таких пальцев), и острая боль, тотчас распространяющаяся по всей ноге, это не просто инъекция. Проникая в мое тело и, как тупым ножом, кромсая его на куски, Лотар по приказу доктора Макса совершает надо мной насилие.

Вот он, точный, как робот, кладет шприц обратно в коробку, выбрасывает использованные ампулы в корзину, распахивает окно, захлопывает коробку, чуть кивнув на прощание головой, направляется к двери и выходит. Затем я слышу, как он стучится к доктору Максу, слышу голос доктора Макса: «Войдите!» После чего наступает тишина. Через несколько минут Лотар выходит из кабинета доктора Макса, вот его силуэт мелькнул за стеклом моей двери... Наконец, он исчезает. На са-

мом же деле он вовсе не исчезает, а остается все время со мной, внутри меня, в ноющей ноге, повсюду.

Ночью он появляется снова — во сне. Я все время вижу разные и в то же время одни и те же сны, в которых Лотар насилует мою невесту Марию. Она — в подвенечном платье; покорная, безвольная, она ему не противится. Ее безволие, ее инертность граничат с благоговением.

Утром я вспоминаю эти сны. По дороге на троллейбусную остановку перебираю в памяти все подробности. Сажусь в троллейбус, выхожу, завтракаю в баре, вхожу в здание фирмы, бросаю беглый взгляд на закуток швейцара: Лотара еще нет. Поднимаюсь по лестнице, вхожу в кабинет, сажусь за стол, кладу перед собой часы. Ровно в половине десятого раздается стук в дверь — он тут как тут. После кратких приготовлений снова эта отчаянная боль, от которой впору взвыть... И так день за днем.

Как мне от него избавиться?!

Каких только разумных и неразумных способов я ни придумывал, но ни до чего путного так и не додумался. Например, я собирался в одно прекрасное утро при его появлении сказать: «Послушайте, Лотар, сегодня я не буду делать укол!» Только одну эту фразу, и все. Ну, сказал. Лотар, пропустив мои слова мимо ушей, ставит свою стальную коробку на стол и приступает к обычной операции. «Вы поняли? Сегодня я колоться не буду». А сам сижу на месте, делая вид, что завален работой.

Никакого впечатления. Лотар молча открывает коробку, вынимает ампулы. Я жду, уставившись в стол. Но вижу и слышу, как он вставляет иглу в шприц, набирает жидкость из ампул, выдергивает из пачки клочок ваты, смачивает вату эфиром. Я чувствую, что он стоит, подняв кверху приготовленный шприц. Я не двигаюсь, будто Лотара не существует. Подождав немного, он говорит: «Ну, давайте! Что за ребячество! Ведь все равно не отвертитесь...»

И тут, внезапно осознав свою полнейшую беспомощность, я заплакал. Я плачу молча, положив голову на стол, и слезы капают на лежащий передо мной торговый проект. Мне чудится, что я слышу, как отец, мать, Мария — все в один голос меня утешают:

«Стоит ли расстраиваться из-за какого-то укола! Это же такой пустяк по сравнению с тем, что приходится выносить многим другим людям — например, больным в больнице, или шахтерам, вынужденным проводить долгие часы под землей, на глубине тысяча метров, или мусорщикам, которые целыми днями возятся с отбросами и нечистотами. И все терпят. Почему же ты не можешь? Тем более что эти уколы только полезны. Ну, же! Встряхнись!»

Но одновременно я слышал другие голоса. Выдающиеся люди — Фрэнк Синатра, Аль Капоне, Юлий Цезарь, Цезарь Борджиа, Марцеллус Кассиус Клей и Эйнштейн* — хором мне внушали: «Что ты медлишь? Чего ждешь? Действуй незамедлительно! Вон лежит на столе нож для разрезания книг. Пырни им, и дело с концом!»

Затем голоса стихли. Я стоял, склонившись над столом, а Лотар массировал мне бедро.

Я бессмысленно, по-ребячьи раздумывал над тем, как бы мне отомстить ему, перебрал тысячу вариантов. Единственным разумным способом расквитаться с Лотаром было бы уговорить доктора Макса прогнать его. Но, чтобы подстроить такую штуку, понадобилось бы много времени; и даже если бы мне удалось что-нибудь придумать, то разве можно было поручиться, что доктор Макс действительно его выгонит?! Ведь для доктора Макса и его семьи Лотар — неодушевленный предмет и в то же время живое существо, над которым они имеют абсолютную,

* Наряду с известными историческими личностями автор упоминает здесь знаменитого певца Синатру, гангстера Аль Капоне и боксера Клея.

тоталитарную, сверхъестественную власть! Он принадлежит им безраздельно, как никто в фирме.

Я думал также над возможностью заплатить Лотару, подкупить его, чтобы он не делал мне уколов. В таком случае он некоторым образом стал бы и моей собственностью и потерял бы надо мной власть. Но как я могу ему заплатить, если он полностью куплен доктором Максом, который платит ему гораздо лучше и больше, чем могу заплатить я,— платит ему постоянное жалованье?! Значит, мне остается одно: игнорировать Лотара, как если бы он был просто медицинским работником, которого я попросил сделать укол. Перестать об этом думать и еще раз примириться с существующим положением вещей. А смирившись, воспринять действительность такой, какой она предстает перед моими глазами, то есть отрешиться от всяких фантазий и домыслов. Действительность же такова: каждое утро ко мне приходит человек и делает укол. Вот и все. Все-то все, но в половине десятого утра начинается и нечто другое, мучительное и тоже вполне реальное...

Я слишком много размышляю о Лотаре и вовсе не думаю о докторе Максе, а ведь Лотар — лишь слепое орудие, тупое, зверское орудие в руках доктора Макса. Все-таки зачем доктору Максу понадобилось меня мучить? (А что это так, я понял с того самого дня, как начались злополучные уколы.)

Должен признаться, этот вопрос заводит меня в тупик. Доктор Макс из своего собственного опыта наверняка знает, что эти инъекции очень болезненны. Ну и что же? Какими иными соображениями, кроме желания сделать мне добро, может он руководствоваться, принуждая меня делать уколы, да еще за свой счет? Правда, он сам решил, что это полезно, не посоветовавшись с врачом, но нет такого человека, которому витамины были бы противопоказаны. Ах, зачем я попал в фирму через Диабете, именно в тот день или в те дни, именно в этот отдел! Насколько было бы лучше, если бы я не был даже знаком с доктором Максом! Идеальным вариантом было бы поступить в фирму незаметно, стать рядовым служащим и видеть доктора Макса два раза в год — случайно в коридоре, и все. Не иметь с ним никаких дел, подчиняться только руководителям, работающим в новом здании. Мне с первого дня была очевидна рациональность этого светлого, гигиеничного помещения, где все механизировано, где люди работают с точностью автоматов и мало-помалу как бы сливаются с вещами. Люди становятся настолько неотделимы, неотличимы от вещей, что доктор Макс почти перестает их замечать. Ругая новое здание за безнравственность, он имеет в виду именно его способность вмещать в себя большое количество людей — сплошную безымянную массу, которую можно контролировать лишь всю целиком (или большими группами).

Но при ближайшем рассмотрении это тоже не выход. В новом здании есть свои руководители, начальники секций, начальники отделов, каждый из которых стоит во главе довольно ограниченного круга людей. Иными словами, там есть свои большие и малые «доктора Максы». Пусть они не заставляют делать уколы, но они наверняка заставляют делать что-нибудь другое, не менее неприятное.

Значит, надо перестать строить предположения, надо опуститься на землю и трезво взглянуть на факты. Факты же таковы: я работаю здесь, в этом кабинете на втором этаже, а не где-нибудь еще, лично с доктором Максом, на расстоянии трех метров от него. Так уж получилось. А посему уколы надо воспринимать как уколы, а не с точки зрения причиняемых ими мук.

И я попытался относиться к Лотару просто как к человеку, выполняющему свои обязанности, то есть как к медицинскому работнику и, может быть, даже не плохому парню.

Я держу его в строгости! Говорю, что мне некогда, и прошу зайти попозже. (Прибегать к таким уловкам я могу, но вовсе избежать уколов — не в моих силах, потому что есть приказ доктора Макса, и Лотар ни за что его не нарушит, я это хорошо усвоил.) Я решил даже как-нибудь с ним побеседовать. Что, если, познакомившись с ним поближе, я не буду так остро реагировать на боль и перестану по ночам видеть его во сне, думал я. Может, он совсем не такой, каким представляется. Может, он — примерный отец семейства, который, подобно многим другим людям, вынужден работать швейцаром и выполнять неблаговидные поручения хозяев, и не потому, что ему так хочется, а потому, что жизнь заставляет? И вот как-то утром я подверг его долгому допросу. Он отвечал мне без малейшего неудовольствия, словно подчиняясь приказу.

— Чем вы занимались, Лотар, до того как поступили сюда?

— Ничем. Был на фронте.

— А что вы делали на фронте?

— Что за вопрос? Воевал.

— Я имею в виду, в каком звании?

— Простым солдатом.

— И участвовали в боях?

— Случалось. Но недолго. Сначала был ординарцем, а потом уехал в Польшу.

— А что вы делали в Польше?

— Служил в лагере для военнопленных.

— Кем?

— Тоже ординарцем.

— У кого?

— У одного немецкого офицера.

— Стало быть, вы знаете немецкий язык?

— Я его всегда знал. У меня мать — немка.

— Вы женаты?

— Да.

— Есть у вас дети?

— Двое: сын и дочь.

— А я думал, что вы не женаты.

— Женат, как же! — улыбнулся он.

— Сколько вам лет, Лотар?

— Сорок пять.

— Значит, вы работаете здесь уже лет двадцать?

— Около того.

— Как вы нашли это место?

— Доктор Сатурно знает меня с детских лет. Мои родители тоже работали в этой фирме.

— Вам здесь нравится?

— Очень.

— Почему?

— Как почему? Работаю, зарабатываю на жизнь... Что за вопрос!

— Да, но у вас столько разных обязанностей...

— Я все умею делать. С малых лет, потому-то мне всегда и удавалось устроиться ординарцем. Я люблю, чтобы был порядок, люблю выполнять приказ. А бунтовать, как иные, не люблю.

— А кто бунтует?

— Да многие. У нас здесь тоже есть такие...

— А что вы понимаете под приказом? Каково, по-вашему, точное значение этого слова? Если бы доктор Макс или доктор Сатурно потребовали, чтобы вы совершили какую-нибудь бессмыслицу, вы бы подчинились?

— Прежде всего, они никогда не требуют, чтобы я делал бессмысленные вещи, а если бы и потребовали, то, значит, у них есть свои соображения и не мне о том судить. Мне платят за то, чтобы я подчинялся. Такая уж у меня профессия — подчиняться. И ничего другого я делать не умею.

— Значит, вы никогда не задаетесь вопросом, почему вам велят делать то или другое, и даже не спрашиваете себя, нравится ли вам это делать?

— А я вообще никаких вопросов себе не задаю. Хочешь — не хочешь, а подчиняться надо. Недаром в пословице говорится: «Либо хлебай, что дано, либо сигай в то окно».

— Ах так, значит, вы подчиняетесь потому, что боитесь потерять место?!

— Нет. Послушание у меня в крови. А уж слушаться доктора Макса и доктора Сатурно мне сам бог велел.

— Почему именно их, а не кого-нибудь другого?

— Во-первых, потому, что они всегда ко мне хорошо относились. А во-вторых, потому, что я преданный человек. Раз я к ним нанялся, то и буду им служить всю жизнь.

— А если бы они вас уволили?

— Я бы наложил на себя руки. Или убил бы того, кто придет на мое место.

— Ну уж, убил бы! Зачем это? Не все ли равно, где работать?

— Все равно, но если не привязан душевно. А я работаю на доктора Сатурно и на доктора Макса не столько за деньги, сколько по душевной привязанности. Вы это учтите!

Последние слова Лотар проговорил с угрозой, поэтому я тотчас переменил тему разговора.

— Послушайте, Лотар! Скажите откровенно, вы любите женщин?

— А кто их не любит? — осклабился он.

— Но вы — особенно, да?

— Кто его знает... Не могу сказать.

— У вас здесь было много любовниц?

— При желании мог бы иметь сколько угодно.

— А они бы согласились?

— Все бы согласились.

В его голосе совершенно отсутствовали хвастливые ноты. По-видимому, он говорил правду.

— Стало быть, вы верны своей жене?

— Да. Я вам уже сказал, что я — человек, верный по натуре.

— Неужели вам не хотелось бы завести роман с кем-нибудь из здешних женщин?

— Может, и хотелось бы, да нельзя.

— Почему?

— Потому что нельзя.

— Последний вопрос, Лотар! Скажите, вы со своей женой часто...?

— Нет. Нормально.

— Что значит «нормально»?

— Один раз утром и один раз вечером.

— И так каждый день?

— Каждый день.

— Спасибо, Лотар.

— Пожалуйста! — ответил он. И, прихватив свою стальную коробку, удалился.

Эта беседа лишь подкрепила то представление, которое я составил о Лотаре с самого начала. Он прирожденный раб, настолько привыкший к послушанию, что для него не составило никакого труда отве-

чать на вопросы даже мне. Привычка повиноваться настолько в нем укоренилась, что достаточно спросить его о чем-либо, как он тотчас дает ответ. Следовательно, я был прав: он принадлежит к типу управляемых извне и самоуправляемых особей. Управление извне основано на его послушании, а самоуправление — на его уверенности в необходимости того, что он делает. Не ошибся я и угадав в нем (на основании своих снов) чудовищного эротомана. Весьма показательно, что он считает себя нормальным человеком на том основании, что может определить, кто «бунтовщики». Иными словами, Лотар это и есть тот высоконравственный человеческий экземпляр, которым бредят доктор Макс и доктор Урадза. Образец для подражания. Именно таким, по их мысли, и должен быть идеальный подчиненный.

Эти размышления так меня растревожили, что я решил прощупать, что думает на сей счет сам доктор Макс, и однажды обратился к нему с теми же вопросами, что и к Лотару. Доктор Макс, казалось, был в хорошем настроении: в те дни нарасхват брали звукоизолирующий материал, полученный откуда-то с севера. Спрос намного превышал имевшиеся запасы; к тому же все заказчики требовали немедленной отгрузки товара, что случается довольно редко,— тот, кто, подобно мне, работает в торговой фирме, знает это очень хорошо.

Мы вошли в парк. Доктор Макс купил себе детского мороженого на палочке (известного под названием «Лижи-лижи!») и принялся его облизывать. Я решил, что это самый подходящий момент для разговора, так как обстановка явно не располагала доктора Макса к размышлениям и раздумьям, которые обычно совершенно изолируют его от внешнего мира.

Я начал с того, что сказал несколько общих слов о Лотаре.

— Лотар — отличный человек,— прервал меня доктор Макс.— В моральном отношении он безупречен! — Опять завел про мораль! Причем, как мне показалось, на сей раз доктор Макс произнес свою тираду с еще большей горячностью, чем всегда.— И подумать только: он служит у нас целых двадцать лет!

— Да, он мне говорил.

— Он с вами разговаривал? Странно. Лотар никогда ни с кем не разговаривает. У этого богатыря сердце ребенка. Он очень стеснителен и не решается вступать в беседу даже со мной. Странно, что он разговорился с вами...

— По правде говоря, разговор затеял я. Я задавал вопросы, а он отвечал.

— Что же он сказал?

— Ничего особенного. Я интересовался, женат ли он и чем занимался раньше, до того как поступил к вам.

— Лотар — человек с твердыми устоями. У него есть принципы, и он их придерживается. Побольше бы таких людей!

— Он очень к вам привязан.

— Я знаю. По-моему, ради меня он способен на все.

— Иными словами, с вашей точки зрения, это — идеал подчиненного.

— В известном смысле, да. В интеллектуальном отношении он человек ограниченный, культуры у него нет никакой. Именно поэтому, как подчиненный, он почти безупречен. Побольше бы таких людей. В отличие от многих других, в отличие от подавляющего большинства работников фирмы, Лотар делает свое дело преданно, с любовью — это факт. Для него фирма — все равно что церковь, и единственная религия, которую он исповедует, это послушание. Если бы все были такими, как он, я бы горя не знал.

— Но, к сожалению, люди такого склада совершенно не способны к личной инициативе.

— Да, вы правы: это как раз то, чего ему не хватает. Будь у него еще и инициатива, тогда вообще не к чему было бы придраться. Мне бы хотелось иметь в своей фирме именно таких людей: с ярко выраженной личной инициативой и в то же время с большим сердцем.

— Что это значит?

— Это значит, что человек должен обладать не только личной инициативой, живым аналитическим умом и особой склонностью к селективному мышлению, но и глубокими чувствами. К сожалению, в наше время чувства...

— Я не понял, доктор Макс. Вы не могли бы выразить свою мысль поточнее!

— Как, вы не поняли? Чувство или страстная любовь есть нечто такое, что идет от сердца и побуждает любить фирму превыше всего на свете. Но, увы, нынешние люди любят только деньги.

— Говоря о фирме, вы имеете в виду только работу или себя тоже?

— Так это одно и то же! Я и фирма, можно сказать, неотделимы друг от друга. В глазах подчиненных я представляю фирму, короче говоря, как бы олицетворяю ее!

— Но ведь и работники фирмы тоже представляют и олицетворяют фирму!

— Э-э, нет! Им это не дано. Я ее представляю постольку, поскольку я и она — единое целое, то есть я — ее хозяин. Сказать «фирма» это то же, что сказать «хозяин фирмы». Они же — не более чем подчиненные и фактически ничего общего с фирмой не имеют. Так что прошу не путать! Вы не находите, что у вас сегодня какой-то туман в голове?

— Насколько я понял, вы жалуетесь на то, что подчиненные недостаточно вас любят?

— Я так не говорил. Они меня как раз любят, очень даже любят, и я это знаю. Правда, есть и такие, которые меня ненавидят. Но малопомалу, хотят они того или нет, эти тоже научатся меня любить — никуда от этого не денешься. Такова моя установка на ближайшие годы. Другое дело, что любить-то они меня любят, но не так, как Лотар, не беззаветно.

— Вы сами только что сказали, что у Лотара есть сердце, но нет инициативы...

— Вот именно! А надо создать такие руководящие кадры, которые обладали бы обоими качествами: безграничной преданностью и в то же время личной инициативой. Тогда я смогу, наконец, уехать в деревню и заняться наукой.

— Да никуда вы не уедете! Только грозитесь. Никогда ничего подобного вы не сделаете!

— Что вы! Будь так, как я говорю, меня бы здесь не было на следующий же день! Мне попросту нечего было бы здесь делать! Кого бы я контролировал? Ведь не контролирую же я Лотара! В этом нет никакой нужды. Он работает бесперебойно, как машина, и предан мне всем сердцем. Что же еще надо?

Я прервал его:

— Знаете, что мне сказал на днях ваш отец? Что деньги — ничто.

— Ну что ж, в известном смысле это так. Но только для людей его возраста. Для людей моих лет деньги значат много, очень много. Скажу вам больше: деньги — это все! В сущности, что такое фирма? Прежде всего — деньги. Но у денег, дорогой мой, есть хозяин! И знаете, кто это?

— Нет.

— Сердце!

— То есть как это «сердце»?!

Доктор Макс рассмеялся и заметил:

— Мне надо было стать преподавателем, а не предпринимателем! Под сердцем я подразумеваю чувство. Без чувства, то есть без желания делать людям добро, деньги теряют всякий смысл, по крайней мере для меня. Разумеется, я не хочу этим ставить под сомнение их существование. Например, моему отцу ничего не стоит (вернее, ничего не стоило, потому что сейчас он уже стар) проиграть в казино сто пятьдесят миллионов лир. Под чувством я как раз и подразумеваю некое нравственное начало, которое может проявляться только с помощью денег.

— Не понимаю. Объясните, пожалуйста.

— Приведу вам пример. У меня есть кое-какие соображения насчет того, как должен быть устроен мир, какими должны быть человечество, общество и так далее. Моя идея сводится к тому, что нравственное начало порождается, если можно так выразиться, человеколюбием. Чем больше у меня денег, иными словами, чем большей материальной властью я располагаю, тем ближе я смогу подойти к осуществлению своей идеи. Понятно?

— А в чем она заключается?

— Моя идея?

— Да.

— Моя идея касается только фирмы, так как у меня, к сожалению, нет таких денег, которые позволили бы мне думать о переустройстве всего мира.

— И что же это за идея?

— Религиозная: я бы хотел, чтобы моя фирма представляла собой нечто вроде религиозной общины и чтобы ее деятельность протекала как отправление культа,— в отличие от многих других хозяев или фирм, которые думают только о том, чтобы делать деньги, а на человека плюют.

— Да, но у каждой религиозной общины свои обряды и свой бог или, если хотите, своя идея бога; у одних он добрый и справедливый, у других, наоборот, жестокий... Каков же ваш бог?

Доктор Макс улыбнулся.

— Угадайте!

— Я уже угадал.

— Ну?

Доктор Макс побледнел и впился в меня взглядом.

— Бог — это вы!

Доктор Макс уставился на уток, плескавшихся в искусственном озерце. Он сделал долгую паузу... Подбирая с земли камешки, он один за другим швырял их в воду и посмеивался над глупыми утками, которые ныряли за ними в тину.

— Думаете, справитесь? — спросил я.

— Должен справиться. Иначе зачем жить?

— А каковы орудия, с помощью которых вы осуществите свою идею?

— Для осуществления моей идеи нужны, в сущности, обычные орудия порядка. Ведь только порядок ведет к силе. А сила, как вам известно, всегда побеждает!

И, весело смеясь, он снова принялся швырять в воду камешки.

Я никогда не слышал, чтобы он так весело (больше, чем весело) смеялся...

— А сейчас пошли! — заторопился он.— На шесть часов у меня назначено собрание продавцов. Кстати, вот кому нужно пройти школу перевоспитания!

Сказав это, он опять погрузился в свои размышления, и на обратном пути мы уже больше не разговаривали.

VI

Я — дома, у себя в городе. Я попросил у доктора Макса отпуск на несколько дней, и он без всяких разговоров мне его предоставил. Он даже не подозревает, что эта передышка понадобилась мне для того, чтобы поразмыслить о нем и вообще обо всей моей жизни, которая теперь неразрывно связана с ним, доктором Максом. Почему я говорю «неразрывно»? Ведь по сути дела между мною и им должны были бы существовать только отношения, основанные на взаимной материальной выгоде. Но одно дело—как должно было бы быть, а другое—каково мое личное, внутреннее состояние, в силу которого я связан с ним и с его фирмой телом и душой. Одновременно в эти дни я, к своему крайнему огорчению, вынужден был констатировать, что ничто больше не связывает меня ни с отцом, ни с матерью, ни с Марией, ни с городом, в котором я родился. Ничего не осталось — ни чувств, ни воспоминаний. Напротив, все здесь вызывает во мне раздражение, скуку и даже кажется нелепым, абсурдным. Общаясь со своими родителями и с невестой, я то и дело спрашиваю себя, зачем я здесь, с этими людьми. Мать кажется мне заурядной, бесцветной женщиной, отец столь же заурядным, бесцветным стариком, а Мария... Я никогда не буду любить эту девушку. Более того, я уверен, что никогда ее не любил.

Наш дом кажется мне унылым и мрачным; кровать, на которой я сплю,— чужой, а город — сонным, как все провинциальные города на свете.

Отец с матерью пристают ко мне с расспросами. Им хочется знать во всех подробностях, как я живу там, в большом городе. Время от времени они переглядываются. Вчера за столом отец не удержался и сказал:

— Я знаю, почему ты отмалчиваешься, не отвечаешь на наши вопросы насчет своей жизни и работы: не хочешь хвастаться. Но здесь о твоих успехах все равно всё знают, так что можешь не стесняться: ты же их добился благодаря своему уму и воле! Мы дали тебе только возможность получить образование. Все остальное зависело от тебя: ты мог остановиться на полпути, засесть где-нибудь в провинции, распустить нюни... Так что смотри не отступай и, главное, не робей! Ты взобрался высоко и не вздумай жалеть кого-нибудь. Ты зубами вырвал себе место и положение, и нечего миндальничать: такова жизнь. Жизнь — это борьба; надо уметь бороться и побеждать, как победил ты, несмотря на свою молодость. Скажу тебе откровенно: я горжусь тобой!

Тут голос отца дрогнул, и он выкинул совершенно невероятный номер: из глаз его выкатились две большие слезы, он перегнулся через стол и чмокнул меня сначала в щеку, потом в руку. Я хотел отдернуть руку, но он сжал ее и не выпускал.

— Да, я горжусь тобой! — продолжал он.— Ты сам знаешь, что таких слов я никогда тебе не говорил. Я никогда не позволял себе расчувствоваться, не обнимал тебя и не целовал. Но твои успехи намного превзошли все мои ожидания, и я ни на кого не посмотрю и сниму перед тобой шляпу!

С этими словами он встал и, слегка пританцовывая, кланяясь и делая вид, будто действительно снимает шляпу, обошел вокруг стола. Дойдя до стула матери, он обнял ее за шею (она прижала к себе его руки) и, глядя на меня, проговорил:

— Ты только посмотри, каков наш карапуз!

И они оба долго, не произнося ни слова, смотрели на меня...

После обеда мы отправились на кладбище, где в простых могилах лежат наши родственники. Отец показал мне фамильный склеп, в который он вложил все свои сбережения.

— Тебя после смерти не закопают в землю, сын мой, как закапывали всех наших близких. А благодаря тебе и нас с матерью погребут достойно. Этот склеп записан на твое имя. С него начнется новая эпоха в истории нашей семьи, и я считаю это только справедливым. Новые поколения...

Он еще долго распространялся на эту тему, а в это время мать, захватившая из дома все необходимое, начищала латунные украшения. Не помню уж, о чем толковал мне тогда отец, держа меня под руку и весь сияя спокойствием и счастьем. Ничего не помню. Я видел, как он шевелит губами, но звук его голоса не доходил до меня, терялся среди больших фамильных склепов. Я не слышал громких имен, которые он мне называл, не замечал бронзы и белоснежного мрамора, на которые он мне показывал. Родители были мне совершенно чужими людьми — до того чужими, что я недоумевал, как я оказался на кладбище, с этими двумя стариками, призывавшими меня обращать внимание на предметы, до которых мне не было никакого дела. Чужими были для меня не только родители: родной город и Мария тоже не вязались больше с моей настоящей жизнью.

И я решил нанести визит родителям Марии и разорвать помолвку. Мне не понадобилось делать над собой усилия, хотя я знал, что это будет ударом и для ее и для моей семьи.

Никто ничего не сказал — все замкнулись в гордом молчании. И только мой отец спросил:

— А что произошло?

Я ответил:

— Не знаю.

Но, по-видимому, на самом деле произошло что-то непоправимое, если меня перестало тянуть к родному отцу и родной матери, к невесте и к городу, в котором я родился! Неужели за такой короткий срок мое прошлое перестало для меня существовать? Не оставило никаких следов, уж я не говорю, в душе, но даже в памяти? Неужели большой город, фирма и, главное, доктор Макс сумели перечеркнуть все, что заполняло мою жизнь?

Доктор Макс... Даже сейчас, дома, голова моя занята только им. К нему устремлены все мои чувства, силы и помыслы. Мне не терпится поскорее уехать, и я чувствую, что больше никогда сюда не вернусь.

VII

Чтобы чем-то занять досуг, я начал бывать у коллег. Меня нередко приглашают поужинать, посмотреть телевизор. Я не остаюсь в долгу: угощаю их обедом в ресторане, покупаю билеты в кино. Я познакомился, в частности, с Плуто, который руководит отделом торговых агентов, и с Пиппо, сотрудничающим пока внештатно в отделе рекламы. Оба они женаты. У Плуто — трое детей, а у Пиппо — одна дочка. Все наши беседы (я в них участвую мало, больше слушаю) неизменно вращаются вокруг двух тем: первая тема — доктор Макс или фирма; вторая — болезни. Плуто страдает невралгией тройничного нерва; кроме того, у него подозревают язву желудка. Пиппо страдает внезапными приступами тахикардии, и есть подозрение, что у него нефрит. Эти две темы — фирма и болезни — лейтмотив всех наших разговоров. Они переплетаются между собой и сливаются воедино, как если бы речь шла об одном и том же.

Жены, чтобы не оставаться в стороне от жизни мужей, активно участвуют в разговорах и до мельчайших подробностей осведомлены обо

всем, что происходит в отделах. У них тоже есть свои болезни. У жены Плуто Фабриции не в порядке яичники, а у жены Пиппо Чинции—общее нарушение нервной системы, проявляющееся, например, в ослаблении зрения, слуха, обоняния и даже осязания. И жены и мужья сходятся во мнении, что им необходимы лечение и отдых, чего, однако, они не могут себе позволить. Они всегда переутомлены и к вечеру температурят.

На днях я вместе с Пиппо и его женой ужинал у Плуто. Посреди ужина дети упросили включить телевизор, так что разговор стал перемежаться долгими паузами, а затем и вовсе прекратился. Но до тех пор, пока не погасили свет, шла оживленная беседа. Обсуждали неприятный случай, происшедший за несколько дней до того с Плуто. Он сидел у себя на работе, правил какое-то письмо и вдруг почувствовал, что его бросило в холодный пот, буквы запрыгали у него перед глазами, и он сам не заметил, как сполз со стула и очутился под столом. Секретарша, обнаружив его на полу, решила, что произошло нечто непоправимое, и подняла тревогу. Сбежались люди. Мы с доктором Максом тоже поспешили наверх (кабинет Плуто находится в новом здании). Немедленно вызвали врача. Доктор Макс настолько разволновался, что даже сказал:

— Вот человек! Для фирмы жизни не жалеет! Я все время ему твержу, чтобы он взял себе несколько дней и отдохнул, чтобы не усердствовал сверх меры. Так ведь ни за что! Даже слушать не желает! Целый день кричит, носится по всему зданию, суетится. Не удивительно, что в конце концов он выбивается из сил. А с другой стороны, это так естественно! Плуто — отличный работник именно потому, что он горит на работе. В противном случае он не был бы отличным работником.

Доктор ничего страшного у Плуто не обнаружил. Лотар снес его на руках вниз, а служебная машина увезла домой. Плуто пришел в себя только по дороге, в машине. Он ничего не помнил и обо всем, что с ним произошло, впервые услышал от меня, в присутствии жены и гостей.

— Доктор Макс совершенно прав! — воскликнул он, улыбаясь.

Мне показалось, что он был рад и своему обмороку и отзыву доктора Макса. Я высказал свое предположение вслух.

— Я — рад? Да в своем ли вы уме?! Знаете ли вы, что я мог умереть? Не далее как сегодня утром мне позвонил тот самый врач и сказал, что, продлись мой обморок еще пять минут, наступила бы кома!

— Я имел в виду совсем другое—то, что о вас говорил доктор Макс.

— Ну конечно, приятно, когда хозяин отмечает, что подчиненный работает, не жалея здоровья и сил! Но насколько было бы лучше и работать с огоньком, и при этом оставаться здоровым! Если бы я себя хорошо чувствовал — хотя бы так, как шесть лет назад, когда у меня еще не было невралгии,— я бы мог делать во сто крат больше!

— Но почему ты не возьмешь себе отпуск — на неделю, на десять дней? — вмешалась в разговор жена Плуто Фабриция.— Доктор Макс без конца твердит тебе об этом! Он и мне советовал...

— Тебе? А когда он с тобой разговаривал? Ты мне ничего не говорила...

— По телефону, пока ты ехал домой. Он был очень любезен. По-видимому, в последнее время у него все складывается благоприятно... А то иной раз у него бывает такое настроение...

— Ты-то откуда знаешь?! — прервал ее Плуто.

— Как откуда? От тебя!

— А-а, да! Доктору Максу, конечно, легко говорить... Но как я могу уйти в отпуск на целую неделю? На кого я оставлю отдел, скажи, пожалуйста? Как я могу бросить дела?!

Муж с женой пререкались еще некоторое время. Плуто обвинил Фабрицию в том, что она завела разговор об отпуске из эгоистических

побуждений («Ты всегда готова сорваться и ехать отдыхать!» — корил он ее). Пиппо и его жена время от времени вставляли свое слово, и постепенно между ними тоже возникла перепалка — по поводу болезней и в связи с тем, что Пиппо злоупотребляет лекарствами. По правде говоря, единственный из них, кто действительно болен, это он, Пиппо: у него всегда багровое лицо и дрожат руки.

Я ужинал у них тоже. Квартира у Пиппо точь-в-точь такая, как у Плуто — в таком же доме, и комнаты расположены точно так же. Но по существу все иначе. Квартира Плуто — безликая, как у всех. У Пиппо же, который живет вместе с престарелой матерью, полно вещей, составляющих резкий контраст с современным стилем. Это семейные реликвии: остатки старой мебели, старинное столовое серебро (пришедшее в негодность), безделушки и картины во вкусе людей, отживших свой век. Поэтому у мебели, столового серебра, безделушек и статуэток, а с ними и у престарелой матери Пиппо какой-то мрачный, запыленный вид, совершенно не гармонирующий с правильной кубической формой комнат и с самим высотным домом, сплошь состоящим из небольших однотипных квартирок. Этим безделушкам было бы гораздо лучше и в некотором смысле покойнее где-нибудь на чердаке, но в таких домах чердаков нет. Однако Пиппо и его жена Чинция, по-видимому, приспособились и к тому и к другому—то есть и к безделушкам и к квартире—и не слишком страдают от этого контраста. Впрочем, в них самих ощущается то же противоречие. В них обоих (не удивительно, что их потянуло друг к другу и что они стали мужем и женой!) есть что-то общее и с этой квартирой и со старомодными безделушками: они принадлежат к той странной и еще встречающейся в этом городе породе людей, которые застряли где-то между двумя мирами, между совершенно разными укладами жизни и пытаются их примирить. Следы недуга запечатлены у Пиппо на лице: достаточно на него взглянуть, чтобы определить, что он выходец из семьи, которая принадлежит к иным временам, жить в наше время не может и обречена на вымирание и гибель. То же можно сказать о Чинции и особенно об их дочке. Девочке всего два года, а она уже носит очки с толстыми стеклами.

Все трое нежно любят друг друга. (Мать я видел лишь мельком, она лежала на кровати, укрывшись потертым меховым жакетом.) Они не знают, что любовь, которая светится в их глазах, есть предчувствие конца и что они все трое, взявшись за руки, приближаются к краю пропасти, к небытию. Сами они этого, конечно, не осознают, но это видно хотя бы по тому, как они живут. Одна квартира чего стоит! Да и старуха мать, вместо того чтобы устроиться, как ей положено, в богадельню, живет с ними, хотя из нее песок сыплется.

Сам Пиппо хлопочет, суетится и никогда не унывает, а есть от чего: в фирме он на птичьих правах, в штат его почему-то не берут. Я как-то даже спросил у доктора Макса, почему Пиппо не зачисляют в штат, но он так выразительно на меня глянул, что я все понял без слов.

Пиппо, безусловно, человек энергичный, но у него дрожат руки. Кроме того, у него есть собака, он до того ее любит, что всюду таскает за собой и, придя на работу, оставляет в вестибюле, к явному неудовольствию Лотара. Пес, хотя и породистый, возможно, даже редкой породы, неказистый: старый, облезший, сопит, плюется, чихает и жрет непогашенные окурки, которые швыряет ему Лотар. У этой собаки нет и не может быть никаких достоинств. Сказать, что это модная порода, нельзя. Изящества никакого. И забавного в нем тоже ничего нет. Так, обыкновенный старый пес, которому тоже давным-давно пора на тот свет. А он живет. Более того: Пиппо пичкает его витаминами, нянчится с ним. Это очень раздражает доктора Макса, который считает, что любовь подчиненных к животным умаляет их любовь к фирме.

Пиппо этого не понимает (или делает вид, что не понимает) и по-прежнему неразлучен со своим псом. Все-таки мог бы пойти навстречу хотя бы в этом! Оставлял бы его дома, а в случае, если спросят, отвечал бы, что, дескать, как и следовало ожидать, пес подох. Пиппо знает одно: глушит вино. Таскает к себе в кабинет (а кабинет-то временный!) бутылки с аперитивами и пьет горькую.

Жена Пиппо Чинция преподает. Она у него благородных кровей. Одного этого достаточно, чтобы действовать на нервы доктору Максу и вообще всем сотрудникам фирмы. Среди них нет ни одного дворянина. Почти все приехали из провинции, а то и прямо из деревни и питают чуть не звериную ненависть к аристократии, что весьма характерно для среднего слоя новой формации, состоящего из людей, в основе своей здоровых, крепких и более или менее однотипных.

Чинция — женщина тихая, довольно некрасивая, с унаследованной от предков деликатной сдержанностью в обращении, которая обычно ведет к неврастении, и Чинция не составляет исключения.

Девочка буквально не видит дальше своего носа. Перед тем как съесть кашку, она внимательно рассматривает ее через свои толстые очки, выказывая какую-то капризную старушечью настороженность. Потом она протирает пластмассовую ложку слюнявчиком (наверно, так ее учили) и только тогда наконец берется за еду. Родители сажают ее за стол вместе с собой, на обычный стул, только подкладывают несколько диванных подушек. Говорит она не по-детски правильно, не коверкает слов, как все дети; умно и толково отвечает на любой вопрос. Телевизор она не смотрит — должно быть, ничего не видит.

Вся семья с трогательным старанием пытается включиться в трудовую деятельность и в жизнь фирмы, так непохожую на жизнь, которую ведут они сами. Девочку определили в наимоднейший детский сад, который стоит уйму денег и где детей воспитывают по принципу полной свободы. Но о какой свободе может идти речь, если ребенок не видит! Для нее эта свобода обертывается самым настоящим рабством. Вокруг творится бог знает что, а она прикована к одному месту: уставится на стенные детские счеты и стоит как вкопанная. Мудреные игры, которыми увлечены другие дети, из-за плохого зрения ей недоступны.

Сам Пиппо тоже совершает ошибку, пытаясь зарабатывать на жизнь где только можно, и еще большую ошибку он совершает, рассказывая об этом. Доктору Максу пришлось дважды его наказать: он дважды урезывал ему жалованье. В общем, ясно одно: раз Пиппо до сих пор не зачислен в штат, значит, его в любую минуту могут выставить за дверь. В последнее время доктор Макс особенно к нему придирается; может быть, хочет заставить уйти по собственному желанию. Но Пиппо оказался очень толстокожим и пока держится.

Короче говоря, хотя у Пиппо и его семьи много общего с Плуто (например, вечные недомогания или повышенная мнительность), на самом деле они — люди совершенно разного склада. Эту разницу следует искать не столько в их характерах или в образе жизни (все мы, как и служащие любой другой фирмы, живем одинаково), сколько в их биологических особенностях. На Пиппо и на его семье лежит печать близкого конца (я считаю, что он сможет продержаться в фирме от силы год или два), в то время как Плуто нечего опасаться перемен. Если у него не будет каких-нибудь осложнений из-за болезней и мнительности, то, возможно, он даже пойдет в гору. За это он должен сказать спасибо своей жене Фабриции, которая почему-то напоминает мне яйцо (такая она обтекаемая, плотная, собранная). Это сходство, наверно, не случайно, и между ее внешним обликом и состоянием внутренних органов есть какая-то неуловимая связь. Фабриция уверена, что у нее не в порядке яичники, и беспрестанно об этом говорит, очевидно, полагая, что, под-

ключившись к всеобщим жалобам на плохое самочувствие, она подтверждает свое право на существование.

Но я уверен, что у нее ничего нет. Да и врачи ничего не находят. Во всяком случае, род Плуто не угаснет. Его трое ребятишек — образцовые маленькие клерки. Они уже сейчас беспокоятся о своем будущем и куда лучше меня разбираются в сложной системе социального обеспечения и страхования.

Как-то раз во время одного из таких вечерних бдений при свете телевизора мы долго говорили о том, добрый или злой человек доктор Макс. Мужчины настаивали на том, что он добр, и обосновывали свою уверенность доводами морального порядка. Женщины же, особенно Фабриция, противопоставляли этим доводам, которые, по-видимому, были выше их понимания, сугубо практические соображения (жалованье) или физиологические моменты (апигментные пятна и общую болезненность).

Тут все принялись подробно описывать симптомы своих заболеваний, сопоставлять свои ощущения и обнаружили много общего. Так, например, выяснилось, что кое-какие внешние признаки невралгии тройничного нерва, которой страдает Плуто, совпадают с симптомами тахикардии — болезни Пиппо и что притупление обоняния, на которое жалуется Чинция, возможно, связано не с нервами, как она полагала до сих пор, а с нарушением функций яичников, так как Фабриция в момент обострения своего недуга тоже замечает у себя значительное ухудшение обоняния.

Небольшая дискуссия возникла и по поводу лекарств. Поскольку недомогания у всех разные, то, естественно, и препараты, которыми они лечатся, у каждого свои. Но все ими недовольны.

Мне теперь понятно, что Плуто и Пиппо работают и зарабатывают деньги только для того, чтобы холить и лелеять свои болезни, ибо болезни — единственное оправдание или алиби того подчиненного положения, которое они занимают по отношению к доктору Максу, олицетворяющему для них объективную реальность. Для их жен объективная реальность представлена мужьями и их жалованьем; самое большее, о чем может помышлять жена,— это чтобы ее муж был устроен получше и получал бы больше, исходя из реальных возможностей, разумеется. Болезни жен находятся в прямой зависимости от болезней мужей, так как женам тоже необходимо алиби. Они инстинктивно поняли, что, живя рядом с больным человеком (или с человеком, вообразившим себя больным), нельзя безнаказанно наслаждаться здоровьем, что семейный союз и особенно прочный семейный союз невозможен, если один из супругов здоров, а второй болен. Необходимо установить такое равновесие симптомов, чтобы у мужа и жены была потребность прежде всего поделиться друг с другом. Тогда семейная жизнь приобретает смысл и цель (связанные не только с детьми и продолжением рода), каковых в противном случае она была бы лишена.

Глядя на обе четы, я мысленно представил себе их интимные отношения. У Пиппо и его жены эти отношения окутаны и как бы защищены необычайной деликатностью и целомудрием, которыми, кстати сказать, проникнут весь чистый облик Чинции. Я могу себе представить их отношения только как легкое, нежное объятие двух несчастных, обнаруживающих свое несчастье даже в том, в чем люди обычно находят счастье (вспомним близорукую дочь). Что касается четы Плуто — Фабриция, то их ночные отношения, по-видимому, развиваются нормально. В этом смысле между двумя супружескими парами тоже есть весьма существенная разница, роковым образом сказывающаяся и на продолжении рода — единственном подлинном стимуле жизни.

Если для Пиппо и его жены интимные отношения это лишь дополнение, причем в известном смысле трагическое дополнение к той надежде, которую эти два существа, не имеющие никаких оснований надеяться, возлагают на свой союз, и таким образом их объятие целомудренно и проникнуто чувством (но целомудрие и чувство приводят к очкам), то для Плуто и его жены половые отношения — самоцель, а посему соответствуют естественному течению всей их жизни.

Случается, что меня зовут к себе в гости и другие сотрудники фирмы, тоже семейные люди, более или менее похожие на супругов Плуто и супругов Пиппо. Особой разницы между ними нет, если не считать болезней, которые носят сугубо индивидуальный характер и существенно отличают их друг от друга.

Нередко я остаюсь по вечерам дома и принимаю приглашение своих хозяев выпить с ними кофе или рюмку ликера. Мои хозяева целыми днями спят, и я просто диву даюсь, чем они живут. Хозяин спит оттого, что ему больше нечего делать. Товар, которым он торговал, давным-давно перестали производить из-за отсутствия спроса; стало быть, он остался без работы. С другой стороны, он уже не в том возрасте, чтобы переключиться на что-либо другое или поступить на торговые курсы, как его сын. Вот он и спит. Спит или беседует со мной.

Мой хозяин — человек неглупый, но годы берут свое, и он понимает, что его песенка спета. Что касается хозяйского сына, которого я видел всего несколько раз, то у этого напористого толстяка есть как раз то, что нужно для коммерции. Он не только преуспевает в ученье, но в свободное время уже подрабатывает, и дела у него идут неплохо. Его мать, то есть хозяйка дома, ничего не делает — только демонстрирует свои телеса, что мне бросилось в глаза еще в день нашего знакомства. Ей уже немало лет; одевается она безвкусно, а дома не вылезает из одного и того же выцветшего халата: я через застекленную дверь моей комнаты всегда вижу, как она проходит мимо. Когда она приносит мне кофе, я ловлю себя на том, что с вожделением смотрю на ее сверкающие почти лихорадочным блеском глаза, на ее округлые, мягкие белые руки и коротенькие пухлые пальцы с заостренными ногтями, накрашенными ярко-красным лаком. Или жду, когда мелькнет узкая белая полоска гладкой, тонкой кожи в прорези халата, который она то и дело запахивает. Иногда мне кажется, что она меня соблазняет (а муж храпит в соседней комнате), причем отнюдь не бескорыстно.

Посидев немного с хозяевами на кухне и понаблюдав, как синьора, время от времени поглядывая в мою сторону и чуть улыбаясь (не без значения, разумеется), молча хлопочет по хозяйству, я удаляюсь к себе. Я перестал обращать внимание на то, что дверь моей комнаты, выходящая в коридор, застеклена (первое время от сознания, что за мной могут следить, мне было не по себе). Захожу, сажусь за столик у окна и сижу, пока не захочется спать.Обычно я размышляю о докторе Максе, о своих родных, о своей жизни. Вспоминаю (но хладнокровно, бесстрастно) о нескольких днях, проведенных с родителями. И недоумеваю: как могло случиться, что я так скоро их разлюбил? И вообще я ни к кому ничего не чувствую, за исключением доктора Макса, к которому я питаю нечто такое, в чем еще сам не могу как следует разобраться.

Фирма и доктор Макс — вот единственно реальные компоненты моей жизни. Я соприкасаюсь с ними ежедневно и завишу от них материально. Казалось бы, раз так, то я должен что-то питать хотя бы к доктору Максу? Но нет. В моей душе остались только чувство обреченности и чувство уподобления... (Но обреченность и уподобление кому-то — это же не чувства!)

Вот до чего я договорился... Это значит, что я не только живу как некое производное от доктора Макса, я слился с ним, словно он мне

не посторонний человек, а ближе отца с матерью, словно он — частица меня самого.

Если как следует разобраться, то так оно и есть: фирма начинает жить в половине девятого, и я — одновременно с ней; у нее с двенадцати часов двухчасовой перерыв на обед — и у меня тоже. В половине третьего она снова приступает к работе и заканчивает в половине седьмого. И я вместе с ней. Остальные часы, кроме тех, что уходят на сон, еду, кино или еще какое-нибудь развлечение, ничем не заполнены, человек погружается в небытие, жизнь утрачивает смысл, становится ничем. Это полностью соответствует жизнедеятельности фирмы, которая живет восемь часов в день, а в остальное время представляет собой ничего не значащее безлюдное место. Другое дело доктор Макс, который, в известном смысле, являет собой сердце фирмы — божество: в его мыслях, фантазиях и проектах фирма живет гораздо дольше, чем восемь часов в сутки. Отсюда мое желание уподобиться ему, проникнуться его проблемами и проектами, не то моя жизнь, так же как жизнь фирмы, будет периодически замирать. Иными словами, если бы я, подобно всем остальным сотрудникам, приспособился к тому, чтобы быть только орудием — чем-то вроде бухгалтерской счетной машины или какой-нибудь другой вещи, принадлежащей доктору Максу, если бы я согласился быть просто неодушевленным предметом (а ведь эта мысль поначалу приводила меня в восторг!), то все бы шло гладко. Я и жил бы как неодушевленный предмет — ни счастливым, ни несчастным. Жил бы, и все тут! Мог бы жениться, как женились и женятся все, завести семью, народить детей. Испытать чувство, которое, по-видимому, испытывают все вещи в руках человека,— чувство наивной покорной приспособляемости. И, возможно, тогда мало-помалу, будучи все же человеком, а не вещью, я смог бы превозмочь пассивность и познать совсем особое счастье — почти священное чувство блаженства и преданности, то есть превратиться в идеального подчиненного, о котором мечтает доктор Макс, стать любвеобильным предметом, орудием, которое счастливо уже тем, что оно лишь орудие.

Но этого не происходит. Правда, мне хочется уподобиться доктору Максу. Но желание мое нелепо и неосуществимо: мне никогда не стать им, у меня никогда не будет ни его богатства, ни его власти. Почему же тогда меня одолевает такое чувство, будто я все равно обречен, будто я должен ему уподобиться? Постараюсь выразиться яснее. Говоря об обреченности, я имею в виду следующее: в моих отношениях с доктором Максом есть нечто непреоборимое, роковое. Например, на меня вдруг находит неудержимое желание быть с ним, и, где бы я ни находился, я срываюсь с места и мчусь к нему. Под уподоблением или перевоплощением я понимаю свое смутное, неосознанное стремление раствориться в нем — точнее, в том, что он собой представляет.

Короче, я совсем запутался. Во всей этой неразберихе брезжит только один слабый луч света — мысль о том, что в действительности ничего этого нет: ни доктора Макса, ни фирмы, ни большого города, что все эти долгие месяцы я спал, и во сне мне являлись мрачные картины и видения, не имеющие ничего общего с реальной жизнью. Но, увы! И доктор Макс и его фирма, при всем их неправдоподобии, представляют собой единственную реальность, вырисовывающуюся перед моими глазами. Тогда, охваченный отчаянием, в ужасе от того, в какую пучину я погружаюсь, я начинаю думать о возможности реальной гибели доктора Макса. Пусть бы он исчез — скоропостижно скончался, чтобы я больше его не видел! И стоит мне об этом подумать, как во мне снова просыпается ощущение подлинной, обычной реальности, где человек есть человек, а вещь — не более чем вещь, где оживают люди и места, которые с появлением в моей жизни доктора Макса утратили свой смысл.

VIII

В фирме большие изменения. Теперь все по-иному. Вернее, мы на пороге больших перемен, связанных с двумя обстоятельствами: женитьбой доктора Макса и появлением доктора Ребо, которого доктор Макс назначил генеральным директором. Мы приступаем к осуществлению того проекта реорганизации фирмы и нравственного перевоспитания кадров, который доктор Макс излагал мне некоторое время назад.

Прежде чем уточнять, в чем состоят эти перемены, замечу, что я сменил кабинет и больше не работаю в бывшей уборной доктора Макса, а перешел в новое здание, к Плуто. Следует также описать Ребо, которого я прозвал «симметричным человеком». В самом деле, в этом сорокалетнем мужчине больше всего поражает симметричность. Левая сторона его тела, левый глаз, левая ноздря, левая щека, левое ухо, рука, нога — иначе говоря, вся левая часть его фигуры в точности такая же, как правая. Это создает странное впечатление совершенной симметрии, словно Ребо — не такой, как все, и лишен свойственных каждому человеку неправильностей, асимметричности и неприятных (или же приятных) черт. В нем есть нечто искусственное, механическое, от чего делается не по себе.

Ведь симметрия, если она проявляется не в такой чисто абстрактной сфере, как геометрия, отнюдь не равнозначна красоте. Она может отвечать высокому идеалу красоты, но красоты метафизической, а не человеческой. Вот почему, если смотреть на Ребо с одной стороны, он может показаться даже очень красивым (ведь воображение никогда не сможет дорисовать вторую половину точь-в-точь такой, как первая), но если увидеть его целиком, то он ужасен. В его лице, руках, фигуре и даже в походке и манере говорить нет ничего асимметричного. По-видимому, столь же симметричны и его мысли; им свойственна симметрия непонятных и безукоризненно четких парабол, которые видишь, листая труд по высшей математике. Его тонкие, блестящие волосы наводят на мысль о нейлоновых париках манекенов. Полное впечатление, что глаза у него стеклянные, а зубы — пластмассовые, хотя в действительности и волосы, и глаза, и зубы у него свои, настоящие, а вовсе не из нейлона, не из стекла и не из пластмассы. Голос у него безликий и в то же время мужественный, мягкий, с придыханиями или вздохами, словно его издает некий крошечный аппаратик высокой преданности, находящийся где-то внутри.

На основании сказанного можно подумать, что Ребо — нечто вроде робота. На самом деле это вовсе не так. Ребо есть Ребо — высокопоставленный руководитель крупной торговой фирмы, которого доктор Макс переманил к себе, прельстив высоким окладом. Описывать, как Ребо одет, бесполезно, потому что одет он, как одеваются ответственные руководители фирм во всем мире. Носит ли он очки? Да, носит.

Итак, в одно прекрасное утро отворяется дверь моего кабинета. Входит доктор Макс в сопровождении Ребо, представляет нас друг другу. Я встаю, Ребо пожимает мне руку подобно роботу и, не переставая улыбаться, изрекает:

— Очень рад с вами познакомиться. Доктор Макс говорил мне о вас много лестного. Вы собираетесь заниматься или уже занимаетесь (точно не знаю) планированием торговли. Работа весьма интересная и творческая. Поэтому, в определенном отношении, эта комнатка (Ребо не знал, что тут было раньше) очень вам подходит. Сразу видно, что здесь покойно и, стало быть, можно сосредоточиться. Однако она расположена слишком далеко от отдела сбыта, с которым вы вынуждены поддерживать контакт по телефону, что неизбежно создает у вас ощущение

некоторой оторванности. И слишком близко к кабинету доктора Макса, что может оказывать на вас и на вашу работу своего рода магнетическое действие, хотя пока не могу сказать, какое именно — положительное или отрицательное.

Произнеся эту тираду, он закрыл рот и тут же оскалил свои ослепительно белые зубы.

— Ребо назначен генеральным директором фирмы и будет ведать главным образом персоналом,— пояснил доктор Макс.— Я решил менять все, от начала до конца, поэтому не могу сам следить за порядком. Порядок установит Ребо, и он же будет за ним наблюдать, как сочтет нужным.

Ребо снова открыл рот:

— Порядок — это качество, которое может быть заложено в человеке с рождения настолько глубоко, что это отражается даже на его внешнем облике. (Уж не себя ли он имеет в виду?) Оно может быть также благоприобретено в результате постоянного активного контроля — сперва внешнего, со стороны других людей, а затем внутреннего, силами самого заинтересованного лица. Таким образом, любовь к порядку должна возобладать над всеми прочими чертами характера, подавить их и в итоге уничтожить. Подчас любовь к порядку, достигнутая с помощью внешнего и внутреннего программирования или планирования, бывает более стойкой, нежели соответствующее врожденное свойство характера, ибо это последнее может дать неожиданные и не всегда желательные отклонения.

Ребо закрыл рот.

После этого разговора я два дня не видел ни его, ни доктора Макса. На третий день ко мне явился курьер и, не вдаваясь в объяснения, с каким-то даже злорадством (как я и предвидел, мой скромный и даже унижающий человеческое достоинство кабинетик — из-за близости к кабинету доктора Макса — стал предметом всеобщей зависти), посмеиваясь, заявил:

— Вам надлежит перебраться в другое место!

Его слова нисколько меня не удивили, и я принялся собирать свои вещи, которых было не так уж много. В другое время такой простой факт, как перемена рабочего места, вверг бы меня в пучину сомнений и отчаяния. А сейчас мне было все равно. Я прекрасно знал, что приказ исходит от Ребо, а не от доктора Макса, и был уверен, что наступит день, когда доктор Макс затоскует по тому единственному человеку, который легко и просто, даже с восторгом согласился занять этот более чем скромный уголок, лишь бы быть рядом с хозяином. Он спохватится, но будет слишком поздно.

Я забрал свои вещи и поднялся на четвертый этаж в кабинет Плуто, где мне уже поставили стол рядом с его столом. Плуто оказал мне радушный прием, хотя я понял, как нелегко ему подавить огорчение по поводу того, что его заставили поделиться с кем-то своей иллюзорной собственностью.

Но зная меня, он понимал, что, в отличие от всех остальных, я не стремлюсь завладеть даже малой толикой собственности фирмы, а наоборот, претендую на то, чтобы самому перейти в ее собственность. По-видимому, это его успокаивало.

В мой бывший кабинет, туда, где я сидел, снова поставили унитаз и умывальник. Следовательно, особых оснований сетовать у меня нет. Этот приказ наверняка тоже исходил от Ребо (который не хотел разжигать ненужные страсти) и был подсказан доктором Урадзой, неизменно пребывающей в тревоге за сына.

Введены и другие новшества. Например, восстановили передвижную библиотеку фирмы. Библиотеку поручили заботам Минни, которая

с энтузиазмом укомплектовывает ее новейшей литературой. Романы и пропыленные, никому не нужные очерки выброшены вон. Минни признает только комиксы, это ее страсть. У нее есть все — от Мандрейка до «Человека в маске», по нескольку экземпляров, но она выдает по одной книжке в неделю, даже если это старые издания.

Должен признать, что идея Минни увенчалась успехом: небольшой библиотечный зал, где она сидит за конторкой вместе с девушкой-секретаршей, всегда переполнен. Минни правильно делает, что не выдает приключения Гордона Супермена или Гусенка Пеперино целыми сериями; в таком случае читатель (особенно если это женщина) не может насладиться чтением в полную меру. Даже если серия стоит на полке во многих экземплярах, Минни дает на руки только одну книжку в неделю и лишь при особых обстоятельствах — скажем, в случае болезни,— по книжке в день.

Минни достала также несколько американских комиксов, причем тем, кто не умеет читать по-английски, она выдает ею же сделанный перевод.

Одним словом, Минни имеет огромный успех. Все ее знают, ценят, и в библиотеке всегда толчется народ. Многие женщины (да и мужчины помоложе) безуспешно пытаются подражать ее походке, ее манере выражаться междометиями, ее голосу. В коридорах все чаще можно услышать ее словечки вроде «смак», «шанг», «грон-грон» и многие другие, так что Минни теперь — самая популярная личность в фирме. Это внесло в рабочую обстановку игривость, которая, однако, с лихвой уравновешивается положительной фигурой Ребо.

Прежде всего, у Ребо нет своего кабинета, и он все время ходит по комнатам: день — здесь, день — там, появляясь совершенно неожиданно, когда его меньше всего ждут. Он расхаживает, держа в руке свою соломенную шляпу с широкой разноцветной лентой, какую носит Фрэнк Синатра, и стараясь создать впечатление, что он зашел только на минутку, что он здесь — человек временный: даже не имеет собственного кабинета. Как мне объяснил доктор Макс, этим преследуются две цели: подчеркнуть динамичный стиль работы Ребо и работы вообще и не затмевать образ хозяина. И вообще никого не затмевать, чтобы не вызывать зависти.

Таким образом Ребо работает почти все время стоя, всем улыбается, разговаривает со всеми одинаково ровно, как разговаривал со мной, обычно никому не делает замечаний, а лишь задает вопросы. Путем серии вежливых наводящих вопросов, на которые нельзя не ответить, Ребо заставляет подчиненного понять, что данную работу надо было выполнять совершенно иначе, наталкивает человека на нужную мысль. Тот хлопает себя по лбу, восклицает: «Смотрите-ка, я бы сам никогда не додумался!» — и действует соответственно.

Ребо ни у кого не вызывает симпатии, но и неприязни тоже. Он не может быть ни симпатичным, ни несимпатичным, не может вызывать в собеседнике никаких чувств, и это величайшее из его достоинств, позволяющее ему быть тем, кто он есть. Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь его ругал или хвалил, однако всем любопытно, что он за человек, и, как правило, все перед ним трепещут. Это, конечно, не тот трепет, который люди испытывают перед доктором Максом, а совершенно иное ощущение, от которого служащие, сами того не понимая, чувствуют себя увереннее. В самом деле, когда Ребо, высокий, симметричный, с неизменной шляпой в руке, входит в кабинет, он полон доброжелательства, точно он здесь случайный посетитель, не имеющий никакого отношения к фирме. Поговорив о том о сем, он приступает к конкретному разговору относительно метода работы сотрудника. Тем самым создается впечат-

ление, будто пришел посторонний человек и в частном порядке дает вам совет, как изменить или ускорить ход работы, чтобы вам же было лучше. Сотрудник не может не согласиться с логикой и диалектикой Ребо и извлекает из его советов максимальную выгоду, будучи уверен, что все придумал сам, заботясь лишь о собственной выгоде и о пользе дела.

Я убежден, что Ребо — находка для фирмы и что ему не зря платят такие огромные деньги. Я уверен также, что Минни и ее библиотека внесли в унылую атмосферу фирмы новую, свежую струю. Однако я очень сомневаюсь, чтобы доктор Макс одобрял моральную сторону этих нововведений, хотя он не может не признать их экономические выгоды.

— Да, да,— с сомнением в голосе сказал он на днях, беря меня под руку.— Комиксы Минни и назидания Ребо приводят их в веселое расположение духа, а раз так, то, значит, и работают они лучше. Веселее, но не сознательнее, вот в чем загвоздка. Они работают так весело, будто работа — это забава, а не моральный долг. Но для достижения моей цели необходимо и то и другое: и весело трудиться и в то же время сознавать, что, работая и, стало быть, содействуя расцвету фирмы, они выполняют свой моральный долг передо мной. Раньше у них было сознание морального долга, но не было веселости, а сейчас есть веселость, но отсутствует сознание морального долга. Во всяком случае, так мне кажется. Не знаю, может, я не прав. Что вы на это скажете?

Что я должен был сказать? Он прав: это так. Более того (но об этом я, разумеется, поостерегся говорить вслух), если раньше доктор Макс олицетворял моральный долг, то теперь Минни и Ребо олицетворяют веселость. В определенном смысле они вытеснили доктора Макса из сердца его подчиненных. Это было бы полбеды, если бы доктор Макс продолжал безраздельно царить в их совести, но, увы, повеселев, они забыли о долге; сознание долга, как видно, держалось у них на честном слове, только благодаря беспрестанному подстегиванию с его стороны. К тому же он воображает, что они его любят; в действительности же он их любовь утратил. Он этого не знает, а если и знает, то предпочитает относить этот урон не за счет Ребо, а за счет Минни (как-никак она его жена).

Я постарался отделаться общими словами.

— Да, это так,— задумчиво произнес я.— Чувство морального долга, безусловно, уступило место веселости.

— И вы считаете, что это в порядке вещей? — встревожился доктор Макс.

— По-моему, это одно и то же.

— То есть как одно и то же, если это нечто прямо противоположное! Вы понимаете, что вы говорите?!

Я посмотрел на него и засмеялся.

— Но они работают? — спросил я.

— Работают, ну и что же?

— Работают весело?

— Ну да. А дальше что?

— А то, что веселая работа более производительна, фирма функционирует лучше, прибыль растет. Кому это на руку? Вам!

— Но это же материализм чистой воды, дорогой мой! — возмутился доктор Макс.

Он начинал злиться. В углах рта проступили белые пятна.

— Это равносильно утверждению, будто я думаю только о том, как бы самому заработать побольше и увеличить жалованье моим служащим! А что это ведет к расточительству, что все побегут покупать что попало, что деньги потекут рекой, вы забыли? Ведь это же разврат! Я хочу, наоборот, избежать этого! Я сам решаю, сколько и как они

должны тратить! Скажу вам больше: они должны думать сначала о работе, а потом уж о деньгах. Деньги должны лежать в сейфах фирмы, а не в их карманах, так как я знаю, что делать с деньгами, а они — нет! Понятно? Или я выражаюсь недостаточно ясно? А?

И с этими словами доктор Макс постучал мне по лбу костяшками пальцев.

— Но ведь до сих пор об увеличении жалованья никто даже не заикался. Стало быть...

— Заикнутся, вот увидите! Первым, кто потребует прибавки, будет Ребо, помяните мое слово! Сначала для других, а потом и для себя.

— Но синьора Минни не потребует.

— А при чем тут она? Минни — моя жена. Она работает не ради денег, а потому, что ей нравится работать. Если бы все были такими, как она...

— Однако именно синьора Минни велела поставить во всех кабинетах радиоприемники, чтобы все слушали американский джаз.

— Нет, дорогой, эта идея принадлежит мне.

— И насчет американского джаза — тоже?

— Нет, идея джаза принадлежит Минни. Но мысль о необходимости радиофицировать кабинеты высказал я. Правда, с совершенно иной целью.

— С какой же, скажите, пожалуйста!

— Не скажу.

— Ну, скажите!

— Чтобы транслировать церковное пение. Пока мы начали с американской музыки. А потом, понемножку, может быть даже чередуя одно с другим, будем передавать хоралы.

— Предположим. А что будет с весельем?

— Будет так: начнем с веселья легковесного и поверхностного, какое может дать американский джаз, а затем понемногу подведем к интенсивной внутренней радости, которую приносит церковная музыка. Таким образом мы достигнем важной цели: заменим детскую забаву высоким моральным наслаждением.

— Короче говоря, вы хотите превратить своих подчиненных в служителей культа.

— Вот именно!

— И кому они будут поклоняться?

— Мне, поскольку они работают в моей фирме.

В этот момент в конце коридора, сияя неизменной улыбкой, со шляпой в руке показался Ребо. Вместо того чтобы пойти ему навстречу и ответить на улыбку улыбкой, доктор Макс с молниеносной быстротой повернулся на сто восемьдесят градусов и со всех ног бросился к лифту, двери которого захлопнулись за ним перед самым носом у Ребо.

Его улыбка не исказилась ни на один миллиметр. «Симметричный мужчина», сделав вид, будто он ничего не заметил, следовательно, скрыв от самого себя очевидность того факта, что доктор Макс от него сбежал, потряс мне руку, отчего по всему моему телу пошло тепло.

Затем, держа обеими руками шляпу, он склонил голову влево, не переставая смотреть на меня и скалить зубы.

— Какими судьбами вы здесь? Направляетесь к Бомболо? В таком случае нам по дороге!

— Нет, я иду в другое место.

— Ах вот как? Могу я знать куда? Или это нескромный вопрос?

— Нет, что вы! Я иду в уборную.

Ребо симметричным движением поднял свои густые блестящие черные брови и посмотрел на меня с удивлением. Потом поднял руку — показал на часы.

— Как? В одиннадцать утра?
— Да, в одиннадцать утра.
— Спасибо.
— Не за что! — ответил я.

И Ребо своим размашистым легким шагом пошел дальше.

Таким образом, я узнал, что по истечении столь недолгого времени доктор Макс при виде Ребо убегает. Почему? Ведь он сам его пригласил! Может быть, он завидует его успеху? Или это проявление одного из его бесконечных противоречий? Возможно, в глазах доктора Макса Ребо олицетворяет веселость, воцарившуюся в фирме с тех пор, как он и Минни приступили к исполнению своих обязанностей, то есть нечто противоположное сознанию морального долга? Или доктор Макс тоже робеет, несмотря на то что Ребо — не более как один из его подчиненных и, чтобы не подвергать себя испытанию, удирает? В таком случае напрашивается нелепейший вывод: очевидно, доктор Макс чувствует в Ребо хозяина? Значит, у хозяина тоже может быть хозяин или, по крайней мере, ощущение психологической зависимости от кого-то? У доктора Макса — и вдруг хозяин! Нет, это невозможно. Хозяин — он, доктор Макс! Но это бегство... Типичное бегство подчиненного при появлении шефа! Ведь вот я же не бежал: остался на месте и ничтоже сумняшеся ответил, что направляюсь в уборную, памятуя, что в конечном итоге Ребо тоже человек подневольный. Но если доктор Макс, хозяин, удирает, словно мелкая сошка, застигнутая на месте преступления, то что ж теперь будет со мной, после ответа, который я дал Ребо, полагая, что мне ничто не грозит?

У доктора Макса есть хозяин! Я не хочу этому верить и предпочитаю приписывать его бегство внезапному приступу ревности (что уже само по себе внушает беспокойство): доктор Макс ревнует к Ребо всю фирму и Минни. Ведь сейчас все только и говорят что о парочке Минни — Ребо, а про доктора Макса никто даже не вспоминает.

Теперь для меня ясно и другое. По-видимому, именно в этой связи доктор Макс заказал художнику Орацио рисунки к сочиненной им самим истории. (Новый «комикс» был отпечатан и разослан по отделам.)

Рассказ называется «Шелковичный червь». Я его переписал. О рисунках умолчу. Не понимаю, зачем доктору Максу понадобилось заказывать их Орацио: все-таки Орацио настоящий художник, а изобразить надо было всего лишь кабинет в новом здании фирмы и служащего за столом.

Вот он, этот рассказ:

«В одной фирме вот уже десять лет работает некий синьор Марио. Он женат, у него двое детей. Дело происходит весной, и синьор Марио, вместо того чтобы заниматься делом, смотрит в окно и думает: «Какая хорошая погода! Вот бы съездить за город... Полежать на лужайке, полюбоваться на небо, на бабочек и, жуя травинку, послушать, как стрекочут кузнечики... Хорошо бы летать бабочкой, петь кузнечиком, жить, как живут букашки на лугу...»

В этих размышлениях проходит все утро и часть второй половины дня. Синьор Марио воображает себя то конем, то собакой, то бабочкой, то кузнечиком, то стрекозой или же муравьем, который запасся пропитанием на зиму, тогда как стрекоза умирает с голода. В конце дня, продолжая раздумывать обо всем этом, вместо того чтобы заниматься срочной работой, которая лежит у него на столе, синьор Марио вдруг слышит какой-то шорох. Смотрит на дверь: никого нет. Шорох повторяется, и вот прямо перед ним на письменном столе появляется одно из тех самых насекомых, о которых он только что размышлял. Шелковичный червь! Откуда?! Синьор Марио не верит своим глазам. Но каково же

его удивление, когда шелковичный червь вдруг начинает разговаривать человеческим голосом...

«— Не воображай, что ты хитрее всех,— говорит с усмешкой червячок.— И не надейся, что сумеешь улизнуть от контроля. Я говорю не о фирме и не о тех беднягах, которые еще тешат себя иллюзией, что ты — такой, как они все, и честно выполняешь свой долг. Нет, я имею в виду совсем другое — всеобъемлющий контроль, осуществляемый природой, от него ничто не может укрыться. Вот ты сидишь и раздумываешь обо мне, воображая, что я целыми днями ничего не делаю, что я не тружусь. А на самом деле я день-деньской на ногах и работаю, как все, даже больше других и уж, во всяком случае, больше тебя, бездельника, который зря теряет время, считая ворон. Запомни: я работаю денно и нощно. Я и ем-то только для того, чтобы работать, и спариваюсь для того, чтобы было кому после меня производить шелк. Ручаюсь, что в твоей голове уже шевелится мысль о том, что твое положение ложно не только по отношению к фирме и к доктору Максу, но прежде всего по отношению к природе! И не без оснований. Ведь ты, дорогуша, ничего не производишь. Ты — паразит. В животном и растительном мире паразитизм еще допустим, но ведь ты — человек и не можешь жить паразитом, а должен что-то производить. Что же ты производишь? Ну, отвечай!

Припертый к стенке, синьор Марио медлит с ответом и пытается оттянуть время, но червячок, выпустив фонтанчик золотистой слюны, нажимает:

— Ну, так как же?

Синьор Марио думает про себя: «Что ему надо? Я же человек, а не шелковичный червь!» И отвечает:

— Я не обязан перед вами отчитываться! Я — человек, а вы — шелковичный червь. Тките свои шелковые нитки и оставьте меня в покое.

Шелковичный червь смеется:

— Ну и что ж, что ты — человек? Тем более ты обязан трудиться, а не зевать по сторонам! Ведь вот я же, сплетая кокон, не отвлекаюсь, хотя я всего-навсего шелковичный червь. А ты — человек и наделен чувством морального долга!

— Подумаешь, какое дело! Что случится, если я и помечтаю по случаю хорошей погоды? — ворчит синьор Марио.

— А то, что в хорошую погоду пчелы, бабочки, муравьи, миллионы насекомых и животных трудятся, значит, и ты должен работать, а не развлекаться. Только при этом условии ты будешь таким, как они, и подобно им будешь жить по законам природы.

— Я бы предпочел прокатиться за город, на пикник, нежели работать,— признается синьор Марио.

— А разве мы устраиваем пикники? Ты нам завидуешь, воображая, что мы только и делаем, что забавляемся. На самом деле нам не до пикников. Я же говорю тебе, что не знаю покоя ни днем, ни ночью.

— Выходит, вы никогда не развлекаетесь?

— Наше развлечение — труд. Если кто-нибудь из нас не работает, значит он умер. Все должны приносить пользу. Так предначертано природой. Потому-то я и говорю, что ты ведешь себя сегодня как последний разгильдяй.

Синьор Марио призадумался. Наконец он поднимает голову, но шелковичного червя и след простыл. Глянув за окно на небо, синьор Марио признает: все, что сказал шелковичный червь,— чистая правда. Синьору Марио совестно, что он весь день просидел сложа руки. И он весело принимается за работу».

Рассказик успеха у служащих не имел. Рисунки показались однообразными, а смысл попросту не дошел. И так как доктор Макс под рассказиком не подписался, то многие пошли к Минни.

— Супермен, Нембо Кид или Тополино в тысячу раз интереснее этой чепухи! — неосмотрительно жаловались читатели.

А Пиппо, совершенно не ведая, что говорит (только узкому кругу лиц было известно, кто автор «Шелковичного червя»), имел наглость заявить во всеуслышание, что рассказик — дрянь.

Доктор Макс, случайно оказавшийся поблизости, побледнел как полотно и набросился на Пиппо:

— Чем же он, по-вашему, плох?

— Тем, что непонятен и бессмыслен. Неужели он вам понравился?

— Это вас не касается! Вы лучше скажите, чем плох рассказ.

Пиппо бросило в дрожь, он сам не знал почему. Он понимал, что доктор Макс разъярен, а одного этого было достаточно, чтобы задрожать.

— Но, доктор Макс, я же вам объяснил! Рассказ совершенно непонятен, по крайней мере до меня он не дошел. Не знаю, зачем сравнивать людей с шелковичными червями... Не понимаю. Какой смысл в этом сравнении? — лепетал Пиппо.

Я подсказал:

— Речь идет о функции, которую человек выполняет в природе...

— А вы помолчите! — заорал доктор Макс.

Пиппо растерянно оглядывался по сторонам. Утренние аперитивы и эта неожиданная неприятность замутили его взгляд.

— Да, действительно, мне тоже показалось, что речь идет об этом...

— И что же? — наступал доктор Макс.

— Значит... Стало быть... Не знаю...

— Как так не знаете? Ну-ка, ну-ка!

— Я, правда, не знаю, доктор Макс, вы меня извините! — наконец выговорил Пиппо самым серьезным тоном, на какой был способен. В самом начале он, по-видимому, еще мог высказать какие-то возражения, потом засомневался, то ли он собирается сказать, и, наконец, напуганный агрессивным тоном доктора Макса, окончательно запутался.

— А я вам объясню, почему вы ничего не знаете и ничего не понимаете, Пиппо! Потому что вы — пьяница, конченый человек, которого я держу из милости. Запомните это хорошенько: из милости. А теперь пораскиньте мозгами, и вы увидите, что и до вас дойдет смысл «Шелковичного червя»!

С этими словами доктор Макс удалился, оставив бедного Пиппо в крайне подавленном состоянии.

Как бы там ни было, но провал «Шелковичного червя» подействовал на доктора Макса убийственно, хотя он и не подает вида. Отсюда и его зависть к Минни и Ребо, которые так или иначе пользуются успехом. Доктор Макс брызжет ядом и не щадит никого. Мне он заявил:

— Знаете, когда я сегодня утром зашел к себе в уборную, мне почудилось, что вместо унитаза я вижу вас! Вот что значит сила привычки! Еще немного, и я бы с ним заговорил, такая малая между вами разница!

И, посмеиваясь своей остроте, удалился.

В отличие от Пиппо, который заперся в своем кабинете и залился слезами, я не обратил на злую выходку доктора Макса никакого внимания. Дело в том, что я все-таки не унитаз, а человек,— пусть достойный того, чтобы меня путали с отхожим местом, но это уже другой вопрос. Пиппо же, сам того не зная, представляет собой именно то, что сказал о нем доктор Макс. Долго он не протянет, бедняжка.

Вечером я видел, как он избивал свою собаку. Он лупил ее доской от упаковочного ящика, а та молчала и только старалась поплотнее прижаться к тротуару, словно могла этим смягчить сыпавшиеся градом удары. Прижав от страха уши, она при каждом ударе издавала протяжный вздох и чуть слышно скулила, будто всхлипывала. Но не

лаяла, не выла и не делала никакой попытки убежать. Пиппо избивал ее со свирепой методичностью. Несмотря на уличный шум я еще издали услышал, как доска хлопает по собачьей спине, словно по груде тряпья. Вокруг собралась толпа, молча наблюдавшая за тягостной сценой. Я подбежал к Пиппо и вырвал у него доску. Он рухнул на тротуар и так и остался сидеть, раскинув ноги в стороны, прислонившись к стене дома. Пиппо был совершенно пьян. Немного погодя он встал. Стараясь удержаться на ногах, он нелепо размахивал руками, упирался в землю, в стену дома. Только тогда, сообразив, что он наделал, Пиппо наклонился к тяжело дышавшей и кашлявшей собаке, стал ее гладить, целовать. По обвисшему, словно старый чулок, лицу Пиппо текли слезы. Собака лежала, распластавшись на тротуаре, и каждый раз, как Пиппо пытался сдвинуть ее с места или, распрямляя одну за другой ее лапы, приподнять, скулила, выла и огрызалась. В конце концов он подхватил ее на руки и побрел прочь.

Ребо энергично взялся за решение проблемы болезней. Для нашей фирмы это поистине наболевший вопрос. Почти все служащие старше двадцати лет чем-нибудь больны. Заболевания разные: более серьезные, менее серьезные. Тяжелых больных кладут в стационар под наблюдение больничных врачей. Те, кто страдает менее серьезными заболеваниями и не нуждается в госпитализации, тоже обязаны обращаться к казенным врачам, которые, однако, не пользуются доверием. Заболев, сотрудник предпочитает найти себе доктора сам и принимать лекарства (как правило, патентованные средства) по своему выбору.

Лекарства, будь то обычные или патентованные, тоже не всегда удовлетворяют пациентов: то их не так прописывают, то они плохо действуют. На этой почве возникают трения с врачами и фармацевтами. Часто больные, беседуя между собой, обнаруживают общие симптомы и дают друг другу медицинские советы.

Так или иначе, эти недомогания стали буквально бедствием для фирмы. Сотрудник знает, что он не может позволить себе роскошь заболеть всерьез: как правило, тяжелыми болезнями болеют только кладовщики, грузчики и служащие самой низшей категории, то есть те, кто не понимает, чем это для них может обернуться. Серьезно болеть нельзя потому, что, если тебя несколько месяцев не будет на работе, о тебе забудут. И вот люди болеют, но так, чтобы ходить на работу, пребывают, так сказать, в состоянии перманентного недомогания. Всякому известно, что если поболеть несколько раз подряд, не прибегая, однако, к хирургической операции и не ложась в больницу, то этим обстоятельством можно пользоваться как великолепным алиби. Подтекст таков: хоть я и болен, но я — на месте и тружусь. Если я работаю плохо или недостаточно хорошо, то я ни при чем: во всем виновата моя болезнь — я от нее тупею, от нее у меня сонливость (или головная боль), немеют руки (ухудшается зрение, слух или еще что-нибудь, в зависимости от характера заболевания).

Если же болезнь серьезная (а под серьезной болезнью имеется в виду такая, которая лишает человека физической возможности ежедневно являться на работу), то прежде всего ни о каком алиби уже не может быть и речи. Кроме того, когда отсутствие по болезни затягивается, о человеке попросту забывают и постепенно возникает необходимость его замены.

У доктора Макса сложилась на этот счет очень четкая система взглядов. Когда кто-нибудь из сотрудников заболевает, доктор Макс без всяких обиняков говорит:

— Я крайне сожалею, но таков закон природы. Если человек не в силах работать, то почему я должен ему платить? Если он умирает, значит, природе не угодно не только, чтобы он работал, но и чтобы он жил. Если конец оттягивается на долгое время, значит, у человека нет ясного представления о вещах. Убедившись в своей бесполезности, больной должен был бы сам желать смерти, а он цепляется за жизнь...

Когда сотрудник, заболев, продолжает ходить на работу, доктор Макс говорит:

— Вот видите? Он болен, но несмотря ни на что работает. Это значит, что его воля к труду, а следовательно, и к жизни сильнее болезни.

В заключение доктор Макс изрекает:

— От судьбы не уйдешь. Одному на роду написано быть сильным, другому — слабым. (Говорят, слабость передается по наследству. Но из наследственности исходить нельзя, это завело бы нас слишком далеко. Кстати, моральные качества семьи тоже могут передаваться из поколения в поколение.) Однако, как правило, человек слаб потому, что не обладает достаточной моральной силой; тут уж, дорогой мой, ничего не попишешь. Такому человеку рано или поздно суждено погибнуть.

Впрочем, недавно доктор Макс вынужден был констатировать, что более трех четвертей сотрудников фирмы чем-нибудь больны. Болезни, на которые они жалуются, не тяжелые и, возможно, даже мнимые — во всяком случае, диагнозу поддаются с трудом. Как можно доказать, например, что вы почти ежедневно во второй половине дня перестаете видеть? Или страдаете удушьем? Что делать, если на нервной почве вдруг начинается кашель, который может длиться целый час? Или если на всем теле появляется сыпь и четверть рабочего времени уходит на то, чтобы чесаться? Как быть с сотрудницами, которые по всякому пустяку и в любой момент готовы вцепиться друг другу в волосы? Или запираются на целый час в уборной? Или вступают в интимные отношения с коллегами? (А если не вступают в интимные отношения, то тоже жалуются, что не видят или не слышат или что у них внезапно отнимаются руки и ноги...)

Это неизлечимо? Опасно для жизни? Вовсе нет. Все эти люди регулярно ходят на работу: ровно в половине девятого утра они на месте. Так что же с ними делать?

Одно время доктор Макс гордился сотрудниками, которые работают через силу. А потом начал относиться к ним с недоверием, заподозрив, что болезнь служит им алиби, отговоркой, предлогом для того, чтобы работать спустя рукава и чтобы при этом их не наказывали.

IX

браз доктора Макса утратил для меня осязаемость: я уже не вижу в нем реального человека, как другие люди, в чьих глазах он олицетворяет деньги и власть, то есть то, чем в какой-то мере хотел бы обладать каждый. Ведь всем хотелось бы уподобиться доктору Максу, потому что он богат, очень богат и, по их мнению, не умеет тратить свои деньги, в то время как они на его месте отлично сумели бы ими распорядиться. Их хлебом не корми — дай помечтать о том, как бы они тратили деньги доктора Макса!

Я же перестал его воспринимать даже как символ богатства. Для меня он только хозяин. Хозяин моего времени, моих поступков, моих мыслей, моих чувств и моего досуга, который я неизменно провожу в его обществе. Я прекрасно понимаю, что, будь я богат, как доктор Макс, я сам был бы доктором Максом и мой свирепый антагонист не ходил

бы за мной по пятам. Но так как я беден и никогда не разбогатею, то я вынужден целый божий день терпеть на себе его взгляд и выслушивать его бесконечные нравоучения.

Стоит ли удивляться, что у меня появилось желание его убить... Сколько раз мне приходила в голову эта мысль! Случалось, она не успевала даже оформиться: меня захлестывала такая ненависть, что я готов был вцепиться ему в горло, задушить! Но в последний момент сдерживался: логика и здравый смысл брали верх. По-видимому, это происходило со мной тогда, когда доктор Макс особенно отчетливо сознавал безграничность своей власти. Иначе разве он мог бы так разговаривать и поступать со мной? Следовательно, он был далек от мысли, что, достигнув наивысшей власти, абсолюта, он рискует жизнью.

В такие минуты я себе говорил: «К чему это? Предположим, я его прикончу, тут же, не сходя с места, вцеплюсь зубами в горло, как делают разъяренные псы, и конец! Ну, а что дальше? Меня посадят на всю жизнь за решетку, а место доктора Макса займет кто-нибудь другой. Таким образом, роковой для меня поступок окажется во всех отношениях бесполезным. И, главное, не освободит меня от доктора Макса, потому что вся моя дальнейшая жизнь сложится опять-таки в прямой зависимости от него».

Я понимал, что человек, совершающий убийство в состоянии аффекта, потому что в нем проснулся зверь, не вдается в подобные рассуждения; эти рассуждения свидетельствуют как раз об отсутствии слепых звериных инстинктов, без которых убийство вообще немыслимо.

И я снова себе твердил, что доктор Макс прав, что богатый всегда прав: нельзя быть бедным безнаказанно. Каждое проявление своеволия с моей стороны не только абсурдно, но и аморально; он же, осуществляя свою власть, действует законно и нравственно. Кроме того, он никого не убивает, потому что орудие его власти, то есть богатство, не вызывает такой необходимости: достаточно заставить людей работать! Доктор Макс яростно ненавидит и хотел бы уничтожить только тех, кто богаче него, но подобных несбыточных целей он себе не ставит. Замкнувшись в пределах своей фирмы, он не желает допускать даже мысли о том, что есть люди, которые, не будучи его личной собственностью, тоже заявляют о своем праве на существование.

В то же время доктор Макс не обладает всеобъемлющей силой, которая давала бы ему основание иметь столь высокое мнение о себе и о своем назначении и считать себя вершителем судеб других людей. В этом-то и заключается роковое противоречие, лежащее в основе его морализирования: все, что идет на пользу культу его личности, он почитает за благо, а все прочее — за зло. К тому же, сколько бы он ни морализировал и ни рассуждал о добре и зле, ему не удается и никогда не удастся стать всеобщим кумиром, о чем он так мечтает. Это настолько очевидно, что, по-моему, перестало быть секретом даже для него самого, и, чтобы утвердить культ своей личности, он теперь рассчитывает, по-видимому, только на силу. Он рассуждает так: «Лучше пусть они поклоняются мне из страха, чем не поклоняются совсем». Должен признаться, он отчасти в этом преуспел: все только и говорят, только и думают о нем.

Нередко мне кажется, что я все преувеличиваю. Устав от того, что доктор Макс вечно и неотступно при мне, я вижу в нем причину всех своих бед, хотя объективно он — самый заурядный человечишко, не заслуживающий того, чтобы его принимали всерьез. Но все это совсем не просто! Что он — мелкая личность, это, возможно, и так; даже наверняка так. Фирма работает по инерции, а вовсе не благодаря его директивам и сумасбродным идеям, которые возникают в заоблачных сферах морали и нравственности. Но в его руках — власть.

Далее (впрочем, констатации одного предыдущего факта, а именно: что в его руках вся власть, вполне достаточно, чтобы выбить почву из-под ног всякого, кто попытается преуменьшить его роль), доктор Макс — не тот, кем он является в действительности, а тот, кем он предстает перед данным человеком. Ясно, что для служащего какой-нибудь другой фирмы, не имеющей никакого отношения к нашей, доктор Макс — не более чем первый встречный, жалкий человечек, напоминающий насекомое. Самое большее, что он может вызвать, это чувство гадливости. Для меня же он — доктор Макс, то есть кульминационный пункт моей жизни, вокруг которого денно и нощно вращаются все мои мысли.

И все же я не гнал от себя ребяческих планов мести: раздумывал, как бы его убить так, чтобы никто ничего не заметил, мысленно разрабатывал «верняк».

По мере того как я браковал один за другим эти планы, вернее, по мере того как они сами отпадали, образ доктора Макса становился все более неуязвимым, а мое воображение распалялось, утрачивало первоначальный детски-наивный оттенок и приобретало характер жестокой навязчивой идеи.

Часто бывает, что как раз в такой момент звонит телефон.

— Балбес, что вы делаете? Спите?

Это он, доктор Макс.

X

Пиппо отравился. Заперся вчера в номере привокзальной гостиницы и принял большую дозу снотворного. Почему именно в привокзальной гостинице? Кто его знает. Может быть, собирался уехать, а потом вспомнил слова доктора Макса: «От судьбы не уйдешь» — и... изменил намерение и маршрут.

Сегодня утром я пошел навестить Чинцию и, если понадобится, оказать ей какую-нибудь помощь. (Пиппо перевезли домой.) И хорошо сделал, потому что Чинция совсем перестала видеть, блуждала по дому как слепая; мать, по обыкновению, лежала, а девочка бродила по квартире как неприкаянная, держась за стены. Я спросил у Чинции, где девочкины очки (над которыми я столько раз потешался), и обнаружил их у старухи под кроватью. Я вложил очки девочке в руки, она проворно схватила их и тут же надела. Привыкшая к осторожности, она внимательно огляделась вокруг, увидела мать, которая сидела на кухне и плакала, тихонько к ней подошла, прижалась очками к ее лицу и стала ее гладить, приговаривая:

— Не плачь, Чинция! Я нашла очки. Смотри!

И она тыкала пальцем в стекла, стараясь привлечь внимание матери.

Я прошел в спальню, где на постели лежал Пиппо. Он был все в том же, в чем его привезли: в брюках и майке, без рубашки и без пиджака. Майка была очень грязная, от нее на всю комнату пахло чем-то кислым, пришлось тотчас открыть окно.

Перед тем как его раздеть, обмыть и снова одеть (Чинция не хотела, чтобы это делал кто-нибудь из их дома,— наверно, стеснялась), я долго на него смотрел. Обычно про покойников говорят, что они улыбаются... Пиппо тоже улыбался своей обычной обвислой улыбкой: углы рта его опустились складками чуть не до подбородка. Я подумал, что мое предсказание сбылось, но не через год или два, а гораздо раньше; в принципе же я оказался прав. Я интуитивно угадал это в тот вечер, когда он на моих глазах зверски избивал собаку, но больше я к этой мысли как-то не возвращался...

Собака лежала в углу спальни на старом одеяле. Три ноги у нее были в гипсе. Рядом стояли две миски: одна для еды, другая для воды. Обе были пусты, но собака лежала спокойно, только по-старчески тяжело дышала. Когда я открыл окна и в комнату влетели мухи, она тут же занялась ими, стараясь схватить на лету, но не сумела из-за полной своей неподвижности.

Позднее, уже после того, как я обмыл Пиппо и переодел его, вошла Чинция и попросила меня посидеть с девочкой. Из кухни я слышал, как Чинция, обращаясь к Пиппо своим спокойным, тихим и мягким голосом, будто рассуждая вслух, говорила:

— Послушай, как же теперь быть? Ты же знаешь, здоровье у меня неважное. К тому же я целый день на работе. Девочка совсем плохо видит, и мне бы не хотелось оставлять ее в садике на продленный день. Мама прикована к постели. Скажи мне, что же делать! Взять постоянную прислугу? Но мы с тобой столько раз подсчитывали свои ресурсы, и ты сам знаешь: мы ведь едва укладываемся. На тебя я больше рассчитывать не могу. Посоветуй, как же мне быть. Посоветуй!

Я разобрал эти слова совершенно отчетливо. Затем послышались шаги: Чинция ходила по комнате, открывала шкаф. Потом с полотенцем в руках отправилась в ванную. До меня донесся плеск воды. Выйдя из ванной, она вернулась в спальню, где пробыла еще около часа, то тихо разговаривая, то в молчании.

Девочка все это время спокойно сидела у меня на коленях и листала женский журнал. Сначала она внимательно рассматривала моды, потом положила журнал на место и принялась перелистывать детскую книжку с картинками, изображавшими приключения бабочки, точнее, жизнь бабочки от момента рождения до того, как она откладывает яйца. Через некоторое время девочка попросилась на горшочек, сама сходила в ванную (кухня находилась рядом, поэтому я все слышал), вымыла руки и вернулась ко мне.

Наконец явились Плуто и Фабриция, ездившие хлопотать насчет похорон. Вскоре — я как раз вышел немного пройтись — приехал фургон похоронного агентства, на котором Пиппо перевезли в частную часовню, где его снова переодели — на этот раз в черный костюм (я спутал и выбрал не тот) и положили обратно в гроб.

Эта часовня, находящаяся при самом похоронном агентстве, напоминает гостиную; к услугам гостей банкетки, серые диваны и кресла. Работает бесшумная новейшая установка для кондиционирования воздуха.

Вскоре прибыли сотрудники фирмы, в том числе Ребо.

В конце дня по невыносимо душным от зноя улицам мы отправились через весь город на кладбище.

Пиппо похоронили. При этом присутствовала и девочка. (Фабриция хотела отправить ее домой вместе со своими, но Чинция настояла, чтобы она осталась.) На ней было белое платьице с черной марлевой розеткой на груди. Девочка стояла серьезная-пресерьезная. Как всегда отчетливо и правильно выговаривая слова, девочка отвечала на вопросы, сокрушенно качала головой. Потом я вдруг почувствовал, что она тянет меня за пиджак. Я наклонился; чуть не ткнувшись в меня очками, чтобы удостовериться, что это я, она улыбнулась и проговорила.

— Как жаль, что папа умер! Наделал он нам хлопот!

Да, да, именно так и сказала, видимо, не понимая, что говорит, или автоматически повторяя слова, услышанные дома от матери или от Плуто.

С кладбища возвращались уже в темноте. Плуто почти сразу вынужден был уехать и лечь: на нервной почве у него разболелся тройничный нерв. А Фабриция осталась с Чинцией.

Как ни странно, но, в отличие от всех прочих дней, день похорон Пиппо показался мне реальным. Такое же чувство реальности я испытал до этого лишь однажды — в присутствии доктора Сатурно, когда из его слов и по его глазам понял, что он скоро умрет. И вот сегодня снова, в связи со смертью Пиппо. Это совпадение наводит меня на мысль, что единственная существующая в мире реальность — это смерть. Что же тогда все остальное?

XI

Сегодня утром ко мне явилась Селене, как всегда, крадучись, продемонстрировала свой великолепный — с обложки американского календаря — бюст и сообщила, что меня желает видеть Ребо. Таким образом, я впервые за все время поднялся на самый верхний этаж нового здания, где находится конференц-зал правления фирмы. Это огромное помещение, залитое ослепительным светом; солнечные лучи обрушиваются на него со всех четырех сторон. Никаких занавесей там нет; лишь зеленовато-голубоватое стекло должно было приглушать яркость света, однако сила его такова, что стекло кажется не зеленовато-голубым, а черным. Диск солнца сквозь эту стену тоже кажется черным, и все-таки свет, вернее, бесконечное множество пронизывающих стекло лезвий света, отражаясь от алюминиевого пола, устремляется сквозь облака золотой пыли в потолок и слепит глаза.

Ребо ждал меня, сидя в одном из кресел, расставленных вокруг белого мраморного стола. На нем были большие черные очки. То ли из-за этих очков, то ли из-за необъятности зала, в котором было что-то торжественное, напоминающее храм и одновременно мертвящее, могильное, мне показалось, что Ребо похож на муху.

Дверь лифта за мной захлопнулась, и я направился к нему. По расстоянию, которое нас разделяло, по гулкому стуку моих каблуков в тишине, нарушаемой лишь едва слышным гудением установки для кондиционирования воздуха, я отчетливо понял, как далеко от меня до Ребо. Он улыбнулся, пожал мне руку и предложил сесть рядом с ним.

— Прежде всего, извините, что я заставил вас сюда подняться! Но, как вам известно, своего кабинета у меня нет. Я все время на ногах — то тут, то там. Здесь нам будет спокойнее. Вы не возражаете?

— Нет,— ответил я.— Тем более что я этот зал еще ни разу не видел.

— Ах вот как? Прекрасный зал. В своем роде шедевр архитектуры. Жаль только, что здесь слишком много света и нет портьер. Но если учесть, что по замыслу архитектора это должно символизировать «ясность мысли» или, как он выражается, «высшую математику», то его проект удался на славу!

Ребо рассмеялся. Смех его был звонким и тоже симметричным, то есть длился ровно столько, сколько положено — ни на секунду больше или меньше.

— Ну, как вам живется? Хорошо?

— Очень хорошо, благодарю вас.

Ребо сделал долгую паузу, продолжая смотреть на меня и улыбаться полудобродушной-полунедоверчивой улыбкой, как бы говоря: «Со мной можете быть откровенным. Для того я вас и позвал».

И добавил:

— А мне показалось, что вы себя неважно чувствуете или чем-то озабочены.

— Нет, что вы! — ответил я и тоже надолго умолк, чего Ребо никак не ожидал. За черными очками ничего нельзя было рассмотреть.

Видя, что время идет, а я молчу, Ребо сделал мне знак рукой, как бы предлагая высказаться.

— Право же, я отлично себя чувствую! — подтвердил я, улыбнувшись.

Ребо, по-видимому, несколько растерялся: он был обескуражен моим ответом.

— Если это так, то я рад за вас. В таком случае, наш разговор окончен: мне вам нечего больше сказать. Но, знаете, иной раз человек думает, что у него все в порядке, а на самом деле это не так. Обычно другим, со стороны, виднее.

— А вы находите, что у меня что-то не в порядке? Что-то не так?

— Нет, нет, ради бога, не пугайтесь! Я считаю, что вы прекрасно выглядите, что со здоровьем у вас благополучно, если вы это имеете в виду. Но, откровенно говоря, вы что-то невеселы. В ваши годы, занимая такое положение, пользуясь покровительством доктора Макса, вы должны были бы не просто быть довольным, но сиять от радости! Не так ли?

«Занимая такое положение...» Какое положение? О каком таком положении он говорит? Я ответил в общих словах, что не жалуюсь.

Ребо, прошуршав шелковистым костюмом, заложил ногу на ногу и, поглаживая одной рукой колено, продолжал:

— Так или иначе, учтите: тема, которую я собираюсь с вами обсудить, ради чего я вас вызвал, возможно, для вас и не новая, но ее значение трудно переоценить. Эта тема — веселость.

— Веселость?

— Да, веселость, и пусть вас это не пугает.

— Я не пугаюсь.

— Вот и молодчина! Я понял, что вы не веселы. А известно ли вам, что у всех живых существ на свете, начиная от простейших растений и кончая человеком, если они здоровы, радость жизни выражается в веселости? Но в то время, как у растений и у животных, лишенных сознания, веселость проявляется в самом акте существования, у человека она проявляется в труде. Возьмем, к примеру, служащих нашей фирмы, всех без исключения. Как по-вашему, веселы они или грустны?

— Откровенно говоря, я не со всеми знаком...

— Скажите о тех, кого вы знаете.

— О тех, кого я знаю... Ничего не могу сказать.

— Ну, ну, говорите, не стесняйтесь! Как по-вашему, веселы они или нет?

— Некоторые часто болеют...

— Болезни оставим пока в стороне. Как вам, наверно, известно, они чаще всего — плод воображения. Вы лучше отвечайте на мой вопрос! — раздраженно перебил меня Ребо.

«Собственно, что он воображает? — возмущался я.— Что он доктор Макс? Как я ему должен отвечать?»

— Право, не знаю. Полагаю, что степень веселости определяется жалованьем.

— Справедливое замечание. Стало быть, по-вашему, веселость зависит от жалованья, то есть от денег, так? Иными словами, вы хотите сказать, что деньги — все, что они и только — источник веселости, так?

— Полагаю, что так.

— Хорошо. А теперь минуточку внимания! Деньги зависят от качества и количества работы, да? Стало быть, источник веселости — работа. Имей они деньги, не работая, были бы они веселы, как по-вашему?

— Думаю, что да.

— Прекрасно. Стало быть, можно утверждать, что веселость человека находится в прямой зависимости от количества денег, которыми он располагает. Значит, если судить о человеке по его деньгам, тот, кто зарабатывает сто тысяч, менее весел, чем тот, кто зарабатывает пятьсот тысяч, да?

— Естественно.

— Знаете, чем объясняется такое несовпадение уровней веселости? Тем, что людям всегда хочется зарабатывать намного больше того, что они зарабатывают. Например, человек, имеющий сто тысяч в месяц, претендует на пятьсот тысяч и так далее. Следовательно, веселость нельзя измерять деньгами. Вот вы и попались!

Ребо самодовольно засмеялся, но я так и не уловил, в чем состояло его доказательство.

— Ничего. Важно, что мы пришли к выводу: источник веселости — не деньги, а труд. Труд же един для всех — и для тех, кто зарабатывает сто тысяч, и для тех, кто доходит до пятисот.

— Однако жалованье у всех разное.

— Оставьте пока в стороне разницу в жалованье и подумайте о работе, как таковой. Ведь это она — источник веселости? Да или нет?

— Нет. Источник веселости — деньги.

— Ошибаетесь! Мы только что доказали, что источник веселости — труд. Правильно? Подумайте, прежде чем отвечать... Итак, что является источником веселости, труд или деньги?

— Деньги.

— Ну, ладно. Будь по-вашему. Тогда скажите мне, для чего служат деньги? Чтобы их тратить, да?

— Да, чтобы их тратить.

— Стало быть, мы пришли к выводу, что деньги нужны для того, чтобы их тратить. Отлично.

Тут Ребо склонил голову и, подперев лоб большим и указательным пальцами, принялся размышлять, шепча про себя:

— Предположим, что источник веселости — деньги. Нет, наоборот: источник веселости — труд, труд дает деньги, а деньги служат для того, чтобы их тратить... Нет. Надо разобраться... Да, что я хотел сказать... Деньги нужны для того, чтобы их тратить, а труд, который является источником веселости... Нет! Все не так!

Ребо перестал шевелить губами и начал шевелить пальцами, словно запоминая, о чем и в каком порядке он будет говорить. Время шло. Насколько я мог понять, Ребо нервничал, хотя внешне оставался совершенно спокойным. Стояла глубокая тишина.

— Короче говоря, я хотел вам сказать, что вы невеселы. Так это или не так?

— Не знаю, не думаю...

— Как это «не знаю»? Кому же знать, как не вам! Мне лично кажется, что вы невеселы.

— Возможно.

— А если так, то, значит, вам не по себе.

— Я прекрасно себя чувствую.

— Но мы же с вами только что установили, что все живые существа, если они здоровы, должны быть веселы?! Не будьте так пассивны в своих ответах! Этот разговор нужен мне в такой же степени, как и вам!

— Что я должен сказать? Я прекрасно себя чувствую, а что касается веселости... может быть, у меня ее и нет.

— Тогда скажите, почему вы невеселы?

— Не знаю.

— Как не знаете?! Как это может быть?! Ну-ка, ну-ка, подумайте! Должны же быть какие-то причины. Возможно, если следовать вашей теории, все дело в том, что вы мало зарабатываете? Но мы же с вами установили, что источник веселости — не деньги, а труд. Может быть, вам не нравится ваша работа? Так скажите прямо! Подумайте и отвечайте.

Вот ведь привязался! Скажи ему, почему я невесел! И еще злится...

— По-видимому, я невеселый по натуре,— выдавил я.

— Не может быть. Мы же это установили. Значит, вы больны. Хотя нет, ведь известно, что болезни — плод воображения,— задумчиво произнес он, снова размышляя вслух.— Простите, продолжайте!

— Работа, которую я выполняю, если ее можно назвать работой, идет хорошо. Работа как работа. Она мне даже нравится. Зарабатываю я мало, но доктор Макс обещал мне прибавку, так что не могу вам сказать, отчего я невесел,— заключил я.

Ребо встал и развел руками.

— Нет, так невозможно работать! Я так работать не могу! Легко сказать: навести порядок, но как? На вопросы тебе не отвечают, путают, говорят неправду, смешивают в одну кучу деньги и труд. Разве так можно? Войдите же в мое положение! Как мне быть, скажите, пожалуйста!

— Как быть, с чем? — недоумевал я.

— Да вы что, потешаетесь надо мной, что ли? Если так, то скажите прямо, и дело с концом! — рассердился Ребо.

Потом снова сел и снова оперся лбом на большой и указательный пальцы.

Воцарилась тишина.

Я робко попытался объяснить:

— Право же, я не хочу ни над кем потешаться. Вы спросили, весел ли я. Я ответил, что не знаю. Вы сказали, что я грустен. Я ответил, что возможно. А что вы хотите знать еще, я не понимаю. Спросите — я отвечу.

— Я и сам уже не знаю...— проговорил Ребо, поднимая голову.— Но все-таки посидите еще минуточку, если не возражаете.

— Да, да, конечно! — ответил я и стал ждать.

— Так вот. Постараюсь быть кратким. Почему вы не женитесь? — помолчав, спросил Ребо.— Из вашего личного дела явствует, что вам двадцать два года и что вы не женаты. У вас есть невеста? У женщин вы бываете?

— Нет, я не женат и не помолвлен. Раньше у меня была невеста, а теперь — нет. У женщин бываю. Жениться не собираюсь, по крайней мере сейчас! — одним духом выпалил я, в надежде, что Ребо решил пока оставить разговор о веселости и подводит свое обследование к концу. Но, к моему удивлению, он расплылся в лучезарной улыбке, поднял голову и взмахнул руками.

— О, наконец-то вы заговорили! Скажите, а что вы делаете с женщинами?

— То же, что и все.

— То есть?

— Вступаю с ними в половые отношения.

— Прекрасно. Но в какого рода половые отношения?

— В такие же, в какие вступают все.

— Что значит «все»? То, что вы говорите, бессмыслица! Вы, наверно, все-таки делаете это по-своему?

— Конечно.

— А как?

— По-своему.

— А точнее? Ну, ладно, об этом поговорим потом. Итак, мы выяснили, что вы живете половой жизнью, что вы не женаты, были помолвлены, но сейчас у вас невесты нет и жениться вы не намерены. Начнем с первого пункта. Почему вы не женаты?

— Не женат, потому что не женат.

— Прошу вас быть полюбезнее! Не забывайте, что мы на работе. Конечно, для вас, человека, далекого от этих проблем...

— Я не женат потому, что еще не нашел подходящей партии.

— Но вы же были помолвлены!

— Да.

— Почему же помолвка распалась?

— Мы расстались.

— А почему вы расстались?

— Потому, что я не любил мою невесту. Кроме того, я хотел полностью посвятить себя работе, по крайней мере в ближайшие годы.

— Прекрасно, молодец! А у вас были интимные отношения с вашей невестой?

— Нет.

— Почему? Она не привлекала вас физически?

— Привлекала. Но интимных отношений не было. Мы были оба не так воспитаны, чтобы вступать в близкие отношения до брака.

— В том-то и дело. Как бы то ни было, сейчас вы живете половой жизнью.

— Да.

— И не намерены жениться.

— Нет.

— Вы знакомы с профессором Урадзой?

Я спросил, при чем тут профессор Урадза.

— Очень даже при чем! — возразил Ребо, описывая пальцем круг, что должно было означать то ли круговорот чего-то, то ли нечто всеобъемлющее.

— Вы ее знаете?

— Да, я с ней знаком.

— Так вот, профессор Урадза была бы рада, если бы вы в четыре часа поехали с ней в Воспитательный центр. Там состоится конференция дам-патронесс и посещение школы. Вы нынче свободны?

— Да.

— Вот и прекрасно! На сегодня хватит,—сказал Ребо.—Благодарю вас за то, что вы пришли, и желаю вам успеха. Вы сейчас куда? Со мной, на лифте?

Какого успеха? Зачем Ребо понадобилось желать мне успеха? Я сел с ним в лифт и спустился вниз к себе в кабинет, где меня ждала Селене. На этот раз она расстегнула халатик до конца, обнажив передо мной свое изумительное загорелое тело, но всего на несколько секунд.

Около четырех Лотар дал мне знать, чтобы я спускался. Ровно в четыре я был внизу, где в своем черном автомобиле меня ждала доктор Урадза. Здороваясь со мной, она высунула наружу свою колышащуюся шевелюру. Я сел рядом с Лотаром.

— Как я рада, как я рада, что вы пришли! — воскликнула, улыбаясь, доктор Урадза.— Вы знаете, куда мы едем?

— Ребо мне что-то говорил, но, откровенно говоря, не знаю.

— Потом увидите... Это сюрприз...— почти пропела она и погрузилась в чтение толстой папки, которую держала на коленях.

Автомобиль ехал не спеша. Мне было противно сидеть рядом с Лотаром, человеком, который истязал меня, хоть и не по своей воле, много месяцев подряд. Я наблюдал, как он ведет машину. Он держал руль с той же сумрачной эротической сосредоточенностью, с какой делал все.

Миновав центр города, мы выехали на пустынное шоссе, обсаженное высокими тополями. Машина полетела стрелой — легко и бесшумно. Вскоре мы свернули направо, на посыпанную белым гравием дорожку, которая шла мимо подстриженных на английский манер лужаек, и, миновав ворота, въехали в большой сад, весь засаженный подсолнечниками, а по краям — огромными лиственницами и кедрами. Среди деревьев поблескивало несколько кубических стеклянных павильонов (построенных, по-видимому, тем же архитектором, который проектировал и новое здание фирмы).

Мы подъехали к одному из павильонов Оттуда с громкими приветственными возгласами, хлопая в ладоши, высыпала гурьба дам.

— Да здравствует наша основательница! Ура, ура! — хором восклицали они. Одна из них, с букетом цветов в руках, ринулась открывать дверцу машины.

— Как они мне надоели! В будущем году подам в отставку! — шепнула мне доктор Урадза, но в то же время улыбнулась и даже прослезилась.

Она приняла букет, расцеловала и обняла нескольких дам, подскочивших раньше других. Затем подала знак, я вышел, и она представила меня присутствующим. Я чувствовал себя несколько неловко, так как, если не считать Лотара, продолжавшего сидеть с мрачным видом на своем месте, держа руки в перчатках на руле, я был единственным мужчиной.

— О, вы — тот самый знаменитый сотрудник доктора Макса! — сказала одна из дам и, слегка подталкивая меня вперед, повела к группе, ожидавшей у входа в павильон. И вполголоса добавила: — Сейчас доктор Урадза скажет несколько слов по поводу предстоящей конференции. Но ведь вы приехали совсем не за этим, не правда ли? — с заговорщицким видом улыбнулась она.

— Откровенно говоря, я не знаю, зачем я сюда приехал,— ответил я.

— О, какой вы хитрый! Так-таки и не знаете?

— Право же, не знаю!

— Ну ладно, ладно, понимаю!

И почти прошептала мне на ухо:

— Вы приехали из-за Цильетты — протеже доктора Урадзы!

По-видимому, доктора Урадзу насторожил звук «ц», расслышанный ею в щебетанье сопровождавшей меня синьоры, а может быть, она уловила всю фразу. Как бы то ни было, она резко обернулась и бросила:

— Помолчи! Что-то ты не в меру разговорилась...

И, дернув меня за рукав (я не ожидал, что в ее нервных ручках заключена такая сила!), подтащила поближе к себе. Ее окружили другие дамы: все хотели с ней поговорить. Доктор Урадза старалась их образумить, жестами давая понять, что, дескать, поговорю, но не со всеми сразу, имейте терпение!

В эту минуту из роя дам, словно выкарабкавшись из-под их юбок, появилась очень скромно одетая девушка: на ней было стандартное светло-зеленое платьице, из тех, что продаются в любом универмаге, и белые бусы на шее. Гладкие, прилизанные волосы доходили до плеч и скрывали часть лица.

Лицо у нее было мягкое, чуть удивленное, но с явными признаками идиотизма. Непомерно большие уши, рот и глаза утяжеляли голову, которая покачивалась на вытянутой вперед шее, словно прося, чтобы ее гладили и целовали.

И тем не менее девушка не вызывала ни отвращения, ни жалости, какую обычно вызывают подобные неполноценные люди. Ее интенсивную ласковость можно было даже принять за доброту.

Фигура у нее была нормальная, только ступни и руки какие-то слишком мягкие и пухлые, точно у младенца. Сходство с младенцем усиливалось еще и благодаря тому, что она шевелила пальцами и делала хватательные движения, совершенно как грудной ребенок. Возможно, именно благодаря этой инфантильности было в ней что-то очень чистое и в то же время женственное, но с возрастом ее грация, чистота и повадки ребенка, жадно тянущегося к материнской груди, несмотря на ее робость, переросли в неосознанную, ненасытную сексуальность.

Она подошла к доктору Урадзе и поцеловала ее; та, прижав девушку к груди, сказала мне:

— Это Цильетта, моя подопечная. Она мне как дочь.

Цильетта протянула мне руку, посмотрела на меня долгим взглядом, вдруг смутилась, страшно покраснела и спрятала лицо на груди доктора Урадзы. Доктор Урадза, казалось, обрадовалась ее смущению, она взяла меня под руку и, не отпуская от себя Цильетту, шепнула мне на ухо:

— Цильетта так нуждается в ласке, бедняжка! Она потеряла родителей, у нее больше никого нет, нужен муж!

Последние слова она произнесла со сдавленным смешком, которому она хотела придать игривый оттенок.

— А теперь пойдемте, я покажу вам нашу школу! Эта школа работает по моей системе воспитания, испробованной еще на докторе Максе, когда он был маленьким.

Сопровождаемые целым кортежем дам, мы подошли к одному из стеклянных павильонов.

Пройдя через просторный пустой вестибюль (на стене которого красовалась фотография доктора Урадзы с доктором Максом — младенцем на руках), мы вошли в класс. На белом резиновом полу сидело с десяток ребят — мальчиков и девочек, за которыми наблюдала остроносая надзирательница. Дети продолжали спокойно играть; они что-то строили, на полу были разбросаны детали «конструктора». Я присмотрелся к ребятишкам внимательнее. Несмотря на голубые и розовые фартучки, они больше походили на взрослых, чем на детей. В глазах мальчишек проглядывала тупая жажда насилия, а в глазах девочек — высокомерие и брезгливость. Дети трудились над сооружением небоскреба. У них был грозный вид; у каждого в кулаке была крепко зажата какая-нибудь часть дома — крохотное окошко, лестница, облицовочная плита,— причем каждый действовал совершенно независимо от соседа, хотя и вставлял свою деталь рядом с его деталью.

Надзирательница при нашем появлении встала, но доктор Урадза знаком усадила ее на место.

Тут произошел небольшой инцидент. Один мальчик, присевший на корточки, чтобы вставить свою деталь в основание небоскреба, наделал на пол. Без всяких комментариев все дети отошли в сторонку. Мальчик встал, сходил в угол за деревянной лопаткой и подобрал с пола то, что наделал. Затем, держа лопатку в вытянутой руке, направился в глубь комнаты (где, по-видимому, находились уборные), но по дороге передумал, вернулся, залез рукой в лопатку и размазал ее содержимое по лицу одного из своих товарищей. Тот, мяукая от злости, набросился на обидчика; завязалась яростная схватка с применением самых запрещенных приемов. Они дрались, совершенно как взрослые, кусались, царапались, тузили друг друга кулаками, стараясь попасть в самое чувствительное место. Остальные наблюдали — равнодушно, молча. Наконец драчуны угомонились и вместе отправились в сторону уборной.

Когда, наконец, они вышли в обнимку из уборной, в комнате царил порядок, вокруг небоскреба в полной тишине снова кипела работа.

— Видите ли, некоторые из них в будущем станут служащими нашей фирмы,— объяснила мне доктор Урадза.— Есть среди них и такие, которые уже являются хозяевами предприятий (их фирмы зависят от нашей).

Главный принцип этой школы — уважать ребенка. Он должен делать все, что хочет, ибо в жизни ему пригодится лишь то, что усвоено на основании личного опыта. Конечно, если возникают осложнения, а это бывает сплошь и рядом, то вмешивается надзирательница. С ними нужен глаз да глаз: некоторые дети физически очень развиты и в драке норовят задушить противника. Тогда, разумеется, следует их разнять, хотя такое вмешательство и неправомерно. Во всяком случае, теоретически оно моим методом не предусмотрено.

С этими словами доктор Урадза потащила меня по другим классам и павильонам, более или менее похожим на первый; Цильетту она тоже водила за собой; та молча плелась следом.

Однако дамы, с которыми доктор Урадза до сих пор так и не пообщалась, начали роптать и проявлять признаки нетерпения. Наконец, мы пришли в большую комнату, где был накрыт стол. Снова раздались аплодисменты. Доктор Урадза подошла к небольшой кафедре, стоявшей в глубине комнаты, и обратилась к присутствующим со следующими словами:

— Я никогда не устану повторять вам, мои дорогие, что цель, которую мы ставим перед собой, высоконравственна и плодотворна. Дети находятся в обстановке свободной конкуренции, привыкают уважать принцип иерархии, так как каждому из них известен доход его семьи, каждый трезво оценивает свою физическую силу и свои умственные способности. Несмотря на общие трудовые интересы, они часто затевают драки, которые могут показаться даже опасными. (Но на то к ним и приставлены надзирательницы, не правда ли?) Иной раз, из-за чрезмерной агрессивности менее состоятельных детей, происходят неприятные инциденты. Но, как вы сами могли убедиться, все кончается благополучно: дети в конечном итоге приходят к соглашению и на своем личном опыте узнают реальную силу каждого товарища. Стало быть, когда они вырастут, им не на что будет пенять. Здесь со всеми обращаются одинаково — с богатыми и бедными, слабыми и сильными. Они сами познают основные законы, на которых зиждется человеческое общество. Я снова обращаюсь к вам, мои дорогие, с призывом следовать за мной в трудном начинании, которое по воле судьбы или, вернее, по воле случая я вынуждена осуществлять!

Раздались бурные аплодисменты. Доктор Урадза была крайне растрогана. Она сошла с кафедры, обняла по очереди множество дам, после чего те подхватили ее и чуть не на руках доставили к огромному торту, возвышавшемуся в центре стола. Затем все уселись на расставленные по всей комнате стулья и начали хором вызывать на кафедру других ораторов.

Их оказалось немало. Сначала выступила какая-то мужеподобная синьора, демонстрировавшая самые настоящие фокусы. Потом я выслушал лекцию о современной музыке и много других докладов, в том числе один на тему о гормонах. Правда, доклад о гормонах был прерван довольно резким вмешательством доктора Урадзы, которая заявила:

— Мне очень жаль, дорогая, но разговор о гормонах слишком далеко нас заведет!

— Я только хотела доказать...— оправдывалась докладчица — молодая, очень красивая, элегантно одетая и сильно намазанная женщина. Она хорошо двигалась, что подчеркивало стройность ее фигуры, красивую линию длинных ног, бедер, обтянутых в шелк цвета павлиньего хвоста, и гордую посадку маленькой головки, почти целиком упрятанной под

легкую соломенную шляпку с опущенными полями.— Но, доктор Урадза, ведь гормоны — тема моего доклада. Фолликулин...

— Знаю, знаю, всем это давно известно! — снова прервала ее доктор Урадза.— Но это не дает вам права лишать брачный союз и продолжение рода всякой поэтичности!

— Так ведь поэзия — тоже результат работы желез внутренней секреции! Никто не собирается покушаться на поэтичность брака, напротив... Хотите, я опишу вам цветок и его лепестки в момент, когда пчела...

— Ладно, ладно, дорогая! Не забудьте, что мы находимся в начальной школе. Вы сами откуда? Извините, моя милая...

Доктор Урадза обратилась к кучке дам, стоявших позади:

— У этой на уме одни только гормоны и цветы. О чем бы она ни говорила, все сводится к этому. Кто она такая?

Стоявшая поблизости синьора шепотом назвала довольно громкое имя, связанное с производством пластмасс. Доктор Урадза рассвирепела. Рыжая шевелюра грозно заколыхалась, голос зазвучал жестко, почти хрипло:

— Этого следовало ожидать! Но кто позволил себе пригласить эту особу? Кто? Назовите мне сейчас же, чья это была инициатива?

Имя было названо.

— Ах, так! Хорошо! — фыркнула доктор Урадза, вскочила и выбежала вон. Дамы в смятении поднялись, заметались. Зал наполнился тревожным гулом. А красивая синьора продолжала стоять на кафедре с ослепительной и почти вызывающей улыбкой на лице.

Я тоже было поднялся, но тут почувствовал, что Цильетта меня не отпускает. Все это время, пока мы сидели в зале, она держала мою руку в своей. Боясь показаться невежливым в глазах доктора Урадзы, я на это никак не реагировал. Но сейчас, когда доктор Урадза вышла, я должен был последовать за ней. Не без труда разжав пальцы Цильетты, я направился к выходу. Она ринулась вслед за мной. В этот момент я заметил, что у нее стройные ноги и бедра, тонкая талия и очень красивая грудь.

Доктор Урадза уже сидела в машине и ждала меня с явным нетерпением. Торопливо поцеловав Цильетту и подгоняя меня тем же раздраженным тоном («Ну же, скорее!»), каким она разговаривала незадолго до этого с дамами, доктор Урадза дала знак Лотару ехать.

Автомобиль бесшумно тронулся с места — как раз в тот момент, когда дамы на цыпочках стали выходить из стеклянного павильона. По тому, как они заверещали на прощание, чувствовалось, что они еще не пришли в себя.

На этот раз я сел рядом с доктором Урадзой. Погруженная в свои мысли и поглощенная своей ненавистью к красивой синьоре из лагеря синтетики, она ничего не говорила. Потом, как мне показалось, немного отошла... Лихорадочно завертела ручку и опустила стекло.

— Воздуха, воздуха! — проговорила доктор Урадза, вдыхая полной грудью свежий воздух, мощным потоком ворвавшийся в открытое окно машины.— Обалдеть можно от их духов, от их речей, от всего этого идиотства! Но это неспроста, ох, неспроста! Нет, я этого так не оставлю: я приму меры против тех, кто позволил себе... Ах, воздуха, воздуха, ради бога! Как хорошо иногда распахнуть окна и подышать чистым воздухом, правда? Мир состоит, дорогой мой, из чистого и спертого воздуха. Третьего не дано. Правда?

— Да,— подтвердил я, не зная, что сказать.

Тут доктор Урадза взяла мою руку в свои и, с улыбкой глядя на меня, сказала:

— Вы такой молодой и такой милый! Во всяком случае, надеюсь, что я в вас не ошиблась... Так вот послушайте, я хочу сразу изложить

вам суть дела. Вы, наверно, уже сами поняли, что речь идет о Цильетте, иначе зачем мне было таскать вас с собой на это сборище дур! Так вот, Цильетта совершенно одинока, она — бедная сирота, никого у нее нет. Я взяла ее еще ребенком и до сих пор заботилась о ней. Но сейчас ей, по всем признакам, необходимо выйти замуж — как всякой женщине, создать семью, иметь мужа и детей. Я узнала от Ребо, что вы не женаты, хотя с женщинами дело уже имели. Вы работаете у Макса давно, мы вас знаем. Мы навели справки о вашей семье... Одним словом, вы меня поняли: я бы очень хотела, чтобы вы женились на Цильетте! Держать ее при себе я больше не могу: в свое время я взяла на себя эту обузу добровольно, но теперь она легла на меня тяжким моральным бременем. Вы сами видели, как девочка ко мне привязана! Кроме того, ей просто нужно выйти замуж — таково мнение лечащих врачей. О приданом и о квартире я позабочусь сама, вам ни о чем не придется беспокоиться. До тех пор, пока вы не поженитесь, конечно. А уж дальше будете думать вы. Обо всем, включая ваше положение в обществе и прочее и прочее. Да, чуть не забыла: вам, разумеется, нужно будет предварительно обследоваться — пройти добрачное медицинское освидетельствование. Нельзя же заключать брак, не установив состава крови брачащихся, их наследственности и прочее! Извините, что я так поспешно выложила вам это, но ясность прежде всего. Не правда ли?

— Но она же больная...— начал было я.

Однако доктор Урадза меня прервала:

— Нет, она не больная!

— Может быть, это не болезнь, но она явно слабоумная... Я не хочу сказать ничего плохого, но...

Доктор Урадза прервала меня еще раз:

— Да что вы городите, балбес вы этакий! Слабоумная? Откуда вы взяли, что она слабоумная? Совершенно здоровая и к тому же красивая девушка, с прекрасной фигурой. Я уверена, что она народит вам отличных детей!

— А лицо,— возразил я,— а руки, а ноги...

— Ее лицо — верх благородства, чистоты и порядочности! Лицо женщины, помышляющей только о том, чтобы выйти замуж и создать семью. Она—зверек, невинный, грациозный зверек. Разве вы не видели? Достаточно на нее взглянуть, как все становится ясно. Впрочем, поступайте как знаете. Мое дело — предложить, а вы сами решайте, подходит вам мое предложение или нет. Учтите, что оно сулит вам двойную выгоду: во-первых, возможность сделать доброе дело и, во-вторых, получить жену, а это лучше, чем остаться холостяком и пробавляться случайными встречами. Вы отказываетесь? Ну что ж, ничего не поделаешь. Но ваш отказ позволит нам составить представление о вашем моральном облике, который, откровенно говоря, до сих пор был не ясен. Вернее, укрепит нас в мысли, что вы — человек, в моральном отношении толстокожий. Вы эгоист. Я поняла это со дня нашего знакомства, и первым доказательством тому было то, что вы ни разу не надели костюм доктора Макса, который я подарила вам из самых лучших побуждений. Иными словами, вам нет никакого дела ни до фирмы, ни до доктора Макса, ни до меня.

Сказав это, доктор Урадза умолкла и за всю дорогу больше не проронила ни слова. На ее губах застыла горькая усмешка. Напрасно я пытался заговорить — всякий раз, как я открывал рот, она отмахивалась, давая понять, что не хочет меня слушать. Так мы доехали до гаража. Она молча вошла в лифт, я побрел в свой кабинет.

По-видимому, она тотчас известила о моих колебаниях доктора Макса, потому что он впервые за все время выкинул со мной тот же номер, что тогда с Ребо: завидев меня, повернулся на сто восемьдесят

градусов и спрятался в ближайшем кабинете, откуда следил за мной до тех пор, пока я не скрылся из вида.

Спрашивается, почему я ни с того ни с сего должен жениться на этой Цильетте?! Не спорю, она девушка добрая, но, как у всех слабоумных, эта ее молчаливая доброта может вылиться во что-нибудь совершенно непредвиденное. Руки и ноги у нее ненормальные, лицо яйцеобразное, походка — типичная для этих несчастных, которые с грехом пополам дотягивают до двадцати лет (кажется, дольше они не живут) и всю жизнь ходят, уцепившись за кого-нибудь, похожие на великовозрастных волосатых, пучеглазых, ушастых младенцев.

Почему? Чтобы снять с доктора Урадзы и ее семейства моральный гнет и обеспечить нормальную половую жизнь Цильетте, у которой пробудилась потребность в совокуплении? До сих пор я думал, что, не претендуя на большее жалованье и обрекая себя на роль собственности доктора Макса, я сохранил свою свободу, но, по-видимому, это было роковой ошибкой, заблуждением, которое долго длиться не может и дорого мне обойдется. Ведь до тех пор пока я один, я могу надеяться (хотя знаю, что мои надежды, как, впрочем, все надежды, беспочвенны) на то, что в крайнем случае уйду из этой фирмы и найду себе другое место.

Хотя я знаю, что это значит. Сколько бы ни говорили о конкуренции между фирмами, уйти — это значит обречь себя на длительную безработицу и мытарства.

Лишь в редких случаях уволенного служащего, даже если он пользуется безупречной репутацией и обладает хорошими деловыми качествами, берет на работу другая фирма. Вот переманить работника — это совсем другое дело, на это фирмы идут охотно, причем вовсе не в погоне за хорошим специалистом, как можно было бы предположить, а просто в пику друг другу. Или же потому, что хозяин, прослышав, что в какой-то другой фирме есть дельный работник, вдруг решает, что он ему нужен позарез.

В этих делах надо проявлять максимум осторожности, иначе можно очутиться между двух стульев. К тому же, чаще всего получается так, что, переманивая к себе чужого специалиста, хозяин, не имея случая лично удостовериться в его высоких деловых качествах, заведомо преувеличивает его возможности и в результате неизбежно в нем разочаровывается (так было, например, с Ребо). Лучше набраться терпения и не рыпаться. Пройдет какое-то время, и могут неожиданно возникнуть обстоятельства, которые изменят положение в лучшую сторону.

Кроме того, следует принять во внимание и то, что хозяин привыкает к своей собственности, какой бы она ни была мизерной и незначительной, и отказаться от нее насовсем он не в силах. Правда, он оценит служащего только тогда, когда того переманят, но он не перестает считать его своим. Со временем у хозяина сложится впечатление, что виноват не отдел кадров фирмы, сманившей у него ценного работника, а сам работник, не пожелавший остаться его собственностью и докатившийся до того, чтобы искать убежища у чужих людей. Такой же ход мыслей и у нового хозяина. После того как улягутся первые восторги, он начинает рассуждать так: человек, столько лет проработавший в фирме и из чисто материальных соображений сменивший хозяина, никогда не будет служить верой и правдой; такому человеку доверять нельзя, за ним нужен глаз да глаз.

Так бывает, когда служащего переманивают конкурирующие фирмы. Гораздо хуже, если, уволившись, он оказывается не у дел, в положении безработного. Тогда найти место очень сложно. Человек сам перестает что-либо понимать. Его раздирают самые противоречивые чувства: с одной стороны, он возмущен своим прежним хозяином, но вместе с тем его тянет к нему. Он похож на женщину, покинутую любовником

и оставшуюся без средств к существованию: вначале она еще надеется найти себе другого покровителя, но в конце концов оказывается на панели.

Вопреки принятому решению, бедняга начинает бродить по знакомым улицам, по которым когда-то весело и бодро спешил на работу. Будет садиться в те же трамваи и те же троллейбусы. А потом ненароком очутится у входа в свою старую фирму... Выходное пособие израсходовать недолго; если работа по специальности так и не подвернется, придется браться за что попало, соглашаться делать работу, в которой ничего не смыслишь. Легко ли в уже немолодом возрасте, с репутацией опытного специалиста подвергаться проверкам и экзаменам, ловить на себе косые взгляды... Самое мудрое решение в таком положении — это вернуться на старое место и просить прощения. Обычно такой мольбе внемлют. Иначе мало кому удается уберечься от движущейся магмы большого города, которая, подобно аналогичному явлению в природе, опрокидывает и уничтожает на своем пути все, что не приносит пользы.

И все-таки я не хочу жениться на Цильетте, во всяком случае — пока. Как же мне быть? Есть три пути: жениться на ней (хотя это отнюдь не выход из положения); постараться выиграть время(что тоже не выход); приняться за поиски места в другой фирме (с вышеупомянутыми шансами на успех).

XII

Наступил и мой черед. В этом месяце мне урезали жалованье. Лотар возобновил уколы, меня дважды переводили с места на место, и я больше ни разу не видел доктора Макса. Странно и в некотором роде даже поразительно, как ему удается исчезать. Только что был тут — и вдруг как сквозь землю провалился! Он проделывает эти фокусы, вернее, пускает в ход систему запугивания, конечно, не один; у него есть соучастники, практически — все сотрудники фирмы. Готовность любого сотрудника помочь доктору Максу объясняется двумя причинами. Во-первых, каждый почитает за счастье оказать хозяину услугу и тем самым так или иначе выслужиться перед ним. А во-вторых, это их забавляет. Забавляет, хотя все знают, что рано или поздно и с ними произойдет то же самое — либо «на высшем уровне», то есть по воле доктора Макса, либо по воле рядового начальника отдела (в зависимости от занимаемой должности). Поэтому нередко бывает так: доктор Макс сидит в чьем-нибудь кабинете, а мне туда надо зайти по делу. Я открываю дверь, он тут же испаряется, и свидетели его бегства встречают меня взрывом смеха.

Перевод в другой кабинет производится всегда одним и тем же способом. В одно прекрасное утро к вам является курьер и сообщает, что есть приказ администрации или дирекции перевести вас в другое место. Так я перешел с пятого этажа в полуподвальное помещение без окон — правда, довольно просторное, а оттуда — в новое здание, где, собственно, настоящего кабинета мне не дали, а поставили стол и стул в общем зале, разделенном пополам перегородкой с окошками касс, у которых целый день толчется народ. Посадить меня туда было все равно что сказать: «Ты дошел до точки. Еще один шаг, и ты очутишься на улице».

Уколы, пока я сидел в полуподвале, я делал у себя; теперь, когда я оказался в общем зале, Лотар мне звонит по телефону, и я спускаюсь к нему. Или же устраиваемся где попало: в свободной приемной, в уборной или в закутке позади аптеки.

Особенно злорадствует по поводу моего печального положения Бомболо. Он сам вот-вот вылетит. Именно поэтому ему отрадно видеть, что

в беду попал кто-то еще. Он прекрасно понимает, как плохи его дела, понимает, что они гораздо хуже, чем мои. Мои неприятности временные. Пусть мне урезали жалованье, гоняют с места на место, создают все худшие и худшие условия для работы, заставляют делать уколы... Все это, конечно, свидетельствует о том, что в данный момент меня действительно ни в грош не ставят. Тем не менее это неизмеримо лучше, чем сидеть и ждать, что тебя вот-вот прогонят (Бомболо грозит именно увольнение). По-видимому, он рассуждает так: «Покуда шпыняют его, меня не тронут. А там все обойдется».

Но напрасно он тешит себя подобными мыслями: это лишь осложнит его судьбу.

Мои же дела пошатнулись только из-за того, что я не выразил готовности принять предложение доктора Урадзы и жениться на Цильетте. Однако я твердо решил повременить, даже рискуя оказаться в нескольких шагах от мостовой, то есть на краю пропасти, на дне которой — безработица и позор. Мне необходимо как следует подумать. Так я и написал в своем письме доктору Урадзе, где я выразил желание снова повидаться с Цильеттой и пройти добрачное медицинское освидетельствование, о котором она мне говорила.

Думаю, что я поступил наилучшим образом. Я рассчитываю на то, что найти для Цильетты другого мужа, по крайней мере такого, какого им хочется,— не так-то просто.

Конечно, если бы они поискали среди складских служащих или кого-нибудь в этом роде, то желающих нашлось бы сколько угодно, но ведь доктор Урадза хочет показать, что она выдает Цильетту замуж не для того, чтобы сбыть ее с рук, освободиться от морального гнета и расходов. Нет, она делает вид, будто готова выполнить до конца ту высокоморальную миссию, которую она приняла на себя, взяв Цильетту под свое покровительство, и дать ей мужа, перед которым вырисовывается (по крайней мере, на первый взгляд) выгодная карьера.

Помимо всего прочего, при наличии мужа, который возьмет на себя всю ответственность за Цильетту (учитывая характер ее заболевания, ответственность немалую), доктор Урадза в любом случае докажет, что она сделала для девушки все, что было в ее силах, и каковы бы ни были последствия этого брака, за них отвечает уже не она, а муж.

Кроме того, женив меня на Цильетте, заведомо предполагается навечно закрепить меня за фирмой.

В ответ на мое письмо доктор Урадза через свою секретаршу сообщила, в чем состоит добрачное медицинское освидетельствование, и я в течение нескольких дней проделал все, что от меня требовалось.

Этот медосмотр — точнее, целая серия медосмотров и анализов — оказался очень мучительным. В первые дни, когда брали на анализ кровь, мочу и кал, было еще терпимо. Но зато потом, когда начались бесконечные исследования слизистой оболочки и внутренних органов... Неприятнее всего (психологически) была процедура, когда брали на анализ семя (среди прочего, доктор Урадза желала быть осведомленной относительно количества и жизнеспособности спермы).

На анализы ушла целая неделя. Я надеялся, что врачи обнаружат у меня какое-нибудь химическое или физическое отклонение от нормы и не порекомендуют вступать в брак. Но как глупо было с моей стороны надеяться на что-либо подобное, коль скоро другая сторона, то есть Цильетта, страдает ни более ни менее как кретинизмом! Уж дальше ехать некуда! Так, спрашивается, для чего им нужны мои анализы? Я-то здоров. Коль на то пошло, анализы надо было делать Цильетте. Хотя о чем я говорю! Все ясно с первого взгляда. За те два дня, что мне разрешили с ней видеться, я вдоволь на нее насмотрелся. Смотри не смотри, ничего нового не углядишь: кретинка и есть кретинка.

Цильетту научили одеваться, причесываться и разговаривать так, чтобы ее недостаток был заметен как можно меньше. (Я тоже говорю теперь «недостаток», хотя речь идет о самой настоящей неполноценности.) Но этот так называемый «недостаток» все равно заметен, его нельзя не заметить! Она бессмысленно вращает своими глазами навыкате и почти ничего не видит. Губы у нее набрякшие, перед тем как заговорить, она беспрестанно облизывает их толстым распухшим языком. Руки тоже пухлые и слушаются с трудом; ступни такие же неуклюжие, как и руки,— напоминают ноги слоненка. Но, как это ни странно, тело у нее не только нормальное, но даже красивое: маленькая, упругая грудь, тонкая талия, широкие бедра, длинные, стройные ноги... Однако стройность фигуры, вместо того чтобы смягчать чудовищное впечатление, которое производят ее лицо, руки и ступни, лишь усугубляет его.

Голос у нее тоненький, как у маленькой девочки. Впрочем, я слышал его мало, так как Цильетта разговаривает редко и всякий раз, перед тем как открыть рот, краснеет.

Правда, в отличие от других людей, страдающих ее болезнью, она не совсем идиотка: понимает, о чем ее спрашивают (простейшие вещи, конечно), и нельзя сказать, чтобы она отвечала невпопад. Взяв ее за руку и прогуливаясь по саду, я показал ей на цветок и спросил, что это такое. «Цветок»,— ответила она. Тогда я показал на небо, и она сказала: «Небо». Я показал еще на несколько предметов, и она все их назвала. При этом она всякий раз трогает их рукой, как бы желая подчеркнуть единство предмета и его названия или подкрепить слово реальностью осязания: ведь звук отлетает, а предмет — вот он, перед нами!

Короче говоря, ей знакомы названия многих вещей, и, называя их, она никогда не ошибается. Перед тем как произнести слово, она на мгновение мучительно сосредоточивается, а затем, видя, что я одобрительно киваю головой, или услышав мое «да», расплывается в радостной улыбке.

Она угощала меня чаем (ее научили готовить чай и делать многое другое по хозяйству), и сама пила со мной. Я спросил, любит ли она чай, но она не ответила. Я спросил, как она считает — чай вкусный или нет, но она не ответила и на этот вопрос.

Во время второй встречи я стал задавать ей другие вопросы. Сначала я показал ей на цветок, она к нему притронулась и сказала: «Цветок». Потом я спросил, красивый он или нет. Она не ответила. Таким образом, я сделал вывод, что когда ее спрашиваешь о названии предметов, она тут же сосредоточивается и отвечает; когда же вопрос касается их качества, Цильетта не только не отвечает, но никак не реагирует, словно не слышит, что к ней обращаются. Такое же отсутствие реакции наблюдается у нее и когда ей задаешь другие вопросы. Когда я спросил: «Ты меня любишь?» — причем повторил вопрос два или три раза, в первый раз она никак не реагировала, а во второй и в третий улыбнулась, хотя явно ничего не поняла. Однако, когда я у нее спросил, кто я такой, она ответила: «Ты — мужчина»,— и зарделась.

Все время, пока мы были вместе, она держала мою руку в своей и то и дело целовала ее. Я попробовал высвободиться — она разочарованно и огорченно взглянула на меня и насупилась.

Я продолжал задавать ей вопросы. Например, показал ей на птицу. Цильетта улыбнулась и ответила:

— Птица.

— А что такое птица?

Цильетта некоторое время сидела, сосредоточившись и покусывая пальцы, наконец, повторила:

— Птица.

— Но что это такое: животное, растение, человек?

— Нет, это птица.
— А это что такое?
— Автомобиль.
— Для чего он служит?

Она не ответила. Примерно таким же образом она реагировала и на все остальные вопросы (а как бы иначе я узнал ее, не разговаривая и не задавая вопросов!). Она называла предмет, на который я ей указывал, но дальше названия дело не шло. В конце концов, я решил, что лучше уж вовсе с ней не разговаривать и сидеть молча. Ее знание окружающих предметов явно ограничивалось их названием. Я понял, что при желании я мог бы научить ее распознавать разницу между цветком, птицей и человеком. Но к чему? По-видимому, Цильетта вполне счастлива. В том, как она притрагивается к предмету, есть что-то глубоко реальное и вместе с тем поэтичное; она принимает эту реальность покорно, не задаваясь никакими вопросами, ничего не требуя для себя. Впрочем, ей действительно ничего в жизни не нужно, только принимать вещи такими, какими они предстают перед ее глазами: по названию разными, но в сущности одинаковыми.

Естественно, мысль о предстоящем браке не выходит у меня из головы. Выгоден ли он мне? И, даже если выгоден, смогу ли я жить с Цильеттой? А дети? Будут ли они здоровыми или такими же неполноценными, как мать?

На первый вопрос ответить нетрудно, так как совершенно очевидно, что этот брак мне выгоден. Женившись на Цильетте, я окончательно укреплю свое положение в фирме, буду иметь квартиру. жену, как все люди. Смогу ли я жить с ней — этого я не знаю, надо бы сначала попробовать. Конечно, оглядываясь вокруг, я вижу много красивых девушек, несравнимо более красивых, чем Цильетта. Взять хотя бы ту же Селене. Но этот вопрос в той же мере можно отнести и к ним. Что касается детей, то дети это дети. Неполноценный ребенок может родиться у любой женщины. Разумеется, у Цильетты такая вероятность гораздо больше, чем у других. Но когда я вспоминаю детей многих своих коллег, я начинаю думать, что разница не так уж велика и что, когда мы с Цильеттой состаримся, нашему сыну-идиоту может попасться своя доктор Урадза, которая тоже возьмет его под свое покровительство.

Занятый этими мыслями, я написал отцу письмо, в котором бегло обрисовал создавшееся положение и подготовил мать к тому, что я, возможно, скоро женюсь.

Через несколько дней отец предстал передо мной собственной персоной: явился, запыхавшийся, прямо на работу, в зал с окошками для касс. Он примчался на такси, прямо с вокзала и, разумеется, не мог скрыть своего удивления и разочарования, когда увидел, что я сижу где-то на тычке, в общем зале.

— Как? Это и есть твой кабинет? — вырвалось у него, когда он поставил на пол свой чемоданчик.

— Я здесь временно. Выйдем, я тебе все объясню! — ответил я и повел его к выходу, решив, что нам лучше отправиться в какое-нибудь кафе.— В действительности все гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд,— начал я,— поэтому не стоит обращать внимание на мелочи.

Но отец тотчас прервал меня:

— В действительности все проще простого! Торговый агент вашей фирмы говорил мне, что ты за эти годы создал себе положение, что с доктором Максом вас водой не разольешь. И где же я тебя застаю? За столиком у входа, точно какого-то курьера! Вот уж не ожидал... Ты должен был подготовить меня заранее, сообщить, как обстоят твои дела на самом деле. Кстати, ничего зазорного в работе курьера не вижу.

И что это за история с женитьбой?! Ты знаешь, я редко выбираюсь из дома, стараюсь избегать поездок. Но, прочитав твое письмо, я сразу понял, что тут что-то не то, что с тобой творится неладное. Так оно и есть! Низвести до положения курьера такого человека, как ты,— молодого, образованного, с такими способностями к коммерции!

— Пусть это тебя не смущает, отец! Я же тебе сказал, что это временно и что, ознакомившись с моими делами поближе, ты поймешь, насколько они сложнее, чем ты себе это представляешь, живя в провинции.

— Во-первых, меня это нисколько не смущает. Ты — мой сын, и, кем бы ты ни работал, пусть даже дворником, я тебя все равно люблю, должен любить! К тому же, повторяю, я не вижу в создавшемся положении ничего сложного, хотя и отдаю себе отчет в том, что в таком большом городе люди живут совершенно иначе, чем у нас. Факт остается фактом: я застал тебя за жалким столиком величиной с метр, на котором не видно никаких бумаг; вокруг шум, гам, толчея... А мы-то возлагали на тебя такие надежды! Что же произошло?

— Но разве ты не заметил, что в этом городе повсюду гам и толчея?

— Заметил. И допускаю, что ты знаешь этот город в тысячу раз лучше, чем я. Но даже пока я ехал в такси, я успел заметить, что здесь много больших, внушительных контор, где полным ходом идет работа. Кстати, чем ты занимаешься? У тебя на столе почему-то пусто, нет даже листка бумаги! Где ты живешь? У тебя своя квартира или ты все еще снимаешь комнату в пансионе? Ты нам не пишешь, ничего о себе не рассказываешь. С тех пор как ты уехал, мы видели тебя считанные разы. Машина у тебя есть? Сколько тебе платят? Мы ведь и этого не знаем. Мы никогда ни о чем не допытывались, но тебе самому следовало бы держать нас в курсе... Теперь еще эта нелепая история с женитьбой на идиотке... Ведь она идиотка, да? «Монголоид»—это то же, что идиотка, мы справлялись. Сначала я прочел «монголка», это я еще мог понять, учитывая, что ты живешь в большом разноплеменном городе. Но, оказывается, речь идет не о монголке, а о «монголоиде», а «монголоид», как сказано в наших учебниках,— психически неполноценный человек. Из твоего письма я понял также, что тебе ее некоторым образом навязали. Но почему? Что ты наделал?

Отец задавал вопросы во весь голос, забыв, что мы не одни,— мимо все время сновали посетители, среди которых было много служащих фирмы, поглядывавших в мою сторону. Поэтому я предпочел увести его на улицу. Но так как он не привык к оживленному уличному движению и, переходя на другую сторону, нервничал, пугался и начинал вдруг страшно сердиться, мы зашли в другое кафе, где в этот час никого не бывает. Там с немалым трудом я ему разъяснил положение дел. Я говорил больше часа, а он чуть не на каждом слове прерывал меня возгласами, в которых звучали удивление, возмущение, недоверие и боль... Под конец он заявил:

— Раз такое дело, я сам пойду и поговорю с доктором Максом и его матерью! Все это крайне несправедливо!

И он вскочил с таким видом, будто решение уже принято и он немедленно отправляется разговаривать с доктором Максом и доктором Урадзой. Я потянул его за полу и усадил на место.

— Но, отец, пойми же, никого не интересует, что справедливо, а что нет! Это понятие давно утратило свое значение, так же как и многие иные. Ты — человек другого поколения, на всю жизнь усвоивший определенные взгляды, но с ними не только перестали считаться, о них попросту не имеют никакого представления. Если ты пойдешь к хозяевам, то, прежде всего, учитывая, как на данном этапе сложились наши от-

ношения, они не станут с тобой объясняться. А, во-вторых, они вообще не поймут твоих доводов, потому что способны понимать только себя.

Отец задумался и долго сидел, теребя ручку зонтика.

— Это верно, я — человек другого поколения, а за последнее время многое изменилось. Но не до такой степени! Не настолько я стар, чтобы не понять, какую пользу для карьеры может сослужить выгодный брак! Однако это уже чересчур, чересчур! Так нельзя. Ты немало натерпелся. Глотать обиды приходится всем, приходилось и мне, это все понятно. Но нельзя же допускать, чтобы тебе садились на голову! Даже если это самый богатый человек на свете. Вот что, дорогой мой, будешь овцой — волк заест. А ты не овца. Значит, надо принимать меры. подумать как следует и решить, как быть. Прежде всего, начни подыскивать себе другое место. При твоих способностях и безупречной репутации тебе останется только выбирать. Послушайся меня: надо начать именно с этого. Не падай духом, крепись, это главное. Я же пока что поселюсь где-нибудь в небольшой гостинице, чтобы быть у тебя под боком, постараюсь помогать тебе советами, и все уладится. А сейчас давай поторапливаться! Что мы сидим в этой дыре. нос повесили! Посоветуй, в какую гостиницу мне ехать, чтобы была в центре и не слишком дорогая.

С этими словами он поднялся из-за стола. Но я снова схватил его за полу и усадил на место. Он рассердился:

— Да что ты, право? Усаживаешь меня, в то время как столько надо всего сделать и решить! Что тут рассиживать попусту? Словами делу не поможешь!

— Видишь ли, отец! — начал я.— Я же не сказал, что непременно женюсь на Цильетте. Я тебе только обрисовал создавшееся положение и сообщил, что может возникнуть такая необходимость. Что касается работы, то ведь я дал письменное обязательство, что все составляемые мною торговые проекты будут принадлежать доктору Максу, а не мне; кроме того, даже если бы я и не подписал такого документа, одного имени, умения работать и таланта вовсе недостаточно для того, чтобы вот так, с бухты-барахты, найти другую работу! Для этого нужно время, долгие месяцы поисков, переговоров...

— Да что там говорить! Время... обязательство!.. Я-то знаю, что автор проектов — ты! Я могу выступить свидетелем! К тому же такое кабальное соглашение неправомерно юридически! Я это хорошо знаю. Другое дело, что ты сглупил, подписав его, но, в конце концов, бумага не более как бумага: можно подать в суд, и она будет аннулирована.

— Как? Что я слышу? Не ты ли мне внушал: никогда не связывайся с судами, потому что это дело затяжное и дорогостоящее?! Чтобы выиграть процесс, нужна уйма времени и денег, и ты это знаешь лучше меня. Неужели бы ты на моем месте затеял тяжбу с доктором Максом? На каком основании?

— Это верно,— согласился отец,— это верно.— Он снова задумался и принялся теребить ручку зонтика.— Нужны время и деньги. Но это еще не значит, что ничего нельзя сделать. В любом случае можно уже сейчас привлечь его к ответственности за обман недееспособного лица и за насилие над личностью. Это будет наш первый залп. Бум! Бум! — И он два раза двинул кулаком невидимого противника.

— Позволь, позволь! А кто же это «недееспособен», уж не я ли? И что значит «насилие над личностью»?

— Да не ты, а она, эта девица, на которой тебя хотят женить! Кстати, как ее звать?

— Цильетта.

— Ну и имечко выкопали... Так вот: она же неполноценная, да? А раз так, значит, она недееспособна. Если же человек не в состоянии

ни понимать, ни желать что-либо, следовательно, он не может вступать в брак. Так гласит закон. Что касается «насилия над личностью», то надо только подыскать подходящую юридическую формулу, хотя мне лично достаточно было увидеть тебя сегодня утром — как ты сидишь без дела за жалким столиком. Тебе этого мало? А все прочее, о чем ты мне рассказал, этого тоже недостаточно? Да что говорить! Будем поступать так, как подсказывают логика и здравый смысл. Или за эти годы ты их тоже утратил? Ну, ну, пойдем! Я больше не могу здесь сидеть. Чувствую, что задыхаюсь...

И он встал — на сей раз окончательно,— заплатил официанту и широкими шагами направился к выходу.

Я проводил его до гостиницы, расположенной неподалеку от фирмы. Там мы с ним расстались. Отойдя на несколько шагов, я услышал его голос и обернулся. Просунув голову в дверь, он кричал мне вслед:

— Смотри до вечера ничего не предпринимай! Ровно в восемь встретимся здесь. Услышишь недурные новости!

Он кричал так громко, что вместе со мной обернулось еще несколько прохожих, они с недоумением посмотрели на него и улыбнулись. Он помахал мне рукой и скрылся за дверью.

«Может быть, отец и прав,— сказал я себе.— Может быть, важнее всего в человеке напористость, твердость характера и та шумливая, безудержная жизнерадостность, которую я не раз наблюдал у представителей нашей фирмы. Сталкиваясь с такими людьми, доктор Макс нередко вынужден промолчать. Да, мне действительно не хватает способности реагировать энергично, решительно, чтобы нагнать на противника страх и с первых же слов дать ему понять, что я так же силен, как и он, а может, и сильнее. Возможно, моя ошибка состояла в том, что я с самого начала спасовал — уступил насилию, позволил делать с собой все что угодно. Прежде всего, мне не следовало соглашаться работать в бывшей уборной; более того, мне надо было заявить, что я считаю это для себя обидным, оскорбительным; не остановиться даже перед тем, чтобы поднять доктора Макса на смех. Я не должен был принимать в подарок от доктора Урадзы костюм. Мне следовало наотрез отказаться от уколов Лотара. Короче говоря, если бы я взбунтовался и все время отвечал на насилие насилием, то, может быть, я не оказался бы сейчас в таком положении и мне не только не нужно было бы жениться на Цильетте, но я занимал бы самое лучшее положение в фирме и получал бы самое высокое жалованье. Неужели я все время вел себя не так, как надо? Неужели я, взрослый человек, отлично сознающий свои права и обязанности, настолько беспомощен, что вынужден прибегать к заступничеству отца? Да я провалюсь со стыда, если он, не обладая соответствующей подготовкой, не зная здешних проблем, лишь своей отцовской властью за один вечер добьется того, чего мне не удалось добиться за столько времени!

Если так, значит у меня не хватило мужества. Не хватило смекалки — опоры мужества! Какая ясность мысли в словах моего отца, с какой быстротой, с каким сознанием своего права, с каким достоинством реагирует он, шестидесятипятилетний старик, на несправедливость! Я моложе его на сорок с лишним лет, мне следовало бы проявлять эти качества — ясность мысли, быстроту реакции и сознание своего достоинства — во сто крат энергичнее, со всем пылом и воодушевлением молодости! Ведь раньше я всегда и во всем был первым. Неужели я настолько утратил чувство реальности? Неужели моя позиция по отношению к доктору Максу и к фирме с начала и до конца определялась не требованиями реальной жизни, не гордостью человека, а чувствами трусливого и подлого раба, готового сносить любые издевательства и капризы хозяина?»

В ожидании вечерней встречи с отцом я весь остаток дня промучился, решая эти вопросы.

Вдруг зазвонил телефон: курьер со второго этажа сообщал мне, что мой отец бродит по фирме и требует, чтобы его приняли доктор Макс или доктор Урадза.

Значит, он ринулся в самое логово льва! А я сижу за столом, на котором, как он правильно заметил, нет даже листка бумаги, и пассивно жду, что будет дальше, какая новая напасть свалится мне на голову. Я не находил себе места.

В восемь часов я побежал в гостиницу. Отец был у себя в номере. Он оставил мне внизу записку с просьбой подняться к нему, как только я приду. Перепрыгивая через две ступеньки, я взбежал наверх и постучал в дверь.

— Кто там? — послышался будто издалека тихий слабый голос. Я даже подумал, что ошибся дверью.

— Это я, папа!

— Входи, входи! — ответил он.

На этот раз я узнал его. Отцовский голос звучал взволнованно и напряженно, как в самые ответственные минуты его жизни.

Отец уже лежал в кровати. («Странно,— подумал я.— Он всю жизнь страдает бессонницей, и я никогда не видел, чтобы он так рано ложился спать».) В руке он держал зонтик и стучал им по ковру.

— Мерзавцы, убийцы! Я им покажу, как можно... шестидесятипятилетнему человеку...— начал он, размахивая зонтиком, как палкой.

Я подбежал к нему.

— Что, что с тобой происходит? Ты плохо себя чувствуешь?

Его лицо побагровело, приобрело даже какой-то синеватый оттенок. Я страшно перепугался и в растерянности стал гладить его по седой голове. В этот момент он всхлипнул. Всего один раз, но звук получился душераздирающий, похожий на завывание. Потом снова начал размахивать зонтиком.

Ослабевшим, дрожащим от внутреннего напряжения голосом он поведал мне о том, что произошло. Он попросил доктора Макса и доктора Урадзу принять его, но и тот и другая отказали. Лишь после долгих настояний доктор Макс наконец дал согласие на встречу. Однако вместо него в комнату вошел Лотар со своей коробкой и сделал отцу укол — ввел сорок кубиков какой-то жидкости. Никакие крики и вопли не помогли: Лотар преспокойно довел свое дело до конца. После чего отец вернулся в гостиницу, лег в кровать и вызвал врача, который ушел от него за несколько минут до моего прихода.

— Что сказал врач? — вяло спросил я.

У меня отпала всякая охота разговаривать. К сожалению, действительность оказалась такой, какой рисовал ее я, а не мой отец. Я проявил неосторожность, на мгновение забылся и, как в далеком милом детстве, послушался отца. Не надо было разрешать ему ходить в фирму. Теперь мне придется расплачиваться не только за свои ошибки (которых фактически не было, если не считать робких возражений против женитьбы на Цильетте), но и за неправильное поведение отца.

— Ничего он не сказал! Вернее, установил, что пока виден только след укола, а последствия скажутся лишь завтра. Они еще пожалеют, мерзавцы! Я им устрою конец света!

— Каким образом? — спросил я, лишь бы сказать что-нибудь.

— То есть как это «каким образом»? Да ты понимаешь, что говоришь? Ведь речь идет о предумышленном, неоднократно повторенном акте насилия! Э-э, да что с тобой? Или у тебя в жилах течет вода?

— А что ты намерен делать?

— Что я намерен делать? Защищаться! Подать на них в суд!

— У тебя есть доказательства? Свидетели?

— Что, что? Говори громче, я не слышу!

— Я спрашиваю, есть ли у тебя доказательства и свидетели. Кто-нибудь видел, как Лотар делал тебе укол?

— Нет. Но завтра придет врач, и будут видны результаты.

— Никаких результатов не будет. Это уколы витамина, они имеют чисто символический характер. Мне их тоже делали много месяцев подряд. Я постыдился тебе признаться. Однако будь у тебя свидетели, ты бы тоже ничего не смог сделать. Ты сам мне когда-то говорил: были бы деньги — свидетели всегда найдутся. А доктор Макс куда богаче тебя. Лучше давай подумаем о том, как теперь обернется для меня твое злополучное вмешательство.

— Для тебя? Лучше спроси, как это обернется для них! Это же неслыханное дело! Ты, дорогой мой, должен возмутиться. Бери пример с меня! Да понимаешь ли ты, что тебя ждет, к чему ты себя готовишь? Разве можно в твои годы сдаваться без борьбы! Хочешь заживо себя похоронить, женившись на слабоумной, которая всю жизнь будет висеть у тебя камнем на шее? Что же до этих мерзавцев, то они еще у меня попрыгают, подлецы!

С этими словами он оперся на зонтик и соскочил с кровати.

— Довольно! В одиннадцать ноль пять есть поезд. Незачем мне сидеть здесь еще день, время зря терять. Жалко, что за номер придется уплатить сполна, как за сутки. Утром придет врач, принесет справку с результатами анализа. Ну что ж, попрошу портье выслать ее мне по почте. Она понадобится, чтобы отстоять мою и твою честь. Что творится, что творится на свете!

Он оделся, закрыл чемодан и вскоре был готов к отъезду. Мы спустились вниз, он заплатил по счету и попросил вызвать такси.

По дороге на вокзал он продолжал бормотать:

— Конечно, мир переменился. И город, с тех пор как я его видел, стал другим. Но чтобы творилось такое... уму непостижимо!

— Я же тебе говорил, отец, что ты — человек иного поколения и смотришь на мир совсем не теми глазами, что все. Я еще утром хотел посоветовать тебе отступить, но ты был так уверен...

— Конечно, уверен. Я и сейчас уверен! Где мы живем? Неужели я позволю какому-то доктору Максу топтать себя, как ты? Нет, я буду действовать, вот увидишь!

— Но как, отец?

— Прежде всего нужен адвокат. Скажу тебе, я способен пренебречь своим возрастом и вызвать его на дуэль! Думаешь, испугался бы? Нисколько!

Спорить с ним дальше было бесполезно. Я предоставил ему выговориться, отвести душу. Приехав на вокзал, мы прошли в ресторан. До отхода поезда оставалось два часа — вполне достаточно, чтобы поужинать. За ужином он рассказал мне о матери, сообщил городские новости.

Поев, он задремал. Я сидел и смотрел на него. Когда он проснулся, до отъезда оставалось двадцать минут. Я проводил его до вагона, отыскал его место, затем он вышел погулять со мной по перрону.

— Знаешь, я все это время думал, думал... Если ты считаешь, что это может иметь для тебя неприятные последствия, я ничего не буду предпринимать. Но тогда действуй сам! Найди себе поскорее другое место, другого хозяина! В городе уйма всяких фирм! Повторяю, с твоим именем и образованием тебе стоит только свистнуть... По-моему, ты просто пессимист. Не знаю. Не понимаю я тебя. Повторяю: я много передумал, особенно за последний час. И понял, что действительно многое изменилось. Ты, разумеется, лучше меня ориентируешься в обста-

новке, и тебе виднее, что надо и чего не надо делать. Так вот я тебе говорю: прежде, чем жениться на этой девице, подумай, но подумай как следует! Поразмысли о последствиях, о детях, о том, что тебе, как человеку с положением, придется бывать в обществе. Разве ты сможешь появиться где-нибудь с таким чудовищем? Боже мой, что же произошло! Как ты мог так измениться? Я тебя не узнаю. Брак по расчету — это я еще понимаю. Но взять в жены психически неполноценную женщину, требующую постоянного ухода и лечения? Что ты делаешь, сын мой, почему ты так пал духом?

Тут отец снова всхлипнул, издав тот же короткий, завывающий звук, но сразу взял себя в руки.

— Подумай о своем добром имени, о том, какое ты доставишь огорчение матери! Но главное думай о себе, меньше всего беспокойся о нас... Подумай о себе самом! Неужели ты будешь терпеть, чтобы тебе делали уколы, в которых ты не нуждаешься? Реагируй, действуй! Понял?

Он схватил меня за голову и стал трясти ее. Потом посмотрел на часы и вошел в вагон. Но и оттуда продолжал меня увещевать:

— Как бы то ни было, решай сам. Старайся не грустить и, главное, думай о своем здоровье. Будешь здоров, все остальное приложится. Запомни это как следует. Здоровье — прежде всего. А насчет прочего решай сам. Ты уже достаточно взрослый, чтобы распоряжаться своей судьбой! Тебе легче, чем мне: я скоро отправлюсь в мир иной. Действуй и держись, стой на своем! Стисни зубы и дерись! Покажи им, кто ты есть, прояви свои способности где-нибудь в другом месте, заручись влиятельными друзьями, и, вот увидишь, постепенно все наладится. В общем, пошевеливайся, не сиди сложа руки, уставившись в одну точку. Почаще выходи на улицу, на свежий воздух — это куда лучше, чем торчать в твоем пыльном зале...

Поезд тронулся. Отец захлопнул дверь вагона, опустил стекло, высунулся из окна и схватил меня за руку.

— Не сдавайся, понял? Стисни зубы! Понял? А насчет остального — в последний раз тебе говорю,— обмозгуй все как следует, со всех сторон! И поступай, сообразуясь не только с выгодой, но так, как тебе велит совесть и сердце! Не наделай глупостей, а то потом пожалеешь, да поздно будет... Прощай, дорогой! Вот увидишь, все обойдется! Я уверен, что ты примешь правильное решение и заживешь в свое удовольствие...

В этот момент руки наши разнялись: поезд набирал скорость и выезжал из-под свода вокзала.

XIII

Я надумал уволиться — оставить фирму и уехать из города. Я отлично понимаю, какое меня ждет будущее, но если я не хочу жениться на Цильетте, то иного выбора у меня нет. Почему я не хочу жениться на Цильетте? Что меня удерживает от того, чтобы принять действительность такой, какая она есть, не мучаясь вопросами и сомнениями? Уж не дают ли о себе знать остатки свободолюбия и человеческого достоинства? Но все это — наследие прошлого, которому под напором житейского опыта, то есть все той же реальной действительности, суждено развеяться как дым.

Я предпринял кое-какие шаги, чтобы подыскать себе другую работу, и всюду получил уклончивые, неопределенные ответы. У меня сложилось впечатление, что люди, к которым я обращался, хотя и не высказывали своего мнения вслух, осуждали мои действия. («Как можно искать другое место, работая в такой известной фирме, в непосредственном подчинении у доктора Макса, который относится к вам, как к брату»,— казалось, говорили они.)

Значит, они, в других фирмах, в курсе моих дел, им известно даже о благосклонном отношении ко мне доктора Макса! Правда, я знал, что он любит распространяться на эту тему, желая, с одной стороны, повысить мою ценность как собственности, а с другой, принизить или свести на нет мою роль как самостоятельного работника.

Доктора Макса я не видел уже целую вечность. Как-то, неожиданно для себя самого, я надумал с ним поговорить и спросил, где я могу его повидать. Ответ курьера прозвучал для меня оскорбительно:

— Колесо крутится! Кто бы мог подумать, что настанет день, когда доктор Макс, который был с вами неразлучен, будет всем доступен, а для вас — неуловим.

И он был прав. Даже Плуто, с которым мы вместе работаем, видит его почти ежедневно. Отлучаясь под всякими предлогами, он общается с доктором Максом, я это знаю. Как-то раз, пристально глядя ему в глаза, я сказал:

— Плуто, ты видишься с доктором Максом. Если ты друг, а ты не раз это доказывал, скажи мне, где он, чтобы я мог с ним встретиться!

Не в силах сдержаться, Плуто расплылся в улыбке и ответил:

— Я его совершенно не вижу.

— Это неправда. Я знаю, что ты с ним видишься и что вы с ним говорили обо мне. Я не прошу тебя сказать, что вы говорили, я прошу тебя только помочь мне изыскать способ встретиться с ним.

Плуто сделался серьезным, посмотрел на меня с высоты своей длинной тощей фигуры и лишь после долгой паузы наконец ответил:

— Я уже говорил, что давно не видел доктора Макса. Если бы я его видел, я бы сказал. Какие у меня основания скрывать это от тебя?

Таким образом, я понял, что сговор между доктором Максом и его подчиненными остается в силе и что у них я никогда ничего не выпытаю.

Тогда я решил дождаться его на складе, через который он, как правило, проходит каждый день (склад представляет собой длинное помещение, нечто вроде лабиринта из металлических шкафов, загруженных товарами). Я увидел, что он идет в мою сторону. Я притаился за шкафом и слышал теперь лишь его шаги, они приближались — то быстрые, то медленные, одновременно тяжелые и легкие. «Даже походка и та отражает противоречивость его характера»,— подумал я. То она медленная, то суетливая, то тяжелая, то легкая... А теперь его совсем не слышно... Это значит, что мысль его оборвалась, и вполне может статься, что он повернет обратно.

Наконец доктор Макс появился в нескольких метрах от меня — я вышел из-за шкафа. Он меня увидел. От неожиданности он сдавленно рассмеялся — послышался какой-то скрипучий звук — и юркнул в лабиринт шкафов, знакомый ему лучше, чем мне, так как он ходит по нему каждый день. Вскоре шум его шагов затих, и я остался один.

На следующий день я получил от него заказное письмо:

«Мой дорогой!

Вчера вечером я Вас видел и не видел. Вы появились из-за шкафа так таинственно (и грозно), что я Вас не узнал — принял за кого-то чужого, незнакомого и потому не остановился. Извините же меня за столь странное поведение, или, попросту говоря, бегство — бежал я от другого человека, а вовсе не от Вас. Однако не сочтите, что я пытаюсь оправдать этим письмом свое долгое отсутствие. Оно объясняется крайней занятостью и уверенностью в том, что Вам необходимо собраться с мыслями и подумать. В данный момент наша встреча (чему, как я уже сказал, препятствует моя крайняя занятость) принесла бы Вам только вред. Она могла бы повлиять на решение, которое Вы собираетесь принять, и в известном смысле ограничить свободу Ваших действий, затуманить Ваше сознание. Надо без обиняков признать, что Вы переживаете период кри-

зиса и колебаний, смотрите на действительность, а стало быть, и на меня и на фирму, сквозь пелену какого-то внутреннего тумана. (Я в курсе Ваших попыток установить контакт с другими фирмами. Вы хорошо сделали, обратившись к ним. Обращайтесь и впредь — искренне и горячо это одобряю.)

Да и что бы я мог для Вас сделать, если бы мы даже встретились? Я просто не имею на это морального права. Я могу сказать что-нибудь лишнее, могу совершить какой-нибудь поступок, который сам по себе может ничего не значить, но на Вас, в Вашем теперешнем положении, может оказать неблагоприятное воздействие; более того, может сбить Вас с толку, усугубить и без того тяжелое внутреннее состояние.

Итак, размышляйте, и пусть Вас не беспокоит мысль о том, что Вы ничего не делаете. Я сам распорядился, чтобы Вас не загружали никакой работой, чтобы Вы, по возможности, оставались в стороне от рутины повседневных дел. Да, это по моему приказу Вас переводили с места на место. Цель была одна: содействовать Вашей «интеллектуальной свободе» (назовем это так), чтобы эта всепожирающая махина, именуемая фирмой, ни в коей мере не мешала Вам сосредоточиться на своих мыслях.

Вы пока еще не стали колесиком этого механизма, а со стороны судить легче. Однако хватит сравнений и метафор. Не работая и находясь, так сказать, в роли наблюдателя, Вы имеете возможность присмотреться к жизни фирмы, видеть ее такой, какая она есть, во всей ее реальности.

Мысль о том, чтобы урезать Вам жалованье, тоже подал я. При Вашей обостренной чувствительности Вы наверняка решили, что Вас таким образом наказывают. Боже упаси! Это было продиктовано чисто деловыми соображениями. Если Вы на минутку задумаетесь, то сами поймете, что к Вам подошли не формально, а с исключительной чуткостью. Вы не работаете, а жалованье Вам все равно платят. Согласитесь, что с деловой точки зрения это бессмыслица. О каком же наказании может идти речь? Уж коли на то пошло, наказана фирма, поскольку она Вам платит, не получая ничего взамен. И тем не менее я никогда не встану на позицию сухого бухгалтерского расчета. Я верю в другую бухгалтерию — более точную, рациональную и, в известном смысле, более дальновидную. Ведь Вы сейчас тратите все свое время на размышления, размышления, размышления о фирме. А это тоже работа. Поэтому справедливость требует, чтобы Вам платили. Конечно, не столько, сколько платят за нормальную работу, то есть такую, к которой Вы рано или поздно приступили бы под моим руководством, не начнись для Вас эта полоса кризиса. Сейчас Вам платят за работу, не представляющую никакой ценности с точки зрения сегодняшнего дня нашего предприятия, но зато сулящую, быть может, блестящие результаты в будущем. Такую работу надо тоже уважать и компенсировать. Скажу Вам с присущей мне откровенностью: больше всего меня огорчает то, что Вы терзаете себя понапрасну. Впрочем, это хорошо, так и надо. Вы должны терзаться, и не мне Вам это запрещать. Скажу Вам больше: я питаю такое глубокое уважение к человеческой совести, что не постою перед расходами и буду продолжать выплачивать Вам Ваше скромное жалованье, лишь бы давать Вам все новую и новую пищу для терзаний (которые, будем надеяться, все же скоро кончатся).

Итак, договорились: Вы соберетесь с мыслями, подумаете. Это единственное, что я могу Вам посоветовать, ибо никто на свете, поверьте мне, не в силах Вам помочь, кроме Вас самого.

Ваш доктор Макс.

Ах да, чуть не забыл! Как Вам, наверно, известно, ко мне приходил Ваш отец. Встреча получилась пренеприятной, в частности, из-за сквер-

ного настроения, которое он счел нужным продемонстрировать в полный голос. Лотар отнесся к нему деликатнейшим образом, но это не возымело действия. Ваш отец — человек в летах, нервный, ни в чем не разбирается и, к сожалению, неисправим. Извините, что я Вам это говорю, но я тем самым желаю лишний раз подчеркнуть главную идею моего письма, а именно: ни один человек на свете — ни отец, ни мать, ни прочие советчики (от которых рекомендую Вам держаться подальше),— никто Вам не поможет. Решение придет само собой, вот увидите. И единственное место, где Вы должны его искать (искать спокойно, не спеша — помните, что никто Вас не торопит),— это Ваше сердце».

По зрелом размышлении я должен был, к сожалению, признать, что возразить против этого письма нечего. И я снова испытал чувство признательности к доктору Максу. А раз так, значит, его письмо действительно продиктовано добрыми чувствами. Теперь вся загвоздка в том, чтобы удостовериться в реальности окружающей меня действительности. Пока мне это не удалось. Я провел еще несколько дней в раздумьях (а также в постели, так как у меня вдруг подскочила температура), погруженный в лучезарные детские сны, однако ни к какому выводу не пришел. Единственное заключение, которое я сделал,— это что доктор Макс в своем письме ни словом не обмолвился о Цильетте, а мое решение зависело именно от того, готов я на ней жениться или нет. Почему доктор Макс обошел эту тему, хотя она важнее всех прочих? А может быть, не важнее? Ведь его письмо анализирует решительно все аспекты моего положения в фирме, а стало быть, и вопрос о женитьбе на Цильетте. Просто он не счел нужным о ней упоминать, потому что Цильетта — не более чем одна из деталей познания реальности, и познать эту реальность я должен сам — в зависимости от того, как разрешится мой внутренний кризис и к чему приведут мои раздумья.

Как медленно, с каким трудом пробивается в нас свет разума! Сколько встречается на его пути теней и обманчивых якорей спасения, принимающих реальный человеческий облик, в то время как в действительности они нереальны и иллюзорны! Как часто на нашем пути встречаются лица, слышатся голоса, дышащие любовью к человеку! Как часто мне казалось, что я улавливал на этих лицах, в этих голосах столь долгожданное чувство! Но при свете разума эти лица и голоса оказывались совсем иными. От этих мыслей, непрестанно теснившихся в моей голове (я чувствовал, что время мое истекает и что, несмотря на дружеские заверения доктора Макса и на его щедрость, надо так или иначе кончать), меня оторвал телефонный звонок. Звонил знаменитый, может быть, даже самый знаменитый в городе адвокат, услугами которого доктор Макс пользуется, когда у фирмы возникают какие-нибудь трудности, когда решается вопрос об увольнении сотрудника и выплате выходного пособия или в случае забастовки. Адвокат лично (не через секретаря) в весьма вежливой форме просил меня зайти к нему в один из ближайших дней, в любой удобный для меня час.

«Вот мы и подошли к развязке»,— думал я, направляясь пешком по указанному адресу. Вопрос решается сам собой. Вернее, его решает доктор Макс через своего адвоката. Значит, на сей раз опять решать буду не я, а кто-то за меня. (Я до сих пор колеблюсь — так неистребимо во мне желание удержаться на поверхности.) Не надо будет больше мучаться, ломать себе голову, взывать к воображению, требуя от него поддержки, помощи, а оно всегда обещает и никогда своих обещаний не сдерживает. Лучше пусть будет так. Новая действительность придаст мне силы и мужества; недаром говорят, что человек живуч и, бывает, возрождается к жизни, сполна испив чашу отчаяния.

Я сам не заметил, как оказался перед огромным серым зданием, похожим на мельницу или элеватор, хотя оно находится в самом центре города, позади оперного театра. По широкой лестнице, устланной красной ковровой дорожкой, я поднялся в контору. Там царила глубокая тишина; уличный шум совершенно исчез, лишь откуда-то очень издалека доносилось пение театрального хора. Меня встретила секретарша; я назвал ей свою фамилию, и она провела меня в большую полутемную приемную. Вскоре отворилась высокая дверь красного дерева и появился сам адвокат.

— Вы уже здесь? — проговорил он, улыбаясь и протягивая мне руку.— Никакой срочности не было, вы могли прийти когда угодно!

— Я думал...— начал я и умолк, так как адвокат смотрел на меня долгим улыбающимся взглядом, словно понял, что я скажу неправду.

Он еще некоторое время меня разглядывал, затем сказал:

— Ну, конечно, конечно, разумеется! Пойдемте ко мне!— И схватил меня за локоть своей старческой, но сильной рукой — то ли для того, чтобы ободрить, то ли просто чтобы указать путь к двери из красного дерева. Мы вошли в комнату, похожую на ризницу; она была увешана картинами и битком набита книгами. Адвокат, шедший впереди меня, уселся в высокое кресло за письменным столом.

— Садитесь, пожалуйста!— сказал он, указывая мне на низкое кожаное кресло напротив.

Я сел и лишь тогда понял, какое это низкое кресло и, соответственно, какое низкое положение я занимал по отношению к адвокату, восседавшему где-то высоко-высоко надо мной, по ту сторону стола. Но ведь такие кресла стоят во всех кабинетах, и, как правило, высота их всегда обратно пропорциональна положению хозяина, так что у меня не было никаких оснований объяснять высоту данного кресла лично моим невысоким положением. До меня в нем сидело столько других людей, и многие из них, в отличие от меня, были важными, богатыми клиентами, по сути дела занимающими гораздо более высокое положение в обществе, чем сам адвокат! (Но на смену этому доводу тотчас пришел другой, а именно: ни один человек, сидевший в этом кресле, в тот момент не занимал более высокого положения, чем адвокат. В противном случае в таком кресле сидели бы не клиенты, а сам адвокат! Оказавшись в моем положении, он сидел бы в другом кабинете, а тот, кто находится на более высокой ступеньке общественной лестницы, то есть клиент, сидел бы в кресле, похожем на то, в котором сидел сейчас адвокат.)

— Итак,— начал он и сделал долгую паузу,— мне лично сказать вам нечего. Я взял на себя лишь роль посла.

С этими словами он оперся ладонями о стол, встал, сделал несколько шагов к распахнутому сейфу и, порывшись в ворохе бумаг, вытащил письмо, которое продемонстрировал мне, зажав между большим и указательным пальцами.

— Вот мои верительные грамоты!— сказал он и, садясь на свое место, позвонил. Почти в тот же миг вошли секретарша и какой-то молодой человек, возможно, студент-практикант.

— Доктор Макс поручил мне передать вам это письмо в присутствии свидетелей. Свидетелями будут два сотрудника моей конторы. Кстати, разрешите вам их представить!

Я протянул руку, те пожали ее, улыбаясь. Затем они расписались в какой-то книге, после чего в ней поставили свою подпись адвокат и я. Наконец адвокат вручил мне письмо, и свидетели молча удалились. Адвокат снова сел на свое место и, указывая мне на кресло, вздохнул.

— Мне бы хотелось, с вашего разрешения, сказать вам несколько слов от себя. По правде говоря, то, что я вам скажу, связано с письмом, которое вы держите в руках. У меня имеется копия, и я, по просьбе док-

тора Макса, с ней ознакомился. Впрочем, может быть, будет лучше, если вы сначала прочитаете письмо, а потом я выскажу вам свои соображения. Речь идет, разумеется, о моем личном мнении; можете с ним считаться, а можете и пренебречь. Я руководствуюсь только опытом, но опыт — великая штука. Своим именем, репутацией своей конторы, своим авторитетом я обязан исключительно опыту, и больше ничему. Ум, талант, способность понимать суть вещей — это не что иное, как опыт. Все прочее — ничто. Ну, читайте, читайте! Не хочу отнимать у вас время.— И он углубился в чтение объемистой папки с документами.

Я вскрыл письмо. Вот оно:

«Я бы хотел дать простор чувству, но большего, чем написать это письмо и прибегнуть к помощи сидящего перед Вами друга — адвоката, я сделать не могу. Не потому, что чувство имеет свои границы, а потому, что не безгранична действительность. Я долго размышлял о Вас и о переживаемом Вами кризисе (ни с кем не советуясь, хотя мог обратиться к правлению фирмы, ибо Ваш случай — совершенно особый) и пришел к следующим выводам. Вы явились в фирму из глухой провинции (надеюсь, мои слова Вас не обидят; напротив, они должны звучать для Вас лестно — будь я на Вашем месте, я бы этим даже гордился), из глухой провинции, где Вы были никем. Точнее, Вы представляли собой нечто вроде молодого дерева, уже кишащего паразитами, дерева с буйно разросшейся кроной и ветвями, торчащими в небо как попало, без всякого порядка, а главное — без цели. Для чего оно служило, это дерево, к чему и куда устремлялись эти ветви и эти листья, открытые ветрам и дождям? Ни к чему и никуда. Вернее, оно имело самоцель: жить, крепнуть, пускать прочные корни и утверждать себя в той роли, какая ему была уготована от рождения,— роли дерева и не более. И вот дерево, так сказать, само себя выкорчевав, прибыло сюда, в этот сад, где садовники приняли его с распростертыми объятиями и где оно продолжало жить и расти с сознанием (и надеждой), что ему предстоит стать значительным, приобщиться к числу самых выдающихся деревьев этого сада. Оно не знало, как трудно растению, жившему до того на приволье, приспособиться к заведенному в саду порядку, а главное, к самой идее сада. Тем не менее, будучи крепким и выносливым, оно не захирело, как это случилось со многими другими. Оно отстояло свое право на существование и с помощью садовников уже начало приобретать идеальную геометрическую красоту, отличающую все садовые деревья. Это было любимое дерево хозяина: гуляя, он всегда (почти всегда) останавливался в тени его ветвей и взирал на него с восторгом. Почему с восторгом? Да потому, что никогда еще ни одному деревенскому дереву — а их столько здесь перебывало!— не удавалось достичь таких отличных результатов, с такой податливостью и в то же время с таким самозабвением пойти навстречу замыслу хозяина!

Еще до того, как хозяин высказал свое пожелание садовникам (а у хозяина — это следует оговорить сразу же — имелась совершенно четкая идея насчет того, каким должно быть это дерево), оно само подалось, известным образом само видоизменило данную ему от рождения, стихийно, по воле случая изменяющуюся структуру. Хозяин задумал создать некое совершенство — такой отдаленной и абсолютной видел он свою цель,— и наше дерево должно было послужить материалом для эксперимента. Хотя хозяин и наказывал садовникам установить строжайший надзор за ростом дерева, он, конечно, не мог знать, в каком направлении будет развиваться ветка, уже погнутая ветром, какую форму она примет через год, через десять лет, через столетие. К тому же и садовникам не всегда удавалось добиться удовлетворительных результатов. Самое ухоженное растение может преподнести неожиданный сюрприз, неодно-

кратно именно так и случалось. Но на сей раз хозяин поверил в чудо. Вернее, дерево само посеяло в нем несбыточную надежду. Своей готовностью следовать хозяйским желаниям и, главное, тем, что оно отгадало, еще до того, как эта мысль окончательно сложилась у хозяина в голове, каким изменениям надо подвергнуться, чтобы стать таким, каким его хочет видеть хозяин. Но зрительное удовольствие это еще не все, гораздо важнее была та радость, которую дерево сулило хозяину благодаря своей податливости; он мечтал, что с помощью этого небывалого таинственного общения ему удастся создать такое прекрасное дерево, которое превратится в растение совершенно иного, нового вида, уникальное, редкое, выросшее, так сказать, из семени, посеянного самим хозяином. От этого прародителя появились бы на свет другие деревья того же вида. Только они, будучи его детищами, и населяли бы сад хозяина. Все остальные он приказал бы срубить и выкорчевать — если бы они сами не погибли под напором более жизнеспособных особей нового вида.

Однако произошло нечто непредвиденное, и этой иллюзии хозяина, как вообще всем иллюзиям на свете, было суждено развеяться. Достигнув своего наивысшего расцвета, дерево вдруг перестало откликаться на желания хозяина. Мало того, оно не остановилось даже на среднем уровне, а вопреки настойчивым заботам садовников, пуская новые побеги и листья (которые никому, кроме хозяина, трогать не разрешалось), проявило небывалую для этого сада, упорную, глухую и немую дикость, которая была свойственна ему сызмала, еще в провинции. Хозяин огорчился, но не стал ничего предпринимать, решив, что это случайность, минутный каприз, «зов предков». Любя дерево, он предоставил его самому себе. Однако оно продолжало расти, следуя своей испорченной натуре: выказывая все больше и больше безразличия не только к своему хозяину, но и к саду, к садовникам, ко всем другим деревьям, которые на фоне его растущего уродства вновь обретали свою померкшую было по сравнению с ним красоту. Тогда хозяин, не терявший надежды спасти свое дерево, решил умерить хаотичность его роста путем скрещивания. Не веря в то, что модификация может произойти спонтанно, он решил модифицировать вид сам, но лишний раз убедился в том, что надежды, которые он возлагал на дерево (иначе говоря, на его любовь и преданность), неосуществимы, нереальны и что реальность будет такой, какой он, хозяин, ее сотворит. Итак, он прибегнул к скрещиванию. Однако черенок не только не привился, но был отторгнут деревом. Для хозяина это было горьким разочарованием. Что следовало делать в создавшемся положении? Он озирал свой сад; перед ним высились растения, принадлежавшие к разным видам, но все — великолепные: одинаковые, неподвижные. И хотя тайны их жизни и размножения неисповедимы, они являли собой пример осуществленной идеи. И только это злополучное дерево, взъерошенное и нахальное, корежилось клубком ветвей, корней и листьев в бесполезной, нелепой и мучительной попытке строить жизнь по-своему...

Извините, что я рассказал Вам эту притчу,— она как-то сама вылилась из-под моего пера. Я хотел обратиться к Вам с речью, основанной на доводах разума, но, как всегда при мысли о Вас, увлекся метафорой, заговорил языком поэзии. Чувство и на этот раз возобладало над разумом. В своем предыдущем письме я призывал Вас внять голосу своего сердца. Но настала пора обратиться к разуму: ведь Вы — не только порожденное моей фантазией дерево, но и человек. А как таковой, Вы не можете и не должны игнорировать разум. Я знаю, что он Вам подсказывает. Он Вам подсказывает следующие мысли:

«Я — свободный человек, я молод. Когда я впервые пришел в фирму, я был еще мальчишкой, готовым на все, лишь бы добиться хоть какого-то положения в жизни и в обществе, не обмануть надежды, возлагаемые на меня родителями. Я приму на себя роль собственности доктора

Макса, более того, я буду выполнять ее активно, так как знаю, что это доставит ему удовольствие и что именно таким образом я сумею воцариться в его сердце, чтобы потом занять ведущее положение в фирме. И я этого добился. Доктор Макс дорожит мною больше, чем любой другой своей собственностью. Уступая своей слабости (а отнюдь не прибегая к силе, как может показаться на первый взгляд), он предлагает мне жениться на Цильетте, чтобы еще крепче привязать меня к себе и к своей семье (так как Цильетта, можно сказать, член его семьи). Но тут я восстаю. Зачем мне, молодому, полному сил человеку, у которого вся жизнь впереди, жениться на несчастном слабоумном создании, обиженном судьбой? И, кстати, зачем свыкаться с мыслью, что я буду навек собственностью доктора Макса, в то время как я — человек, и, стало быть, никому, кроме самого себя, не принадлежу! Я — не неодушевленный предмет и не Цильетта (что, кстати сказать, почти одно и то же), а человек, ничем не отличающийся от тех людей, которые вершили историю, отстояли свободу личности и обеспечили уважение ее прав. Вот почему я не женюсь на Цильетте, не буду собственностью ни доктора Макса, ни кого-либо другого, а останусь тем, кто я есть,— свободным человеком, не подвластным никаким хозяевам».

Так вот, эти Ваши рассуждения (в которых Вы, однако, безнадежно запутались) не только глубоко безнравственны, но и ошибочны. Они безнравственны потому, что Вы не имели права вселять в меня напрасные иллюзии, ибо Вы пошли мне навстречу, согласились быть моей собственностью не с открытой душой, не с искренностью и восторгом юности, как наивно полагал я. Вы так ловко прикинулись любящим, что я поверил, будто Вы сами хотите мне принадлежать. Ваши рассуждения безнравственны потому, что Вы изучили меня лучше любого другого сотрудника фирмы, Вы знаете все обо мне и о моих мечтах, стало быть, Вы частица меня самого, и, несмотря на это, Вы наносите мне удар, пытаетесь оторваться и жить сами по себе! (Но боль, которую Вы мне наносите, так невыносима, что я Вам этого не позволю!) Ваши рассуждения безнравственны, потому что Вы не хотите воспользоваться моей слабостью — то есть моим предложением жениться на Цильетте со всеми вытекающими отсюда преимуществами, а хотите отказаться от меня и навсегда предоставить себя, так сказать, в распоряжение других людей. (Но кто они, эти другие люди? Тоже хозяева! Так что не воображайте, будто Вас ждет нечто совсем иное, сейчас я Вам кое-что скажу).

Ваши рассуждения безнравственны, глубоко безнравственны и по отношению к Цильетте, в душе которой Вы тоже посеяли большие иллюзии. Даже если Вы трижды правы, утверждая, будто она слабоумна, Цильетта обладает таким даром, которым не сможет похвастаться, выходя за Вас замуж, ни одна другая женщина. Этот дар — целомудрие. Вы в день приезда сюда, в фирму, тоже им обладали, но сейчас его утратили. Речь идет о душевной чистоте, о той чистоте, которой должен обладать образцовый подчиненный и которая когда-нибудь будет присуща всем. Ваши рассуждения безнравственны, наконец, потому, что Вы, говоря о Цильетте, судите с величайшим презрением о неодушевленных предметах, хотя именно превращение в предмет, быть может, и есть величайшее достижение для такого человека, как Вы, если Вы стремитесь создать себе положение в фирме. До тех пор пока Вы останетесь человеком в Вашем понимании, для Вас не будет места ни в одной фирме.

А теперь вернемся к исходной точке, и я Вам докажу, насколько Ваши рассуждения ошибочны. Вы говорите о том, что надо быть человеком таким, как те люди, что вершили историю человечества, отстояли свободу и права личности. Но Вы не знаете, что этих людей — таких, какими Вы их себе представляете,— никогда не существовало. Легендарные личности, которым Вы хотите уподобиться, тоже старались пре-

вратить других людей в предметы и орудия. Каждый думает о себе. Каждый человек во всех своих поступках — и инстинктивно и сознательно — стремится только к одной цели: к собственному благу. Все прочие, те, на кого ориентируетесь Вы, послужили лишь орудиями для укрепления этой идеи — единственной идеи, реально ощущаемой всеми живыми существами.

Вы тешите себя напрасной иллюзией (ага, Вы тоже попались!), будто сможете прожить жизнь без хозяев, таким, как Вы есть. Я сам толкал Вас на то, чтобы Вы вышли из нашей фирмы и поискали себе другую работу, другого хозяина. Вы вольны сделать это и сейчас, я нисколько не обижусь. Скажу Вам больше. Перед тем, как вернуться ко мне (а что это будет так, я не сомневаюсь), Вы окончательно узнаете реальное положение вещей — убедитесь, что реальной действительности без хозяев попросту не существует. Хозяева, которые будут у Вас после меня, наверняка окажутся не лучше, а хуже меня, потому что я заботился о Вас, как о самом себе. Если Вы женитесь не на Цильетте, а на другой женщине — здоровой, нормальной женщине, на которой Вы сами остановите свой выбор,— то перед Вами не только окажется предмет, ибо все вокруг — предметы, Вам еще придется его изучать. А с Цильеттой эту проблему решать не надо, она решена априори, так как для того, чтобы узнать Цильетту, достаточно констатировать факт ее существования, и все.

Идите же, бродите по свету, приобретайте опыт, не мне Вас отговаривать. Но берегитесь! Хозяин не вечно будет помнить свою любимую и именно поэтому утерянную собственность. Может статься, что он вдруг прозреет и обнаружит, что некогда любимый предмет никуда не годен».

Так кончалось письмо доктора Макса. Я поднял глаза на адвоката, который, казалось, был поглощен чтением своих бумаг. Он медленно, очень медленно поднял глаза на меня.

— Вы кончили?— спросил он.

Я утвердительно кивнул. Он откинулся на спинку кресла и положил руки на стол.

— А теперь подумайте! Вам двадцать два года, вы уже не мальчик и, насколько я понял из письма, связали себя кое-какими обязательствами. Тем не менее — опять-таки по просьбе доктора Макса — я готов вам помочь. Помочь по-настоящему, несмотря на то, что я для вас, так же, как и вы для меня,— чужой человек. Скажу вам даже больше со всей откровенностью: мне за это платят. Доктор Макс взял на себя расходы (выражающиеся в довольно значительной сумме) за хлопоты, которые мне предстоят в связи с устройством ваших дел. Речь идет не об определении объема выходного пособия, так как ввиду отсутствия какого-либо трудового соглашения вы не имеете никаких прав на компенсацию, а о подыскании для вас места в какой-нибудь фирме. Вы только скажите, в каком направлении мне действовать, и я тотчас возьмусь за дело. Речь может идти, конечно, только о торговой фирме: ведь это ваш профиль, и я не советую вам пытаться искать другие пути. Да их, кстати, не так уж много. Помимо торговых фирм, остается путь частной торговой инициативы, но он весьма тернист, и тут редко кому удается преуспеть. Кроме того, в этом деле я вам не помощник: меня просили устроить вас на одно из торговых предприятий типа фирмы доктора Макса. В городе, как вы знаете, есть семь торговых фирм, все они жестоко конкурируют друг с другом. Выберите себе любую. Я, по роду своей деятельности, имею доступ во все семь и могу поговорить о вас на высшем уровне, то есть с самими хозяевами. Скажите, какую фирму вы предпочитаете, и я сразу выясню, что можно сделать. Вы должны дать мне ответ не позднее завтрашнего вечера. У вас достаточно времени, чтобы решить.

И продолжая смотреть на меня своим строгим, внимательным взглядом, адвокат поднялся, подошел и положил мне руку на плечо.

— А теперь разрешите сказать вам два слова от себя, просто потому, что у меня есть сын — ваш ровесник; он родился даже в том же месяце, что и вы. Послушайтесь моего совета, оставайтесь там, где вы работаете сейчас, и согласитесь на предложение доктора Макса. В других фирмах вас ждет то же самое, но там никто не будет вас так любить, как доктор Макс. Я понимаю: вас это подавляет, но ведь любовь всегда немного гнетет. Не противьтесь заведенному порядку вещей, точнее, не противьтесь силе! Вот сейчас, в эту минуту, кризис, который вы переживали, разрешился. Вы в таком возрасте, когда реальная действительность предстает перед человеком во всей своей неприглядности, в том возрасте, когда хочется бороться за то, чтобы ее преобразовать, чтобы было по-другому, лучше, чем теперь. Но иной действительности нет и никогда не будет.

Мы подошли к двери. Секретарша распахнула ее перед нами.

— Итак, до завтрашнего вечера! — сказал адвокат.

— Но... полагаю, что завтра вечером я не приду,— ответил я и, говоря это, почувствовал, как мои губы расплываются в улыбке.

XIV

Женился на Цильетте. За несколько дней до свадьбы доктор Урадза вызвала меня и спросила, желаю ли я иметь детей. Если бы я возражал, она бы приняла меры, и Цильетту бы обесплодили.

— Прежде чем решить, подумайте как следует,— сказала она,— потому что ваше решение имеет свою нравственную сторону.

Я попросил, чтобы она решила за меня; доктор Урадза разозлилась и трижды хлопнула ладонью по столу.

— Как?! Это дело вашей совести, а не моей! Когда примете решение, скажите! Чтобы я знала, как мне следует поступить.

Я снова оказался в затруднительном положении и тянул с ответом. Я сказал, что должен подумать еще.

— До чего ж вы нерешительны и медлительны! Впрочем, понятно. Вы, наверно, волнуетесь в связи с предстоящей свадьбой...

Что мне следовало ответить? По множеству признаков и, в частности, по тому, что я согласно воле доктора Урадзы проделал уйму обследований и анализов, я поневоле должен был догадаться, что она хотела, чтобы у нас с Цильеттой были дети. К тому же она сама во время нашего первого разговора о Цильетте подчеркнула, что у ее воспитанницы появилась потребность иметь мужа и детей. Но, с другой стороны, что она имела в виду, спрашивая мое мнение? Нравственно ли плодить несчастных неполноценных детей? Может быть, это безнравственно, и доктор Урадза, затевая со мной этот разговор, тем самым намекала, что она против детей? Или она хотела проверить, насколько я нравствен, в глубине души полагая, что иметь детей, пусть даже несчастных, неполноценных, всегда нравственно?

Подумав, я ответил, что хочу иметь детей.

— Так я и знала!— воскликнула доктор Урадза.— Раз вы решили, пусть будет так.

Я пояснил, что если от нашего брака родятся дети и если они будут несчастными и неполноценными, чего вполне можно ожидать, то придется с этим примириться, как я примирился со многими другими обстоятельствами, с которыми столкнулся по приезде в этот город.

— Это уже похоже на объяснение,— проворчала доктор Урадза.

Однако по ее тону я почувствовал, что она одобрила мое решение. Раз она вынудила меня жениться на Цильетте, поставив в такие условия, при которых я должен был это сделать, значит, они с доктором Максом намеревались так или иначе обречь меня и всю категорию таких людей, как я, на нечто вроде генетической (и социальной) неподвижности. Ход ее мыслей, по-видимому, таков: «У этого молодого человека неустойчивый характер, его настроения в отношении хозяев противоречивы. Избалованный доктором Максом, который слишком долго держал его при себе, он вбил себе в голову, что должен некоторым образом уподобиться хозяевам, то есть тем, кто имеет право эволюционировать и прогрессировать, сколько им заблагорассудится, достигая чуть ли не порога бессмертия. Этот брак поможет ему обрести, наконец, то чувство реальности, которого ему так не хватает, и приобщиться к рангу подчиненных, то есть таких людей, как он сам».

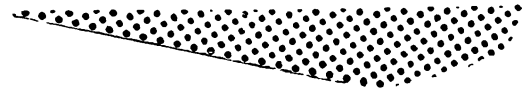
Так и случилось: после женитьбы мои мытарства — по крайней мере, на ближайшее время — кончились. Доктор Урадза сдержала свое обещание и в виде приданого Цильетте обеспечила нас двухкомнатной квартирой со всеми удобствами в большом доме на окраине города, где живут многие служащие фирмы. Итак, у меня есть жена, квартира, холодильник и стиральная машина — все необходимое для того, чтобы быть полноправным членом общества. Я получаю прекрасное жалованье, доктор Макс подарил мне совершенно новую машину, и сегодня в потоке служащих, направлявшихся утром на работу, никто бы не признал во мне того, кем я был когда-то.

После моей женитьбы доктор Макс в значительной мере утихомирился, так как в моей семье он видит прообраз идеальной семейной ячейки будущего, то есть шедевр абсолютной собственности. Он прав в том смысле, что единственная форма оков, которые не могут быть разбиты, это оковы вида. Нельзя не признать, что в его проекте есть нечто гениальное. Тем не менее доктор Макс все еще не угомонился и не угомонится до тех пор, пока его идея не осуществится полностью.

На этом месте я вдруг спохватываюсь, что мне больше нечего сказать. Моя жизнь с Цильеттой, вопреки всем условностям, складывается нормально. Единственное, чего нам не хватает, это словесного общения. После того как все вещи названы их именами, воцаряется молчание. Но для чего нужны слова? Говорят, слова нужны людям для того, чтобы общаться между собой и чтобы быть поэтами. Возможно, когда-то это было так. А сейчас слова служат, по-моему, только для борьбы — как орудие обороны и нападения. Между мной и Цильеттой борьбы нет; стало быть, нет нужды и в словах. В отличие от других супружеских пар, которые разговаривают и ссорятся, мы вполне счастливы.

Я почти уверен, что Цильетта беременна. До того, как она умрет (врачи считают, что она проживет еще года три, самое большее — пять лет), она успеет родить и быть матерью. Мой сын будет так же, как она, слабоумным. Я желаю этого всей душой и уже сейчас начинаю по этому поводу тревожиться.

Каждый хочет передать сыну, продолжателю рода, свои личные качества. Я же надеюсь, что он будет не таким, как я, а счастливым, как его мать,— просто благодаря факту своего существования. Он не сможет разговаривать, но зато никогда не узнает, что значит «нравственно» и «безнравственно». Я желаю ему, чтобы он жил так, как живет банка, которую его мать держит в данную минуту в руках: только в таком случае никто не сможет причинить ему зло.



БЕРТОЛЬТ БРЕХТ

Стихи разных лет

К 10-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ

Десять лет назад, 14 августа 1956 года, оборвалась жизнь Бертольта Брехта. Известие о его смерти вызвало долго не стихавшее эхо во всем мире. Печать всех стран, политически дружественная и даже враждебная ему, Восток и Запад, прощаясь с Брехтом, видели в нем прежде всего великого драматурга, режиссера, реформатора сценического искусства. «В лице Бертольта Брехта,— писал видный западногерманский публицист Себастьян Хаффнер в английской газете «Обзёрвер»,— Германия и мир потеряли творческого гения первой величины. Он был... величайшим драматургом из всех, которых знала Германия... Если верить в переселение душ, то можно было бы подумать, что в нем возродился Шекспир».

Мировое признание Брехта в первую очередь связано с его драматургической и театральной деятельностью. Но талант его был воистину универсален, и теперь, когда заканчивается издание немецкого восьмитомного собрания стихотворений Брехта и его огромное литературное наследие постепенно раскрывается перед читателем в полном объеме, становится особенно очевидным, каким глубоким по мысли и неповторимо самобытным и оригинальным поэтом он был.

Стихи Брехта начали появляться в печати еще в годы первой мировой войны — первое десятилетие его поэтического творчества было подытожено в 1927 году сборником «Домашние проповеди». В немецкую поэзию он вошел как современный вагант, слагающий где-то на уличном перекрестке песни и баллады и исполняющий их перед публикой в сопровождении гитары. Герои его баллад — люди шальной судьбы, дерзкие жизнелюбцы, моряки, пионеры, золотоискатели, бродяги, находящиеся в смертельном единоборстве с природными стихиями и враждебными общественными силами. Стихи молодого Брехта были проникнуты отвращением к лицемерным и постным добродетелям буржуазного мира, к нравственным прописям преуспевающего мещанина. В одном из своих социально наиболее острых стихотворений того времени, в «Литургии ветерка», Брехт с гневом и сарказмом заклеймил самодовольных и сытых обывателей, благоденствующих в мире общественной несправедливости, позорно равнодушных к страданиям голодных и угнетенных и способных реагировать только на угрозу их собственному благополучию.

Во второй половине 20-х годов Брехт приобщился к марксистскому мировоззрению, сблизился с коммунистической партией, и отныне — неизменно на протяжении всего последующего пути — его поэзия и его творчество в целом были окрылены революционной коммунистической идейностью. Брехт сумел подняться на уровень самой высокой интеллектуальной поэзии при разработке тем, которые под пером иных его литературных соратников оставались элементарной (хотя и зарифмованной) политграмотой. Для него поэзия лишь начиналась там, где для многих других она заканчивалась. Он умел заставить читателей поражаться новизне того, что те привыкли считать старым, он был ярко оригинален даже в таких тематических областях, которые давно уже казались кладбищами трюизмов, он умел делать драгоценные открытия при разработке, казалось бы, уже истощенных месторождений.

Брехт учит своей поэзией по-настоящему понять то, что иногда лишь кажется понятным. Он обнажает простые истины классовой борьбы, грубые и «низменные» истины, столь часто маскируемые рассуждениями о «чести», «славе», «долге» и т. д., он вскрывает материальную подноготную любой самой «идеальной» лжи. В сотрясаемой экономическим и политическим кризисом предгитлеровской Германии, а затем, «меняя страны чаще, чем башмаки», в антифашистской эмиграции в Дании, Швеции, Финляндии, США он пытливо всматривается в соци-

альные аномалии капиталистического мира и создает неповторимо оригинальную поэзию, удивительный сплав философской мысли и искусства слова. В эти тяжелые для человечества годы, годы мирового экономического кризиса, фашизма и второй мировой войны, поэзия Брехта неотступно сосредоточена на главных вопросах современной жизни, на вопросах революционной переделки несправедливого социального строя и на общественной позиции, общественной активности человеческой личности. Другие сферы жизни временно отошли в поэзии Брехта на задний план:

Во мне вступили в борьбу
Восторг от яблонь цветущих
И ужас от речей маляра (то есть Гитлера.— *И. Ф.*),
Но это только
И усаживает меня властно за стол.

Стихи Брехта 30—40-х годов очень существенно отличаются от его ранней поэзии периода «Домашних проповедей». На смену страсти пришла логика, на смену дикой, почти хаотической красочности, безудержно расточительной образности, языку, полному страсти и аффектов, кипящему потоку ослепительно ярких метафор, грубых и удивительно самобытных сравнений — лаконичная, экономная, четко организованная поэтическая речь, в которой строго взвешено и продумано каждое слово, малейший интонационный оттенок. Достаточно обратиться к стихотворениям «Ночлег» или «Шатким» (последнее было написано вскоре после прихода Гитлера к власти и жестокого поражения немецкого рабочего класса), чтобы увидеть, как рациональна поэтическая конструкция Брехта, как еле заметными легчайшими прикосновениями к привычным, почти банальным словам он указывает на их скрытый, глубинный смысл, как уводит он читателя в область трудной мысли и ставит его перед необходимостью принять ответственные интеллектуальные решения. Он как бы приглашает читателя в соавторы, оставляя ему отправные пункты для дальнейшего домысливания. Поэтический смысл его стихотворений бесконечно богаче их прямого дословного смысла.

И особенно это относится к позднему творчеству Брехта, к его стихам конца 40 — начала 50-х годов, к его «Буковским элегиям». Эти элегии по своему лаконизму и емкости напоминают классиков древнекитайской поэзии Ли Бо, Ду Фу, Бо Цзюй-и, которых Брехт внимательно изучал и переводил. Стихи-миниатюры, занимающие сами по себе пространство минимальное, оставляют в то же время обширное пространство для лирических ассоциаций и осмыслений. За их непосредственным содержанием угадываются размышления о смысле жизни, о красоте природы и величии человеческого труда, о счастье и горе, добре и зле. Так на протяжении четырех десятилетий поэт выступает в изменяющихся обличиях: Брехт страстный, Брехт логичный, Брехт мудрый.

ИЛЬЯ ФРАДКИН

Песня железнодорожников из Форт-Дональда*

Мужчины из Форт-Дональда — эгей!
Двинулись против теченья к пустынным лесам, что растут искони,
Но леса окружили их вплоть до озерных вод.
По колена в воде стояли они,
— *И день никогда не придет,— сказали они,*
— *Мы захлебнемся до зари,— сказали они.*
И, слушая ветер, вдруг замолчали они.

Мужчины из Форт-Дональда — эгей!
С кирками и рельсами мокли в воде и смотрели на небо туда и сюда.
Уже вечерело, и ночь из рябого озера гибко росла.
Ни надежды, ни неба, куда ни взгляни.
— *И мы умрем,— сказали они.*
— *Если заснем,— сказали они,—*
Не разбудит нас день никогда.

---

* Пункт в бассейне реки Огайо, где через девственные леса прокладывалась железная дорога и где в 1913 г. во время сильнейшего наводнения погибло много людей.

Мужчины из Форт-Дональда — эгей!
Молвили: — Стоит нам только заснуть, и прощай наши дни!
А сон вырастал из воды и тьмы, и они очумели от этой брехни.
И сказал один: — Спойте-ка «Джонни Моряк».
— *Да! Нас это поддержит,— вскричали они.*
— *Да! Мы это споем! — закивали они.*
И они запели «Джонни Моряк».

Мужчины из Форт-Дональда — эгей!
Барахтались в этом темном Огайо, среди утопающих рощ,
Но они распевали, словно им было бог весть как хорошо.
Никогда еще так не певали они.
— *Где ты, Джонни Моряк? — распевали они.*
— *Что ты делаешь ночью? — орали они.*
И Огайо под ними росло, а вверху были ветер и дождь.

Мужчины из Форт-Дональда — эгей!
Будут петь и не спать, пока не заснут навсегда.
Но ветер сильнее мужских голосов, и вода их зальет через пять часов.
— *Где ты, Джонни Моряк? — распевали они.*
— *Слишком много воды,— бормотали они.*
А когда рассвело, только ветер гудел и вода... вода...

Мужчины из Форт-Дональда — эгей!
Поезда над ними к озеру Эри жужжат сквозь мрак.
И на старом месте ветер поет и гонит над лесом огни,
И сосны кричат вослед поездам: эгей!
— *В тот день заря не взошла никогда,— кричат они.*
— *На рассвете их задушила вода,— кричат они.*
Наш ветер частенько поет их песенку «Джонни Моряк».

Аугсбург, 1916

Литургия ветерка

1.

Приползла старуха издалека.

2.

Нет у нее даже хлеба куска.

3.

Старухин хлеб сожрали войска.

4.

Свалились в канаву старухины мощи.

5.

Ей теперь не придется голодать ни денька.

6.

Но птички помалкивали в роще.
В зеленых кронах — покой.
И не веет на горных склонах никакой
*Ветерок.**

* Рефрен представляет собой парафраз хрестоматийно известного в Германии стихотворения Гете «Ночная песня странника».

7.

Тут явился врач-прозектор сюда.

8.

Он сказал: — Старуха приперлась опять.

9.

Порешили старуху скорей закопать.

10.

Наконец, онемела она навсегда.

11.

Медик хихикнул над бабкою тощей.

12.

Птички молчали по-прежнему в роще.
В зеленых кронах — покой.
И не веет на горных склонах никакой
Ветерок.

13.

Тут назойливый тип ворвался сюда.

14.

Он с подобным порядком примириться не мог.

15.

По делу старухи он поднял шумок.

16.

Человек, мол, в харчах нуждается, в коште.

17.

В насущном хлебе, милостивые господа.

18.

Но пичуги молчат по-прежнему в роще.
В зеленых кронах — покой.
И не веет на горных склонах никакой
Ветерок.

19.

Тут комиссар поспешил сюда.

20.

Он резиновой дубинкой расшиб

21.

Горластому типу затылок, и тип

22.

Болтливый язык прикусил навсегда.

23.

А комиссар прорычал по привычке:

24.

Теперь-то в роще не пикнут птички.
В зеленых кронах — покой.
И не веет на горных склонах никакой
Ветерок.

25.

Тут явились три бородача сюда.

26.

Они сказали: — Несправедливость мы в силах лишь
сообща побороть.

27.

Но их доконали в тюрьме в одиночке.

28.

Черви до самой кости прогрызли их плоть.

29.

И онемели бородачи навсегда.

30.

Заодно и птички молчали в лесочке.
В зеленых кронах — покой.
И не веет на горных склонах никакой
Ветерок.

31.

Тут нахлынули сотни людей — разношерстный сброд.

32.

Покалякать с войсками и двинуть дело вперед.

33.

Но войска пулеметами взяли народ в оборот.

34.

Уцелевшие тотчас воды понабрали в рот.

35.

Но задумались даже те, что умишком попроще.

36.

И все же птички молчали в роще.
В зеленых кронах — покой.
И не веет на горных склонах никакой
Ветерок.

37.

Тут громадный, красный медведь притопал сюда.

38.

Как медведь, он о правилах здешних не слыхивал никогда.

39.

Не хватал приманку любую. О нет! Он совсем не балда!

40.

И он слопал пичужек в роще.

41.

Но пичуги уже не молчали тогда.
В зеленых кронах — непокой.
И гудит на горных склонах, да еще какой,
Ветерок!

Мюнхен, 1924

Перевод АРКАДИЯ ШТЕЙНБЕРГА

Любящие

Как клином журавли летят, взгляни!
Уже тогда их тучи провожали
В их дальний трудный путь, когда они
Из прежней жизни к новой отлетали.
Они летят со скоростью одной —
И журавли и тучи — в те же дали.
Журавль и туча делят меж собой
Просторы неба, рядом пролетая,
И продолжают свой полет двойной,
Друг друга ни на миг не покидая,
И только ветер чувствуют сквозной
И лишь парят — и та и эта стая.
Так пусть несет их ветер в никуда,
Соседствующих в дальнем поднебесье:
Им никакая не грозит беда:
Пока две стаи остаются вместе,
Они уберегутся без труда
От ливней ледяных, от пуль и мести.
И так летят сквозь ночи и сквозь дни
Неразлучимые две стаи эти.
Куда? И от кого? От всех на свете.
Давно ли вместе так летят они?
Недавно. А расстанутся ли? Скоро.
Вот так любовь для любящих — опора.

Берлин, 1927

Беднейшие ученики из предместий

Беднейшие ученики в своих худых пальтишках,
Бывало, по утрам опаздывали в школу,
Им приходилось разносить газеты.
Учителя
Бранили их и заносили в кондуит.

Они не брали завтраков из дома. На переменах
Они решали в уборной домашние задачи.
А это запрещалось. Перемена
Должна служить отдохновенью и еде.

Когда они не знали теоремы Пифагора,
Учителя их вопрошали: для чего
Они приходят в школу, а не торчат в своих вонючих закутках?
Но это они знали очень хорошо.

Беднейшим ученикам из предместий
Предназначались мелкие должностишки на казенной службе,
Поэтому они зубрили в поте лица своего
Параграфы по замызганным книгам,
Учились угодничать перед учителем
И презирать своих матерей.

Должностишки беднейших учеников из предместья
Лежали под землей. Их конторские стулья
Были без сидений. Их карьера
Пускала неглубокие корни. Для чего
Учили их греческим спряженьям, походам Цезаря,
Формуле серы и Пифагоровой теореме?
В братских могилах Фландрии, предназначенных для них,
Что им было нужно,
Кроме небольшого количества негашеной извести?

Берлин, 1930

Перевод Д. САМОЙЛОВА

Ночлег

Говорят, что в Нью-Йорке
На углу Бродвея и Двадцать шестой авеню
В зимние месяцы каждый вечер становится человек
И, обращаясь с просьбой к прохожим,
Обеспечивает ночлегом собирающихся там бездомных.

Мир от этого не изменяется,
Отношения между людьми не улучшаются,
Век эксплуатации от этого не сокращается,
Но несколько человек получают ночлег,
На одну ночь укрываются от ветра,
Снег, предуготованный им, падает на мостовую.

Человек, не захлопывай книгу, которую ты сейчас читаешь.

Несколько человек получают ночлег,
На одну ночь они укрыты от ветра,
Снег, предуготованный им, падает на мостовую,
Но мир от этого не изменяется,
Отношения между людьми от этого не улучшаются,
Век эксплуатации от этого не сокращается.

Берлин, 1931

Шатким

Ты говоришь:
Наше дело плохо.
Мрак сгущается. Силы слабеют.
После стольких лет работы
Мы в худшем положении, чем вначале.

Зато позиции врага сильнее, чем когда-либо.
Его силы как будто возросли. Он обрел несокрушимый вид.
А мы сделали ошибки, это более не отрицается.
Мы сокращаемся в численности.
В наших призывах — путаница. Некоторые наши слова
Враг извратил до неузнаваемости.

Что же оказалось ложным в том, что мы говорили:
Кое-что или все?
На кого мы еще рассчитываем? Вышвырнуты ли мы,
уцелевшие,
Из потока жизни? Останемся ли мы
Никем не понятыми и никого не понимающими?

Или успех еще возможен?

Так вопрошаешь ты. Не жди
Ответов ни от кого, кроме самого себя.

Дания, 1934

Дырка в ботинке Ильича

Вы, устанавливающие статую Ильича
Двадцатиметровой высоты на Дворце профсоюзов,
Не забудьте при этом, что в его ботинке
Был знак нужды — засвидетельствованная многими дырка.
Дело в том, что, как говорят, его рука
Указывает на Запад, где многие по этой дырке
В ботинке Ильича
Признáют в нем своего.

Москва, 1935

Перевод БОРИСА СЛУЦКОГО

Служебный поезд

1

По прямому приказу фюрера
Поезд, построенный для нюрнбергского партайтага,
Был назван просто и скромно — СЛУЖЕБНЫЙ. Сие означает,
Что те, кто в нем следует, во время следования
Служат немецкому народу.

2

Служебный поезд —
Шедевр вагоностроения. У каждого пассажира —
Отдельные апартаменты. Широкие окна
Позволяют наблюдать немецких крестьян, вкалывающих на полях.
Если от этого зрелища потеешь,
Можно в кафельном кабинете
Безотлагательно принять ванну.
Сидя, стоя и лежа, с помощью хитроумной системы освещения
Пассажиры могут читать по ночам газеты
С пространными сообщениями о благословенности режима.
Отдельные апартаменты
Посредством телефона связаны друг с другом
На манер известного рода танцзалов, где мужчины
Справляются по телефону у сидящих за соседними столиками дам
о тарифе.

Не вставая с постели, пассажиры имеют возможность
Включить радио и послушать пространные сообщения
О ничтожности прочих режимов. Обед, по желанию,
Сервируется прямо в апартаментах, а захочется справить нужду —
В личных выложенных мрамором сортирах
Они с...
На Германию.

Дания, 1936

Выложи товар!

Снова и снова,
Рыская по вашим городам
В поисках пропитания,
Я слышу:
— Покажи, что в тебе есть!
Карты на стол!
Выложи товар!

Воодушеви нас речами!
Расскажи о нашем величье!
Разгадай наши тайные желания!
Укажи выход, приноси пользу!
Выложи товар!

Стань в наши ряды,
Дабы возвышаться над нами.
Докажи, что ты один из нас,
И мы назовем тебя Лучшим.
Мы хорошо заплатим, у нас имеются средства!
Никто, кроме нас, не способен на это.
Выложи товар!

Помни — наши великие пророки
Пророчат пророчества, угодные нам!
Властвуй, обслуживая нас!
Существуй, обеспечивая наше существование!
Действуй с нами заодно, мы поделим добычу!
Выложи товар! Будь с нами честен!
Выложи свой товар!

Когда я гляжу на ваши протухшие лица,
У меня пропадает аппетит.

США, 1942

Перевод АСАРА ЭППЕЛЯ

Демократический судья

В Лос-Анжелесе перед судьей, экзаменовавшим людей,
Которые хотели получить гражданство Соединенных Штатов,
Предстал содержащий ресторан итальянец. После серьезной подготовки,
К сожалению, затрудненной для него незнанием государственного
языка,
Он ответил на экзаменационный вопрос:

Что гласит восьмая поправка к Конституции? — неуверенно:
Тысяча четыреста девяносто два. Как и предписывает
Закон о том, что желающие стать гражданами должны знать
Государственный язык, ему было отказано. Через три месяца,
Проведенных в дальнейших занятиях,
Правда, все еще затрудненных незнанием государственного языка,
Он пришел снова, и на этот раз ему был предложен вопрос:
Какой генерал победил в Гражданской войне? —
Он ответил:
Тысяча четыреста девяносто два (это было сказано громко и приветливо).
Отосланный вновь и придя в третий раз, он ответил
На третий вопрос: На сколько лет избирается президент? —
Снова: тысяча четыреста девяносто два. И вот
Судья, которому этот человек понравился, понял,
Что он никогда не сможет изучить государственный язык, справился,
Как ему живется, и узнал, что он тяжело работает, вследствие чего
При четвертом заходе судья предложил ему вопрос:
Когда
Была открыта Америка? — и на основании его совершенно правильного ответа:
Тысяча четыреста девяносто два,— предоставил ему гражданство.

США, 1943

Перевод БОРИСА СЛУЦКОГО

Из «Буковских элегий»

ЗАМЕНА КОЛЕСА

Я сижу на обочине шоссе.
Шофер заменяет колесо.
Мне не по душе там, где я был.
Мне не по душе там, куда я еду.
Почему я смотрю на замену колеса
С нетерпением?

ПРИВЫЧКИ ЕЩЕ ТЕ ЖЕ

Тарелки с грохотом ставятся на стол,
Так что выплескивается суп.
Резким голосом
Подается команда: на обед стройся!

Прусский орел
Загоняет птенцам
Пищу в клювы.

ГРЕБЛЯ, РАЗГОВОРЫ

Вечер. Мимо меня
Скользят две байдарки, в них
Двое обнаженных юношей. Гребя рядом,
Они разговаривают. Разговаривая,
Они гребут рядом.

Буков. 1953

Перевод ИЛЬИ ФРАДКИНА

СЕМБЕН УСМАН

Почтовый перевод

ПОВЕСТЬ

Перевод с французского
Н. НЕМЧИНОВОЙ и Н. ФИЛИПОВИЧ

Почтальон обливался потом, рубашка у него прилипла к телу, мокрое лицо лоснилось; он с трудом проталкивал в песке свой велосипед; нагнувшись вперед всем туловищем, крепко ухватившись за руль, он тихонько кряхтел и, взбираясь на песчаный пригорок, проклинал местных обывателей и городские власти. «Чего, спрашивается, ждут? Почему не асфальтируют улицу?» — думал он.

Возвращавшиеся с рынка женщины окликнули его, чтобы подразнить:

— Эй! Хозяин! Что, сел на мель?

Насмешницы обогнали почтальона, он остановился и слез. Прислонил велосипед к выпиравшему животу, вытер лицо большим клетчатым платком. Постоял, глядя вслед уходившим женщинам. Проворные, легкие, идут с немалой ношей на голове, а кажется, едва касаются земли.

И почтальон медленно двинулся дальше.

Почти все дома тут были одинаковы — построены из старых трухлявых досок, крыты железом, зачастую ржавым, или старой, гнилой соломой, или же черными листами толя.

Почтальон поставил велосипед у кривого столба возле входной двери. На его «салам алейкум» ответили две женщины, сидевшие на циновке, но ответили они не очень приветливо. Обе знали его, но уж по самой своей должности он вызывал у всех неприязнь.

— Женщины, ваш супруг Ибраима Дьенг дома?

Одна из женщин, постарше, первая жена, окинула инквизиторским взглядом его лицо, потом посмотрела, что у него в руках.

— Кого тебе, говоришь?

— Мети,— оборвал ее почтальон,— Мети, я живу в вашем квартале и знаю, что хозяин этого дома — Ибраима Дьенг. Я ведь не белый какой-нибудь.

— Ба (так звали почтальона), а что я такого сказала?

— Да ничего особенного, конечно, не сказала. За это в ад черти не потащат.

— Ты не хуже меня знаешь — в этот час Ибраимы дома не бывает. Хватит и того, что он безработный! А уж целый день торчать дома с бабами мужчине не годится. Зачем ты спрашиваешь, будто ты чужестранец?

— Я обязан свое дело исполнять. А все вы, женщины, как только меня увидите, глядите сердито, словно я полицейский.

— Ты хуже, чем полицейский. Ты принесешь бумагу, а через неделю, через две приходят сборщики налогов, все в доме опишут да продадут с молотка. В наш дом ты никогда не приносил добрых вестей.

— А вот нынче как раз наоборот.

— Вон как! — воскликнула Мети и живо вскочила на ноги.

— Развеселилась! Женщины, как почуют деньги, сразу засуетятся. Деньги вам прислали.

— Откуда?

— Из Парижа... Почтовым переводом.

— Из Парижа? Кого же Ибраима знает в Париже? А это верно, что ему прислали? Ба, не убивай нас ложной надеждой.

— И еще письмо я принес. Я свое дело знаю.

— Ты слыхала, Арам? — весело воскликнула Мети, повернувшись ко второй жене. Та подошла. Она была моложе, худенькая, с запавшими щеками, с острым подбородком.

— На сколько перевод? — спросила она.

— На двадцать пять тысяч франков — пятьсот французских франков.

Женщины разахались: какие огромные деньги!

— Видишь, Мети, пришел нам аллах на помощь! А ты все жаловалась.

Мети держала в руке уведомление о переводе и письмо, испытывая при этом сладостное ощущение могущества и богатства.

— Письмо и перевод! Кто же мог прислать?

— Белый! В Париже только белые живут! Как ты думаешь, Мети, наш супруг все говорит нам?

— А что, если попросить Ба прочесть письмо?

— Нет, женщины, нет! Читать и писать — не мое дело.

И сказав это, почтальон уехал.

Весь вечер обеих жен мучила одна и та же неотвязная мысль. Обе представляли себе, как они обходят одну за другой лавки своего квартала,— они должны были деньги торговцам.

— Нельзя же дожидаться, когда вернется Ибраима. Ведь мы не знаем, что нам есть завтра! Я думаю, если показать Мбарке эту повестку и письмо, он даст нам кило риса и пол-литра масла. Да у нас еще осталось немного сушеной рыбы и вчерашнее ньебе.

— Да, так и надо сделать,— подумав, согласилась Арам.

Они вместе вышли из дому, и каждая вела за руку ребенка.

■

Он ничего не спросил, не осведомился, откуда взялся рис, так вкусно приправленный сушеной рыбой и ньебе. Он ел с наслаждением и наелся досыта. Потом дважды величественно рыгнул и сказал: «Аллах акбар» *. Вкушал он пищу, сидя, как всегда, на бараньей шкуре у подножия кровати.

— Не осталось ли у кого колы? — спросил он, не обращаясь, однако, к той или другой жене.

— Пошарь в банке около кувшина с водой,— ответила со двора вторая жена.

Отяжелев от сытости, он лениво потянулся к банке. Там оказалось несколько орехов колы.

— Арам, разве это остатки? Тут четыре ореха один другого лучше.

---

* Аллах велик *(арабск.)*.

Неужто нынче с неба посыпались вам в руки туго набитые кошельки. А может, вы получили наследство? — шутливо бросил он женам, выбирая себе орех.

— Нет, Дьенг. Нет! Но аллах в бесконечном своем милосердии никогда не оставляет правоверных.

— Правильно, женщины, правильно! Аллах акбар! Аллах велик, и безмерна его доброта. И днем и ночью он бдит над нами.

— Подожди... подожди. Не раскалывай орех.

Вошла Мети и поставила перед ним на баранью шкуру мисочку, где плавали в сладком своем соку золотистые ломтики папайи.

— Папайя! До чего ж я ее люблю! Вымой-ка мне, Мети, колу.

Мети вышла.

Ибраима Дьенг вонзил зубы в нежную мякоть плода. Папайя так и таяла во рту, сок брызнул по уголкам губ.

— Дайте-ка мне чем-нибудь утереться.

— Сейчас, Дьенг.

Арам принесла чистую тряпицу и присела на корточки подле мужа, приводя все в порядок. Дьенг вымыл руки и выбрал дольку ореха колы, который Мети подала ему на ладони.

Он с трудом встал и растянулся на постели, читая стихи из Корана.

— Право, не знаю, хватит ли у меня силы добраться до мечети,— пробормотал он.

— Тут ходит старик нищий,— сказала Арам.

Ибраима ответил не сразу, сначала улегся поудобнее, вытянул ноги. Он запрещал своим женам и детям подавать милостыню здоровым и молодым людям. «Это ведь тунеядцы, им бы только на даровщинку кормиться»,— говорил он. Когда в мечети мужчины (главы семейств) обсуждали этот вопрос, Дьенг проявлял себя в споре непобедимым оратором, загонял своих противников в угол, требовал доказательств, доводов, почерпнутых в толкованиях к Корану. Разве там написано, что надо подавать таким людям?

— А он действительно старый? — спросил Дьенг.

— Да, совсем старый.

— Тогда отдай ему остатки от трапезы. Пусть по милости аллаха уйдут из дому и объедки, и все наши беды.

Так он всегда говорил, когда подавал милостыню.

Время от времени прохладный ветерок приподнимал оконную занавеску,— как в народе говорится, это обмахивались опахалами добродетельные супруги, вкушающие блаженство в раю. Дьенг глубоко вздохнул и, позевывая, попросил:

— Мети, извини меня, но уж ты потри мне ноги. Столько им довелось пошагать нынче!..

— Не жалуйся — аллах велик. Он нас никогда не покинет.

— Аллах!.. Аллах! Но и самому что-то делать надо!

Мети послушно принялась массировать ему ноги — одну, потом другую, до самого бедра. Ибраима вскоре заснул. Мети на цыпочках отошла от кровати.

— Ты уже сказала? — спросила Арам, когда Мети села на циновку рядом с ней.

— Нет еще. Дай человеку поспать. Когда муэдзин призовет к молитве, я разбужу Ибраиму и все расскажу ему,— ответила Мети, тоже отыскивая себе местечко, чтобы подремать.

В удушливую жару знойного полдня всех клонит ко сну.

Ибраима проспал время молитвы, а проснувшись, заворчал, срывая досаду на своих женах:

— Можно подумать, что я живу в доме безбожников, в доме неверных. А когда меня не бывает, случается ли вам, женщины, хоть раз

помолиться? Я уж заранее трепещу, не вырастут ли неверующими мои дети!

Обе жены промолчали. Совершив омовения, Ибраима, как правоверный мусульманин и наставник своих жен, повел их за собою по божьему пути. Обе женщины, стоя в нескольких шагах позади него, покорно преклоняли колени вслед за супругом.

Кончив молитву, Ибраима собрался выйти из дому, но тут Мети, вкрадчивая, как старая кошка, вытягивающая лапы, сказала:

— Дорогой! Ба почтальон приходил. Тебе письмо.

— Письмо? От кого? Какого цвета бумага?

— Нет, это не такая бумага, как для налога.

— А ты откуда знаешь?

— Ба сказал нам, что письмо из Парижа. И денежный перевод тоже оттуда.

— Денежный перевод?

— Да.

— Кто же мне прислал деньги?

— Твой племянник Абду. Он ведь в Париже.

— Погоди, войдем лучше в дом. Нельзя посреди улицы говорить о деньгах.

В доме Мети продолжила свой доклад:

— Абду посылает двадцать пять тысяч франков. Две тысячи — тебе, три тысячи — его матери, остальные двадцать тысяч велит тебе сохранить для него. Шлет всем поклон. Просит уведомить его, что ты получил письмо и деньги.

— Надеюсь, не весь квартал уже знает о денежном переводе?

— Да вот какое дело!.. Мы с Арам пошли в лавку Мбарки. Там был Мбайе, и он прочитал нам письмо.

— Значит, Мбарке все известно...

И Дьенг гневно вздернул голову.

— Зачем ты, не спросясь у меня, дала чужому человеку прочесть письмо? Зачем взяла в долг провизию у Мбарки, у этого обдиралы?

— Да ведь у нас ничего не было на обед.

— И вчера не было,— вмешалась Арам.— А дети-то не могут жить не евши. Детей нельзя морить голодом.

— Хорошая жена ждет мужнина приказа (слово «приказ» было произнесено по-французски). Теперь весь квартал узнает, что я получил денежный перевод.

Жены молча выдержали огонь его гнева. Дьенг сердито отчитал их, потом положил в карман повестку, письмо и, высоко подняв голову, двинулся в путь величественной походкой.

У Дьенга была слабость к хорошей одежде. Ворот его длинного бубу был украшен замысловатой ручной вышивкой, в которой красиво переплетались белые, желтые и лиловые шелковые нити. Ему всегда хотелось хорошо одеваться, чтобы одним уж своим внешним видом внушать почтение ближним, чувствовать себя выше своих собеседников, ибо весьма важное качество человека, по мнению Ибраимы, состояло в представительности и в умении держать себя.

На углу улицы стоял магазин Мбарки — покосившаяся лачуга, жалкая снаружи и столь же убогая внутри. Шаткие полки, заваленные товарами, держались только благодаря петлям из железной проволоки или из кожаных ремешков. По вечерам мухи черными гроздьями устраивались тут на ночлег. Прилавок из трухлявого дерева покрыт был слоем пыли.

Лишь только Дьенг перешагнул через порог, оба они с хозяином излили друг на друга целую волну «салам алейкумов».

— Мети нынче заходила, взяла в лавке кое-что. Правильно я сделал, что отпустил ей товар? — спросил лавочник.

— Правильно сделал. Я как раз получил небольшой денежный перевод и смогу теперь очиститься от долга,— обиженно ответил Дьенг.— Можешь ты мне сказать, сколько я тебе должен?

— Да милостив будет аллах и ко мне и ко всем правоверным, нет у меня на уме таких мыслей, какие ты мне приписываешь. Но, может, я плохо понял... Мы же соседи с тобой, и, я полагаю, соседям лучше заранее сговориться, чтобы чужие уши ничего лишнего не слышали. Почему ты требуешь счет? Я вовсе не из-за денежного перевода просил тебя через Мети зайти ко мне в лавку. Я только хотел сказать тебе, что получил рис. Рис нового урожая, отборный.

Он таращил свои выпученные глаза с мохнатыми ресницами, смотрел направо, налево, наклонялся к Дьенгу, осторожно развертывая квадратный лоскут красной ткани, в котором лежали прекрасные крупные зерна риса. Нагнувшись над ними, торгаш тихим голосом, без всякого выражения продолжал:

— Рис-то из Индокитая. Не американский, не французский. Варить его куда выгоднее, чем всякий другой. У меня его немного — только для почтенных покупателей.

На лоб Мбарки набежали морщины, влажные бараньи глаза блестели. Стараясь сохранить свое достоинство, Дьенг неторопливо протянул руку и потрогал кончиками пальцев рисовые зерна. И сразу его охватила внутренняя дрожь, тело словно пронизал электрический ток.

Мбарка всматривался в лицо своего клиента.

— Этот самый рис ты ел нынче за обедом. Ну, что скажешь? Он полезен для желудка. А когда его варят, он не склеивается, как рис европейцев. Не выпускает из себя крахмал. А погляди, какие у него грани! Так уж его природа устроила. Ну что ты задумался? Я тебе отложу пятнадцать кило, больше не могу,— сказал он в заключение, снова свертывая свою тряпку.

— А почем кило?

— Да по той же цене! Аллах свидетель, что я кое-кого «подмазал», чтобы получить этот рис. Качество-то какое... А? Для вас стараюсь, друзья мои. Ты думаешь, я сколько-нибудь наживусь на тебе? Да если б я тебе сказал, сколько людей должны мне, ты бы понял, что мне от вас нет никакой прибыли. Я только хочу вернуть свои деньги. Я лучше согласен потерять на этих пятнадцати кило, чем лишиться твоего уважения.

Мбарка убедил Дьенга. Что касается счета, беспокоиться нечего — пусть Дьенг зайдет в лавку, возвращаясь с почты. Чтобы доказать свое дружеское расположение к нему, Мбарка отведал вместе с ним колы и сказал полушутя-полусерьезно:

— Забирай поскорее свой рис, а не то отдам другому, кто заплатит наличными.

Дьенг не заставил упрашивать себя. Окликнув проходившего мимо лавки мальчугана, он сказал:

— Сбегай-ка домой за матерью, за Мети.

И не теряя сознания своего превосходства, он занял у Мбарки пятьдесят франков на проезд до почты.

Едва он вышел из лавки и пересек улицу, его окликнул «этот разбойник» Горги Маиса, сосед и невозможный попрошайка:

— Эй, Ибраима!.. Дьенг!

— Маиса... Откуда ты? Как поживаешь?

— Альхамду лилла!..* А как твои домочадцы?

---

* Слава богу! *(Арабск.)*

— Слава аллаху, все хорошо.

Голова у Горги Маиса круглая, на нее надета была домотканая феска, надвинутая на выпуклый лоб; полы его кафтана развевались.

Прошли вместе несколько метров, и навстречу им показался почтальон Ба на велосипеде; рубашка его, надетая на голое тело, была расстегнута, огромный живот колыхался из стороны в сторону. Обменявшись обычными приветствиями, все трое остановились.

— Ты видел письмо и...

Почтальон умолк. Выразительный взгляд Ибраимы Дьенга напомнил ему, что «на улице о деньгах не говорят». Но несмотря на это Дьенг ответил:

— Ага.

— От кого весточка?

— От племянника.

— Приятно все-таки, что молодые люди думают о нас,— заметил Маиса.— Пришел их черед позаботиться о стариках! А вот мои племянники знать меня не желают. Я ничего и ни от кого не получаю.

— Я уж тут ни при чем. Мне что дают, то я и приношу. По всей округе с почтой разъезжаю,— сказал Ба, чувствуя, что Маиса метит в него.

— Да я не о тебе говорю.

— Ну, мне пора! И то уж немного запоздал,— сказал Ба и оседлал свой велосипед.

Ибраима Дьенг тревожился, зачем возле него вьется Горги Маиса: «Знает он, что я иду на почтамт? А как ему не знать? Ведь в Мбаркиной лавке все равно что на площади. Ничего в тайне не удержится».

— Ты знаешь, что Мбарка получил очень хороший рис? Из Индокитая привезен.

— Нет, не знаю,— ответил Дьенг.

— Неужели?.. А я из-за этого риса и не подошел, не хотел вам мешать. Мбарка любит все по секрету делать, даже когда совсем и не надо секретничать.

— Я заглянул в лавку, чтобы проверить свой счет,— сказал Дьенг самым естественным тоном. «Он подумает, что у меня есть деньги. А куда же он все-таки гнет?»

— Так я тебя научу. Мне Мбарка отказал — не хочет мне в долг отпускать. А ты на обратном пути зайди к нему. Он продает этот рис из-под прилавка. Мбарка сущий жулик! Ты ему, скажем, задолжаешь сто франков, отойди на два шага от порога — и, оказывается, ты уже должен вдвое. Дерет, мошенник, и с живого и с мертвого.

Завязался разговор. Оба собеседника признавали, что и сами они и их домашние живут только благодаря тому, что лавочник отпускает им провизию в долг; но цены он взвинчивает безбожно.

— Горька наша участь на этом свете,— заключил Горги Маиса.

Подошли к остановке автобуса «по требованию». Дьенг спросил:

— Тебе куда, Маиса?

— С тобой поеду,— ответил Маиса, первым взбираясь в автобус.

Раскаленный воздух пропитывали противные запахи выхлопных газов и нечистот — было трудно дышать. На перекрестке кишмя кишели оборванные жалкие существа, калеки, прокаженные, ребятишки в лохмотьях, затерявшиеся в людском океане. Скрипели немазаные колеса телег, раздавались оглушительные гудки автомобилей. Хитрый старик нищий протягивал руку, показывая седокам лимузинов, остановленных красным светом семафора, свои пальцы, изъеденные проказой; прямо на асфальте сидела слепая женщина с маленькой дочуркой и пронзительным тоненьким голоском взывала о милосердии.

Дьенг и Горги Маиса вместе вошли в здание почтамта; перед каждым окошечком стояла очередь. Горги Маиса навел справки и повел Дьенга к окошечку, над которым значилось: «Денежные переводы». Там тоже выстроилась очередь, и последней в ней была какая-то толстуха. Вероятно, она устала стоять и, потеряв терпение, села прямо на каменный пол, равнодушная ко всему окружающему. Неподвижная, грузная, с расплывшимися чертами, она походила на бесформенный пень. Прислонившись к барьеру, Горги Маиса алчным взглядом следил, как чиновник за окошечком почтовых переводов пересчитывал банковские билеты.

Время шло.

— Постереги мою очередь — я пойду попрошу, чтобы мне прочитали письмо.

Примостившись рядом с почтовым ящиком, сидел писец. Он сначала отказался читать распечатанное письмо, но Дьенг уверил грамотея, что письмо по ошибке вскрыла его жена, подумав, что оно адресовано ей. Писец надел на свой толстый нос очки в железной оправе, сползавшие с переносицы, и по-стариковски поглядел на клиента поверх очков.

— Письмо из Парижа, от твоего племянника Абду.

И он прочел:

«Париж, 19 июля 196...

Дорогой дядя!

Пишу тебе, чтобы узнать, как ты поживаешь, как здоровье твоих домашних. А у меня, слава богу, все хорошо, чего и вам желаю, и молю бога, чтобы у вас все было благополучно. Письмо пишет за меня по моей просьбе мой друг Диалло, сын Моду.

Как ты, вероятно, уже знаешь, я нахожусь в Париже. Я, слава богу, здоров. День и ночь все думаю о вас. Я приехал во Францию не для того, чтобы стать бродягой или бандитом, а для того, чтобы устроиться на работу, зарабатывать понемножку, и для того также, чтобы научиться какому-нибудь хорошему ремеслу. В Дакаре работы не найдешь. А я не могу целыми днями и даже годами сидеть сложа руки. В молодости это совсем не годится. На дорогу я занял денег. Конечно, нехорошо, что я ничего не сказал ни тебе, ни матери, но, право, я не мог остаться и ждать неизвестно чего, а кормиться воздухом. Я уже вошел в возраст, и мне пора жениться, обзавестись семьей. Деньги, которые я задолжал, я уже отдал. Из-за этого долга я ничего вам из Франции не писал и никому не посылал денег. Но теперь, слава богу, я вышел на дорогу. Не надо слушать всякие россказни. Если кто пропадет во Франции, значит, сам виноват.

После работы, когда возвращаюсь домой, я обязательно читаю все пять молитв. Если будет на то воля аллаха и Мухаммеда, пророка его, никогда я не выпью ни капли спиртного.

Посылаю тебе почтовым переводом 25 000 франков. Сбереги из них 20 000 франков для меня, 3 000 франков отдай моей матери, 2 000 франков возьми себе. Я знаю, что ты все еще сидишь без работы. Я напишу письмо и матери. Скажи ей, что я совсем здоров.

Кланяюсь тетушке Мети, тетушке Арам и детям. Сбереги для меня деньги. Даст бог, я скоро вернусь на родину. Не забывай меня в своих молитвах.

Шлю тебе поклон,
твой племянник Абду».

Читая письмо, написанное по-французски, писец с листа переводил его на язык волоф.

Мальчишка-поводырь подвел к ним слепого нищего с гноящимися глазами. Слепец монотонно и неустанно твердил: «Ради аллаха. Ради аллаха».

Писец вернул Дьенгу письмо и сказал:

— Пятьдесят франков.

Дьенг пошарил в карманах. Нашел только десять франков. Поездка в автобусе вместе с Горги Маисой уменьшила его наличность на сорок франков.

— Я сейчас получу по переводу и заплачу тебе.

— Как ты думаешь, чем я кормлюсь? — язвительно спросил писец, уставившись на него недоверчивым взглядом.

Дьенг показал ему уведомление.

— Хорошо, я подожду,— милостиво сказал писец.

Толстуха, стоявшая в очереди, направилась домой и, хотя получила деньги, сердито ворчала, что потеряла много времени. Дьенг подошел к окошечку, чиновник вытащил из пачки бланк перевода и сверил его с уведомлением.

— Ибраима Дьенг? Так... Дай удостоверение личности.

— А у меня нет удостоверения. Есть квитанция об уплате налога, есть карточка избирателя...

— А наклеена на нее фотография?

— Нет... Нет.

— Ну, дай какую-нибудь справку, чтобы на ней было твое фото. Например, водительские права, военный билет.

— Ничего этого нет у меня.

— Тогда поди выправи себе удостоверение личности.

— Где?

В окошечке Дьенгу видна была только черноволосая большая голова чиновника, не вязавшаяся с его узкими плечами. Чиновник поднял холодное, замкнутое лицо. Изогнутые линии его губ были жестоки. Все его черты были воплощением суровости. Он внушал Дьенгу почтительную боязнь.

— Вот у меня есть удостоверение личности,— вмешался Горги Маиса и, глядя в упор на чиновника, протянул руку, в которой было зажато удостоверение.

— А разве перевод на твое имя?

Горги Маиса не ответил и, помедлив секунду, убрал руку.

— Отойди от окошка,— заорал чиновник.— Ибраима Дьенг, ты мне дашь удостоверение или нет?

— Друг, нет у меня удостоверения,— ответил Дьенг дрогнувшим голосом.

— Ступай достань.

— Где?

Они пристально смотрели друг на друга. Дьенгу казалось, что у чиновника глаза насмешливо прищурились. Дьенг страдал. Его терзало чувство унижения. На лбу у него выступил холодный пот. Он молчал, и тут ему вспомнилась поговорка, ходившая среди мелкоты по всему Дакару: «Чиновников не серди, не то горя от них жди».

— Сходи в полицейский участок своего квартала,— в конце концов дал совет чиновник. И, возвращая Дьенгу уведомление, добавил:— Перевод будет лежать на почте две недели.

Горги Маиса и Дьенг еще некоторое время топтались у окошечка, потом двинулись к выходу.

— Вон как ты заплатил мне! — крикнул писец, схватив Дьенга за шиворот.

— За что?

— Как «за что»? За работу.

— А чего же ты кричишь и всю одежду на мне измял! — сказал Дьенг, вырываясь из его цепких рук.

— Приятель, мы еще не получили денег по переводу. У моего друга нет удостоверения личности,— добавил Горги Маиса, стараясь утихомирить писца.

— Это меня не касается.

— Да не кричи ты,— надменно оборвал его Дьенг.— Аллах знает, что нет у меня пятидесяти франков. Сейчас я пойду в полицию, а когда вернусь, заплачу тебе. Я чужим добром никогда не пользуюсь. Я правоверный мусульманин.

— Правоверный! Мошенник ты — вот ты кто! Шел бы лучше работы поискал, чем строить из себя марабута*,— язвил писец, возвращаясь на свое место.

Что же такое делается? Дьенг не мог понять, но, спускаясь по ступенькам крыльца, чувствовал себя глубоко униженным. У почты, выстроившись в ряд, словно увядшие растения в горшках, стояли нищие, подставляя кто руку, кто деревянную чашку, и все жалобно клянчили подаяние. Дьенг, отряхиваясь, попросил своего спутника посмотреть, не измята ли, не запачкана ли у него сзади одежда.

— Если побыстрее двинуть в полицию, может, еще успеем до закрытия вернуться на почту?

Горги Маиса испытующе взглянул на небо, на тени платанов, на циферблат своих карманных часов и изрек:

— Может, и успеем.

— Идти-то придется пешком.

— Ну, это все меняет.

Хотя присутствие Маисы было для Дьенга моральной поддержкой, он думал об истраченных сорока франках. Одному-то ему хватило бы на поездку в автобусе в оба конца.

— Ты пойдешь со мной?

— Да,— ответил Маиса, удивляясь такому вопросу.

«Я прибавлю шагу,— думал Дьенг,— он рассчитывает на мой перевод. Вот прилипала!»

Горги Маиса трусил за ним рысцой.

Он услышал в лавке, что его приятель Дьенг получил денежный перевод, и теперь действительно прилип к нему, надеясь «нагреть» его по меньшей мере на пять тысяч франков. Уходя утром из дому, он сказал одной из своих жен:

— Подожди меня, я скоро вернусь и принесу денег на сегодняшние расходы.

■

Измученные, мокрые от пота, они вошли во двор полицейского участка, и Горги Маиса тотчас рухнул на широкую ступеньку крыльца, которое шло вокруг всего здания — старой виллы колониальной архитектуры, отданной в распоряжение полиции. На крыльце в разных местах кучками устроились люди и разговаривали между собой; у входной двери сидели, вытянув ноги, двое небрежно одетых полицейских.

Один сказал скучающим тоном:

— Удостоверение личности? Вон туда.

Дьенг пошел по коридору.

—Эй! Ты куда?

Ибраима вздрогнул от испуга. Голос, окликнувший его, звучал так странно, совсем был не похож на человеческий. Дьенг обернулся... Никого. Он осторожно сделал еще несколько шагов.

* Марабут — мусульманский святой, проповедник.

— Эй! Кому говорят? Куда лезешь?

Значит, этот замогильный, глухой голос обращался именно к нему? И вдруг кто-то грубо встряхнул его за плечо.

— Сюда входить запрещается. Разве не знаешь?

От негодования, от сдержанного гнева у Дьенга на мгновение перехватило дыхание; он остолбенел. В глотке все горело от жажды. Он с трудом проглотил слюну. Около себя он увидел повернувшееся к нему страшное лицо, как будто вырезанное из обуглившегося дерева, толстогубое темное лицо с топорными чертами.

— Дежурный сказал — сюда идти. Удостоверение личности,— испуганно ответил Дьенг.

— Вон отсюда!

В полном расстройстве чувств, покусывая нижнюю губу, одергивая одежду, поправляя на голове феску, Дьенг медленным шагом двинулся обратно.

— Дай-ка на колу! — встретил его появление Горги Маиса.

Дьенг окинул его презрительным взглядом и, дав ему монетку, занял место в очереди.

— Пора молитву совершить,— напомнил ему Горги Маиса.

Маиса умел творить молитву совсем как мулла. Он был мастер на все руки. Дьенг вернулся на свое место в очереди, захватив с собою дольку ореха колы.

Очередь совсем не двигалась. Люди роптали на медлительность служащих.

Вдруг все шумы и разговоры перекрыл пронзительный голос Горги Маисы. Он внезапно превратился в гриота * и принялся восхвалять старинный, высокий род какого-то молодого человека, одетого в европейское платье, воспевать красоту женщин этой знатной фамилии, безмерное великодушие, щедрость и храбрость мужчин, благородство их поведения, сказывавшееся и в поступках столь прекрасного юноши, чистейшего из самых чистокровных отпрысков родовитой семьи. Надтреснутым фальцетом он отпускал комплимент за комплиментом на языке волоф, был неистощим в своем славословии и наконец победил сопротивление молодого человека, по-видимому, падкого на традиционные похвалы.

Окружающие внимательно слушали. Молодой человек, явно смущенный, неловкими жестами пытался остановить это нежданное песнопение.

— Я никогда не пою за деньги,— надрывался Маиса.— Но если встретишь в подобном месте своего благодетеля, полезное дело — рассказать о нем простым людям, таким же, как и я. За деньги я не пою, я хочу лишь, чтоб не забывался обычай наших предков.

Молодой человек, побежденный лестью, сунул ему в руку стофранковую кредитку. И голос Маиса пробежал целую гамму вслед уходившему юноше.

— Ты его знаешь? — спросил Дьенг, когда вновь воцарилось спокойствие.

— А на что мне знать? Вот простак! Я услышал отсюда его фамилию и вышил по канве пестрые узоры.

— По-моему, ты что-то путал, перемешал все их родство и свойство.

— А он не заметил, он был доволен, что о нем говорят. Ничего ты не понимаешь в нынешней жизни.

— Нет, не понимаю,— подтвердил Дьенг, пораженный отсутствием чувства собственного достоинства у Маиса, корчившего из себя гриота.

* Гриот — музыкант, сказитель, хранитель генеалогических преданий, устных исторических легенд в Западной Африке.

— И этот парень тоже ничего не понимает. Чего ж время зря терять? — рассеянно заметил Маиса.

Подошла очередь Дьенга.

За окошечком появился коротко остриженный молоденький чиновник в очках а-ля Лумумба, придававших его юношескому лицу что-то интеллигентное.

— Тебе что надо?

— Удостоверение личности.

— Представь метрику о рождении, три фотографии и гербовую марку в пятьдесят франков.

— Вот какое дело, сынок,— пояснял Дьенг, всовывая голову в окошечко так, что перекладина рамы вдавилась в донышко его фески,— мне по переводу деньги получить надо, а без удостоверения личности не дают...

К словам он добавил в качестве вещественного доказательства повестку. Чиновник взял ее в руки. Стекла очков устремились на нее, равнодушные глаза захлопали ресницами.

— Правильно. А только я ничего не могу поделать. Иди, старик, добывай метрику, фотографии и марку,— сказал он бесстрастным тоном.

— Да у меня есть бумаги, там сказано, кто я такой, вот погляди: последняя квитанция об уплате налога, а вот карточка избирателя.

— Старик, зря стараешься,— ответил чиновник, отталкивая руку Дьенга.— Без фотографий, без метрики и без марки не могу выдать удостоверения. Уступи место следующему.

Дьенг выпрямился. У него закружилась голова. Он поискал глазами Маису.

— Почтенный! Твой знакомый уже ушел. Сказал, что у него срочное дело.

— Что? Как?

— Он велел передать тебе, что уходит.

— Спасибо, женщина,— сказал Дьенг, спускаясь с крыльца.

■

«Сходить на почту — не бог весть какая даль, это ведь не на луну взобраться. Где же он шляется? Нет того, чтобы позаботиться о нас, о детях. Будет теперь показывать свою щедрость, деньги-то и потекут, как вода между пальцами. А может, какую-нибудь молоденькую присмотрел себе, озорницу бесстыжую. Она у него денежки-то и вытянет за милую душу».

Весь день Мети вела сама с собой такие речи. Соседи — и женщины и мужчины — уже не раз посылали свое потомство справиться, не вернулся ли Дьенг. «Бессовестные! Как услышат, что у человека деньги завелись, сразу набросятся, будто коршуны».

Дьенг вернулся поздно — он еще заходил в мечеть. Вечерняя трапеза оказалась не хуже дневной. Жены старались предупредить малейшее его желание. Угостив мужа орехом кола, Мети, расхрабрившись от присутствия второй жены, спросила:

— Ну как? Все благополучно прошло?

— Ничего я не получил,— ответил Дьенг.— Требуют удостоверение личности. А чтобы получить удостоверение личности, нужны метрика, марка в пятьдесят франков и три фотографии.

Женщины не поверили. Они молча переглядывались. Мети ждала благоприятной минуты, чтобы приступить к новым расспросам. Пока же она сообщила мужу, что к нему приходили люди, много людей. И она перечислила всех.

— Да, все теперь будут думать, что у меня есть деньги, а я не хочу помочь нуждающемуся. Пусть они спросят у Горги Маисы. Он ходил со мной...

— Только для того и ходил, чтобы выманить у тебя денег, жулик он, этот Маиса! — заметила Арам, прервав мужа.

Дьенг рассказал, как Маиса «сорвал» сто франков с доверчивого юноши.

— И сразу же улизнул, чтобы не делиться с тобой. Вот жадина! А ты-то! Истратил на него пятьдесят франков! Нашел время!

Явился посетитель, возвестивший о себе бесконечными приветствиями. Это пришел Мадиань Диань. Женщины удалились. Мужчины повели беседу. Толковали обо всем. Разговор прерывался долгими паузами.

— Я нынче уже приходил к тебе, Дьенг. Дело в том, что я попал в очень трудное, можно сказать, тяжелое положение. И вот решил попросить у тебя помощи.

Мадиань Диань сделал паузу: не так-то легко вскрыть нарыв. Нужно бросать фразу за фразой, бороться, мучиться и унижаться, описывая свою нужду, свои плачевные дела. Фразам должны соответствовать выражение лица, вкрадчивые интонации, мягкое произношение слов на языке волоф. Надо прерывать свою речь молчанием, чтобы дать собеседнику время проникнуться сочувствием и жалостью к бедняку. Надо клясться Кораном и самим аллахом, обещая заплатить долг завтра утром еще до восхода солнца, прекрасно, однако, зная, что этого «завтра» никогда не будет.

Дьенг все понимал с полуслова. Ведь все просители без исключения затягивали одну и ту же песню. Самое главное было пробудить в человеке чувство солидарности с бедняками, подстегнуть красивыми словами дух братства, который с каждым днем все больше ослабевал в людях. Дьенг молчал. Мадиань Диань десятый раз повторял свои доводы и обещания.

— Да будет аллах мне свидетелем — я ничего не получил по переводу. Может быть, завтра удастся.

— Не клянись, я тебе верю. Мне до зарезу нужны пять тысяч франков. А если не можешь, дай хоть сколько-нибудь. Ты моя последняя надежда.

— Пойди спроси у Горги Маисы. Он ходил со мной,— горестно твердил Дьенг.

— Ну, может, ты дашь мне рису? Три кило рису — я слыхал, что ты получил сто килограммов.

— Вон как люди болтают, как они преувеличивают! У меня ровным счетом пятнадцать кило!.. Мети!

— Что, Дьенг!

— Дай Мадиаию три кило риса.

— Дорогой, у нас уже немного осталось!..

— Мети, перестань мне перечить! Что бы я ни сказал, ты обязательно наперекор идешь!

— Это для моей семьи, Мети,— хныкал Мадиань Диань.— Клянусь тебе, нынче целый день дети ничего не ели.

— Мадиань, ты знаешь, наш дом — твой дом. Я ничего от тебя не скрываю. Я пойду посмотрю, сколько у нас осталось. А денег нет, Дьенг ведь сказал тебе, он не получил по переводу.

Мужчины опять повели обычную свою беседу, одну из тех, в которых люди, привыкшие друг к другу, повторяют избитые истины по сто раз в день и находят их полезными, а на самом деле только стараются убить время за такими разговорами.

Мадиань Диань унес домой только полкило рису.

Мети не понимала своего мужа. Экая глупая щедрость! Сбегутся теперь люди со всего квартала и разграбят дом. Хозяйство — это женское дело. И женщины решили защищать его. Они столковались между собой. Это они, а не Ибраима должны говорить, кому следует помочь. (Из поколения в поколение женщинам прививали покорность и обращали их в послушных исполнительниц мужниной воли, но это не мешало им, при желании, добиваться от мужчин чего угодно.)

Явились и другие посетители, отцы семейств. Несмотря на все их мольбы, они ушли несолоно хлебавши.

Наутро, еще до восхода солнца, Дьенг, как обычно, отправился в мечеть на молитву фаджар*. К его возвращению жены уже управились с хозяйством. И когда он пил отвар кенкелиба, пришел Баиди. Живой скелет, лицо — сущий череп, обтянутый кожей, скулы торчат, щеки запали. Вчера он не мог прийти. А сегодня он явился по очень важному делу, говорил Баиди, разделяя с Дьенгом его ранний завтрак. Дьенг не дал ему договорить. Рассыпаясь в извинениях, он сказал смущенно, с глубокой печалью в сердце:

— Аллах мне свидетель — я ничего не получил!

Мети, присутствовавшая при их разговоре, добавила:

— Баиди, я сама хотела сейчас пойти к тебе, в надежде занять у тебя.

Баиди ушел, понурившись, и даже по спине его было видно, какое горькое разочарование он испытывает. Мети, довольная, что удалась ее хитрость, бросила заговорщицкий взгляд на вторую жену.

От дома Дьенга до мэрии было по меньшей мере шесть километров. Длинный путь этот врезался в память Дьенга. Проделать его пешком по жаре? Ведь в кармане нет двадцати франков. Кто бы мог одолжить ему двадцать франков? Даже зная, что его ждут деньги, никто не придет ему на помощь. Дьенг вспомнил, что Горги Маиса раздобыл вчера сто франков. И в отчаянии он направился в дом Маисы, стоявший напротив его жилища. Услышав голос Дьенга, обменявшегося с его женами учтивыми приветствиями, Маиса вышел ему навстречу, отвел подальше от двери и стал клясться всеми богами-покровителями, что у него не осталось ни гроша. «Сам у тебя хотел попросить». А когда Дьенг сказал, что собирается идти в мэрию, хитрец, извиняясь, сказал, что не может идти с ним,— ужасная ломота в ногах!

Густая толпа безвестных людей спешила в том же направлении. Гудки автомобилей, громкий треск мотоциклов, дребезжащие звонки велосипедов и мотороллеров, шарканье старых башмаков, топот конских копыт сопровождали этот людской поток до границы «туземных кварталов», а оттуда он растекался в разных направлениях. Шум постепенно стихал, но в воздухе долго еще висела серая завеса пыли.

Перед главным входом в мэрию, как на ступенях мечети, кучками толпились люди и, встречая знакомых, обменивались рукопожатиями.

Удобно устроившись на стуле у дверей, пожилой важный вахтер оживленно разговаривал с посетителями.

— Метрику? Отдел актов гражданского состояния,— ответил он на вопрос Дьенга.— Вон туда,— и он показал рукой направление.

«Опять очередь!..» — подумал Дьенг, измерив взглядом ее длину, и занял место в хвосте.

В воздухе стоял гул, слышались разнообразные диалекты, гортанные голоса. Дьенг завел разговор с соседом — стоявшим впереди него щуплым человечком, лицо которого украшало несколько шрамов. Оказалось, он пришел уже в третий раз и все по одному и тому же делу. Он каменщик; слава аллаху, нашел себе работу в отъезд, в Мавританию.

---

* Утренняя молитва у мусульман.

А то ведь два года был безработным. Дьенг поинтересовался, сколько времени надо хлопотать, чтобы получить выписку из метрической книги.

— Смотря как,— сказал каменщик.— Есть у тебя знакомства, связи — это одно, а нет, так наберись терпения. Но если деньги найдутся, быстро дело пойдет.

Дьенг доверился ему (каменщик казался человеком опытным) и объяснил, почему ему срочно нужно получить удостоверение личности. Ведь нетрудно выдать выписку из метрической книги. Его имя значится тут, в одном из реестров.

— А все-таки в наше время лучше иметь знакомства,— повторил в заключение каменщик.

От доверительных сообщений перешли к критике, круг собеседников расширился. К ним присоединились двое последних в очереди. Один из них, плечистый, коренастый, явившийся за метрикой для сына, доказывал, что все чиновники — волокитчики, нет у них сознания гражданского своего долга. Однако, когда кто-нибудь приближался, все умолкали. Каменщик каждого угостил кусочком ореха колы.

Ему выдали нужную справку. Прощаясь, он пожал всем руки. Подошла очередь Дьенга.

— Погоди, приятель, я передохну немножко,— сказал молодой чиновник, закуривая сигарету, и завел разговор с сослуживцем в уголке канцелярии.

«Передышка» затянулась. Позади Дьенга раздался возмущенный женский голос.

— Не ворчать! — приказал чиновник, с явной неохотой возвращаясь на свое место.— Тебе что? — спросил он сухим тоном, резанувшим слух Дьенга.

— Мне? — растерявшись, повторил Дьенг.

— Твоя очередь? Да или нет? Что тебе надо?

Вдруг, проскользнув, как угорь, между ожидающими, у окошечка появился нищий в высоком тюрбане, с длинными четками в руке и запричитал:

— Подай ради аллаха, сынок!

— Убирайся ты... к черту! — огрызнулся чиновник сначала по-французски, а потом на языке волоф.— С утра до вечера торчишь тут, все уши прожужжал.

Нищий удалился с удрученным видом.

— Ну, так что тебе надо?

— Мне? Выписку из метрической книги о рождении.

— Где родился? Какого числа и месяца?

— Вот мои бумаги.

— Некогда мне разглядывать твои бумаги. Говори, когда и где родился.

Растерявшись от его грубого тона, Дьенг испуганно поглядел вокруг, ища поддержки, и опять протянул свои бумаги.

— Я жду. Слышишь? — вновь заговорил чиновник, пуская колечки ароматного дыма.

— Да поторапливайся ты,— крикнула женщина за спиной Дьенга.— Помогите ему кто-нибудь.

Подошел парень в полотняной куртке.

— Иди на свое место! — властным тоном приказал ему по-французски чиновник.

— Потише, пожалуйста! — ответил парень.

— Что! Не изображай из себя защитника справедливости.

— Прошу заметить, я с тобой вежливо говорю,— возразил опять

парень и, повернувшись к Дьенгу, прочел вслух его бумаги: —Ибраима Дьенг, родился в Дакаре около 1900 года.

— Мне надо знать, в каком месяце.

— Я ж тебе сказал: около 1900 года.

— И ты думаешь, я стану искать? Я не архивариус.

Перепалка велась на французском языке. Мало-помалу споривши возвысили голос, и в конце концов поднялась горячая дискуссия между чиновником и публикой. Молодой человек в куртке говорил смело. Он резко упрекал грубияна чиновника за то, что у него нет гражданских чувств и сознания профессионального долга. Он призывал в свидетели Дьенга, но тот упорно молчал. Дьенг признавал справедливость обвинений, которые бросал его заступник, но считал их бесполезными. Дело пошло еще хуже, когда стоявшая в очереди женщина бесцеремонно стала ругать мерзкие нравы администрации, нисколько не улучшившиеся со времени Независимости; она кричала во весь голос: «Вот хожу сюда целую неделю, прихожу утром, прихожу вечером, но если кто-нибудь думает, что я готова подмазать чиновника или переспать с ним, тот глубоко ошибается». «Вот, право, бесстыжая!» — думал Дьенг. У него не хватало смелости заставить ее замолчать, и он спрашивал себя, кто же ее уймет.

Наконец явился старик вахтер, успокоил кричавшую женщину, да и все при нем притихли.

— Ну, говори дату рождения,— опять принялся за свое чиновник.

— Ибраима Дьенг. Родился в Дакаре около 1900 года,— отчеканил парень в куртке.

— А сколько в году месяцев? — спросил чиновник, насмешливо скривив губы.

— Двенадцать,— доложил заступник, пристально и сердито глядя на него.

— В каком же месяце он родился?

— Послушай меня, приятель,— снова вмешался вахтер, обращаясь к Дьенгу.— Послушай меня хорошенько. Наверняка найдется кто-нибудь, кто родился в один день с тобой.

— Здесь все написано,— заупрямился Дьенг.— Вот у меня карточка избирателя. Там обозначено, когда я родился.

— Позволь-ка,— сказал вахтер, отстраняя парня в куртке. Тот поднял на него свой открытый взгляд и увидел в глазах вахтера огонек безумия, характерный для упрямых людей. Старик обратился к Дьенгу, поразившему его своей одеждой.— Надувают вас с этими карточками избирателя,— сказал он.— Чтобы заставить человека голосовать, напишут что попало. Разве будут они искать, лишний труд на себя брать. Погляди, сколько здесь реестров, а в подвале еще больше. Надо пересмотреть их все, один за другим.

— Папаша,— заговорил парень в куртке,— а разве нельзя сделать так: пусть он оставит свое имя и фамилию на бумажке, их поищут в реестрах.

— Ты что, хочешь учить нас нашему делу? Если сделать так, как ты говоришь, ему придется ждать больше двух месяцев.

— Ну, уж это чересчур!

— Сделай так, как он тебе советует. Поищи кого-нибудь, кто засвидетельствует, что его и твоя дата рождения совпадают,— добавила женщина.

Дьенг подавил горячее желание сказать, что все вышло по ее вине.

— А не найдешь такого, поищи влиятельного человека,— шепнул Дьенгу на ухо старик вахтер.

«К кому же пойти? К мулле в их мечети? Нет!.. Он никого не знает. Постоянно так говорит. А в этой стране, если у тебя нет знакомств, нет поддержки, ничего не добьешься. Вот доказательство: уже сколько времени я безработный, все обещают взять меня обратно, да не берут. А других, кто со мной работал, взяли»,— рассуждал Дьенг сам с собой.

С площади Независимости он направился к рынку Сандага. На перекрестке поискал глазами какого-нибудь знакомого, чтобы попросить у него двадцать франков. Все лица тут были замкнутые и незнакомые; все эти глаза, эти рты, эти уши казались ему безжалостными. К кому обратиться? Вон к тому подвижному, хорошо одетому человеку? Нет, Дьенг не мог льстить и фиглярничать, как Горги Маиса. Какой-то молодой человек встретился с ним взглядом, внешность его напомнила Дьенгу дальнего его родственника, четвероюродного племянника, живущего в этих краях. Возникло настойчивое желание пойти навестить этого четвероюродного племянника. «Да ведь я буду выглядеть лизоблюдом»,— говорил он себе. А еще смущало его то, что этот родственник, приехавший из Франции, вывез оттуда белую жену. Но пойти к нему просто необходимо. Попросить у него только двадцать франков на автобус. Не откажет же ему племянник.

Он подошел к воротам из кованого железа и боязливо оглядел дворик, прежде чем решился нажать указательным пальцем на кнопку электрического звонка. Холодный пот побежал у него по спине. Калитку отворил бой в белом фартуке.

— Господин только что пришел,— сказал он, провожая Дьенга в гостиную.

Гостиная произвела на Дьенга глубокое впечатление. Так неприятно было чувствовать себя тут незваным гостем. Он переводил взгляд с одной вещи на другую, все тут требовало тишины и молчания. Он не осмеливался присесть, и ему так хотелось, чтобы племянник вышел к нему без своей Мадам.

В гостиной появился человек лет тридцати без пиджака, в рубашке с короткими рукавами. Как только он увидел дядюшку, тотчас постарался ободрить его, стал расспрашивать, как поживают домашние и родственники. Позвал Мадам и двух своих ребятишек, представил их Дьенгу.

Мадам совсем не помнила этого дядюшку. Разве можно запомнить имена и лица всей родни, которую она видела только раз, три года тому назад,— ведь эти люди исчезли с ее горизонта. Разве муж не сказал ей однажды в откровенной беседе, вполне естественной для супругов в смешанном браке: «Все эти родственнички навещают нас лишь в том случае, когда они в нужде. Так зачем же нам терпеть их африканскую общительность».

Дьенг отклонил приглашение пообедать. Нет, нет, он только зашел узнать, как здоровье, какие новости.

Когда он собрался идти домой, четвероюродный племянник вышел проводить его. Они объяснились по-родственному. Племянник вернулся в комнаты и вынес стофранковую кредитку и банковский чек на тысячу франков. Он не держал в доме наличных денег. Дьенг поблагодарил и обещал завтра утром зайти к нему в контору.

Вернувшись в гостиную, племянник заметил, что жена дуется.

— Во всем у них только корысть. Этот дядюшка тоже за деньгами приходил?

Он посмотрел на жену понимающим и сочувственным взглядом. Чувства товарищества, объединяющего людей, того чувства, которое побуждает помогать людям в иные трудные часы, оказывать поддержку членам одной с тобой общины, не существовало в их среде.

Мадам ушла к себе.

Оставшись один, ее муж погрузился в раздумье: как внушить родственникам, чтобы они приходили навещать его только в контору?

■

На конечной станции автобусов Дьенг разменял деньги. Незачем выставлять напоказ стофранковую кредитку и возбуждать зависть. Чего доброго, придется заплатить за билет случайно встреченного родственника. Автобус был битком набит. Рядом с Дьенгом на двухместной скамейке сидел старик с морщинистым, изношенным лицом и разговаривал с сидевшим напротив него прилично одетым, молодым человеком.

— Я не видел того хвата, о котором ты говоришь,— сказал старик, произнося слова с кайорским выговором.

— Но ты дал? Дал это самое? Это самое! — дважды повторил молодой человек.

— Как бы не так. Очень много запросил.

— Всякой вещи своя цена. Главное — получить то, что хочешь.

— Куда же это страна идет! Всякий раз, как думаешь что-нибудь получить, плати, плати.

— Говори потише,— сказал молодой, окидывая пассажиров беспокойным взглядом.

Дьенг внимательно прислушивался. Он был уверен, что старик «подмазал» кого-нибудь, чтобы добиться услуги. Но как это делается? Если бы знать! Он исподтишка наблюдал за соседями. Молодой внушал ему доверие, потому что был хорошо одет, а по лицу было видно, что он правоверный.

Подручный водителя собирал деньги за места. Дьенг вручил ему две монетки по десять франков.

На остановке «Гумало» старик и его спутник сошли. Дьенг последовал за ними и некоторое время шагал около них.

— Простите, братья. Я в автобусе слышал вас.

Молодой, помрачнев от страха, забормотал:

— А мы ничего не говорили, ни отец, ни я. Может быть, ты ошибся.

— Ну да, друг, слух твой обманул тебя. Ты слышал в автобусе кого-нибудь другого,— добавил отец.

— Не бойтесь. Я не тот, за кого вы меня принимаете.

— Аллах нам свидетель — мы ничего не говорили. Мы все мусульмане. Отец мой из внутренних районов. Приехал полечиться. Только и всего. Мы получили налоговый листок. На-ка, возьми. Купи себе колы.

Дьенг остолбенел. Да как же объяснить, чтобы его поняли? Молодой сунул ему в руку стофранковую бумажку. И не успел Дьенг опомниться, произнести хоть слово, отец и сын уже были на углу улицы. Он стоял ошеломленный, с кредиткой в руке.

■

Был уже третий час дня, когда он вышел на центральную улицу и направился в банк. По тротуару непрерывным потоком двигались прохожие, сновали лоточники, навязывая всякий дешевый товар: очки, запонки, отрезы тканей, гребешки, раскроенные брюки, статуэтки, деревянные маски, земляные орехи; зазывая клиентов, кричали малолетние чистильщики сапог, нараспев просили милостыню слепые — живые тумбы, пристроившиеся прямо на цементе через каждую сотню шагов. Люди-обрубки шныряли на своих тележках под ногами прохожих.

Возле книжного магазина «Африка» к Дьенгу подошла скромно одетая женщина. Оказалось, ей не хватало десяти франков, чтобы вернуться домой в Иофф,— ее обокрали. Ни в ее тоне, ни в манерах ничто

не обличало типичную проститутку. Дьенгу стало жалко бедняжку, и он дал ей двадцать пять франков, повторяя про себя ритуальную фразу: «Пусть уйдут мои несчастья вслед за этими деньгами». «Какой же я беспамятный! Ведь я, может быть, знаком с ее родителями. Мне неизвестно ее имя, но я уверен, что где-то видел ее»,— думал он, продолжая свой путь. Женщина же рассыпалась в благодарностях и наилучших пожеланиях.

Банк еще не был открыт; чиновники толпились перед служебным входом. Окидывая взглядом кучки ожидающих, Дьенг искал знакомое лицо. Около колонны он заметил дородного человека в хорошо сшитом костюме, с большим портфелем в руке. Дьенг внимательно рассматривал его. Тот сразу почувствовал, что за ним наблюдают. И тогда Дьенг подошел к нему.

— Если у твоего племянника есть деньги на счету, все в порядке, банк выдаст,— ответил он на вопрос Дьенга.

Подошел какой-то парень, худой, в пиджаке из твида с широкими спадающими плечами. Он о чем-то заговорил с чиновником по-французски. (Дьенг не понял разговора.)

— Почему же человек, который дал тебе чек, не пометил: «На предъявителя»?

— А что такое «на предъявителя»?

Разъяснения Дьенг не получил. Он договорился с парнем в пиджаке из твида подойти к нему, когда начнется работа в банке. Сейчас ему полагалось войти в помещение с другой стороны здания, через двери для публики. Когда эта дверь открылась, публика хлынула в нее и заполнила холл. Дьенг с бьющимся сердцем вошел, сел на скамейку. Время от времени монотонный дребезжащий голос выкликал номер, мужчина или женщина подходили к окошечку.

Дородный тубаб сел напротив него. От страха у Дьенга заныло под ложечкой. В третий раз глаза их встретились. Он видел, что взгляд тубаба задержался на его лице, на его дрожавших руках. Странное, непостижимое чувство охватило его, похожее на чувство виновности. Стало страшно, как будто он совершает что-то преступное. Он инстинктивно вспоминал ограждающие от опасности стихи Корана.

По залу гулко разнесся голос, назвавший номер. Тубаб встал со стула; Дьенг поймал его взгляд, и грудь его поднялась в долгом вздохе облегчения. Вдруг он вздрогнул, чья-то рука тронула его за плечо.

— Брат, тебя там зовут.

В углу парень в пиджаке из твида сказал ему вполголоса:

— Запомни свой номер. Слушай хорошенько: сорок один. В кассе попроси, чтобы дали стофранковыми бумажками.

Дьенг вернулся на свое место и все повторял про себя: «Сорок один... сорок один». Скоро подошла его очередь. Кассирша спросила, какими купюрами дать ему тысячу франков. «По сто франков»,— ответил он. Когда он подошел к выходу, парень в твидовом пиджаке остановил его.

— Альхамду лилах! — сказал Дьенг.— Все хорошо прошло. Спасибо!..

— Дядюшка (между ними не было никакого родства), прошу тебя вспомнить о моем приятеле. Ведь только благодаря ему ты получил деньги.

— Сколько? — спросил Дьенг.

— Ты отец семейства. Вместо четырехсот дай ему триста.

Дьенг нашел, что взятка слишком велика.

— Ты подумай, как он рисковал! Из-за твоей тысячи он рисковал всем своим будущим и благополучием своей семьи.

Слушая перечисления опасностей, которым чиновник подвергался из-за него, Дьенг отсчитал ему триста франков. Он думал сердито: «Эти ловкачи взимают поборы за каждую услугу»,— но признавал также, что без ловкачей людям, подобным ему, Дьенгу, было бы трудно жить на свете. На обратном пути, с деньгами в кармане, он рассматривал витрины магазинов, в которых теснились покупатели. Внимание его привлекла толпа любопытных, собравшаяся около здания Земельного управления. Там нараспев что-то рассказывал старик нищий. У него были провалившиеся пустые глазницы, на изможденном лице выступали острые скулы. Сильный голос его проникал в душу. Дьенг пошарил по карманам.

— Папаша! Папаша! — услышал он рядом с собой женский голос.— Прости меня, папаша. Я чужая в Ндакару́ *. Приехала сюда полечить мужа, но аллах призвал его к себе. Теперь мне надо вернуться в свою деревню. Я взываю к твоему великодушию! Ради аллаха, ради пророка его Мухаммеда, помоги!

Женщина произнесла все это высоким ровным голосом; она ничем не старалась вызвать сострадание, болезненную жалость, только слезы блестели у нее в уголках глаз и дрожали на ресницах.

Дьенг посторонился, пропуская двух прохожих.

— Ой! Ой!..— закричал он.— Да я же тебя только что видел и даже дал тебе двадцать пять франков. Вон там это было, вон там!

Дьенг был убежден, что женщина та же самая, те же глаза, то же вытянувшееся лицо. Только одежда другая.

— Меня видал? Меня? — воскликнула она, приложив руку к груди.— Ты, верно, ошибаешься, за другую меня принимаешь.

— Нет!.. Нет!.. Аллах мне свидетель.

Люди оборачивались, враждебно смотрели на них.

— Ступай своей дорогой, старик! Я не такая, как ты думаешь. Я честная женщина.

— Да ведь только что, вот сейчас... На панели.

— Старик,— вновь прервала его женщина.— Ступай своей дорогой. Ты похож на марабута. И я никогда бы не подумала, что такой почтенный человек может так вести себя.

Дьенг забормотал:

— Да я же ничего не говорю... Помолчи, пожалуйста.

— У меня дома отец остался в твоих годах. А ты-то... Смотрите, как разоделся, да еще вздумал приставать к женщинам и делать им бесстыдные предложения,— сказала она и пошла дальше.

Дьенг, вконец расстроенный, посмотрел вокруг. Люди отпускали нелестные замечания на его счет. Он не знал, куда деваться от стыда. Человек его возраста в белой униформе (как видно, шофер) деликатно взял его под руку и вывел из толпы.

— Если порядочные люди принялись милостыню просить, до чего же мы дойдем?

Шофер не ответил. Пройдя несколько шагов, он оставил Дьенга и пошел своей дорогой. Сесть в автобус? Нет, об этом не могло быть и речи. На оставшиеся деньги надо сняться в фотографии и купить марку.

На проспекте Блеза Дианя он стал рассматривать витрины фотографов. В одном ателье сирийка с белым покрывалом на голове устало спросила его на языке волоф:

— Тебе что, любезный? Сфотографироваться?

— Только справиться хочу! Фото для удостоверения личности сколько стоит?

---

* Местное название Дакара.

Не вставая с табурета, сирийка сказала цену. Дьенг нашел, что это слишком дорого. У пяти-шести других фотографов цена оказалась такая же. Он хотел было сняться у самого известного из фотографов, но цена испугала его. В конце концов он отправился к Амбруазу. Этот маленький смешной человечек подхватил его на пороге своей мастерской, устроенной в бывшем гараже. Не дав ему времени передохнуть, Амбруаз усадил его. Подручный, понимавший каждое движение хозяина, навел на клиента две лампы, и лучи их впились в глаза Дьенга.

— Не закрывай глаза, приятель. Это для удостоверения? Прекрасно. Я сразу понял, как увидел тебя. Подними подбородок... Так... Не шевелись!.. Готово.

Дьенг вынырнул из-за занавески. Амбруаз взял у него двести франков и сказал:

— Завтра.

Дьенг не спал до поздней ночи и, полный радостной уверенности в обеспеченном будущем, сразу позабыл о всех своих злоключениях. Он гордился великой силой своего терпения. Ворочаясь в постели с боку на бок, он обдумывал, какой ответ племяннику продиктует завтра писцу, и вдруг вспомнил, что не заплатил ему пятьдесят франков.

«Я получил твое письмо и денежный перевод. Уж сколько месяцев мы горевали и волновались, что ты пропал. Все тревожились. Как-то раз один из твоих товарищей сказал нам: «Абду уехал во Францию». Нехорошо ты поступил — уехал, никого не предупредив, главное, меня. Ты же меня знаешь, уж мне-то мог бы ты сказать. Пожалуй, я сначала и воспротивился бы, но только потому, что боялся бы за тебя. Но, зная, что ты хороший сын, я все же дал бы тебе благословение, потому что ты ехал работать. Я рад, очень рад был узнать, что ты работаешь. Вот ты теперь в чужом краю. Ты один, некому дать тебе совета. Некому сказать тебе — что́ надо делать, а чего делать нельзя. Ты теперь сам себе и отец и мать. Избегай дурных знакомств. А также помни о том, что ты должен вернуться на родину. У матери только ты один из восьми ее детей работаешь. Думай прежде о ее нуждах, а потом уже о своих. Ведь здесь людям живется все труднее и труднее.

Получив деньги по переводу, я поступил так, как ты указал. Три тысячи франков послал твоей матери. Полагаю, что через несколько дней получу от нее весточку. Может быть, даже она сама приедет».

Дьенг задался вопросом — надо ли говорить о четвероюродном племяннике. Лучше не все говорить. И он опять принялся обдумывать письмо.

«Как ты просил, я храню для тебя двадцать тысяч франков. По-моему, тебе следует посылать мне все свои деньги. И тогда я до твоего возвращения куплю тебе дом. Молодость не вечно длится».

Он уже устал мысленно диктовать и вскоре уснул возле Арам.

На следующее утро он отправился в контору четвероюродного племянника. Тот на своей машине отвез его в мэрию. Там велел подождать около старика вахтера, который сразу узнал Дьенга. Они побеседовали. Племянник вышел с каким-то служащим. «Наверно, сеф (шеф),— подумал Дьенг,— по всему видно». Четвероюродный племянник поманил дядю. Записал на бумаге дату и место рождения Ибраимы Дьенга.

— Приходи послезавтра, дядюшка. На второй этаж,— сказал осанистый приятель четвероюродного племянника.

Итак, все устроено. Племяннику некогда было довезти его до дома, он высадил его у перекрестка Сандага. На прощанье Дьенг взял его руки и, повернув их ладонями вверх, забормотал стихи из Корана. Племянник не противился. Украдкой он поглядывал на полицейского, кото-

рый направлялся к ним, ощупывая свой нагрудный карман. Поравнявшись с Дьенгом и племянником, он искоса поглядел на их руки, на лицо племянника, потом на марабута (он счел Дьенга марабутом) и тоже протянул руки. Дьенг взял его за большой палец и, обратив лицо к небу, зашептал молитву. Двое прохожих остановились и протянули руки. Закончив долгое бормотанье, он щедро поплевал вокруг. Каждый сказал: «Аминь! Аминь!» — потер ладонями лицо, и сборище рассеялось.

Дьенг вернулся домой в прекрасном настроении. Ведь послезавтра он получит выписку из метрической книги, а нынче вечером — фотографию. О марке он опять позабыл.

До вечера ему нечего было делать. А завтра предстояло навестить два дома: один по случаю рождения ребенка в семье, другой по случаю похорон. Уклониться было невозможно. После посещения кафедральной мечети следовали визиты родных и друзей. В субботу по каким-то таинственным причинам он не пошел в мэрию, отложив это на понедельник.

Во второй половине дня он направился к фотографу Амбруазу. Мастерская оказалась закрытой.

Дьенг вернулся домой и застал там свою старшую сестру, мать Абду. Это была крепкая широкобедрая женщина с обветренным лицом и покрасневшими глазами. После положенных приветствий она сразу перешла к житейским делам и без всякой патетики, произнося слова с жестким кайорским выговором, объяснила, зачем пожаловала. Завтра же ей надо в обратный путь. Она получила письмо от своего сына Абду и вот приехала за тремя тысячами франков, которые он ей прислал. Дьенг рассказал о всех своих хлопотах. Перспективы теперь уже благоприятны. Вопрос нескольких дней, самое большее два-три дня. Он даже ходил к своему четвероюродному племяннику, и тот принял его весьма учтиво.

— Это он-то? Да он нынче и знать нас не желает, а ведь я в детстве его и обмывала и подтирала!

— Надо понимать...

— Что понимать? Что он от нас отрекся? А мы-то его в детстве приютили, поили, кормили. Нынче, видите ли, он стал тубабом!.. Не говори ты мне о нем! Он знает, в какой нищете мы живем. Я еще не потеряла чувства своего достоинства. Я уеду отсюда, не заглянув к нему.

— А где твой муж?

— В лесу. Я одна с детьми, и у нас ничего нет. Ровнехонько ничего! Чтобы сюда приехать, я направо и налево позанимала денег. Даже те одежды, что на мне, и то не мои — кое-что взяла у второй жены.

В каждом ее слове сквозил гнев.

Мети принесла им поесть.

За ужином сестра потребовала, чтобы Дьенг раздобыл ей сегодня же хотя бы две тысячи франков, чтобы она завтра могла отправиться домой.

— У меня ни гроша нет на обратный путь,— сказала она в заключение.

— Послушай, рис, который ты ешь, мне отпустили в долг, за грабительскую цену. У меня в кармане всего-навсего двести франков.

— Я тоже вошла в долги, когда получила письмо Абду. И я обещала заплатить, как только вернусь. Так мне, что же, прикажешь с пустыми руками вернуться?.. И не думай даже! Поди-ка сходи к знакомым...

— Должен тебе сказать, тяжелые времена настали. Жизнь не такая, как раньше. На соседей нельзя рассчитывать. Теперь каждый думает только о себе.

Дьенг всячески старался смягчить бурное негодование сестры. Она пустилась в язвительные обличения. Что делается в деревне? Три месяца мучаешься на полевых работах, потом один месяц живешь по-человечески — ешь почти что досыта, а потом опять голод. Селения обезлюдели. Несколько раз Дьенгу хотелось сказать сестре: «Замолчи! Такие речи можно вести только в запертой комнате, с надежными людьми». А она никого не щадила. Она возвышала голос, сожалея о том, что перевелись отважные люди.

Арам ловко пришла на помощь мужу, предложив невестке отдохнуть с дороги.

— А я пойду посмотрю. Может, сколько-нибудь достану,— сказал Дьенг.

— С пустыми руками не приходи,— повторила сестра.

Когда он уже собрался идти, Арам отвела его в сторону:

— Попробуй продать это.

И дала ему золотые сережки, которые Дьенг в свое время подарил ей.

— Не надо, оставь себе. Я и без них как-нибудь устроюсь.

— Уже ночь на дворе. Если ты ничего не достанешь, зайди к Мбарке, он от золота не откажется.

Выйдя из дому, Дьенг задумался. У кого же можно занять две тысячи? Ничье лицо, ничье имя не приходило на ум. Он уже заранее знал, что его ждет неудача. Никто не придет ему на помощь. Да и вообще, что за дерзкая мысль занять денег в такие времена. Он решил походить по улицам и вернуться домой. Завтра посмотрим. Но он знал крутой нрав своей старшей сестры — она сразу же завопит, изливая свое желчное негодование.

В темноте возникла, как привидение, согбенная фигура, закутанная в белую хламиду. Это брела Ногои Бинету. Старуху провожал один из ее внуков, мальчуган девяти лет. Она узнала Дьенга. Оказалось, она шла к нему, к Ибраиме (вопреки новым обычаям, она называла людей по фамилии только в торжественных случаях). Она предложила Ибраиме присесть рядом с ней на сложенных кирпичах.

— К тебе я шла... Хочу попросить в долг — то ли рису дай, то ли денег. Мне надо пятьдесят кило рису.

Увидев ее, Дьенг сразу догадался, куда она идет. Медлительный голос старухи как будто обвивал его мысли.

Через улицу перешел бродячий торговец, напевая свою песню:

А вот порошок, убивающий блох, клопов, тараканов,
Порошок, дарящий спокойные ночи!

— Я сейчас иду к Мбарке, а потом зайду к тебе,— пробормотал Дьенг, а про себя подумал: «Какой смысл ей говорить, что у меня ничего нет».

И они расстались.

Из дверей лавки тянулись по песку две широкие полосы света. У правой двери, вокруг мальгашской жаровни, на которой настаивался мятный чай, восседали трое мужчин: местные лавочники. Они оживленно беседовали между собой. Дьенг поздоровался с ними и вошел в лавку, где Мбарка занимался с покупателем.

— К тебе, кажется, сестра приехала? Добралась благополучно? — спросил Мбарка вместо приветствия.

— Да слава богу! — притворно улыбаясь, ответил Дьенг.

— Ты проведать меня зашел? — продолжал Мбарка, не желая при постороннем говорить с Дьенгом о делах.— Возьми в банке орех. А я уже несколько дней тебя жду.

Дьенг выбрал крепкий орех, разделил его, подал на ладони лавочнику, потом покупателю. В воздухе разливался запах мяты.

— Надеюсь, ты пришел расплатиться? — начал Мбарка, как только покупатель вышел.— Ты же знаешь, я не привык бегать за своими должниками.

Дьенг стал извиняться, клясться аллахом, что скоро расплатится. Но сейчас к нему сестра приехала. В конце концов он показал лавочнику серьги. Тот бросил на них пренебрежительный взгляд и вернул Дьенгу.

— Мбарка! Мбарка! — позвали снаружи.

— Иду,— ответил лавочник.

— Я прошу за них только пять тысяч франков. В понедельник я обязательно получу по переводу. И сразу же приду к тебе. Помоги мне, ради бога.

— О аллах! Ты что, думаешь, я по пяти тысяч франков в день выручаю?

И Мбарка с решительным видом раскрыл книгу в засаленной обложке, всю исписанную по-арабски. Палец его быстро скользил по странице.

— Вот! Знаешь, сколько ты мне должен?

Монотонной скороговоркой он перечислил все, что Дьенг забрал в кредит.

— Двадцать тысяч семьсот пятьдесят три франка,— подытожил он.— И это за семь месяцев.

— Эй, Мбарка! — снова позвали снаружи.

— Иду,— ответил лавочник, пристально глядя на Дьенга.

При свете, падавшем с потолка, лоб у Мбарки блестел, глазницы казались огромными впадинами, нижняя челюсть выдавалась вперед — лицо его походило на звериную морду.

— Видит бог, не могу тебе ничем помочь. Ступай к кому-нибудь другому. Да поскорее расплатись со мной, а то я закрою твой счет.

— Послушай! — умолял Дьенг.

Но Мбарка уже направился к своим гостям, оставив его одного в лавке.

Гости расположились вокруг жаровни; один из лавочников священнодействовал: высоко подняв чайник, он разливал настоявшийся чай; ароматная струя с глухим плеском падала в стаканы.

Дьенг остановился у порога и смотрел, как они отхлебывают маленькими глотками горячий чай. В просвете двери четко выделялся его силуэт.

А вот порошок от блох, от клопов, от вшей, тараканов!
Кто купит — будет спать спокойно!
Кому порошок?.. Недорого возьму!
А то уйду домой и больше уж не выйду!
И смотрите меня не будите —
У меня молодая жена... Берите сейчас!
Кому порошок?!. Хорош порошок!

Разносчик остановился на минутку перед лавкой.

— Эй, приятель, что тебе нужно? — обратился к Дьенгу один из лавочников. Он возлежал, опершись на локоть, а другой рукой поддерживал согнутую ногу. Мбарка объяснил ему на своем диалекте, в чем дело.

— А ну, покажи.

Дьенг нагнулся к нему.

— Золотые?

— Из чистого золота, с пробой. Отдаю в заклад за пять тысяч франков. Сам заплатил одиннадцать тысяч.

— Посмотрим.

Он поднялся, ушел в лавку, вернулся и, сев на место, о чем-то пошептался с Мбаркой, потом сказал Дьенгу:

— Ну вот, вообще-то у меня денег нет, но у тебя, видно, крайняя нужда... Беру твои серьги в залог на три дня...

— Хорошо.

— Погоди. Дам тебе за них две тысячи франков. А ты мне вернешь на пятьсот франков больше.

— Две тысячи! — горестно воскликнул Дьенг, присаживаясь на корточки рядом с пройдохой.— Мне нужно не меньше пяти, дай уж хоть три. Вот Мбарка знает, я должен получить деньги по переводу из Парижа.

— Не хочешь, как хочешь, забирай свои серьги! Мне выгоднее пустить эти деньги в оборот.

Лавочники равнодушно отвернулись от него и возобновили прерванную беседу, передавая друг другу стаканы с чаем. Тщетно Дьенг взывал к их совести, напоминал о долге каждого мусульманина и доброго соседа помогать ближнему. Все было напрасно. В конце концов он согласился оставить серьги в заклад за две тысячи.

— Так вот, приятель!.. Даю тебе три дня: понедельник, вторник, среду. Если через три дня не выкупишь серьги, простись с ними: я их продам.

— Ладно.

— Подумай хорошенько.

— Да говорят тебе, я должен получить по переводу.

Лавочник повернулся к Мбарке. Они опять заговорили на своем диалекте. Дьенг ничего не понимал. Мбарка взял серьги, унес их в лавку, а вернувшись, подал ему четыре бумажки по пятьсот франков. В это время у дверей появился Горги Маиса; поздоровавшись со всеми, он дождался Дьенга и направился вместе с ним.

— Я к тебе уже который раз захожу, а Мети и Арам все отвечают: «Нет дома, нет дома». Видел сейчас твою сестру. Похудела, бедняжка.

— Я все эти дни в бегах.

— Но теперь-то все в порядке?

Дьенг не ответил; он прикидывал в уме: пятьсот франков старухе Ногои, остальное — сестре. Он хотел было ничего не давать Ногои, но чувствовал, что не может не дать. «Наверно, у нее есть какой-нибудь талисман, вот я и не могу отказать ей»,— пробормотал он.

— Слушай, дай-ка мне взаймы две тысячи франков? — взмолился Горги Маиса.— Я верну в конце будущей недели. Мне к тому времени отдадут долг.

— Что? Нет, не могу,— проворчал Дьенг, очнувшись от терзавших его мыслей.

— А все-таки? Может, хоть тысячу? Я и от тысячи не откажусь.

— Да не могу я, Маиса, поверь.

— Нужно помогать ближнему, Ибраима. Нельзя все себе да себе. Сам подумай, сегодня мне плохо, завтра — тебе. Кто тогда поможет? Человек человеку должен помогать.

— Да нет, Маиса, деньги, которые ты видел, мне дали под залог. И взял я их для сестры. А на что будем жить завтра, и сам не знаю.

— Как же ты пообещал денег старухе Ногои?

— А?

— Я заходил к ней. Она сказала, что ждет тебя с деньгами.

— Аллах свидетель, я еще ничего не получил по переводу. Да и деньги-то посланы не мне.

— Знаю,— ответил Горги Маиса, удерживая его за руку.— Ибраима, мы с тобой знакомы много лет. Вспомни о прежних днях! Тогда мы друг от друга ничего не скрывали. Как только мне вернут деньги, я от-

дам тебе долг сполна, до единого грошика, даже прибавлю. Помоги, ты ведь знаешь, мне не на баловство, мне семью кормить надо...

— Да не мои это деньги, Маиса. Как вы не поймете! Ведь перевод, на который вы все рассчитываете, не мне предназначен.

— Знаю. Но прежде, чем твой племянник вернется из Европы, я наверняка отдам долг.

— Нет у меня денег,— сухо ответил Дьенг, входя в дом старухи Ногои. «Вот что значит говорить людям правду в наше время»,— подумал он.

■

На другой день обе супруги Ибраимы Дьенга, желая показать себя радушными хозяйками, не захотели отпустить домой мать Абду с пустыми руками. Каждая достала из своего сундучка и подарила ей красивый наряд. Брат, провожая сестру до автобусной станции, обещал приехать к ней не позже чем через неделю. А пока они шли, она всю дорогу пилила его:

— Ты, видно, так и не сумеешь выбиться в люди, достигнуть почета и уважения. Так и будешь всю жизнь прозябать в нищете. Это тебе больше нравится.

В понедельник утром, выйдя из мэрии с метрикой в кармане, Дьенг решил зайти к фотографу Амбруазу; дважды подходил он к гаражу, и оба раза дверь оказалась запертой на замок. Спросить было не у кого. Может, фотограф заболел?

И только к вечеру, подходя в третий раз, он издали увидел, что дверь гаража широко распахнута. Словно тяжелый камень свалился с его души. Подручный фотографа сказал ему, что хозяина нет и когда придет — неизвестно. Ну еще бы, конечно, он узнал клиента! Ведь с него-то и начались все их несчастья! Вот уже два дня аппарат не работает.

— Тогда верните мне деньги.

— Дождись хозяина, папаша. Я знаю лишь одно: карточки испорчены.

Подручный сел на край стола и, поставив ноги на стул, углубился в номер «Ви паризьен» с фотографиями обнаженных красоток. Чем дольше Дьенг ждал, тем больше раздражался и терял терпение.

— Если машина неисправна, честные люди возвращают деньги. Разве я торговался о цене? Нет! Раз твой хозяин не может мне дать фотокарточек, пусть вернет деньги.

— Я тут, папаша, ни при чем. Жди и не скули. Мы-то ведь из-за тебя потеряли клиентов,— сказал подручный, не отрывая глаз от журнала.

— Как ты со мной разговариваешь! Да у меня младший сын старше тебя.

Подручный, не обращая на него внимания, закурил сигарету.

— Мне ведь назначили зайти еще в пятницу... Эх ты, курильщик! Правду говорят про нынешнюю молодежь: едва родился, а уже курит.

— Не на твои деньги, папаша.

И подручный выпустил дым в его сторону. Дьенг не переносил запаха табака. Он втянул дым, задохнулся и закашлялся, схватившись за грудь. Феска его упала. Вне себя от ярости, он едва не набросился на парня.

— Спокойно, папаша! Я ведь могу и ударить,— пригрозил подручный.— Осторожней,— сказал он и, потянув к себе стол, опрокинул его.— Видишь, что наделал, старый дурак?..

— Ах, это я?.. Ну погоди же, я тебе покажу.

Но парень с быстротой молнии три раза ткнул его кулаком в нос. Хлынула кровь, заливая одежду Дьенга. У дверей уже толпились зеваки, сбежавшиеся на шум. Кто-то схватил подручного за руки.

— Да вот папаша не застал хозяина и собирается все здесь перебить,— бессовестно врал подручный.

— Ты не имеешь права ломать инструмент. Раз хозяина нет, дождись его,— сказал Дьенгу мужчина, разнимавший их.

Вытирая окровавленное лицо, Дьенг с трудом объяснил, как все произошло.

— Все равно, ты неправ,— строго повторил примиритель.— Нельзя затевать драку в чужой мастерской. Беда с этими марабутами, у них все не как у людей.

Сквозь толпу любопытных пробивалась молодая женщина в головном платке, завязанном сбоку.

— Кэбе, что случилось? — спросила она, и по выговору видно было, что эта женщина из племени ндар-ндар.

Кэбе — парень, который отчитывал Дьенга, обернулся.

— Да ничего, Бугума. Малик тут поколотил одного святошу.

— О аллах! — воскликнула женщина, всплеснув руками.— Он весь в крови. Как избили-то его! Видно, у людей Амбруаза теперь в моду вошло драться.

— Пойдем со мной, я дам тебе умыться, я рядом живу,— сказала Дьенгу женщина постарше, глядя на него с жалостью.

Дьенг последовал за ней, по дороге рассказывая, как все было. Умывшись, он сел на лавочку у дома женщины и стал, не отрываясь, смотреть на дверь фотографа.

Через час он завидел вдали Амбруаза. Маленький человечек шел бодрым шагом, здороваясь со всеми, кто попадался ему навстречу. Он, видимо, чувствовал себя здесь как дома.

— А-а, пришел, старый колдун,— сказал он Дьенгу по-французски.

Однако увидев, в каком состоянии его ателье, человечек перестал улыбаться, лицо его сразу вытянулось. Гнев его был подобен извержению вулкана. Подручный никак не мог привыкнуть к этим внезапным вспышкам ярости. Из уст фотографа полился поток чудовищных ругательств, оскорблявших благочестивого Дьенга.

— Хозяин, это все он, клянусь тебе, он! — твердил Малик.

Дьенгу случалось видеть людей в гневе, но фотограф представлял собой редкий экземпляр. Его лицо и шея вздулись; иссиня-черная кожа стала серой; налитые кровью, прыгающие глаза вылезали из орбит; отвисшая нижняя губа дергалась, открывая испорченные зубы.

— Хозяин, я говорил ему «подожди», а он и слушать не хотел. Вот что он наделал,— приговаривал Малик, подливая масла в огонь.

Амбруаз продолжал изливать проклятия на голову всех Дьенгов, живущих на земле. Его зычный голос и воинственный тон привлекали внимание прохожих.

— Убирайся! Убирайся, или я не знаю, что с тобой сделаю! Думаешь, твоих несчастных двухсот франков хватит, чтобы возместить мои убытки? Дурак!.. Невежда!..

Амбруаз выкрикивал всякие ругательства на разных языках. Недаром он увлекался чтением детективных романов и был завсегдатаем кинотеатров, где показывают низкопробные французские, американские, английские, индийские, арабские фильмы,— это сильно обогащало его язык.

Дьенг стоял в оцепенении. Он попытался ответить, но где ж ему было отбить атаку фотографа! Тогда он замолчал и вместе с зеваками стал слушать, как ругается его противник.

— Уходи, друг,— посоветовал кто-то в толпе.

— Но он же мне должен,— ответил Дьенг, ища глазами поддержки у пожилого человека в ярко-желтой одежде и в светло-коричневой шапочке. И он снова стал объяснять: — На днях я заказал ему фотокарточки для удостоверения. А он и его подручный отказываются выдать их мне. Тогда пусть деньги вернут.

— Этот Амбруаз известный жулик и скандалист! А полиция почему-то никогда не трогает его,— сказал кто-то в толпе.

Амбруаз подскочил и завизжал, как свинья, которую режут:

— Кто это сказал? Какая мразь это сказала? Пусть покажется. Из-за этого старого болвана я потерял больше тридцати тысяч! Посмотрите, какой разгром! Я еще в суд на него подам.

Дьенг поднял на фотографа глаза, потом на человека в коричневой шапочке и сказал:

— В нашей стране нет закона. Послушай, хозяин, ведь ты мне должен, и ты же не даешь мне слова вымолвить.

— Уходи-ка отсюда, приятель, подобру-поздорову,— сказал человек в коричневой шапочке. И, глядя в глаза Дьенгу, повторил ровным голосом: — Советую тебе уйти.

По тому, как сжалось и заколотилось сердце, как кровь горячей волной побежала по телу, Дьенг понял, что ему грозит опасность. Уж не сказал ли он чего-нибудь лишнего?

— Это шпик,— испуганно сказал кто-то, и толпа сразу же поредела.

— Но ведь он должен мне,— начал было Дьенг, умоляюще глядя на человека в шапочке.

— Тебе в какую сторону? — спросил тот властным тоном.

Дьенг стоял как во сне. Ноги у него будто свинцом налились. Язык не слушался. Наконец он опомнился, стряхнул с себя оцепенение. Оставаться — значило подвергать себя новым унижениям. Эта мысль, нестерпимая для мужского самолюбия, подстегнула его, он выбрался из окружавшей его толпы и совсем как ребенок ответил человеку в шапочке:

— Туда.

Тот кивком головы приказал ему идти. Отойдя шагов на двести, Дьенг обернулся: человек в шапочке, не двигаясь с места, наблюдал за ним.

Нужно понять Ибраиму Дьенга. Долгие годы ему приходилось повиноваться, не рассуждая; он привык уклоняться от всего, что могло причинить ему неприятности. Ударили кулаком по лицу — такова воля аллаха. Лишился денег — тоже воля аллаха. Значит, было предначертано, что они попадут в чужой карман. А если оказывается, что нечестные люди берут верх над честными, то в этом повинно время, в которое мы живем, а не аллах. Просто люди теперь перестали жить по древним заветам. И чтобы позабыть о своем унижении, Дьенг тоже взывал к всемогуществу аллаха: аллах был для него прибежищем во всех горестях. В каком бы отчаянии он ни был, непоколебимая вера всегда поддерживала его — в пустыне струился ручеек надежды, пробиваясь сквозь сомнения, охватывавшие Дьенга. Завтра жить будет лучше, чем сегодня, в этом он не сомневался. Но увы!.. Ибраима Дьенг не знал, кто же будет творцом этого лучшего завтра, в которое он верил.

■

И одежда и обувь в крови. Разве можно показаться соседям в таком виде! Ведь Дьенг понимал, какое почтение должны чувствовать к нему люди с тех пор, как пришел перевод. Вот уже неделю он все время был один, один он должен переносить и трудности. Опустив тяжелую голову, он пробирался по своей улице от дома к дому. Ему повезло: никто его не заметил.

Он проскользнул в свою дверь.

Навстречу ему бросилась Арам; быстрым взглядом блестящих испуганных глаз она окинула мужа с головы до ног. Она засыпала его градом вопросов. Дьенг отвечал на них молчанием. Сердце женщины сжалось от тревоги.

Дьенг подошел к постели и лег; потом стал стонать, все громче и громче. Из носа опять пошла кровь. Обхватив руками голову, Арам закричала жалобно и протяжно.

— Да не плачь! Ничего страшного не случилось,— сказал Дьенг, вытирая кровь краем одежды.

— Но что с тобой?

— Да ничего! Перестань вопить. Всполошишь соседей.

— О аллах, он умирает! — закричала Арам, увидев кровь, и бросилась из дома.

Во дворе она запричитала еще громче; сбежались соседи, спрашивали, что случилось.

— Он в доме, он умирает, из него течет кровь, как вода из колонки,— отвечала Арам.

В комнату ворвалась Ногои, сухонькая, но все еще подвижная старушка, за ней вбежала Мети. Соседи угрюмо ждали во дворе. В последние дни о семье Дьенга было много пересудов, и каждый, не признаваясь себе в этом, в глубине души желал ей зла.

— Он умирает! — хныкала Арам.

— Его хотели убить! Только он получил перевод, как трое мужчин набросились на него,— громко объясняла Мети. Увидев, что ее слова произвели впечатление, она жалобно продолжала со слезами в голосе: — Если бы это были хоть наши деньги, аллах свидетель, мы бы меньше горевали. А это деньги племянника, он работает в Париже. Мать его уже приезжала за своей долей. Пришлось нам заложить у Мбарки серьги Арам, чтобы отдать невестке ее часть. А теперь мы все потеряли, даже уважение нашего квартала, и все из-за этого перевода.

Соседи ответили ей вздохом сострадания.

— Не плачь, Арам, и ты, Мети, не плачь,— уговаривала одна из соседок.

— На нашей улице все воображают, будто мы только о себе думаем. Будто нам плевать на соседей.

— Не говори так, Мети! Ты нас обижаешь. О переводе, правда, говорилось всякое. Что делать! Если у тебя семья голодает, поверишь любым россказням. Сама знаешь, осудить всегда легче, чем понять.

— А все потому, что нам есть нечего,— сказала, утирая слезы, женщина в старой, совсем изношенной кофте.

Языки развязались, в толпе заговорили о том, о чем принято помалкивать: о взяточничестве, о кумовстве, о безработице, о бездействии властей. Голоса раздавались все громче; отчаянно жестикулируя, люди прикидывали, сколько грабители отняли у Дьенга.

— Потерять сто тысяч франков за один день!

— Я слышал, ему прислали пособие по безработице за целый год. Он ведь больше года без работы.

— Теперь племянник, наверное, самолетом прилетит из Парижа.

— Будем надеяться, что он добрый мусульманин и простит своего дядю.

И снова заговорили о беспорядках: о продажности чиновников, о распутстве, о доносах.

Из дома вышла старуха Ногои:

— Заснул. В его возрасте потерять столько крови! О аллах, в какой стране мы живем! Давно я живу на свете и никогда не выезжала из Дакара, а прямо скажу: мне сейчас кажется, будто я в чужие края попала.

Через час, а то и позже, когда уж совсем стемнело, соседки разошлись. В доме все замерло; только на кухне в очаге печально тлели остывающие угли.

Два дня Дьенг пролежал дома и все два дня не переставая думал о том, как ему быть теперь с переводом. Но чем больше он думал, тем меньше представлял себе, что делать. Все перепуталось у него в голове. Это был какой-то замкнутый круг. Да, люди, оказывается, хуже, чем он считал до сих пор, гораздо, гораздо хуже; они смотрят на чужое добро, как на свое. Недаром говорится: «Плут живет за счет разини».

Соседи, его сверстники, возвращаясь с молитвы, заходили к нему поболтать. Все, казалось, поверили рассказам Мети. Но, оставаясь один, Дьенг досадовал на свою первую жену за ее выдумку. Как теперь быть? Ведь ему нужно опять приниматься за хлопоты, нужно найти где-то хотя бы триста франков на фотокарточку и пятьдесят на марку. Теперь, когда уже столько потрачено, нельзя же допустить, чтобы перевод отослали обратно. До срока остается еще четыре или пять дней.

На второй день, к полудню, он уже все окончательно обдумал. Дети, как обычно, играли на улице. Он стал сурово выговаривать Мети за ее вранье, но она возразила:

— Теперь, по крайней мере, тебя оставили в покое. Тебе не нужно без конца повторять: «Аллах видит, у меня нет денег!» Напрасно ты клялся, призывал в свидетели аллаха и его пророка Мухаммеда — все равно тебе никто не верил. Одни говорили, что ты получил пособие по безработице. Другие, что племянник перевел тебе двести тысяч франков на постройку дома. С нами, твоими женами, люди перестали разговаривать. У колонки соседки то и дело просили: «Дай в долг кило риса», «Одолжи сто франков» или еще что-нибудь. Просто надоело отвечать всем одно и то же. Говоришь им правду, а они не верят. Известно, правдой теперь ничего не добьешься!

— И все-таки нужно всегда говорить правду. Как она ни горька, а нужно. Вот теперь что я буду говорить людям? Ты же знаешь, перевод-то еще на почте.

— Теперь ты можешь спокойно хлопотать, и никто не будет за тобой шпионить. Ведь некоторые нарочно приходят взглянуть, что варится у нас в горшке, чтобы потом говорить: «Ну вот, они получили деньги...» Зачем ты обвиняешь меня во лжи? Разве я солгала из корысти? Я хотела, чтобы люди не желали нам зла. А потом, не забудь, Арам пожертвовала серьгами ради твоей сестры. Срок-то заклада уже истек.

— Знаю, знаю. Нечего напоминать и упрекать меня, будто я сестру люблю больше, чем жен.

— Ибраима, прости меня,— вмешалась Арам,— о серьгах никто не напоминает. Бог даст, получишь деньги и купишь мне другие. От смерти никакие драгоценности не спасут, а от бесчестья — могут спасти. А наше добро — твое добро. Но Мети права — прости, что я тебе возражаю. У нас с ней просто уж сил не было отказывать всем просящим. Все кругом говорили, что мы живем только для себя. Будто мы виноваты в том, что они голодают.

— Жить среди людей и чувствовать, что они тебя ненавидят, невыносимо,— добавила Мети.— Да разве мы одни скрываем правду? Все кругом друг друга обманывают. А почему? Людям не на что кормить семью. И не то чтобы все стали хуже,— нет, жизнь теперь иная, чем во времена нашей молодости. Сколько людей дожидаются ночи, чтобы украдкой внести в дом купленный мешок риса. А все почему? Не хотят ни с кем делиться.

— А что я скажу, когда узнают, что перевод все еще на почте?

Мети подняла голову; концы ее криво повязанного головного платка вздрагивали; видно было, как тряслись ее губы. В глазах ее мелькнул злой огонек: «Что он, в самом деле глуп или нас дурами считает?»

— Когда настанет этот день, скажи, что Мети соврала.

— И я,— проговорила Арам.

Под их дружным натиском Дьенг сдался. «Придется лгать до конца»,— решил он.

Еще слабый, с ввалившимися щеками, он медленно брел по улице. Дойдя до конца ее, он огляделся по сторонам и повернул за угол, к лавке Мбарки.

— А-а, Ибраима... Дьенг,— вдруг возник перед ним Горги Маиса.— Как здоровье?

— Слава богу.

Маиса, наморщив лоб, недоверчиво поглядывал на Дьенга. Тот привычным движением отвел руки назад, ловко поправляя складки широкого ярко-синего одеяния.

— Как же тебе не повезло!.. Где это случилось? Прямо трудно поверить.

— Я и сам с трудом верю. Да... У нас сейчас легче вору живется, чем честному человеку.

Горги Маиса слушал его, раскрыв рот, показывая потемневшие от колы зубы, и кивал головой. Солнце зажигало серебристые точки вокруг его зрачков; в уголках глаз и вдоль щек загрубевшую кожу бороздили морщины. Выслушав Дьенга, он пожал плечами.

— Может, в твоем случае ты и прав, но зачем же всех на один аршин мерить? Разве можно ко всем с одной меркой подходить?

— Раз все никуда не годятся, с какой меркой ни подходи, все будут плохи,— мрачно ответил Дьенг. С этими словами Дьенг распрощался с Маисой и вошел в лавку Мбарки; тот отпускал продукты двум женщинам; ответив с подчеркнутой вежливостью на учтивое приветствие Дьенга, он сказал:

— Хотя этот проклятый срок заклада истек, я сам хотел зайти повидать тебя. Тебе Арам не передавала от меня привет?

— Передала... сегодня утром.

— Это что-то невероятное! До чего мы дойдем, если так будет продолжаться! Отнять бумажник среди бела дня! Полиция должна найти грабителей. Это ее дело. Ты подал жалобу?..

Одна из женщин, Даба, по прозванию Чернушка, пересчитывавшая банки купленного ею сгущенного молока, обратила к Дьенгу широкое лицо с резкими чертами.

— Да, ты прав, я уже об этом думал сегодня утром.

— Тебе надо было сразу же заявить. А то найдутся люди, которые не поверят,— добавил Мбарка и повернулся к покупательнице.— Даба, можно подумать, что это не деньги, а простые бумажки — так ты их мнешь и комкаешь.

— Не хочешь брать, оставь мне. Уж я-то не побрезгаю.

— Ох и колючка же ты, Даба! Ты ли тронешь, до тебя ли дотронься — все равно до крови.

— А чем тебе плохи мои бумажки? Мало того что обираешь людей, тебе еще подавай деньги на серебряном блюде.

— Так что же мы с тобой будем делать, Ибраима? — спросил Мбарка, чтобы переменить разговор.

— Подожди еще немножко.

— Видишь ли, приятель... Ты ведь знаешь, все эти товары не из нашей страны. У меня есть поставщики. А они — не то что я. Они знают только одно — срок платежа. Я-то с тобой еще канителюсь, а другие... Ведь вот пропал твой заклад.

— Что делать, уговор дороже денег,— проговорил Дьенг, опершись о прилавок. Он не знал, что же сказать теперь Арам о серьгах.

— Кстати, Дьенг, меня просили с тобой поговорить, узнать у тебя одну вещь...

Мбарка наклонился и шепнул ему что-то на ухо. Лицо Дьенга налилось кровью, он помрачнел.

— Никогда! — воскликнул он.— Никогда! Продать дом, чтобы расплатиться с тобой? Вот что ты предлагаешь? Скажи тому, кто просил тебя со мной поговорить, что Ибраима Дьенг никогда не продаст свой дом. Никогда! Быть бедняком — это еще можно терпеть, но быть бездомным бедняком — это смерть!..

— Не кричи.

— И ты имеешь наглость?..

— Ты мне должен деньги или нет? Мне плевать на твой дом, но раз должен — плати. И все!.. А то ведь орать и я могу. Вырядился и позволяет себе... Раньше, когда ты стучался ко мне за горсточкой риса, ты вел себя потише.

— Ты отпускал мне в долг, потому что я всегда потом платил. Но все знают, что ты вздуваешь цены.

На крик сбегались люди, в лавке становилось все теснее.

— Можешь подыхать с голоду, и ты и твоя семья. Никому больше в долг не стану давать. Клянусь предками, ты мне за все заплатишь. Я в полицию пойду.

— Ну идем в полицию! Идем! — кричал Дьенг, хватая его за руку.

— Пусти меня!.. Говорю тебе, пусти.

— Идем!

— Ты заплатишь мне, клянусь! И раз так, никому больше ни за что не отпущу в долг.

— Мбарка, при чем же тут мы? — вмешался Ибу.— А тебе, Дьенг, следует быть посговорчивее, раз за тобой долг.

— Мне надоело, Ибу, быть сговорчивым. И не вмешивайся, ведь я не тюфяк, сам за себя постою. А ты бы продал свой дом? Ну, говори?..

— Да меня только просили узнать! Вот и все. Ты должен мне, а кричишь больше, чем я. Говоришь, на тебя напали? Врешь. Просто задумал потихоньку истратить деньги, которые получил по переводу. Но от меня ты не увернешься, ты мне заплатишь.

При этих словах Дьенг, которому уже казалось, что окружавшая его в последние дни стена враждебности исчезает, обвел глазами толпу, ища сочувствия, но встретил недоверчивые и осуждающие взгляды.

— Да я же был с ним, Мбарка, когда его ограбили. Зачем настраивать людей против него? — сказал Горги Маиса, проталкиваясь к прилавку и кивая в сторону Дьенга, который стоял, опустив голову.

— А я все равно не верю. И ты мне заплатишь, мне даже не придется для этого выходить из лавки.

— Не говори так, Мбарка!

— Оставь его, все же знают, что Мбарка водится с темными людьми.

— Не ваше дело! Никому больше не дам в долг.

— Но ведь наши-то мужья платят. Мой, например, вчера заплатил,— возразила какая-то женщина.

— Конечно, если задолжал, нужно платить. И нельзя должнику язык распускать, повежливее надо разговаривать с кредитором,— сказала Даба.

— А ты, Даба, всегда заодно с этим вором Мбаркой,— вмешалась Мети, за которой кто-то уже сбегал к водоразборной колонке.

— Я не с тобой разговариваю, Мети.

— Зато я с тобой разговариваю,— отвечала Мети, становясь прямо перед Дабой. Несмотря на возраст, Мети была известна своим умением

вести перепалку. Оставив в покое Дабу, она повернулась к лавочнику: — Сколько мы тебе задолжали, мы помним. Долг свой заплатим!.. Но не можем же мы только ради твоего удовольствия разрезать себя на куски.

— Мети, помолчи, это не женского ума дело. Я говорю с твоим мужем. Он мне должен, его имя тут у меня, в списке...

— Как раз это мое дело, ведь он мне муж, и за продуктами ходила я, а не он. Ты все подсчитал, я — тоже. А что касается перевода, я вижу, у тебя уже слюнки потекли. Так утрись — деньги украли.

Мети совсем разошлась; вытянув руку, она старалась ткнуть указательным пальцем прямо в лицо Мбарке.

В толпе чувствовалось все больше сплоченности.

— А все деньги! С ума можно сойти, сколько скандалов из-за них с тех пор, как у нас Независимость,— сказал какой-то мужчина, проталкиваясь к прилавку, чтобы лучше видеть, что происходит.

— Да будет проклят тот, кто их выдумал! — поддержала женщина, стоявшая рядом.

— И верно, с некоторых пор у нас все меряют на деньги,— сказал кто-то сзади.

— А ведь нужны-то они только на то, чтобы жить, кормить семью.

И вдруг толпу всколыхнул взрыв смеха: это Мети трижды выругалась по-французски. «Дерьмо!» — кричала она.

В это время всеобщее внимание привлек тощий старик Баиди. Длинный и худой, он тоже протиснулся в лавку и с высоты своего роста оглядывал толпу. Несколько дней назад, вернувшись от Дьенга с пустыми руками, он сказал женам:

— Скорей умру с голоду, чем еще раз обращусь к Дьенгу.

И сейчас он заявил нравоучительным тоном:

— Что правда, то правда: если брал в долг, расплатись.

— Погонщик ослов всегда заступается за того, кто даст ему сена. Невелика заслуга уплатить долг, если есть чем,— напустилась на него Мети, все еще не желая успокоиться, несмотря на уговоры мужа и соседей.

— Когда мужчина теряет власть над женой, он в бабу превращается,— ответил Баиди, глядя в упор на Дьенга.

— Мужчина превращается в бабу, если он только болтает языком. Мужчины бывают разные,— отрезала Мети.

Старик счел за лучшее промолчать.

Но женщины дружно поддерживали Мети. Столпившись вокруг нее, они ругали лавочника на чем свет стоит.

У двери остановилась черная машина. Мягкой, крадущейся походкой в лавку вошел Мбайе. Благодаря своей репутации делового человека и европейской одежде он имел известное влияние в квартале.

Спокойный и уравновешенный, он за четверть часа сумел всех умиротворить. Люди разошлись. Выходя вместе с Дьенгом, Мбайе сказал:

— Дядюшка Дьенг, а я тебя ждал сегодня утром.

— Я хотел было к тебе зайти, да вот попал сюда...

— С этим кончено,— прервал его Мбайе,— зайди ко мне сегодня в два часа.

Он сел в машину, завел мотор, и когда отъехал, к Дьенгу подошел Горги Маиса.

— Этот Мбайе — важная особа,— сказал он.

— Спасибо тебе за поддержку...

— Да пустяки, не стоит благодарности. Нужно же помогать друг другу в беде. А то, знаешь, злой язык хуже острого копья.

Машина Мбайе свернула в ближнюю улицу.

Мбайе принадлежал к тому поколению, которое в определенных кругах называют «Новой Африкой» и у которого логический ум европейской выучки странным образом сочетается с некоторыми чертами арабского национального характера и с негро-африканским темпераментом. Это был делец — маклер по разным делам; за каждую услугу он брал определенную сумму, смотря по важности сделки. О нем говорили, что нет узла, который бы он не взялся развязать. У Мбайе был особнячок на южной окраине города, две жены, одна — христианка, другая — мусульманка, была собственная машина. Иными словами, он занимал в обществе довольно высокое положение...

■

Вилла Мбайе высилась среди лачуг и старых бараков. В гостиной, заставленной креслами, стульями, вазами с искусственными цветами, преобладали голубые тона. Дьенгу открыла Тереза, жена-христианка, и провела его в эту нарядную гостиную. Тереза собиралась идти на работу; она была в цветастом платье и причесана под Брижит Бардо.

— Мбайе отдыхает,— прощебетала она по-французски.

Видя, что Дьенг весь в поту, Тереза включила вентилятор. Дьенг с завистью оглядывал обстановку и думал: «Вот как живут люди! Абду, наверно, тоже так устроится, когда вернется из Парижа».

Прошло больше десяти минут. Наконец Мбайе вошел в гостиную, на ходу завязывая галстук.

— Ты уже здесь!.. Тереза, что же ты меня не разбудила? Сказала бы, что ко мне пришли,— упрекнул он жену, которая с нетерпением поглядывала на дверь.

— Ты ведь, дружок, меня не предупредил,— ответила она опять по-французски.

Мбайе, с почтительностью младшего по отношению к старшему, стал извиняться.

— Да ничего, я ведь пришел немного раньше, чем мы условились. И потом я знаю, ты же устаешь.

Мбайе, стараясь, однако, не слишком перебарщивать, стал сетовать на бешеные темпы современной жизни.

— Право, совсем некогда отдохнуть. А врачи посылают меня во Францию полечиться.

Вошла служанка, принесла на подносе кофе.

— Принеси еще чашку для дядюшки.

— Спасибо, я не пью.

За окном трижды раздался автомобильный гудок, и Тереза вскочила с места:

— Не забудь выключить вентилятор. До вечера!

— Послушай, позвони тому типу. Скажи, что я еду в Рюфиск.

— Ладно. Пока!

— Ну и ну! — удивился Дьенг.

— Что ж, это результат прогресса в нашей стране. У женщин теперь равные права с мужчинами.

Сказав это, Мбайе принялся потягивать кофе, а Дьенг поведал ему обо всех своих злоключениях, рассказал даже о выдумке Мети.

— Женщины иногда бывают просто гениальны! Мы сейчас отправимся с тобой в полицию. И сначала оформим доверенность на мое имя для получения перевода. Ведь выправить тебе удостоверение личности мы уже не успеем. А заверить доверенность в полиции совсем не сложно. Не позже чем послезавтра ты получишь свои деньги.

— Иншалла *! Я целиком полагаюсь на тебя. Спасибо!

---

* Если пожелает аллах *(арабск.)*.

— Ну, моя заслуга невелика,— скромно ответил Мбайе,— будем надеяться, что перевод не отошлют обратно твоему племяннику.

Допив кофе, он остановил вентилятор. Вошла первая жена, одетая по-африкански. Поздоровавшись с Дьенгом, она отозвала мужа в сторону и стала что-то ему говорить.

Дьенг чувствовал себя на седьмом небе от радости. Он не знал, сколько потребует Мбайе за услугу. И не представлял себе, сколько надо ему дать. Тысячу франков? Мало для такого человека, как Мбайе. Пять тысяч? Это уж чересчур. Две, три, четыре? А-а, ладно, там посмотрим!

Выправив на почте доверенность, Мбайе повез его в полицию. Всю дорогу он, не умолкая, давал ему различные советы в отношении Абду, а Дьенг, сидя рядом, кивал головой. Как и говорил Мбайе, в полиции все уладилось быстро. Доверенность была написана и заверена.

— Теперь, дядюшка, все в порядке. Сейчас я спешу, у меня деловое свидание в Рюфиске. Вечером вернусь. Завтра утром я сам отправлюсь на почту.

— Да поможет нам бог! — сказал Дьенг.

— Да поможет нам бог! — повторил Мбайе.— Завтра в полдень приходи ко мне.

— Приду. Не знаю, что бы я делал без тебя.

— Так и должно быть, дядюшка. Нужно помогать друг другу. Послушай, возьми такси, а то я не могу сейчас тебя подвезти.— И Мбайе протянул ему кредитку в пятьсот франков.

— Да нет, нет! — запротестовал Дьенг.— Я и пешком могу дойти.

— Все равно возьми.

Дьенг не чуял под собой ног от радости. Завтра он наконец получит деньги. Положив пятьсот франков в карман, он решил заглянуть к писцу.

Доехал он автобусом «экспресс». На почте народу было немного. Перед писцом сидел только один клиент. Старик писец не узнал Дьенга. Тогда тот напомнил ему о пятидесяти франках и вернул долг. Писец поправил очки и стал под его диктовку писать шариковой ручкой:

«Дакар, 19 августа 196 . . .

Дорогой племянник!

Пишу тебе, чтобы узнать, как ты поживаешь. У нас все хорошо, слава аллаху. Мы все тебя помним и молимся за тебя.

Я, наконец, получил твои деньги. Когда перевод пришел, у меня не было удостоверения личности. Слава аллаху, теперь все в порядке. Приезжала твоя мать. Она здорова. Она уже уехала. Пробыла у нас один только день, так как в поле много работы. Я дал ей три тысячи франков. Она благодарит тебя, шлет привет и молится за тебя. Она просит также прислать ей денег на одежду и на уплату налога. Нынче все налоги у нас повысились. Да, кроме того, в прошлом году был плохой урожай. А ты у нее один кормилец на свете.

Что до меня, я не перестаю молиться за тебя. Получив деньги, я распорядился ими, как ты мне указывал в письме. Если богу будет угодно, деньги твои дождутся тебя здесь, даже если аллах призовет меня к себе. Спасибо, что подумал обо мне, что доверяешь мне. В наше время доверие не в ходу между людьми. Прошу тебя еще, не считай, что в деньгах смысл жизни. Если ты станешь так думать, то пойдешь по ложному пути и рано или поздно останешься одиноким. Деньги не объединяют людей. Наоборот, они уничтожают все, что в нас есть человеческого. Не могу выразить, чего только я не передумал за эти дни».

Писец перестал строчить. Брови его удивленно поднялись над металлической оправой очков. Ему показалось, что голос клиента преры-

вается от волнения. Дьенг поднял голову; в глазах его блестели слезы; он и в самом деле плакал.

— Извини, друг, я племяннику пишу, в Париж. А он такой...

— Чего тут... Мне всякое приходится видеть и слышать.

— Еще сегодня утром я думал, что у нас сейчас легче вору живется, чем честному человеку...

— Так, я слушаю,— сказал писец, заметив, что его ждет еще один клиент.— Ты остановился вот на чем: «Не могу выразить, чего только я не передумал за эти дни».

«Еще раз спасибо за доверие. Я этого никогда не забуду. Тетки твои, Мети и Арам, тебе кланяются, а также и все мои домашние. В следующем письме пришлю тебе гри-гри. Хоть ты и не в Дакаре, а все-таки должен беречь себя от дурного глаза. У нас здесь есть настоящий марабут, и я зайду к нему насчет гри-гри. Очень рад, что ты молишься пять раз в день, как и подобает. Делай так и впредь. Не забывай, что в Париже ты чужой. А здесь у каждого парня твоего возраста есть своя вилла.

Больше мне нечего тебе сказать, ты ведь взрослый.

Твой дядя

Ибраима Дьенг».

— Адрес какой? — спросил писец после того, как перечитал письмо Дьенгу и заклеил конверт.

Дьенг стал рыться в карманах.

— Наверно, оставил дома.

— Ну ничего, держи. Попросишь кого-нибудь написать адрес.

На улицу Дьенг вышел в прекрасном настроении и, проявив щедрость, подал десять франков старику прокаженному.

Дома он великодушно простил Мети оскорбительные выражения, которыми она осыпала такого старого человека, как Баиди.

— Я ведь понимаю, тут была затронута честь нашей семьи, и к тому же на людях...

Потом он отправился в мечеть. И там, при свидетелях, извинился перед Баиди, хотя тот уверял, что совсем не сердится.

— Я хочу все-таки быть спокойным, что ты меня простил! Что и семью мою простил,— повторял Дьенг, умиляясь собственным великодушием.

— Говорю же тебе, не сержусь.

— Альхамду лилла! Да простит нас аллах, а я тебе тоже прощаю.

— Аминь! Аминь!..— говорили присутствующие. Истинные мусульмане всегда должны так поступать: не давать себе возгордиться, прощать ближнему. Да поддержит нас аллах на этом пути.

Однако Горги Маису многоречивость приятеля казалась подозрительной, и, стоя в стороне, он недоверчиво поглядывал на Дьенга.

С молитвы они возвращались вместе, но на все вопросы Дьенг отвечал уклончиво. Поэтому поздно вечером Маиса прокрался к его дому: кто знает, может, он все-таки получил деньги и ночью будет таскать к себе мешки с рисом. Он просидел напрасно у дома Дьенга несколько долгих томительных часов.

На другой день, не находя себе места от радостного ожидания, Дьенг обошел все дома на своей улице, как человек, который ищет поддержки у ближнего. В каждом доме с ним сочувственно поговорили о его несчастье и постарались подбодрить. А он всем повторял:

— Было бы только чем прокормить семью. Когда все будут сыты, в сердцах воцарится мир.

Сунув руку в карман, он каждый раз нащупывал там письмо к Абду. Конверт уже смялся, и он думал: «Ничего, Мбайе даст мне другой».

Вернувшись домой, он позвал Мети:

— Не видела письма Абду?

— Я — нет... Спроси у Арам.

— Я тоже не видела. Поищи в своих бумагах.

— В этом доме ничего нельзя найти. Я же помню, что положил его здесь...— ворчал Дьенг на своих домочадцев, но быстро нашел письмо в одном из карманов.

После молитвы он отправился к Мбайе.

— Здравствуйте, дядюшка,— встретила его Тереза.— А вашего приятеля нет дома.

— Он ничего не просил мне передать?

— Просил,— ответила она, поправляя прядь волос, выбившуюся из ее сложной прически.— Я как раз жду машину, чтобы отвезти вам мешок рису. Мбайе оставил его для вас. Нам сегодня утром привезли.

Дьенг ничего не понимал.

— Тут какая-то ошибка,— наконец проговорил он.

— Нет-нет, дядюшка, я не ошиблась. Мбайе оставил мне записку. Проклятый шофер, никогда не приезжает вовремя! Идемте пока в дом.

— А когда он вернется? — спросил Дьенг, садясь на свое вчерашнее место.

— Мбайе ничего не сказал, дядюшка. Он уехал в Каолак.

— Может, вечером вернется?

— Не знаю, дядюшка. Погодите-ка, спрошу у первой жены.

Через минуту она вернулась:

— Она тоже ничего не знает.

— Я зайду попозже,— сказал Дьенг, вставая. Он чувствовал себя так, как будто на плечи ему взвалили тяжелую ношу.

— Рис не возьмете, дядюшка?

— Нет, подожду, пока Мбайе вернется.

До поздней ночи он ходил до дома Мбайе и обратно, но все впустую. И с каждым разом в нем все больше закипала злость. Дома жены не осмеливались заговорить с ним. Он весь дрожал от сдерживаемой ярости.

На следующее утро, с рассветом, он уже был у дома Мбайе и перебирал четки, читая утреннюю молитву. Около восьми часов служанка провела его в гостиную. Первая жена Мбайе со следами песка на лбу (она, видимо, только что окончила утреннюю молитву) велела ему подождать. Меньше чем через полчаса Мбайе вышел, уже одетый, с портфелем в руках.

— Мне говорили, что ты вчера приходил. Извини меня, я ездил в Каолак.

— Я знаю, что ты занят,— ответил Дьенг.

Увидев Мбайе, он приободрился, в душе вновь вспыхнула надежда. Вся его досада, все тревоги прошлой ночи рассеялись, как дым.

— Что ж ты не взял мешок рису? — начал Мбайе.

Но в это время служанка принесла завтрак.

— Пошевеливайся,— сказал он ей,— да подай то масло, которое завернуто в бумагу; то, что в масленке, прогоркло. Хочешь кофе, дядюшка?

— Нет, спасибо.

— С молоком,— настаивал Мбайе.

— Спасибо. Я по старинке пью отвар кенкелиба.

— А я поклонник кофе. Так вот... Не знаю, как сказать тебе. Ты ведь мне дядя!.. Да, сначала о рисе. Это я проезжал мимо лавки одного знакомого сирийца, а он только что получил рис. Вот я и взял для тебя, вспомнил, как Мбарка тебе угрожал.

— А я никак не мог понять, в чем дело.

— Ну да, естественно. Но женщинам я ведь не мог всего объяснить. Ты же знаешь, какие они.

Потом Мбайе начал не торопясь, старательно втолковывая:

— Деньги по переводу я действительно получил еще вчера. Но мне потом понадобилось съездить в Каолак, по одному неотложному делу. Приезжаю туда, ставлю машину напротив рынка, ты ведь знаешь Каолак? Город мошенников! Так вот, вылезаю из машины, прохожу по рынку, хочу купить, уж не помню что, лезу в карман за бумажником... Пусто! А там было не только твоих двадцать пять тысяч франков, но и моих шестьдесят.

— Но... как же?..— начал было Дьенг, не в силах больше вымолвить ни слова.

Мбайе обмакнул хлеб в кофе. Дьенг, не отрываясь, смотрел, как двигаются его челюсти.

— Да вот так.

Взгляды их скрестились.

— Ты как будто не веришь мне, дядюшка? Но все, что я сказал,— правда, чистая правда. Клянусь аллахом! В конце месяца я верну тебе эти деньги. Вот, не делай добра, не наживешь врага.

— Нет, нет, сынок... Но ты пойми. У меня семья. Вот уже год, как я без работы. Да и деньги эти не мои.

— Думаешь, я тебя надул? Да я просто хотел помочь тебе, ведь Мети — мне родня.

Дьенг сидел как оглушенный, с трудом понимая, что случилось, и не находил в себе, как бывало раньше, никакого нравственного утешения. Он только машинально разводил руками, не в силах сказать хоть что-нибудь.

— Послушай, дядюшка, вот мой бумажник, у меня здесь пять тысяч франков, возьми их себе. На, бери... Я знаю, что деньги были не твои. Я сейчас отвезу к тебе мешок рису... Слушай, если бы я не знал тебя, я подумал бы, что ты в бога не веришь. Я верну остальное не позже чем в конце месяца... Но если тебе и раньше что-нибудь понадобится, не стесняйся, приходи.

Мбайе позвал служанку и сказал ей:

— Отнеси в машину мешок риса из той комнаты. Идем, дядюшка...

Что произошло с Дьенгом? Может быть, от потрясения он лишился воли? А может быть, разум его не выдержал такого резкого перехода от надежды к отчаянию? Как бы то ни было, но он пошел за Мбайе, смотрел, как грузят мешок, заметил:

— В этом мешке не сто кило, тут только пятьдесят.

— Да-да,— перебил Мбайе, похлопывая его по плечу,— но больше мне не удалось достать.

Машина довезла Дьенга до дому; с помощью Мбайе он выгрузил мешок. Перед тем как отъехать, Мбайе еще раз заверил, что вернет ему все.

Мешок лежал у двери; соседки, проходя мимо, поглядывали на него с вожделением. Одна, расхрабрившись, спросила у Дьенга:

— Это рис, Ибраима?

— Да,— ответил он.

— Правда, рис? Не дашь ли мне?

— А тебе нужно?

— Да, Дьенг.

— Ставь свою миску.

И он наполнил миску; за ней другие женщины стали подставлять кастрюли. Не произнося ни слова, он каждой давал риса. Меньше чем за минуту распространилась новость: Дьенг всех оделяет рисом.

Прибежали Мети и Арам. Не церемонясь, они оттолкнули от мешка чужие протянутые руки.

— Ибраима, ты что — с ума сошел? — закричала Мети.

— Это я раньше был сумасшедшим.

Под возмущенные возгласы соседок жены утащили мешок в дом.

— Идите по домам, все кончено,— повторяла Арам, вернувшись за мужем, который все сидел у двери, обхватив голову руками.

— Нет, я не сумасшедший,— проговорил Дьенг.

— Ибраима, что значит эта странная расточительность? — спросила Мети.— Где это видано, с тех пор как существует мир, чтобы бедняки швырялись рисом? Даже богачи не позволяют себе этого. А ты...

— Что «а ты»? — перебил ее Дьенг.— Это все твой Мбайе...

— Мбайе Ндиай?

— Да, Мбайе Ндиай! Я дал ему доверенность, а он украл у меня деньги. Вместо них он дал мне пятьдесят кило риса и пять тысяч франков.

— Как?.. А перевод?..

— А мои серьги?

— Арам, как ты можешь? Только о себе думаешь! Знаешь, сколько я потерял из-за этого перевода?

— А сколько я набрала в долг!

— Ты брала в долг, Мети? — спросил Дьенг, взглянув на жену.

— Да ведь те пятнадцать кило риса давно уже кончились.

— Но перевод-то был не мой.

— Мир этому дому!

— Мир тебе, Ба!

Почтальон стал рыться в сумке с письмами.

— Что тут происходит, Ибраима Дьенг? На той улице говорят, будто ты раздаешь рис.

Дьенг рассказал ему все. Сдвинув на затылок фуражку, Ба заметил:

— Да, такое можно сделать только с отчаяния.

— Нет, теперь кончено. Я тоже надену шкуру гиены.

— Ну что ты!

— Да-да, только обманом и мошенничеством можно добиться чего-нибудь. В наше время вору легче живется, чем честному человеку.

Ба передал ему письмо.

— Из Парижа. Видишь, печать? По-твоему, кругом одни воры? Ошибаешься. Не только ты, даже те, у кого есть работа, недовольны жизнью. Но скоро все изменится.

— Кто изменит? Я уж год как сижу без работы, потому что участвовал в забастовке. А у меня две жены, девять детей. Наживаются только воры.

— Ничего, скоро мы все это изменим.

— Кто это «мы»?

— Ты.

— Я?..

— Да, ты, Ибраима Дьенг.

— Я?..

Но тут подошла женщина с ребенком за спиной; она поздоровалась и, перебив Дьенга, начала:

— Хозяин, ради аллаха, помоги мне. Вот уже три дня я и мои дети едим только раз в сутки. Отец их уже пять лет безработный. Мне соседи сказали, что ты добр и великодушен.

Дьенг встал. Взгляд его встретился со взглядом Ба. Просительница смотрела на них обоих.

Все трое молчали.

М. Б. Б. ШАХ

ЖАТВА СТИХОВ

■

Перевод с английского
АНДРЕЯ СЕРГЕЕВА

Посвящение

Жизнь коротка — и все же
Необъяснима жизнь.
В дар получили мы жизнь и смерть —
Такова природа.
Поэт отстоит от своих стихов,
Стихи — это зыбкая тень
От сердца поэта.
Посвящаю мою ЖАТВУ СТИХОВ
Былому, которое вечно со мной,
Твоей благородной памяти...

■ ■ ■

Я не исчислю звезд,
Светом пронзивших ночь;
Оставшись с самим собой,
Себе не смогу помочь.

Я не забуду гроз
И придорожных камней —
Да и как я могу уйти
От ушедших навек дней?

Я помню: луна взошла,
И просветлел небосвод,
И я у источника ждал
И слышал: любовь идет.

Я встречи не помню той,
Она была коротка...
Но можно ль забыть, как руки
Коснулась ее рука?

■ ■ ■

Поскольку жизнь сама
Состоит из улыбок и слез,
Мужественно встречай
Грудью грозу любви.

А там пускай в стороне
Пески времен шелестят...
Чего же страшиться нам -
Надежда в груди жива.

Друзей потеряли мы
И слезы нашли взамен.
Но раз попросит любовь —
Всю кровь мы ей отдадим.

■ ■ ■

Я ночь без луны и звезд,
Дороги мои мертвы.
Я дерево на камнях,
Лишившееся листвы.

Иссохли ветви мои,
И корни лишились сил.
Я жалкий блеклый цветок —
Садовник меня забыл.

Я старый нищий слепец,
Вокруг которого мгла.
Я тот пустынный очаг,
В котором одна зола.

Несет меня жизнь, влачит
К обрыву на быстрине,
А берег души далек —
К душе не добраться мне.

■ ■ ■

Есть и радость в печали моей,
Не то что я просто к горю привык —
Оно охраняет память о ней,
И жалоб не выговорит язык.

Она прошла предо мной мечтой
И в мечтах моих навек ожила —
Так будь же благословенна за то,
Что горе вечное мне дала!

А так мне плохо, что на земле
Успокоенья душе не найти.
И я бреду за тобой во мгле,
Я на земле в пути, в пути.

▪ ▪ ▪

Исчез души моей покой,
И я с беспечностью простился,
Когда летучий образ твой
Во мне навеки утвердился.

Наверно, ты вошла в глаза,
Что столь кощунственно посмели
В бессмысленном своем веселье
Взглянуть без страха в небеса.

Скажи, зачем передо мною
Видений мир тогда возник,
Зачем сторожкою стопою
Подкралась ты на краткий миг?

Но искра прочертила тучи,
И небо расколол удар.
Вселенную объял пожар.
Зачем надежда не горюча?

▪ ▪ ▪

Трудно, а может быть, невозможно
Не думать о том, что лежит на сердце.
От этого не найти избавленья
В легкой шутке, в прощальной улыбке.

Если б я захотел об этом
Друзьям рассказать, поведать знакомым,
Может быть, я слова отыскал бы,
Но где отыскать созвучную душу?

Речь ведь идет всего лишь о сердце,
В котором всего лишь любви страданье,—
Просто поэту найти этот образ,
Трудно заставить людей поверить.

Ведь тот, чье сердце с моим созвучно,
Всегда обитает в иных пределах.
Тщетно ищу я у тех, кто рядом,
Такого созвучья и пониманья.

И я вызываю образ любимой,
Но мысль сбивается, мысль уходит.
Что пред глазами — увидеть просто,
Трудно увидеть то, что на сердце.

ЛИТЕРАТУРА, ДОКУМЕНТ, ФАКТ

Очередная творческая встреча в нашем журнале была посвящена документальной литературе и ее месту в литературном процессе наших дней. Вопрос этот вызывает сегодня немалый интерес и в читательской аудитории, и среди писателей и критиков. Не только литература, но и кино и театр самых разных стран дают богатый материал для наблюдений и размышлений на эту тему, материал, еще не систематизированный и почти не изученный. Участники встречи, естественно, не брали на себя задачи охватить проблему в целом и предлагать исчерпывающие ответы. Они, главным образом, ставили вопросы, дополняя друг друга, а часто и полемизируя друг с другом. При этом было высказано немало спорного и требующего дальнейшего изучения. Вместе с тем в ходе дискуссии, в которой сопоставлялись наблюдения над литературой различных стран, наметились подходы к решению затронутых вопросов. Некоторые предварительные выводы, которые можно сделать на основе обсуждения, изложены в кратком редакционном заключении, которым завершается публикация.

П. Палиевский

Документ в современной литературе

Есть несколько причин для распространения документа в современной литературе. Связать их трудно, поэтому лучше перечислить.

I. Художественную литературу читают, кажется, хуже, чем раньше; к ней относятся с большой осторожностью.

История дает то, что было, литература — то, что могло быть. Это отношение, которое определил еще Аристотель, может восприниматься и воспринимается теперь вот с какой стороны: раз оно могло быть, но не было, значит, в нем чего-то не хватало. Возможностей, в конце концов, всегда много. Они колеблются, обещая что угодно, и воображение готово их развить. Остается, однако, вопрос, почему одни из них осуществляются, а другие, и в том числе очень глубокие и прекрасные,— нет.

Поэтому современная трезвость, относясь к литературе с прежним уважением, доверяет ей меньше. Это похоже на отношение к человеку, который беспомощен, хотя и «всецело прав».

В документе она видит свободу от иллюзий. Если там отпечатывается жизнь, то возможности ее распределяет и оценивает реальность: это выглядит поучительней. Американцы отводят среди своих литературных изданий собственно художественным сочинениям не более 20 процентов.

II. Литература, конечно, и сегодня не утратила своих старых преимуществ. Но проявлять их в современных условиях стало труднее.

Раньше писатели умели пробиваться к таким возможностям, которых на поверхности не видно. Это, кстати, создало нашим литераторам дополнительные неудобства, когда современная массовая печать заставила их конкурировать с классиками, глубина прозрений которых оказалась ни с чем не сравнимой. Несмотря на обилие в литературе самых неотложных проблем, обследования ЮНЕСКО говорят, что в мире читают и переводят больше других Шекспира и Толстого. Это значит, что они не просто «остаются», а обгоняют нынешних, глядят во что-то еще более неотложное.

Но в наши дни поверхность, сквозь которую обязан писатель пройти, стала прочнее. Человек совсем не так доступен и открыт, как прежде. Можно предположить, что благодаря многочисленным и неудержимым исследованиям — художественным, философским, социологическим, медицинским и пр.,— которым подверг его XX век, в нем сильно развилось чувство существа, помещенного в центр внимания. Он затаился, ушел вглубь, как потревоженная рыба, и его скрытые внутренние расположения понять нелегко.

Особенно это касается тех свойств, которые обнаруживать невыгодно. В этом смысле человек давно — хотя, быть может, и бессознательно — научился у литературы, по способу племянника Рамо, который говорил, что изучает великих писателей для того, чтобы лучше скрывать свои пороки. Действительно, внешние их признаки, которые литература когда-то вывела на свет, давно разучены, и разоблачение их не задевает никого. Напротив, нынешние писатели в ФРГ, например, по собственному признанию, оказались в непредвиденном двусмысленном положении, которое часть их восприняла даже трагически: они обличают — их с удовольствием слушают. Это напоминает разговор Степана Трофимовича и Петра Степановича у Достоевского: «Но понимаешь ли, кричу ему, понимаешь ли ты... (он смеется)».

Похоже, что литература старается преодолеть эту безличную и непроницаемую внешность с помощью чего-то более решительного, чем воспроизведение или воплощенный совет. Документ помогает ей, как и криминалистике, подойти к составу того, что совершается без свидетелей и не дает никаких показаний.

III. Еще одна причина его наступления в том, что документ берет на себя большую часть промежуточной работы, которую писатель раньше должен был выполнять один. Современные средства информации наблюдают и записывают для него столько мгновений, выражений, лиц, интонаций, типовых жестов и оригинальностей, что ими странно было бы не пользоваться, хотя опасность раствориться в них, конечно, велика. Но на то и существует самостоятельный взгляд.

Первым это понял Достоевский. «В каждом номере газет,— писал он Н. Страхову,— вы встречаете отчет о самых действительных фактах и о самых мудреных. Для писателей наших они фантастичны; да они и не занимаются ими; а между тем они действительность, потому что они ф а к т ы. Кто же будет их замечать, их разъяснять и записывать?» И для того чтобы их «разъяснять», он открывает «Дневник писателя», эту далеко обогнавшую свое время книгу, где добивается сильнейших художественных откровений, именно цепляясь за факт: например, домысливая вдохновением факт, который ему рассказала «одна дама», он пишет такой шедевр, как «Столетняя».

IV. Там же, в «Дневнике писателя» была названа одна способность, которой тоже суждено было усилить участие документа в литературе наших дней.

«Действительно, проследите иной, даже вовсе и не такой яркий, на первый взгляд, факт действительной жизни — и если только вы в силах и имеете глаз, то найдете в нем глубину, какой нет у Шекспира... Ведь не только, чтоб создавать и писать художественные произведения, но и чтоб только приметить факт, нужно тоже в своем роде художника».

Несомненно, что таким «в своем роде художником» является современный читатель. Он «в силах», «имеет глаз» и сам теперь отчасти писатель. Не такой, который пишет, но такой, который приблизительно знает, как можно было бы написать: мировая литература, которая звучит теперь всеми голосами разом, из сотен изданий, показала это наглядно. Пусть расстояние между «знает, как написать» и «пишет» очень велико — оно достаточно, чтобы увидеть художественно, про себя, факт, будоражащий мысль.

Понятно, что эту способность не стоит преувеличивать, но ее не нужно и преуменьшать. Внешне она не выдает себя ничем, не выходит во что-либо написанное или если пытается, то беспомощно застревает в словах,— но «девка-немка: говорить не умеет, а все разумеет». Читатель тоже немым способом разумеет многое из того, что нужно; причем это немое состояние дает ему еще и кое-какие преимущества, потому что он не связан внешним выражением и не обязан находить приемы, угрожающие тотчас же застыть и омертветь, а прямо устремляется к тому целому и живому, которое его поразило. Восклицания, нередко комичные, вроде «Шекспира бы сюда» или «достойно пера Мопассана», отмечают эти вспышки воображения. То есть сырой художественный материал, который был раньше разбросан повсюду, но заметен лишь избранным, теперь стал интересен для многих; люди сами умеют ценить его богатство — новым воспитавшимся внутренним писателем.

Мы прочли, например, у Тура Хейердала, что как-то в открытом океане вдруг всплыл перед ним неизвестный обитатель глубин и часа два преследовал плот, тупо разглядывая сооружение; потом чудовище так же спокойно, забурлив, ушло назад, в пучину, в свой далекий и неизвестный нам мир. Это взрывает воображение. Читатель мгновенно восстанавливает подробности этой встречи, ставит себя на место путешественника и даже морского зверя — как ему в самом деле привиделся плот и парус, всякая утварь и новые, так же разглядывающие его существа.

Если бы все это было написано, вместо простого упоминания события, оно должно было бы быть глубже читательской способности, чтобы задержать нас. Но многие современные писатели, к сожалению, не знают этого или не хотят знать. Тем временем

обычное распространение подобных и даже не слишком занимательных фактов становится литературой, привлекающей внимание больше, чем они.

V. Но, вероятно, главная причина успеха документа у нас — это интенсивность современной жизни. Мы говорили про прочность ее поверхностей. Но если уж они вскрываются, то обнажают на изломе мир, превосходящий своей насыщенностью и сосредоточением любые предположения. Документ, которому посчастливилось принять в себя такой момент,— всегда открытие, и к нему можно возвращаться столько же, сколько к классическому произведению.

Для того чтобы составить себе понятие об этой разнице и почувствовать возможности современного в сравнении с былым, довольно отстегнуть застежки какого-нибудь старого альбома и взглянуть на фотографии людей прошлого или самого начала нашего века. Их чинные лица, доверительно глядящие вперед, навстречу тому, кто будет их рассматривать, все эти наивно рассевшиеся семейства — они явно жили на другой планете. Двадцатый век принес катастрофическое напряжение и полярное сгущение человеческих качеств: явились неслыханные «конечные», но совершенно лишенные внешнего демонизма злодеи, и стойкие, совершенно лишенные внешней решимости гуманисты; фантастически выросло могущество гигантских, созданных человеком безличных сил — и вместе с ними обострилась личная ответственность человека и т. д.

В этой обстановке жизнь снова обрела язык, перекрытый было рассуждениями философов, политиков, художников и моралистов, и заговорила сама.

Это особо относится ко всем человеческим материалам минувшей войны.

Парламентская «Делегация лордов ее величества», посетившая вскоре после войны Бухенвальд, написала в конце своего строго документированного отчета, что в ходе изложения она старалась воздерживаться от каких-либо оценок, но что «подобный лагерь свидетельствует о пределе падения, до которого когда-либо может дойти человечество». В ходе этой войны, в самом деле, как будто обнажились человеческие пределы — и в ту и в другую сторону,— дальше которых пока что никакому художнику заглянуть не удается. Они как-то непродолжимы.

Когда режиссерам нужно сообщить впечатление Хиросимы, они показывают без оговорок и пояснений документальные кадры: выжженные глаза, у кого-то пинцетом снимают с головы клочки волос, они свободно отделяются. За этим порогом художественных образов еще нет, и надо надеяться, что его не придется переходить.

Иной раз кажется, что вот те или иные эпизоды могли бы стать благодарной основой для воображения, потому что сами по себе они будто случайны и только любопытны. Но представив себе их оформление или увидев, как они действительно переосмыслены, убеждаешься: мысль к ним ничего не добавляет, а может быть, и отнимает, отгораживает своим толкованием то, к чему она нерасположена или что ей кажется не важным.

Так, нам может встретиться, скажем, небольшая подробность сражения за Берлин: момент, когда бои вышли на территорию зоопарка.

«В три часа ночи мы пошли в наступление. Немцы группами по два-три человека занимали оборону в различных местах сада, в звериных пещерах и ровиках.

Звери разбежались по саду, сквозь стрельбу мы слышали опять рев тигра, вой шакала, мяуканье диких котов. Кто-то заметил на высоком ветвистом дереве какую-то фигуру и решил, что это вражеский снайпер — «кукушка». Протрещала автоматная очередь, и фигура кувырком полетела с дерева на землю. Каково же было удивление и огорчение бойцов, когда они увидели, что убита обезьяна». Это взято из книги «Штурм Берлина», написанной по свежим впечатлениям и вышедшей в 1948 году.

А вот что писал в 1963 году А. Кривицкий в книжке очерков-воспоминаний «Берлинские мотивы». Он был в зоопарке сразу после боя.

«Как я узнал после, почти все военные корреспонденты почему-то в эти дни побывали в зоологическом саду. И все писали о нем. И все по-разному. Одни просто так — вот привелось, дескать, в эти дни побывать в берлинском зоопарке; другие с неким значением, символикой — люди и звери; третьи — с жалостливым сочувствием к погибшим четвероногим. Наверное, было в зрелище этого зоопарка такое, что странно трогало сердце. Я даже и сейчас не могу разобраться в разноречивых чувствах, охватывавших меня по мере того, как мы шли дорожками этого городка зверей». Кривицкий прав: писать можно по-разному, но сам факт, взламывая поверхность войны, содержит столько «разноречивых чувств», что лучше, чем он есть, его не передашь.

Иными словами, это готовый образ. Поэтому у нас и сохраняется обычно желание после книги, пьесы или фильма «на материале» подобных событий заглянуть в самый «материал». Представление о нем, как «материале», видно, устарело. Раньше языком самой жизни умели говорить только художники. Теперь этот язык получил свою письменность: киноленты, звукозаписи, телеэкран и всесторонний печатный документ, где он может являться без посредников и сообщает образы ничуть не худшие, чем у профессиональных писателей.

В некотором смысле они даже лучше, если учесть их способность пробивать существующий штамп.

Это немаловажное дело в условиях, когда жизнь способна попадать во власть разных концепций, характеров, изобретенных заранее,— средних удобных писательских моделей, подстерегающих живые неокрепшие ростки, чтобы заключить их в

«форму». Такое случалось, конечно, еще и в XIX веке. Уже тогда бывало, что вслед за тургеневскими девушками в романах, которые казались Толстому отвлеченностью, являлись вдруг тургеневские девушки во плоти; «я сам,— сознавался Толстой с удивлением,— потом их наблюдал». Толстой, между прочим, был велик и тем, что после него не расплодилось никаких Пьеров, Андреев и Наташ; чтобы подражать им, нужно было самому стать личностью.

Сейчас положение серьезней. Современные писатели, если и не превзошли прежних по глубине, то развили необычайно яркую технику убеждения. Они умеют лучше, чем это делалось раньше, внедрять свои образы в жизнь. Очень часто это выдающиеся специалисты по предложению готовых человеческих норм, а критики помогают их примерять. Человек может, не замечая этого или даже чувствуя облегчение, существовать сразу в нескольких подошедших ему нормах или перекраиваться с возрастом — например, из невозмутимого ильфо-петровского остряка в трагически-немногословного мужчину с бородой и в кольчужном свитере, посасывающего трубку: модель «старик Хем».

Документальные образы противостоят этому без усилия и по природе. Они не имеют замыкающей способности, потому что не связаны ни с какой предуказанной мыслью, не зависят от выравнивающегося стиля и в полном смысле индивидуальны: на них расползается по швам любой стереотип.

Они берут свою силу оттуда — если уж говорить о преимуществах,— к чему может только присоединиться мысль: из самодвижения жизни. В их незаконченной сырой форме мерцают тысячи красок и закономерностей, идущих к нам изнутри,— направление, которое в искусстве всегда стоит предпочесть другому, профессиональному, где идет атака на смысл, вместо того чтобы дать ему свободно вылиться. Потому что от нажима смысл может отступить, уйти, а на бумаге останутся вцепившиеся друг в друга «меткие» слова, причем особо почитаемым мастером назовут того, кто начеканит их побольше. Он, скажут, обновил поэтический или еще там какой язык... Все это так или иначе продолжает еще распутываться в литературе XX века.

Чтобы слышать самодвижение жизни (в наши дни подавно), нужен большой талант, а в отсутствии его, естественно, никогда не признаются себе многочисленные — и действительные, как правило,— знатоки форм. Но пока идет этот спор, таланты упорствуют, жертвуя известностью, а мастера-виртуозы следят за нововведениями друг друга, документальный образ пробует третий путь: дать выход таланту самой жизни. Кажется, он встречает затруднение лишь в том, что не хватает средств закреплять и отпечатывать во всей гибкости реальность; нечем заполнить провалы. Но в целом она из схваченных фрагментов уже угадывается.

Интересно при этом, что документ, никого не спрашивая, начал сообщать правду в подробностях, которые в литературе так или иначе были не приняты. Он взял эти права, подобно скульптуре, про которую Лессинг говорил, что она может показывать то, что не разрешается слову — только, конечно, шире,— потому что документ стал открывать все неумышленно. Этим он тоже раздвинул привычные возможности.

Западногерманский критик Себастьян Хаффнер, перечисляя недавно преимущества художественного реализма, написал:

«Роман (подобно репортажу) представляет собой в первую очередь способ правдиво рассказать читателю о том, что на самом деле происходит в мире. При этом романист находится в лучшем положении, чем журналист. В отличие от последнего романист всегда может сказать всю правду, пользуясь хитрым приемом: он говорит о вымышленных персонажах. Журналист, принужденный писать о реально существующих людях, не может говорить всей правды, ибо тогда он не смог бы вообще работать: ему пришлось бы все время выступать в качестве ответчика на процессах за оскорбление личности».

Это, разумеется, так; но документ действует еще безнаказанней и, без особого желания со своей стороны, хитрее. Он деликатен: видит и не видит, говорит и не говорит, знает все, но обсуждает только то, что мы в состоянии признать. А что не в состоянии — все равно направляет на нас как недопонятую правду и озадачивает. Более вместимую форму придумать трудно.

Способы, которыми он пробирается в литературу, также очень разнообразны.

Первый, наиболее простой — прямая замена какой-нибудь художественной детали подлинной, всамделишной.

На заре века Чехов отчаянно восставал против документальных «улучшений» своих пьес, которые предлагал увлеченный в то время бытовизмом К. Станиславский. Когда писателя спрашивали: «Непонятно, почему вы против? Ведь это реально»,— он отвечал: «У Крамского есть одна картина, где чудесно выписаны лица. Попробуйте вырежьте в одном из них нос и вставьте настоящий. Нос-то «реальный», а картина испорчена». Для чеховского художественного мира это, в самом деле, золотое правило. А вот для Толстого уже нет; целую главу «Хаджи-Мурата» заменяет подлинное письмо Воронцова Чернышеву, и никто не чувствует разницы: факт в полном повиновении у мысли; здесь произошло его художественное поглощение.

Современная литература, продолжая это движение, дает ему большую самостоятельность. Она умеет включить факт в столкновение с воображением, скажем, в «Земле людей» Сент-Экзюпери. Там идут лирико-философские картины — спокойное,

чисто художественное повествование и вдруг: «Анри Гийоме! Теперь я скажу несколько слов о тебе. Нет, нет, не бойся, это не будет то, чего бы ты не хотел», и пр.— обращение к другу! Совершенно реальному человеку, такому же реальному, как и сам Экзюпери и его читатель. Это действует ошеломляюще. Очевидно, что перед нами хорошо рассчитанный — пусть и интуицией — художественный толчок содержания, а не просто весточка приятелю, какими забавляются газетные и радиокорреспонденты. Это крупица новаторских завоеваний литературы, в этом смысле параллельных завоеваниям кино, но не таких, когда в итальянском неореализме стали заменять актеров подлинно подходящими людьми,— это было обогащающе и важно, но все-таки в духе испытанного усвоения факта; у Сент-Экзюпери — его художественное раскрепощение: «нос» врезали, а картина обогатилась. И этот писатель тут, конечно, не одинок. В русской и советской литературе XX века можно вспомнить множество примеров, скажем, «Родники Берендея» М. Пришвина.

Вполне логичным продолжением этого первого использования является другой путь — когда рассказ начинают строить уже исключительно из документов. Идея его проста: это способ пеленгатора. Факты расставлены друг от друга на большом расстоянии, но мысленно они пересекаются в одной точке и нащупывают неизвестный центр. Хотя мы не видим в этом случае истину в лицо, присутствие ее становится явным: по крайней мере, мы в ней уже уверены и воображение подсказывает остальное.

Образец такого построения — книга Ст. Цвейга о Фуше. Здесь совершается на наших глазах попытка восстановить, собрать ускользающую личность по точным, но взаимоисключающим данным. Крайний якобинец, потребовавший в Конвенте казнить короля, роялист, неистовый гонитель собственности, миллионер, набожный герцог, атеист, утверждавший, что «лицемерный культ должен быть заменен верой в республику и мораль», предатель, служивший всем и неизвестно чему — чему же, в конце концов? — это заинтересовывает Цвейга. Ответа ждет именно человеческое содержание, потому что историки и политики не могут его ухватить: с каждой данной точки зрения перед ними не более чем презренный перебежчик.

«Только один человек,— замечает Цвейг,— увидел все своеобразное величие этой единственной в своем роде фигуры, и притом человек незаурядный: Бальзак». Он «откровенно признал Фуше самым интересным в психологическом отношении типом своего века». Стоило, вероятно, вспомнить и Пушкина, который упрашивал брата, сидя в Михайловском: «Милый мой, если только возможно, отыщи, купи, выпроси, укради Записки Фуше и давай мне их сюда; за них отдал бы я всего Шекспира: ты не воображаешь, что такое Fouché!.. Эти записки должны быть сто раз поучительнее, занимательнее, ярче записок Наполеона...» Но как бы там ни было, не случайно лишь в XX веке созрела мысль поймать и осознать весь этот образ через документ. Цвейг, осуществивший ее, даже увидел в этом деле общественную необходимость: «Если же в самом деле, как сто лет тому назад сказал Наполеон, политика стала la fatalité moderne, современным роком, то мы, в целях самообороны, попытаемся разглядеть за этой силой людей и тем самым понять опасную тайну их могущества».

От отдельного лица документ естественно переходит к восстановлению человеческого смысла целых событий. Дальше и смелее других пошло в этом направлении кино. Не потому, конечно, что перед каждым фильмом мы видим хронику; в художественном смысле это значит не больше, чем перед книгой прочесть газету. Важно то, что кино научилось составлять из своей газеты образ.

Способ тот же: документы «пеленгуют» правду, отпечатанную в них, но не исчерпанную ими. Классический пример дал Довженко в фильме о сражениях за Украину, где он впервые показал одно и то же место боя в кадрах нашей и немецкой кинохроники. На одной стороне был ландзер с закатанными рукавами и автоматом — профессионал, старавшийся даже криво усмехнуться в аппарат, как охотник, который вот-вот подстрелит дичь; на другой — лица наших солдат, убедившихся, что перед ними смерть, которую придется уничтожить. Впечатление вышло таким сильным, что в дальнейшем сопоставление этих материалов стало традицией: многое, например, было найдено с ее помощью в фильме «Великая Отечественная» С. Смирнова и Р. Кармена.

Следует признать, что литература поспевает за подобными движениями неуверенно. Она не решается на обнаженность и контраст, постоянно что-то оговаривает и заполняет рассуждениями промежутки, которых просто не должно быть. И все-таки достижения ее в области документальных сопоставлений довольно заметны.

Недавно одна такая работа была завершена двумя чешскими журналистами Душаном Гамшиком и Иржи Пражаком. Они собрали и нашли связи между документами, касающимися интереснейшего и до сих пор не вполне проясненного события второй мировой войны — возмездия, которое пало на шефа гестапо и СД, гитлеровского «протектора Богемии и Моравии» Рейнхарда Гейдриха *. Потребность в такой книге ощущалась давно. Уже сама фотография Гейдриха — настоящий символ гитлеризма, и, видя его лицо, холодное и плоское, как топор, понимаешь, что о нем нужно только сообщать факты: этот, с позволенья сказать, образ будет верен себе и неожидан для

---

* См. «Иностранную литературу» № 2 и 3, 1964 год; отдельное издание: Д. Гамшик, И. Пражак. Бомба для Гейдриха. Издательство политической литературы. М., 1965.

нас каждой подробностью, и вымысел действительно бледнеет перед ним. Кто сумел подстеречь гитлеровского дракона, как был истреблен шеф гестапо и СД, какие люди решились на это дело и смогли довести его до конца — все эти вопросы имеют не только исторический, но и глубокий человеческий интерес.

Книга воспроизводит скрытые связи, которые вели к этому событию, сплетение и борьбу политиков, часто не подозревавших о намерениях друг друга: как стальные ящеры, с невероятной беспощадностью и упрямством двигались они к цели, но достигали совсем не того результата, которого ждали. Она рассказывает и о судьбе двух чехов, которые стояли в центре сплетения этих интересов, ничего о них не зная и повинуясь лишь твердому убеждению: палач чешского народа должен быть истреблен.

Чешский критик Г. Лауб в статье «Законы репортажа», где он положительно отозвался о книге Гамшика и Пражака, заметил, что во всяком хорошем репортаже должен быть элемент сенсационности, открытия чего-то сокровенного и что «Бомба для Гейдриха» этим действительно ценна. С этим нужно согласиться, документы правда новы и сенсационны — чего стоит только закрытая речь Гейдриха по прибытии в Прагу, где он изложил свой план «окончательного решения чешского вопроса». Но еще большее значение имеет, пожалуй, то, что все эти документы неизвестны и сенсационны в отношении друг к другу. История развертывается на наших глазах так, как если бы ее кто-то действительно сверху подглядел, зная и видя то, чего не мог видеть никто из участников; словно и в самом деле ее сочинил какой-то современный Шекспир, которого давно ждут,— и лишь не хватает документа, который бы прямо отпечатывал внутренний мир, чтобы драма была готова. Впечатление, разумеется, обманчиво. Перед нами схема событий, люди только угадываются на ее скрещениях, узлах; но схема столь живая, что образ, почти художественный, уже виднеется среди ее очертаний.

Интересно, что, когда мы видим после этого фильм — художественный, получивший премию на Московском фестивале,— «Покушение», мы воспринимаем его уже тоже как документ, новый материал в этом деле: чья-то новая версия, концепция режиссера, которая точки не ставит. Смысл целого продолжает укрываться в фактах.

Сейчас наиболее успешные книги такого рода составляются по материалам минувшей войны в Чехословакии, Польше, ГДР и у нас, а также в ФРГ. По-видимому, так и будет продолжаться. Но растет и документальная литература других «рядов» — дальних путешествий, профессий, поколений и т. п. Их человеческая ценность далеко не всегда возвышается над интересами темы, которая непосредственно вызвала их направление в печати. Чувствуется боязнь или неуверенность в том, стоит ли ставить в центр какой-нибудь действительной истории просто человека, как он есть. Может быть, лучше законы и правила их соблюдения? Или нужды производственного процесса? Моральные нормы? Разумеется, все это крайне необходимо. Но еще необходимее для читателя среди разных этих измерений сама человеческая личность, потому что, открывшись, она всегда добавит что-то новое в его собственные способности.

Вниманием к личности современная документальная литература и отличается от «литературы факта», которую старался развить в свое время «левый фронт искусств». Там появление документов было воспринято как возможность писать «биографию вещи», где «личные горбы и эпилепсии неощутимы» — но зато действуют «процессы», которые и предлагалось ускорять. Людям отводились места «на поперечных сечениях конвейера». Но сопротивление человеческого содержания литературы преодолеть и тогда не удалось, несмотря на то, что, как выразился О. М. Брик, «мы, лефовцы, совместно с руководителями ВАППа боролись против этой индивидуалистической заразы... И, кажется, мы многого на этом пути достигли».

Между тем в современности интерес к человеческой личности вырос настолько, что и сам писатель начал иногда с возмущением замечать, что его книгами интересуются меньше, чем его жизнью.

Повысилась охота к письмам, дневникам и т. п. При этом стоит заметить: не обязательно к тем, что были написаны для печати. Внимание, подобное непрошеному любопытству, начало разыскивать где-то и другие, шероховатые, косноязычные «бумаги» и выносить их в литературу; они стали собирать множество читателей.

Отсюда появилось нечто уж совсем новое — вид литературы без писателя — собственно литература человеческого документа.

Ее стали пополнять все те подлинные свидетельства, которые заносились на бумагу без каких-либо литературных намерений, но потом — вследствие разных непредусмотренных обстоятельств — получили распространение на правах художественных произведений. Их выход в свет есть всякий раз несколько загадочное событие, так как никто не может с достоверностью утверждать, что создатели их — люди художественного таланта; это какое-то невольное искусство. Такие письма и дневники привлекают даже и не размышлениями, которых всегда ждали от их вольной формы, но возможностью поразмышлять самим — над человеком, которого застали за авторством врасплох, который не знал, что за ним будут следить, а если бы знал, то, может быть, пожелал представиться как-нибудь иначе. Но это и наделяет их особым качеством. Благодаря ему читатель спокойно видит тут в роли художника целое общество или жизнь, сотворивших и автора и документ.

Но поскольку эта литература создается без писателей, как удачное выражение момента, она не может приобрести направление или составить какое-либо целое. В случайности остаются ее сила и слабость.

Этим она, между прочим, отличается и от многочисленных к ней приближений или подделок. К литературе человеческого документа следует, вероятно, относить только непреднамеренно всплывшие на поверхность «письмена», не имевшие художественной цели. В «документе» факт должен быть весом и художествен сам по себе. Это единственное, но неизбежное ограничение: попросту говоря, он должен быть действительно выдающимся. Недаром чаще всего литературой этого рода выступают письма и дневники участников Сопротивления. Жизнь должна сама его возвысить — а тем, кому случилось, выразить или взять. Вряд ли поэтому следует ожидать закономерных и постоянных авторов человеческого документа.

Однако ее живость и непреднамеренность так велики, что ими искупается все остальное. Литературные законы для нее не писаны и могут получать обратную силу.

Интереснейший пример этого — «Дневник Нины Костериной», опубликованный «Новым миром». Эти заметки читаются без пропусков — неподдельный, безыскусственный, но напряженный и точный документ времени. Он говорит косвенно, как художественное произведение, хотя и совсем не является таковым, больше чем прямо сообщает Нина Костерина — школьница, дочь незаконно репрессированного человека, добровольная участница Отечественной войны, где ей суждено было погибнуть. И он говорит, конечно, намного больше, чем язык, которым все это изложено. Этот язык типовой, выглаженный, местами такой, как будто им сочинял всю историю среднестатистический писатель тридцатых-сороковых годов. Происходят очень серьезные вещи, но язык как будто ничего этого не понимает. Противоречие между литературно-нейтральным, аккуратным, с особыми эпитетами для принятых типовых «характеров» слогом и настоящей жизнью этих людей, которая в дневнике постоянно выглядывает, производит неповторимое действие. Разные ученические разборы приятелей, оценки, которые выдаются их характерам, всякие «папки» и «в сущности говоря» только усиливают впечатление искренности и правды, хотя заранее, если спросить — по литературной логике,— этому бы никто не поверил. Даже штампы придают документу свежесть: таковы счастливые преимущества этой литературы.

Стоит лишь вообразить себе исправления, и все нарушится. Это общее свойство документальных образов: они не терпят улучшений. В фильме ленинградской телевизионной студии «Солдат России», например, можно было наблюдать: бежит среди развалин ребенок — за кадром артистический крик «мама, мама!», о чем-то беседуют в окопе солдаты — и сценарист тут же предлагает «вариант», о чем идет разговор и пр. К чему? Когда документ развил свой способ убеждения, нет ничего ошибочней, чем навязывать ему другой. Если он и нуждается в дополнениях, то только фактами же, которых недостает: где было дело, кто это, откуда, как жил раньше и т. п.

Наибольшим разнообразием тут располагает последний вид документальной литературы, который можно литературой и не считать, но все-таки лучше к литературе причислить, потому что он возвращает ей достоинство обыкновенного устного рассказа,— телевизионный. Писатель здесь и в самом деле занимается тем, с чего начинал его предок, разносивший дивные истории; только вместо пастухов у костра или любопытных царей его слушают скептические представители тысяч современных специальностей. И он обладает, кажется, соответствующей возможностью убедить их. Он может дополнить чем угодно свой рассказ: показать фотографию, киноленту, абзац из газеты, пригласить эксперта, который докажет решающую мелочь, или нажать кнопку и вызвать лицо свидетеля совсем в другом городе.

Но есть и разница. В отличие от этого предка и к счастью для себя он не может слышать всех кликов одобрения, подбадриваний или недовольства. В какой-то мере их заменяют ему лица редакторов и режиссера, но при всем к ним уважении он понимает, что они не могут представлять всех невидимых глаз этого обступившего его цивилизованного леса. Поэтому телевизионный рассказчик должен обладать совсем особым воображением, которого не нужно было иметь прежним. В своем роде это должен быть новый талант. У нас в Москве его бесспорно обнаружил С. Смирнов, сумевший преодолеть барьер телевизионного экрана и заговорить как в комнате со знакомыми людьми. Но телевизионная литература только еще пробует свои дороги: может быть, писатели сумеют вернуться и к вымыслу, сказке или к импровизации, сократическим спорам — как на древней площади. В конце концов важна не форма, и документ лишний раз доказывает это.

Остается только вопрос об отношении документального образа к вымышленному. Принципиальной вражды между ними, это ясно, нет и быть не может. Но художественной литературе придется, вероятно, сделать новое усилие, чтобы восстановить свое господствующее положение и превосходство. Ей нужно будет снять накопившуюся незаметно риторику, на этот раз в виде утешительного мастерства. В этих необходимых переменах нет ничего опасного; их переживала художественная литература и прежде и снова становилась повелительницей умов. Но на этот раз она, как мы можем предположить, хотя и возобладает, документальная стихия вряд ли покорится ей целиком и обратится снова в молчаливый материал. Скорее, документальный образ останется как нечто ей параллельное и развивающее свои особые достоинства.

Ник. Атаров

Тому, кто найдет

28 января 1945 года я подобрал в снегу на перепаханной боем венгерской земле длинный, сложенный вчетверо, вырванный, видимо, из бухгалтерского гроссбуха лоскут толстой бумаги. Простым карандашом на этом лоскуте было написано обращение к тому, кто найдет,— значит, ко мне.

Это письмо неизвестного мне человека, Павла М. Несмелова, сына, мужа и отца не отысканных мною после войны людей, кажется мне со временем дороже и существеннее многого из того, что я прочитал в книгах о войне.

«Дорогой товарищ! Если ты найдешь эту бумажку, когда я буду мертв, ты должен знать правду. 19-го ночью пришел приказ эвакуироваться госпиталю Горенштейна. Там я находился во 2-м отделении по случаю ранения спины. Раненых посадили на поезд, а меня, так как я работал в вещевом складе у сестры-хозяйки, оставили сложить и отправить имущество. Мы работали до трех часов ночи и, нагрузив последнюю подводу, поехали, чтобы добраться до Дуная и переправиться на тот берег. Но было уже поздно. Немцы перерезали дорогу. Нас поджимали со всех сторон пулеметами и минами, по чердакам сидели автоматчики. Пришлось бросить подводу, чтобы вырваться через поле без дорог. Не вышло и это, и я залег на огороде, возле кучи дров, тут же лежал солдат Тимофей Степанишин. Лежали с ним от восхода солнца до темноты, боясь себя обнаружить. А когда потемнело, нашли траншею и провели в ней ночь. День 21 января тоже приходит к концу. Ни вчера, ни сегодня мы не ели, подняться и пойти опасно: на муки к врагу не хочется попасть. Ждем — придут наши. Скоро ночь. Что будет впереди, не знаю, может, погибну.

Я прошу тебя, товарищ, напиши письмо моему отцу и семье, они уже больше трех лет не знают о моей судьбе. Я был в плену в Румынии два с лишним года и несмотря на то, что не имею правого глаза, после освобождения домой не пошел. Почему — сам понимаешь. Домой писал, ответа не получил. Там отец, мать, жена и два сына — ждут, небось, чтобы вернулся. Их адрес такой: Горьковская обл., Ветлужский р-н, Галкинский с/с., деревня Ионово, Несмелову Михаилу Антоновичу.

Вот и все. Желаю счастливо закончить войну и не попасть в такую беду, как я. Прощай, друг! Несмелов Павел М.».

В моих послевоенных поисках его родных не было удачи. Почему же я бережно храню этот лоскуток бумаги? Что это за документ, отданный мне на вечное хранение? Что в нем существенно для меня самого, для моей сохранившейся жизни?

Отвечаю так: да, это пожизненный документ; я не хочу расстаться с ним, потому что в нем сказана неизвестным мне человеком вся его правда и сказана она уединенно, когда человек отбросил все суетное, промежуточное, ему было не до пустяков и был он со мной, своим заочным собеседником, начистоту. Он чувствовал себя страшно одиноко в тот день, его последний горизонт был ограничен холмиком окопного бруствера, будыльями прошлогодней венгерской кукурузы. Он видел немного и совсем ничего не знал. Но в недосказанности его письма тем не менее не было ничего недодуманного.

А если все это верно, то не бестактно ли сейчас вплетать это солдатское письмо в рассуждение о какой-то там документальной прозе, о литературе без вымысла и т. д. и т. п.? Нет, не кощунственно и не бестактно. Ведь так же, как эта записка, найденная в снегу, застряли во мне посмертные книги Юлиуса Фучика и Анны Франк. И так же сродни они — по крови и духу — надписям, нацарапанным на стенах Брестской крепости. Все это в упор глядит в меня, таращится в мою совесть, звонит внутри меня во все колокола. В предельной искренности самого обращения ко мне — предельная достоверность...

Такова прежде всего, в моем понимании, современная документальная проза.

«Нужно учиться не писать, а видеть,— утверждал Сент-Экзюпери.— Писать — это уже следствие».

Он и не знал, французский боевой летчик, удивительный писатель нашего века, что такая же запись появится где-то далеко от него, на Северном Кавказе, во фронтовом блокноте 1942 года погибшего моего земляка:

«Запоминай, Капиев! Броди, смотри и запоминай, ибо все, что творится сегодня,— неповторимо: никогда, никогда больше не будет на земле ничего подобного».

Что успел увидеть и запомнить Эффенди Капиев? Ядрышки сотен трагических сюжетов. О том, как убитого командира несли в атаку впереди цепи бойцов. О сани-

тарке, которая — сама раненая — кричала в пылу боя: «Кто ранен — подползайте ко мне!» И о другой девчонке-санитарке, которая, когда бросились в атаку, забыла, как ее зовут. О танке, который взвалил на себя сарай и несся с ним по деревенской улице. О солдате горце, который в разведке молча утонул в ледяной воде — голоса не подал, чтобы не выдать врагам товарищей. О поединке фашистского самолета со злым и бесстрашным стариком.

Ядрышки сотен сюжетов... Однако потрясенное воображение писателя-фронтовика кричало: нет, нет! И он остановился перед искушением ввести во все это какое-либо построение — чем-то начать, где-то кончить,— он усматривал в этом недостойную эстетизацию, насилие над правдой и цепенел в боязни нарушить в своем душевном состоянии что-то самое дорогое и существенное, исказить и нарушить.

Конечно, наивно отдавать предпочтение по моде дня факту перед вымыслом или видеть в современной бессюжетной прозе новый шаг в художественном развитии человечества, то есть забывать, что сказочный миф и путевой очерк неразрывно переплелись еще в литературе античного мира. Можно не сомневаться, что автор «Одиссеи» мог бы повторить вслед за Хемингуэем слова, какими тот представил нам свою мемуарную книгу «Праздник, который всегда с тобой» *: «Если читатель пожелает, он может считать эту книгу романом. Но ведь и вымысел может пролить какой-то свет на то, о чем писалось как о реальных фактах». Во всяком случае, Достоевский свои каторжные записки назвал «Романом в двух частях». Да и кроме «Записок из Мертвого дома», та же русская проза прошлого века дала нам замечательные образцы литературы без вымысла: «История Пугачева», «Былое и думы», «Фрегат «Паллада», «Севастопольские рассказы», «Остров Сахалин». Где уж тут модничать нашему веку. Даже неловко вступать в разговор на эту тему, ничего не придумаешь от себя: всегда так было — в одном случае счастливо найденный сюжет, как в «Мертвых душах», помогал художнику ввести в его произведение все изобилие впечатлений жизни и размышлений о ней, в другом — наоборот, конструирование сюжета отвергалось начисто, потому что ограничивало, оставляло за бортом повествования слишком многое, самое дорогое и существенное. И писатели всех времен и народов — и француз Стендаль, и американец Торо, и русский Короленко — руководствовались этим в поисках наиболее интенсивного самовыражения.

Все это так.

Но еще в начале века Жюль Ромен в предисловии к «Людям доброй воли» отметил некоторую устарелость традиционного сюжетного искусства, которое даже в своих лучших образцах не способно преодолеть черты условной состроенности, деланности, эффектной театральности — и, значит, неправды. Что же, неужели он ошибался, и приемы и средства мирового искусства могли оказаться бесчувственными и невосприимчивыми к воздействию быстро развивающейся, преображающей планету действительности, теперь таящей в себе обещание небывалого взлета человечества или его последней катастрофы? Разве неверно, что после высказанной Жюлем Роменом догадки время стократно ускорило свой бег, что послевоенный мир новых скоростей, мгновенных впечатлений и радиоимпульсов как бы на смену старательной ясности причинно-следственных отношений вызывает множество самых отдаленных, порой безмотивных ассоциаций памяти?

Таков мир пилота, летящего ночью из Тулузы в Южную Америку. И этот мир острым стенографизмом своих мгновений не может не быть резко противопоставлен хуторской однородности, эпической массивности сюжетного времени такого, допустим, традиционного романа, как «Самостоятельные люди» Лакснесса.

Таков мир итальянского киносценариста Элио Петри, автора «Рим, 11 часов», отправляющегося в разные концы города на поиски двухсот безработных девушек, судьбу которых связало в один кровавый узел происшествие на улице Савойя, где под ними, пришедшими по объявлению о найме, обвалилась ветхая лестница.

Время теперь буквально напичкано мгновениями... Ничего готового не найти. Все ответы кажутся предумышленными или слишком хороши, чтобы быть правдой. И человек в этом сновании урбанистических толп более одинок, нежели когда-то на хуторе. Любовь перестает занимать в его жизни подобающее место. Даже семья перестает быть, как прежде, цельно-замкнутой монадой существования.

Так неужели же приемы и средства мирового искусства могли бы остаться бесчувственными, невосприимчивыми к структуре новой действительности?

Попробуем сопоставить две книги Хемингуэя — его молодую «Фиесту» и поздний «Праздник, который всегда с тобой». В обеих книгах один и тот же жизненный материал и, как черта стиля, тот же стенографизм. В мемуарах о парижских днях жизни Хемингуэй рассказал о том, как писалась «Фиеста»: «Летом были в Испании, и я начал первые наброски романа и окончил его в сентябре уже в Париже». Но тогда как читая «Фиесту», мы только догадывались, кто есть кто,— в «Празднике» для нас эстетический допинг состоит в том, что собственной персоной предстает перед нами автор, он запросто именуется «Хем», и есть жена у него, и у него пропали рассказы. В этой книге, где память художника извергается без какого-либо опосредствования

* См. «Иностранную литературу» № 7, 1964 г.

сюжетом, реально существующие люди не спешат ни к каким развязкам. Они разговаривают, вспоминают. Хем вспоминает, как он вспоминал. Он вспоминает о своем сожалении, что не мог вспомнить в разговоре с женой «эту историю про глицинию», он вспоминает, как жена вспоминала голубую форель, и сионское вино, и веранду на обрыве над Люцернским озером.

Значит, результат происходящего, может быть, не так уж важен? Закономерности — бог с ними! В современных мировых центрах теряют свое былое значение даже такие вечные закономерности, как смена дня и ночи, чередование времен года.

«А потом погода испортилась».

Так начинается эта книга, в которой прославленный писатель не станет сводить концы с концами, обойдется без навязчивой режиссуры сюжета. Здесь не будет ни придуманных ангелов сюжета, ни разнообразных чудес сюжета, которые по привычке веков всегда совершались именно у раки святого.

Во многих любимых мною книгах их авторы, как бы не дожидаясь архитектурного проекта, ставят вроде бы как попало рабочие леса, а я еще лучше угадываю по ним божественный замысел самого здания. Такова спокойно-грустная «История рассказчика» Шервуда Андерсена и, может быть, еще более пронзительная по чувству книга Карло Леви «Христос остановился в Эболи». Среди памятных мне книг Бёля я выделяю его глубокие по взгляду «Ирландские дневники». Среди произведений Грэхема Грина — продиктованное сердечной болью за язвы цивилизации «Путешествие без карты». (Странное дело: в «Географгизе» у нас порой издаются некоторые шедевры, в которых, нисколько не утрачивая великолепного качества художественности, может быть, с наибольшей откровенностью выражают свое отношение к жизни писатели мировой репутации.)

Это всего лишь заметки «по поводу» — они и сами не претендуют на заданную цельность концепции.

По-прежнему остаются неясными некоторые частности вопроса. Остается понять, так ли уж автономна от авторского вмешательства действительность, изображаемая в книгах без вымысла? Иначе говоря, не оборачивается ли самый достоверный факт самым вдохновенным вымыслом в ту же минуту, когда его выбирают глаз и слух художника?

И второе, вероятно, рядом стоящее: можно ли считать в силу вышесказанного современную бессюжетную прозу умалением положительного героя века, покушением на положительную идею, в конечном счете на высокую цель и предназначение искусства — гармонизировать человеческое в человеке, устраивать человека для его настоящего счастья?

Думаю, что ответ можно найти в единственно неоспоримом утверждении: кроме книги и читателя, в любой литературной проблеме наличествует третий, главенствующий, элемент — сама действительность, невероятный динамизм нашего времени, который формирует и новое искусство, и новое к нему отношение. Поэтому не следует объяснять преимущественное развитие каких-либо «странных» бессюжетных видов искусства недостатками, недоработками канонической школы. Пусть в канонической школе играют ее духовые оркестры, что касается меня, то я отношусь к ним со снисходительной нежностью пожилого человека. Но бессюжетная проза, так же как и прозаическое кино, зарождается все-таки не в вакууме, не вследствие деградации некоего «настоящего искусства» — они сами в равной мере являются таковым.

Действительность всегда говорит своим языком. И она обращается к каждому из нас — к тому, кто найдет.

Н. Павлова

Концепция и художественность документального произведения

Никто не оспаривает в наше время широкое и, может, несколько неожиданное (это трудно было предвидеть) вторжение факта в художественную литературу. Разногласия возникают по другому поводу: какое значение имеет факт, документ в контексте художественного произведения. Может быть, действительно факт в литературе

призван выполнить миссию, которая непосильна для художественного образа? Ведь это верно, что какая-нибудь деталь, порой слишком случайная, или грубая, или очень уж однозначная по разным причинам обычно отбрасывается писателем, но именно они — эти-то «нелитературные» детали и поражают с особой силой в документальном произведении. Может быть, на самом деле документ и факт нужны в литературе прежде всего и только как поток материала — необработанного и поэтому особенно убедительного?

Бесспорно, что документально зафиксированное событие, хроника, протокол, научно-популярная литература привлекают сейчас читателя как самый надежный материал, материал без толкований, из первоисточника. Наконец-то нам как будто предоставили полную самостоятельность для размышлений. Автор больше не навязывает нам свои идеи, не всегда ведь такие уж интересные, а главное — обоснованные. Факт — это нечто открытое, открытое для твоего свободного осмысления, нечто противоположное замкнутой в себе, авторской концепции.

Стало быть, и вторжение документальности в искусство тоже может в какой-то степени означать некоторый отход от концептуальности, которую, казалось бы, теперь должен заменить тщательный монтаж объективно отобранных фактов.

Обратимся к развитию драматургии в ФРГ и Швейцарии. На первый взгляд, это развитие как будто доказывает верность высказанного предположения. Интеллектуальную параболу М. Фриша и Ф. Дюрренматта за последние два-три года заметно «потеснила» основанная на документе драма Р. Хохгута, Г. Кипхардта и пьесы немецкого писателя-эмигранта П. Вейса, живущего в Швеции.

Пьеса Петера Вейса «Судебное разбирательство» * основана на материалах недавно прошедшего во Франкфурте-на-Майне суда над бывшими нацистскими охранниками из Освенцима. Мало сказать, основана: в пьесе нет ничего, кроме точно процитированных данных судебного следствия, вопросов обвинителя, ответов обвиняемых. Девять свидетелей — главные действующие лица в пьесе Вейса — лишь цитируют то, что выбрано автором из опубликованных материалов процесса. Не только цифры и имена, но и детали, частности, отдельные случаи — все это тоже упоминалось на действительном процессе. Вейс и тут не автор в том обычном смысле, в каком мы привыкли говорить об авторе художественного произведения. Рассуждать о концепции драматурга как будто излишне: концепция заменена материалом, поданным с намеренно сухой объективностью. Вейс дал своей пьесе подзаголовок «оратория». Однако напрасно искать здесь свойственного оратории пафоса или лирических деклараций. Драматург имел скорее в виду некоторое структурное соответствие своей пьесы данной музыкальной форме. Строгое деление действующих лиц на группы (свидетели, суд, обвиняемые) соответствует хору, оркестру, солистам в оратории. Строгий порядок соблюден и в расположении материала: от цифр и точных данных Вейс в каждой «песне» ведет к заново ужасающей конкретности частного случая, а потом к выводам, обобщениям, тоже «выжатым» из протокола процесса. Руку автора, по-видимому, должна выдавать только эта все время ощутимая структура да еще то, что, пожалуй, меньше всего может передать истинную интонацию писателя — суровое спокойствие пьесы. Воспоминания свидетелей очищены от неизжитой боли, ужаса, несомненно звучавших на самом процессе, очищены, чтобы вообще можно было рассказать и выслушать все это.

Вейс упоминает в своей пьесе цифры, ставшие известными к концу войны и в первые послевоенные годы (среди них главная — число погибших в Освенциме — 4 миллиона). Однако — странное дело — под объективным пером драматурга эти же факты начинают поворачиваться к нам какой-то новой стороной. Не выходя за их пределы, Вейс написал об Освенциме так, как можно было написать только двадцать лет спустя. После конца войны главным и общим было сознание: это не должно, не может повториться! В 1965 г. Вейс написал о лагере, который недавно был назван в статье западногерманского писателя Мартина Вальзера «наш Освенцим». Из всей массы свидетельских показаний Вейс выбирает те, которые рассказывают не только о злодеяниях и зверствах гитлеровцев, он выбирает те, которые помогают понять психологию, порожденную фашизмом и далеко не отжившую сегодня. Он обвиняет не только фашизм, но и (это может показаться кощунственным) его жертвы. Из-за колючей проволоки заключенный крикнул вновь прибывшим, что их ждут газовые камеры. Возникшая паника сразу прекратилась, рассказывает свидетель, когда эсэсовец, обращаясь к бывшейся женщине, предложил взглянуть на тех, кто был за изгородью: посмотрите на эти бритые головы, эти торчащие уши. Как вы можете верить таким людям? Женщина, такая же жертва фашизма, но внутренне вполне готовая поставить себя выше других «расово» или «психически неполноценных», сразу успокоилась.

Факты в пьесе Вейса обращены не только в прошлое, не столько против сидевших во Франкфурте-на-Майне на скамье подсудимых. Они обращены к людям 60-х гг., среди которых вряд ли найдутся такие, кто согласится увидеть в себе сходство с преступниками из Освенцима (в пьесе Вейса этого сходства не признают за собой даже подсудимые).

---

* См. «Иностранную литературу» № 5, 1966 г.

Факты, выбранные и смонтированные художником, неизбежно несут в себе его идею. Однако не только ради этой очевидной истины был привлечен пример Вейса. Документальность, соединенная с концепцией, приводит к плодотворным художественным результатам. Сохраняя всю непосредственность документального материала (достоверного и «нелитературного»), пьеса показывает факты в ракурсе, позволяющем увидеть их по-новому, с необычной стороны. Факт в своем привычном утвердившемся восприятии оказывается гораздо более замкнутым в себе, «закрытым», меньше толкает вперед нашу мысль, чем тот же факт, освещенный идеей, если, конечно, эта идея содержательна.

И еще одно замечание. Документ и факт, пришедшие в драматургию, не отменили, а уточнили концептуальность параболической, иносказательной пьесы. Рядом с параболой и иносказанием возник политический театр. Так же, как параболы Фриша или Дюрренматта, этот политический театр — театр Хохгута, Кипхардта, Вейса — не дает однозначные ответы на поставленные вопросы. Однако его создатели, пожалуй, ясно чувствуют необходимость предъявлять современнику конкретные предостережения и требования. Поэтому их вопросы определенны и исторически точны.

А. Зверев

Иллюзия достоверности

«Надеюсь, что я все смогу доверить тебе, как никому до сих пор не доверяла, надеюсь, что ты будешь для меня огромной поддержкой».

12 июня 1942 года в оккупированном Амстердаме тринадцатилетняя Анна Франк сделала эту первую, по-детски трогательную запись в толстой тетради, полученной ко дню рождения. Анна погибла за два месяца до конца войны в концлагере Берген-Бельзен. Дневник ее был найден и издан. В нем нет описаний допросов, пыток, газовых камер. Нет и портретов гестаповцев, картин жизни униженной, поставленной на колени Европы. События доносились к Анне отголосками и слухами, а жизнь ей пришлось наблюдать, прячась за шторой замаскированного окна. И все же дневник Анны — быть может, лучшая книга о том, что такое антисемитизм, возведенный в политический принцип, что такое фашистская идеология в действии.

В США дневник Анны Франк был инсценирован и экранизирован. Пьеса обошла театры многих стран мира, в ней играли прославленные актеры, авторы ее — искушенные в своем ремесле драматурги. В фильме было много отличных кадров, режиссерских находок, эффектных решений. Но ни фильм, ни пьеса не выдерживают сравнения с безыскусными записями Анны о «часах, полных тишины и страха», с этими письмами к несуществующей подруге Китти, где за рассказами о бомбежках, трудностях быта, ссорах, первом увлечении встает настоящая трагедия.

В чем же дело? В особой литературной одаренности Анны? Но ведь ее самое смешила мысль о том, чтобы напечатать роман «Убежище». Ей казалось, что лет через десять после войны ее рассказ сочтут невероятным. Мы знаем, что она ошиблась. После войны повсюду стали появляться дневники, письма, воспоминания людей, перенесших кошмар фашистской оккупации, погибших в Дахау, Освенциме, Заксенхаузене. Появилась целая литература, созданная людьми, ранее никогда не помышлявшими о творчестве. Их книги никто не считал невероятными. Напротив, их читали и перечитывали, им верили, на них учились. В сознании читателя они начали теснить многочисленные произведения о войне и фашизме, созданные профессиональными писателями.

Нет ничего удивительного в том, что как раз после войны эта своего рода литературная самодеятельность получила небывалое развитие. Как и другие грандиозные потрясения в общественной жизни, война во многом обесценила накопленный эстетический опыт. Новое содержание не укладывалось в готовые, отстоявшиеся формы художественного творчества. На какое-то время факты оказались красноречивее слов. Типическое отбирал не художник, а сама жизнь, и судьба одного человека становилась характерной судьбой. И тогда литература документа, очеловеченного факта воздействовала сильнее, чем литература вымысла. «Все это было» — назвал Юрий Пиляр свою повесть о немецкcм концлагере; и литературе вымысла далеко не всегда удавалось что-нибудь противопоставить этой потрясающей достоверности.

Но достоверность становится решающим оружием лишь в тех случаях, когда повествуется о событиях действительно драматического звучания — о героике и трагедии, об общей судьбе. Записки и дневники появлялись во все времена, но не вызывали такого интереса, пока эпоха не наполнила этот жанр совершенно особым содержанием. Документальный стиль начал оказывать влияние и на литературу вымысла. Появляется литература «под документ»; в США она давно уже занимает прочные позиции.

Причина этого явления — интенсивный темп, каким развивается в стране массовая культура. Известно, какую гигантскую роль играют в жизни американцев телевидение, газеты, радио. Сознание читателей каждодневно усваивает бесчисленное множество фактов; это «газетное» сознание, и писателям приходится с этим считаться. Замаскировав свое произведение под документальную литературу, писатель имеет гораздо больше возможностей добиться успеха. Поэтому писатели охотно идут на создание романа-репортажа, построенного на использовании газетного стиля, упоминании общеизвестных событий, имитации различного рода документов, нанизывании фактов, как звеньев цепочки.

Все это преследует цель как можно полнее устранить элемент вымысла, который неизбежно создает определенную дистанцию между читателем и художником, а следовательно, лишает роман убедительности. Нет нужды доказывать, что выигрыш при таком решении чисто иллюзорный. Тем не менее романы-репортажи буквально наводнили американский книжный рынок. Вот несколько примеров.

В 1965 г. вышла книга выдвинувшегося в последнее время Ричарда Кондона «Нескончаемые зеркала». На обложке ее значится «роман», но по сути дела перед нами типичный репортаж. Действие происходит в Париже и относится к годам минувшей войны. В центре книги «добропорядочный» немецкий офицер и его жена — французская еврейка. Большую часть книги занимают подлинные и имитированные приказы немецкого командования, письма, инструкции и другие материалы, детально воссоздающие историю заговора и его провал. Материал собран огромный, но как роман книга Кондона не выиграла от этого ровным счетом ничего, а проиграла основательно: характеры едва намечены, и сам конфликт переродился в битву циркуляров.

Ричард Пауэлл, снискавший нелестную репутацию классика апологетической литературы, не так давно одарил читателей своим новым детищем — романом «Ежедневно и по воскресеньям». Книга эта, совершенно убогая в идейном отношении, дает, однако, фактически достоверную картину жизни большой газеты. Пауэлла нисколько не смущает то обстоятельство, что по прочтении его опуса у читателя не остается ни одной новой мысли. Зато борьба двух партий в газете, заседания редакционной коллегии, переговоры с синдикатом о продаже патента описаны со стенографической точностью, и роман читается легко, как отчет о футбольном матче.

Книга Нибела и Бэйли «Семь дней в мае», имевшая в США колоссальный успех, вышла у нас уже после событий в Далласе и была воспринята по-иному, чем на родине. Это, пожалуй, крупнейшее достижение американской литературы «под документ». Умело использовав элементы фантастики и детектива, авторы сумели оживить свой газетный репортаж с места событий. Но популярность их книге обеспечила, главным образом, актуальная для США проблематика. Следующие их две книги показали, что избранный ими жанр не способен привести к созданию по-настоящему глубоких произведений.

Увлечение документализмом и иллюзорной достоверностью печально сказывается в последние годы на творчестве даже таких опытных писателей, как Джон О'Хара, Райт Моррис и другие. Видимо, в этом одна из основных причин удивительной живучести натурализма в американской литературе. Показательно и другое: чем стремительнее развертывается наступление литературы «под документ», тем заметнее тяготение наиболее значительных американских писателей к философской, интеллектуальной абстракции, к совершенной условности формы. Книги Апдайка, Беллоу, Уоррена, Сэлинджера, Хеллера меньше всего способны внушить иллюзию фактической достоверности, хотя никто не назовет материал их произведений надуманным. В конечном счете правда искусства оказывается выше правды любого единичного факта.

Анна Франк боялась, что ее записи покажутся «сердечными излияниями гадкого утенка». Этого не произошло: дневник Анны и ее короткая жизнь остались в памяти читателей навсегда. Но люди живут надеждой на то, что больше никогда не повторятся условия, в которых возникли книги Анны Франк, Марии Кудержиковой, «Репортаж» Фучика, воспоминания Черви. Литература документа сыграла свою роль — она создавалась как предостережение для новых поколений. Книги Франк и Кудержиковой останутся вехой истории, суровым и горьким уроком человечеству. Но даже «гибель всерьез» еще не делает факт жизни фактом искусства. Тем более далека от настоящего искусства литература «под документ», успех которой говорит лишь о кризисе поверхностного романа на злободневную тему, долгие годы почитавшегося за образцовый реализм; о том, что искусство должно еще активнее искать новые формы, соединяющие простоту и гениальность — вечную цель творчества.

С. Ильинская

Литература, документы и греческое Сопротивление

У современной греческой литературы документа есть замечательный предшественник — Макрияннис, один из народных вождей революции 1821 года, научившийся грамоте специально, чтобы написать свои «Воспоминания». «Воспоминания» Макриянниса обладают всеми преимуществами и всей прелестью документа, возникшего из подлинно народного источника. Это не просто хроника событий, это зеркало народных настроений в период большого национального потрясения. Настроений народа, который после долгой и кровопролитной борьбы сумел освободиться от многовекового турецкого ига, но был лишен плодов своей победы из-за раздоров среди лидеров движения, а также из-за вмешательства западных стран. Макрияннис — не объективный летописец, его слово дышит страстью, пылом сражения и полемики. Его слог и строй мышления проникнуты народной мудростью и образностью, непосредственностью, искренностью. Влияние Макриянниса на новогреческую литературу колоссально, и оно ощутимо даже на произведениях, увидевших свет в наши дни. Особенно велико его влияние на документальную литературу, а также на литературу, использующую элементы документа.

Богатый материал греческой литературы документа скапливается вокруг крупных исторических событий. Его можно было бы классифицировать по трем периодам — революция 1821 года, греко-турецкая война 1919—1922 гг., вошедшая в греческую историю под названием «малоазиатской катастрофы», и национальное Сопротивление в годы фашистской оккупации.

Вот уже полтора века в Греции непрерывно пишут о революции 1821 года, причем за последние полвека необычайно популярным в литературе на эту тему стал жанр романа-биографии о героях революции. Тенденция к документализации, сказывающаяся сейчас во многих жанрах, в этом жанре проявляется особенно отчетливо. Характерным примером может послужить широко известная в Греции серия романов Д. Фотиадиса «Караискакис», «Канарис», «Колокотронис», построенных на строго документальном историческом материале, плод скрупулезной работы автора над греческими и иностранными источниками. По своему значению они могут быть приравнены к большому историческому труду, впервые в мировой историографии дающему марксистское освещение событий греческой революции 1821 года. Документальный характер романов определяет их жанровое своеобразие, в частности, многоплановость повествования. Авторская речь обращается непосредственно к читателю, налагая на него обязанность выступить в роли арбитра, выбрать наиболее вероятную историческую версию и т. д.

Велика роль факта и в литературе о «малоазиатской катастрофе». Эта тема привлекла внимание крупнейших мастеров прозы старшего поколения — Миривилиса, Венезиса, Дукаса, Политиса. И если, скажем, в автобиографическом романе Венезиса «№ 31328» мы встречаемся с художественным воплощением исторического материала, то в повести Дукаса «История одного пленного» этот материал облечен в документальную форму записанного писателем рассказа греческого крестьянина, чудом спасшегося от верной гибели в турецком плену. Язык и стиль рассказа оставляют впечатление необычайной цельности, они настолько совершенно соответствуют образу рассказчика, что повесть Дукаса «История одного пленного» по праву может быть оценена как замечательное литературное достижение.

Любопытно, что подчеркнутой документальностью отличаются романы Дидо Сотириу «Мертвые ждут» и особенно «Земли, обагренные кровью», написанные почти через сорок лет после окончания греко-турецкой войны. Роман «Земли, обагренные кровью» основывается на материалах дневников участника войны Манолиса Аксиотиса; причем, писательница сохраняет это подлинное имя за героем своей книги.

Появляются и собственно документальные произведения о «малоазиатской катастрофе». Среди них можно назвать «Память Смирны» Н. Карцонакиса — хронику трагических событий, завершившихся истреблением древнейшей греческой колонии в Малой Азии. Правда, стремление быть предельно документальным толкает автора к нарочитой стилизации языка и излишней натуралистичности описаний.

И, наконец, самый обильный источник греческой литературы документа — национальное Сопротивление. Перед Сопротивлением греческая проза в большом долгу. Многие годы уже сама эта тема находилась под официальным запретом, да и браться за нее было очень трудно. Драматический финал Сопротивления (английская интервенция в декабре 1944 года прервала начавшийся процесс демократизации страны), послевоенный террор, а потом и гражданская война омрачали радость славной победы

над фашизмом, не давали простора для эпических замыслов, побуждали многое переосмыслить и переоценить. К тому же немало прогрессивных писателей и поэтов, участников Сопротивления, оказалось в эти годы в тюрьмах, в концлагерях, в ссылке.

Середина пятидесятых годов явилась переломным моментом. Книги о Сопротивлении стали появляться одна за другой. Однако политические соображения, стремление оправдать Сопротивление, восстановить его честь, опровергнуть клевету реакционной прессы вели многих писателей по пути поверхностной героики и легко воспринимаемых схем. На фоне этой литературы произведения чисто документального характера выигрывали своей стопроцентной достоверностью, своей непосредственностью и искренностью, они имели право на эпический размах, они внушали читателю максимальное, неоспоримое доверие. Самым значительным произведением этой серии является трехтомная хроника «Партизан в горах Румели», написанная героем Сопротивления Д. Димитриу. Прогрессивная греческая критика называет эту хронику лучшей книгой 1965 года и указывает на ее непосредственную связь с традицией Макрияннноса. Серьезным вкладом в документальную литературу о Сопротивлении послужил также специальный номер журнала «Эпитеориси технис», посвященный участию в Сопротивлении греческих деятелей литературы и искусства.

Понятие «Сопротивление» обычно распространяется и на второе пятилетие сороковых годов, в которое Греция пережила гражданскую войну, массовые расстрелы демократически настроенных граждан, остров смерти Макронисос. Время литературного освещения этого второго периода греческого Сопротивления наступило только теперь. За один только минувший год в Афинах вышли три документальные книги о Макронисосе — Геладопулоса, Фарсакидиса и Маргариса, восстанавливающие облик острова-застенка, лицемерно называвшегося греческой реакцией современным Парфеноном, школой перевоспитания «блудных сынов отечества». И составляя эти документы о прошлом, авторы предназначали их для настоящего и будущего. «Хотя от этой «школы перевоспитания»,— пишет в предисловии к своей «Истории Макронисоса» Н. Маргарис,— остались лишь бесформенные развалины на голых скалах Макронисоса, дух «перевоспитания» жив. И он должен быть похоронен... Эта книга — дневник. Сборник воспоминаний о пережитом, составляющих трагедию, которая не должна позабыться. Ей отведено специальное место в истории греческой нации, и никто не может от нее отказаться... Эта книга написана мертвыми и живыми Макронисоса».

Однако сколь велика ни была бы роль литературы документа, этот жанр не сможет исчерпать тему греческого Сопротивления, его сложнейшую проблематику. Вне его возможностей остается решение многих волнующих греков вопросов, связанных с трагическим поражением демократического движения и его последствиями. И не случайно, что литературный образ Сопротивления немыслим без крайне важных штрихов, которые дает современная греческая поэзия, очень мыслящая, гражданственная, давно уже заговорившая о психологических, нравственных проблемах Сопротивления как в годы оккупации, так и после нее. Первые серьезные опыты решения этих проблем делаются сейчас и в греческой прозе.

И. Бернштейн

Факт и условность

Очевидно, все согласятся с тем, что необычайная популярность литературы факта имеет свои важные социальные и эстетические причины. Во всяком случае, требование достоверной истины «без дураков» проявляется у читателей разных стран в разных социальных условиях.

Среди многих общих причин необычайной популярности «невыдуманной литературы» я хотела бы отметить две: своеобразную реакцию на силу пропаганды и на слабость художественной литературы; я имею в виду разные явления, по-своему проявляющиеся в разных странах,— и отход от современной и вообще социальной проблематики, и исключительное внимание к внутреннему миру, в ущерб внешней действительности, и те случаи, когда литература хотя и обращается к социальной проблематике, но изображает действительность поверхностно, схематично, неправдиво. Я не хочу, конечно, сказать, что даже самая превосходная литература художественная сделает ненужной литературу факта; она имеет свою функцию, которая останется при любых условиях, но сейчас она иногда выполняет функции определенной компенсации, вторгается в область традиционных жанров.

Кстати, потребность в достоверной истине «без дураков» имеет и другое, казалось бы, противоположное эстетическое преломление. Речь идет о литературе условной, интеллектуальной конструкции, которую П. Палиевский считает несоответствующей современной тяге, так сказать, к «аутентичности». Думается, что откровенная, не претендующая на создание иллюзии условная конструкция, скажем, у Брехта или у Дюрренматта отвечает тому же эстетическому чувству, которое отвергает иллюзорность. Эта важная тенденция современного искусства выросла парадоксальным образом на той же эстетической почве, что и интерес к литературе факта. При этом в данном случае надо говорить не о реакции одного вида литературы на другой, а о разных явлениях, порожденных общими причинами.

В сегодняшней литературе Чехословакии можно наблюдать, пожалуй, одинаково интенсивное развитие литературы факта и литературы открытой интеллектуальной конструкции (гротеск, притча, разные виды условности, научная фантастика). Что же касается литературы факта, то здесь ясно видна и ее зависимость от общих задач литературы, и многообразие функций, которые она выполняет. А многообразие функций естественно влечет за собой многообразие художественных решений. Можно говорить о жанровом богатстве самой литературы факта и о проникновении репортажного начала во многие жанры художественной литературы. Выдвигаются лозунги: «факт против тезиса» и «факт против мифа». Ставка на литературу факта отвечает, с одной стороны, потребности трезво и объективно присмотреться к современной действительности, а с другой — найти эстетический противовес дидактике и схематичной литературе. Многие писатели поставили своей целью присмотреться «вблизи» к обыденной жизни рядового современника. Они как бы стремятся все проверить, пощупать собственными руками. Поэтому рассказчик передает только те факты, которые он лично наблюдал, и большое распространение в литературе получает форма дневника. Репортаж, дневник, документ занимают свое место в романе (например, «Становление» Л. Бублика, куда введены протоколы собраний и другие документы). Правда, уверенность в самоспасительности факта ведет, как и всякое преувеличение, в некоторых случаях к его девальвации. Появляется то явление, которое один из критиков остроумно назвал «фактикократия».

Но при всем том «чистой» литературы факта, о которой говорит П. Палиевский, в Чехословакии, пожалуй, нет. В большинстве такого рода произведений присутствует или лирический герой, или своеобразное «публицистическое я». Так, например, «лирический герой» репортажа И. Климы «Между тремя границами» намеренно непатетичен, он внимательно всматривается в самую суровую прозу отсталых районов Словакии и находит там поэзию нового.

Глазами лирика и поэта увидены факты американской жизни, не становящиеся от этого менее достоверными, в книге Л. Ашкенази «Бабье лето» *. А другую книгу об Америке «Ангел на колесиках» М. Голуба ** один критик назвал — репортажные стихи в прозе. Но в этих стихах в прозе автор достигает точности социологического исследования.

Приметами пограничных жанров: рассказа, репортажа, философского эссе и публицистики — отмечена также книга Л. Мнячко «Запоздавшие репортажи». Блюстители чистоты жанров даже упрекали автора в том, что ни принцип документальности, ни принцип образного воплощения действительности не проводится у него последовательно. Однако такая непоследовательность не помешала большому успеху этой книги у читателя. Причина этого успеха — острая общественная актуальность книги и то сознание ответственности человека и коммуниста, которым она проникнута. В этом смысле тут тоже можно говорить о страстной публицистической ангажированности автора.

Большой интерес привлекает в Чехословакии та литература, цель которой — восстановить истину в оценке исторических фактов сравнительно недавнего прошлого, особенно таких, вокруг которых создано много «мифов». Здесь можно назвать документальную повесть Д. Гамшика и И. Пражака «Бомба для Гейдриха». Ее авторы не только увлекательно рассказали о героическом эпизоде чешского антифашистского Сопротивления и создали яркий портрет одного из самых страшных нацистских палачей, но и помогли установлению объективной оценки обстоятельств, связанных с убийством на улицах Праги фашистского протектора, и, в частности, роли английской разведки, использовавшей в своих целях беспримерный героизм чешских патриотов. Установлению исторической истины способствуют и вышедшие в Чехословакии свидетельства участников Словацкого восстания 1944 г., многие руководители которого были несправедливо обвинены в начале 50-х годов.

Литература факта, которая участвует в общем процессе более глубокого проникновения литературы в действительность, отражает и общее обогащение стилей, жанров, направлений, которое является самой характерной чертой литературы сегодняшней Чехословакии.

---

* См. «Иностранную литературу» №№ 5 и 6, 1957 г.
** Там же, № 3, 1965 г.

М. Кораллов

Искусство начинается с факта

Мне нравится едва ли не каждое из наблюдений П. Палиевского. И я, кажется, понимаю, отчего он не захотел выстраивать из этих наблюдений замкнутую концепцию, но наметить ее все же следует.

Публицистически оперативная и быстрее, чем художественная проза, поспевающая за веком «литература факта» бесспорно приобрела теперь особое значение и оттеснила «литературу вымысла». «Дневник Анны Франк», книга Роберта Юнга «Ярче тысячи солнц», мемуары генерала Горбатова, очерки Сергея Смирнова обладают тем драгоценным качеством достоверности, которое читателю нынче дороже «чисто» поэтических откровений. Но усматривать исключительно или преимущественно в этом причины успеха литературы факта, по-моему, не стоит. Надо различать мотивы, характерные именно для нашего времени и, так сказать, постоянные.

Начну с самой общей и почти вечной причины: искусство начинается с факта, как дерево с семени. Постепенно, когда уже есть ствол и ветви, появляется листва литературных канонов, складываются традиции. Затем они обретают силу закона в эстетических системах, уверенно входят и занимают почетное место в идеологии, у которой, как отмечал еще Маркс, есть своя, в известной мере независимая от почвы, история. Но движение по инерции, иногда очень длительное, еще ни разу не было и не может быть бесконечным. Приходит пора, когда «листва» увядает, эстетические системы костенеют, формальная верность традициям оборачивается косностью. И тогда опять появляется независимый, фрондерски настроенный факт. Он, как ядро, пробивает склеротически-схоластические концепции. Бунтарь по эстетической и социальной сути, он отстаивает свое право на жизнь и вызывает к жизни новое искусство.

Борьба факта против исторически исчерпанного «вымысла» обостряется в эпохи кризисные и переломные. Накануне общественных катаклизмов непременно раздается призыв обратиться к «природе», к «натуре» — обновляющееся искусство припадает к ней как к источнику. В этом смысле «Исповедь» Руссо тоже литература факта, неслыханной достоверностью потрясшая современников и потомков — от Робеспьера до Льва Толстого. Литературой факта был и позитивистский трезвенно-деловой натурализм, который воспринимался поначалу как течение дерзко оппозиционное не только предшествующей идеально-романтической традиции, но и буржуазной морали, буржуазному правопорядку. Оттого в ту пору социалисты Германии и других стран Европы защищали этот отважный натурализм.

После второй мировой войны значение «факта» резко возросло. Он словно вышел из подполья и вступил в открытый бой со лживым вымыслом, упорно, долго и, к сожалению, небезуспешно насаждавшимся идеологией фашизма. На обломках итальянской империи и ее дутых эстетических программ вырос итальянский неореализм, документальность которого была спасением от инфляции и проституирования высоких слов, противоядием официальной спекуляции искусством.

Заголовок книги Юлиуса Фучика «Репортаж с петлей на шее» символичен и как псевдоним бывшего узника концлагерей, создавшего художественный документ большой силы — «К. Цетника»; «КЦ»-литература — литература Сопротивления, ставшего важнейшей темой европейского искусства, после второй мировой войны тоже начиналась с факта — как вся литература о войне.

По давней традиции или по древнему правилу, согласно которому музы молчат, когда гремит оружие, у нас в годы Отечественной войны надеялись и не раз выражали уверенность, что появлявшиеся вслед за событиями произведения полностью или полудокументальной прозы — это лишь подступ, подножие новой эпической вершины, равной «Войне и миру» и созревающей теперь в окопах, где сражается будущий Лев Толстой. С тех пор прошло 20 лет, и по толстовским рецептам действительно написано немало хороших полотен. Думается, однако, есть основания для вывода, что эти эпические полотна отнюдь не затмили документальной прозы. Более того, на их фоне стала яснее видна самостоятельная и непреходящая художественная ценность литературы факта, перечеркнуть и заменить которую традиционно-эпические опыты оказались пока не в состоянии.

Наступление факта на вымысел не прекращается и по сей день. Оно победоносно на многих участках фронта. Достаточно взглянуть на афиши московских театров, где вслед за «Милым лжецом» — драматургической композицией Дж. Килти, составленной по письмам Бернарда Шоу,— появилась композиция Л. Малюгина по письмам

Чехова. По законам этого жанра создано и «Шестое июля» — выросшая из документа историко-революционная пьеса М. Шатрова о Ленине.

Естественно, что главным предметом полемики стал роман — наиболее емкий род литературы, по крайней мере три столетия дававший простор для «вымысла», а теперь, по распространенному, особенно на Западе, мнению, вступивший в полосу кризиса или даже исчерпавший свои возможности и погибший.

Коснусь этой темы, напомнив о давнем споре защитников исторического романа в его классическом варианте, спасавших жанр Вальтера Скотта от экспансии романизированной биографии, тоже представляющей собой разновидность литературы факта. В конце 30-х годов Георг Лукач отстаивал традиции Вальтера Скотта не потому, что вымысел казался ему предпочтительней. Именно жанр исторического романа критик считал объективным по сравнению с «субъективной» по своей структуре и накопленному опыту биографией, обычно подменявшей и заслонявшей эпоху личностью. Закономерность событий, рационально постигаемую историческим романом, биография, на взгляд Лукача, сводила к таинственному гению, к случайности, произволу или капризу героя. Проникнутые пафосом объективности, направленные против одной из форм культа личности рассуждения Лукача во многом верны и привлекательны. Однако послевоенные достижения биографического жанра и в их числе успех серии «Жизнь замечательных людей», по статистике как будто перекрывшей успех литературы художественной, заставляют думать о том, что осталось за пределами этих статей.

Говорят, у кого есть талант, тот пишет роман, у кого есть знания — пишет историю, а у кого нет ни знаний, ни таланта, тот романизирует историю, перекладывая ее в биографии и добиваясь денег и славы. Конечно, это не совсем так, хотя эпидемически широкое распространение посредственных, ремесленно сработанных биографий доказывает, что в самом воздухе эпохи есть какой-то вирус, притягивающий к жанру «субъективному» и подчеркивающему значение личности. Трудно сказать, есть ли это потребность утолить жажду правды или, напротив, стремление по-мещански развенчать великую личность, сорвав официальные покровы с истины и подсмотрев ее героя в интимной наготе,— бывает, вероятно, по-всякому, но успех почти во всех случаях бесспорен.

Итак, безоговорочная победа факта над вымыслом? Вовсе нет. Думать так — значит вольно или невольно отдавать дань легкомысленно-нигилистическим настроениям и пустым разговорам о ненужности искусства вроде тех, что забавы ради начал года три-четыре назад на страницах «Комсомольской правды» знающий и любящий искусство ученый Полетаев.

Только истолкование, эмоциональное отношение взявшегося за перо человека, все равно — мыслитель он, художник или автор бесхитростного письма на деревню дедушке, придает факту какое-то значение. Сам по себе, без концепции, он мертв. И как раз в эпоху, когда история топит человека в потоках печатной, устной, телевизионной и радиоинформации, проще простого доказать, что «вымыслу», а не факту принадлежит роль главенствующая. Нынче так называемый факт — что дышло...

Противоречие? Вовсе нет. Очень настойчивые с недавних пор попытки противопоставить факт вымыслу, сейчас уже запоздали и чем дальше, тем больше будут обнаруживать в спорах искусственный характер. Выбор по принципу «или — или», любое одностороннее решение вопроса сегодня исторически неверно. Все лучшее, что создается в драматургии, кино, прозе, опирающихся на факт,— это непременно сплав с высокой мыслью и гражданской страстью. Не знаю, как другим, а мне без них факт так же неинтересен, как мысль без факта. Наступило время синтеза.

Л. Козлов

«Автора, автора!..»

Я согласен с П. Палиевским в том, что касается особой роли факта и документа по отношению к искусству, как таковому. Факт в его «непричесанном» виде и документ в его подлинности способны опережать работу искусства; они дополняют (для нашего сознания) и как бы ставят под вопрос то, что уложено в рамки художественных произведений и концепций.

Но едва ли можно в принципе согласиться с теми сомнениями, что были высказаны относительно авторской роли того человека, который берет в руки факты и документы, интерпретирует их, осмысливает и выстраивает (в документальном повест-

вовании или фильме). В руках такого человека факты и вправду могут утерять полноту жизненной многозначности и стать подчиненным элементом очередного плоского умозрения. Однако опасность эта относительна, и нужно уметь идти ей навстречу, идти через нее. Ибо только в новых и новых авторских осмыслениях может осуществиться плодотворное влияние «стихии факта» на искусство. Факт взывает к интерпретации, в этом — правило.

Не раз говорилось о том, что факт и документ предполагают активную мыслительную работу читателя и зрителя. Прекрасно! Но при этом активность читателя или зрителя не может служить оправданием пассивности автора, слабости авторской интерпретации. Банальность в документализме может рождаться равно и от авторского самодовольства, и от авторского замешательства перед лицом материала.

Возьмем для примера американский фильм «Гневное око» («The Savage Eye»). Фактические детали жизни, которые документально запечатлены в этом фильме, поражают своей непосредственной силой. А конечный результат сомнителен, потому что не удалась попытка объединить и осмыслить материал. Интерпретация оказалась «заемной», взятой из вторых и третьих рук: здесь и обывательские фрейдизмы, и сюрреалистическая орнаментика, и натужная идея вселюбивости... (Кстати, я слышал, что сами авторы этого фильма оценили свой дикторский текст как некоторый гипотетический вариант, могущий быть замененным. И это делает им честь.) С другой стороны, опыты нью-йоркской школы документального кино (даже такие, как «На Бауэри» Лайонеля Рогозина — фильм, получивший мировое признание) показали, что сырой, «девственный» материал фактов может оказаться попросту неинтересным, если его не коснулась авторская организующая рука. Так или иначе — простой аппетит к факту, раскованная непосредственность наблюдения сами по себе не решают дела. Они составляют необходимейшее условие силы документализма, но, довлея сами себе, легко оборачиваются скрытым бессилием. (Года три назад в журнале «Филм калчер» был напечатан иронический «Лексикон нового американского кино» — в нем слово «impotence» (бессилие) торжественно расшифровывается как «spontaneity» (спонтанность).

Критики одно время очень увлекались опытом, предпринятым во Франции под лозунгом «синема-веритэ» — «киноправды». Речь шла прежде всего о фильмах Жана Руша, который (вместе с Эдгаром Мореном) на свой лад восстановил в правах открытые Вертовым принципы киноинтервью. Человек перед кинокамерой рассказывает о себе и о своей жизни. Руш и Морен решили сделать из этого непредвзятое и объективное социологическое исследование, без интерпретаций, без авторских вмешательств. По зрелому размышлению критики были вынуждены признать, что на этом пути «киноправда» пришла к противоречию. Конкретное отношение авторов к действительности и ее объектам сказалось помимо воли авторов (хотя бы в том, что круг людей, избранных для интервьюирования в фильме «Хроника одного лета», оказался кругом личных знакомых Руша и Морена). Изгоняемая в дверь интерпретация лезет в окно.

В этом смысле гораздо более плодотворным оказался иной путь работы над документом, когда проблема организации и осмысления материала ставится принципиально. Этот принцип социального документализма, провозглашенный во Франции еще Жаном Виго, в недавние годы воплотился в таких известных фильмах, как «Прекрасный май» Криса Маркера и «Умереть в Мадриде» Фредерика Россифа. Факт и документ переходят здесь в концепцию, в структуру, в завершенную форму фильма.

Здесь мы возвращаемся к началу дискуссии. Наметилось такое противопоставление: стихия факта многозначна и многостороння, а замкнутое произведение поневоле односторонне. Или: факт, как таковой, рождает вопросы, а концепция их в некотором смысле закрывает, предлагая однозначное решение. Но ведь умение с т а в и т ь вопросы было и всегда останется величайшей способностью художника, автора! На этом пути может рождаться самая завершенная форма, и художественная замкнутость произведения вовсе не означает замыкания и закрытия поставленных проблем. Об этом тоже нельзя забывать.

Соотношение между образом и документом, о котором говорит П. Палиевский, очень поучительно сказывается на собственной «территории» искусства. Я хотел бы напомнить о работах Алена Рене.

Фильм «Ночь и туман» начинается цветными кадрами: голубое небо, зеленая трава, белые цветы — все это вокруг руин концлагеря. Эти виды (снятые так впервые!) как будто бы выражают ту самую эстетику живого явления, о которой говорит П. Палиевский: мы переживаем неожиданность, несказанность, новую характеристичность... Но умиротворенные пейзажи тут же включаются в жестко направленную мысль художника, сменяясь черно-белыми архивными кадрами, изображающими нацизм в действии и концлагерь в работе. Два структурных «слоя», из которых выстроен фильм, своим взаимодействием и рождают вопрос: изжито ли прошлое? Ничего, кроме факта и документа, мы не видим. Но как раз в полном отсутствии «художеств», не допущенных в четкую и замкнутую структуру фильма, как раз в этом выразилась безупречная художественность. Из документов и фактов

рождается образ, поразительный по своей нравственной строгости. Искусство ограничивает свое место, зная при этом, что на этом месте ничто его не заменит.

В своем предпоследнем игровом фильме «Мюриэль» Ален Рене занялся психологией людей, огороженных буржуазным бытом. Один из персонажей — молодой человек, вернувшийся с алжирской войны. В одном из эпизодов он показывает своей возлюбленной фильм. «Документальный фильм?» — спрашивает она. «Хуже»,— отвечает он. На экране появляются кадры, снятые любительской камерой, передержанные, грубые по цвету: араб на муле, горящая машина, распростертые на земле тела, смеющиеся солдаты... Все это становится вступлением к рассказу юноши о том, как была растерзана солдатами алжирская женщина по имени Мюриэль. Затем рассказ об Алжире снова уступает место путанице бытовых взаимоотношений между персонажами. Но он прозвучал! И это не просто напоминание о душевной травме бывшего солдата. Грубость стилизованного документа, введенная в тонко выверенное художественное построение фильма,— это еще и напоминание самого искусства о том, что в данном случае осталось за пределами его прямого внимания.

Так что, упрекая искусство в замкнутости, мы должны иметь в виду, что серьезное искусство само способно отдавать себе отчет в этой замкнутости. Значит, нужно исходить не из противопоставления документа и образа, а из их живого взаимодействия: оно происходит на наших глазах.

Другой вопрос — каковы те реальные способы, которыми из стихии фактов может быть естественнее всего излучен образный смысл? И как соотносятся эти способы?

С. Корытная

По-моему, антагонизма нет

В подтексте — так сказать, в интонации — рассуждений П. Палиевского мне послышались знакомые упреки художественной литературе: ее «отставание» от документальной прозы звучит для меня синонимом ее неспособности отразить трагедийные проблемы XX века, проблемы, вполне доступные и «посильные» для документальных жанров. Такова, во всяком случае, наиболее явная причина повышения читательского интереса к дневникам, мемуарам, очеркам — за счет, стало быть, охлаждения к художественным жанрам. Упоминая в этой связи такого гиганта, как Томас Манн, П. Палиевский и натолкнул меня на мысль, что под «отставанием» подразумевает он слабость, недостаточность, маломощность нынешних художественных жанров по сравнению с документальными,— с этим как-то не хочется безоговорочно соглашаться.

В революционном XX веке появились новые факторы, прежде в таких масштабах неизвестные человечеству. Назову только три, хотя в действительности их больше. Тоталитарные режимы в европейских государствах. Перевороты в науке и технике. Небывалые новые средства массовой информации и коммуникации.

Прежние эпохи не знали, к примеру, такого нормативного ограничения художественного творчества, какое утвердилось к исходу первой трети нашего столетия в государствах с тоталитарным режимом — Германии, Италии, Испании, Японии. В условиях тоталитаризма невозможно художественное творчество, отражающее истинную жизнь общества хотя бы средствами критического реализма. Мало того, тоталитарный режим расходует значительные силы и средства на создание лживой, помпезной, рекламно-пропагандистской литературы и апологетического искусства, вредоносное влияние которых не только на публику, но и на художественно-творческую интеллигенцию оставляет весьма глубокие следы — и надолго. Народ такой страны, а тем более другие народы остаются в неведении относительно истинного положения в общественных, экономических, научных, политических и многих других сферах текущей действительности и собственной истории.

Да, сразу же после падения подобной диктатуры первое слово принадлежит свидетельскому показанию — документу, фактографии, репортажу. Яркий пример — дневники Ольги Лэнгуэй («Печи Гитлера»), или Анны Франк, или, если угодно, одного из идеологов фашизма, Гесса.

Однако через несколько лет — я бы сказала, с законным «отставанием» (во времени!) — появляются художественные произведения на те же темы, например, «Дом кукол» К. Цетника, или «Пассажирка» Зофьи Посмыш *, или «Море и яд» Сюсаку

* См. «Иностранную литературу» № 8, 1963 г.

Эндо *, и становится очевидным, что художественная литература себя не исчерпала, что точку на ней ставить еще преждевременно.

Свидетельство очевидца трагедийных событий XX века бесценно, ничем не заменимо, бессмертно. Но речь ведь идет не о конкуренции и даже не о соревновании! Голос художника, литератора нужен людям сегодня не меньше, чем в прежние времена, ибо познание действительности не исчерпывается документами, художническое осмысление жизни нам не менее необходимо. Едва ли наши сегодняшние представления о фашизме, об его истоках и питающей среде могли бы сложиться без прозы Бёля и Кёппена, без драматургии Брехта и Фриша, без кинофильмов Росселини и Висконти.

С другой стороны, не следует, по-моему, игнорировать возникновение — именно в XX веке — совершенно новых, нетрадиционных жанров, немыслимых вне контакта и взаимодействия с жанрами документальными, я имею в виду, скажем, Сент-Экзюпери и Алена Рене («Хиросима — любовь моя»). Впрочем, и эти наиновейшие жанры имеют, конечно же, свою родословную. Напомнив нам «Дневник писателя», в котором Достоевский одним из первых использовал газетные сообщения, судебную хронику, свидетельские показания, П. Палиевский на этом почему-то остановился. Между тем, именно Достоевский — создатель нового жанра и метода, им самим названного «фантастическим реализмом». Характерно, например, что в такую фантасмагорию, как его легенда о Великом инквизиторе, Достоевский включил газетные сообщения о зверствах крепостников — о ребенке, затравленном собаками. И если никто не сомневается в том, что «Братья Карамазовы» нужны человечеству — ну, хотя бы для более полного познания эпохи, в которую жил и творил Достоевский,— ничуть не меньше, чем его же «Дневник» (не говоря уже о самих документах, в него вошедших), то стоит ли сомневаться в необходимости — для полноты картины наших дней — художественного творчества Кокто или Апдайка, Ионеско или Камю, Феллини или Бергмана, Моравиа или Х. Гойтисоло.

Для читателя наших дней характерно, впрочем, и показательно, что его пристальный интерес привлекают документальные, мемуарные и дневниковые свидетельства не только социального плана (судьбы узников фашистских лагерей, военные мемуары и т. п.), но в равной мере и литература научно-документальная и научно-мемуарная. «Путешествие на Кон-Тики» Хейердала, «Рукописи Мертвого моря» Амусина, «Физика и реальность» Эйнштейна, «Наука и удивительное» Вайскопфа, «От пчелы до гориллы» Шовена, «Я — математик» Винера. «Революция в физике» де Бройля или «Физика в жизни моего поколения» Борна — чтобы назвать лишь первые пришедшие на память — читаются сегодня столь широкими кругами людей во всем мире, что «чисто художественная» литература должна бы этому мучительно завидовать.

Но для подобной зависти нет ни малейшего повода. Сегодняшнее художественное творчество впитывает, пусть все с тем же небольшим и, видимо, необходимым «отставанием», грандиозные сдвиги в человеческом сознании, что обусловлены революциями XX века — и социальными, и научными. Свободное обращение с пространством и временем, с любыми сферами человеческой деятельности, с человеческим сознанием и подсознанием, присущие сегодня художественной прозе и экрану,— лишь наиболее броские приметы эволюции их композиционных приемов и техники. Они свидетельствуют об активном влиянии общественного и научного прогресса на художественное мировосприятие и творчество. И в то же время они по-своему участвуют — и всегда будут участвовать — в формировании психологии и нравственности человека и общества.

С. Великовский

О факте упрямом и факте податливом

Документ против мифа, простая подача фактов против сочинительства. Демистификация умов, жаждущих избавиться от опеки, от поводырей, от всякого рода объясняющих господ. Открытая всем ветрам фактографическая модель, допускающая и даже провоцирующая плюральность, бесконечную множественность толкований,— в противовес однозначной замкнутости идеологических построений.

* См. «Иностранную литературу» № 8, 1964 г.

Казалось бы, куда как очевидны смысл и предназначение огромного потока протокольных, исторических, биографических, научно-занимательных — словом, «вполне достоверных» — повествований, изрядно потеснивших ныне на книжном рынке традиционную литературу вымысла.

Казалось бы, все очень просто.

И даже слишком.

А это уже настораживает, побуждая взглянуть на вещи пристальней и по возможности изнутри.

Что ж, случается, дело обстоит именно так, как его излагают ревнители сырого, наивно-непосредственного факта. И очень часто. Сегодня обывателя Запада — и только ли обывателя? — с головой захлестывает все нарастающий прилив разного рода «правд», каждая из которых зачастую правдива не потому, что истинна, а потому что освящена авторитетом, или кому-то и для чего-то нужна, или просто привычна, удобна, обещает благоденствие впереди. Все эти функционально-пропагандистские правдочки складываются в одну непомерно раздувшуюся мифологию XX века, столь кичащегося своей просвещенностью, научностью, своим трезвым лозунгом «без дураков!». У нее есть свои небожители и свои богоравные богатыри — гангстеры, кинозвезды, футболисты, международные авантюристы. Свои легенды — жития знаменитостей. Свои сказители — теледикторы и газетные хроникеры. И еще есть неслыханная в патриархальную древность техника — столь мощная, что громогласный гомеровский Стентор, попробуй он с ней состязаться, наверняка не услышал бы и самого себя.

Но позвольте, разве громкоговорители, телекамеры, иллюстрированные еженедельники, рекламные щиты и другие распространители мифологического ширпотреба снабжают вымышленными побасенками? Неон огнеписует фантазии? А биографии, выпущенные к выборам президента, передачи прямо с места происшествия, беседы за круглым столом телестудии, репортажи из кабинета министра или директора фирмы? Ведь все это протокольно, документально — и все обслуживает очередной миф. В искусстве, между прочим,— с не меньшим успехом. Что, как не документ, на службе рекламных мифов,— скажем, почти весь нынешний «поп-арт», «холсты», сооруженные Робертом Раушенбергом с сотоварищи по рецептам «combine paintings»? Уж куда как фотографично — и вырезки из газет, и фотоснимки, и прямо вмонтированные в «полотно» телевизоры, кровати, пылесосы, автоматы «кока-кола» и все прочие аксессуары нейлоновой цивилизации. Да еще осененной тщательно выписанным американским флагом, навязчиво возникающим в монтажах этого вполне официозного «неодадаизма», как бы подчеркивая верноподданническое умиление его изобретателей своим отечественным потребительски-технократическим раем.

Сам по себе документ, следовательно, может быть и инструментом пробуждения умов, и инструментом их одурманивания. Считается, что факт — вещь упрямая, реже замечают, что факт — вещь необычайно податливая. Очевидность его обманчива, по самой сути своей двусмысленна. Какое именно значение он получит — это зависит не столько от него, сколько от истинности или ложности его сопряжения с другими фактами, их анализа, их осмысления. Я не вижу особой принципиальной разницы между работой литератора с документальным материалом и его работой с материалом вымышленным. Различие здесь не коренное, не на уровне методологии, а на уровне психологии творчества и поэтики.

Значит ли это, что я стараюсь попросту закрыть проблему, столь остроумно здесь поставленную? Отнюдь нет. Сказанное лишь означает, что, отделив документальные поделки от документальных повествований, последние следует рассматривать в ряду полноценной художественной литературы наших дней. И что традиционной эстетике стоило бы покончить с отношением к документализму как к чему-то второсортному, пересмотреть сложившуюся шкалу жанров, дав все права гражданства рождающейся на наших глазах словесности особого склада. Включали же старые теории и истории литературы, к примеру, эпистолярную прозу или ораторское красноречие.

Перейдя от заинтересованных пожеланий в адрес теоретиков к делам текущим, нетрудно заметить, что документальная литература помогает нащупать некоторые очень важные сдвиги, происходящие в нашу эпоху в художественном мышлении Запада. Начну с примера. Алжирская война, потрясшая Францию, дала в литературе два ряда произведений: серию документальных книг и несколько социально-психологических повестей, выполненных в традиционной манере, правда, с включением кое-каких бытующих ныне повсюду примеров письма — хаотический поток мыслей и воспоминаний, смещения хронологических пластов и т. п. (Что касается книг «неороманистов», то они, конечно, по-своему тоже опосредованы атмосферой тогдашних исторических потрясений, но были скорее бегством от них в уютный и устойчивый мирок, где саирепствуют бури понарошку — бури в стакане воды.) Бросается в глаза, что свидетельские репортажи об Алжире и о Франции в пору алжирской трагедии оказались не только встряской для общественного мнения страны, но зачастую и отличными образцами прозы. Напротив, среди вымышленно-правдоподобных сочинений не было ни одного, поднимавшегося выше сероватой посредственности.

Подождите, скажут мне, нужна же дистанция времени. Но к 1966 году она не так уж мала, а насчет столь желанных книг и даже их замыслов что-то не слышно. Кроме того, отчего, кстати, в прозе о бесчинствах гитлеризма и двадцать с лишним

лет спустя не создано ничего, что бы превосходило по художнической своей самобытности документальные или полудокументальные вещи наподобие книги Робера Мерля «Смерть — мое ремесло»? Само по себе это уже заставляет задуматься.

Другое возражение также легко предугадать: французские писатели, мол, заражены аполитичностью. Однако ведь под манифестами против изощренных зверств солдатни в Алжире и фашистского террора в Париже стояли подписи прославленных мастеров слова. Когда же они брались за перо, чтобы сказать свое слово о происходившем, они избирали либо документальное повествование (Жюль Руа), либо фантастическую притчу («Носорог» Ионеско *).

В чем же здесь дело? Думаю, что разгадку стоит искать прежде всего в самом складе исторической жизни XX века. В своих взлетах — свидетельствах мощи человеческого духа, как и в своих провалах, какие неведомы ни варварам, ни кровожадным зверям, она сплошь и рядом ставит в тупик, опрокидывает логику простого здравомыслия, выглядит невероятной, непостижимой, сбивающей с толку. Попробуйте, на минуту пренебрегши географией, описать как некий вымысел, призванный исследовать пределы человеческого падения, карательные операции американцев во Вьетнаме — вам тут же скажут, что это натурализм, клевета на род людской, что вы малюете садистов и выродков, что бумага, экран или театр этого не терпят (подобные упреки не раз раздавались и по поводу «Рима — открытого города», и по поводу «Мертвых без погребения» Сартра, и множества других произведений о творившемся в фашистских застенках). Попробуйте, с другой стороны, предвосхитить в повествовании на несколько месяцев газетную информацию об очередном шаге по завоеванию космоса — вам скажут, что это научная фантастика.

«Литературе вымысла», исповедующей культ очевидного правдоподобия, со всем этим уже не совладать, она порядком выдохлась, кое в чем исчерпала себя и уже малопригодна для воплощения если не всех, то некоторых весьма ответственных пластов сегодняшнего бытия. Как, между прочим, и живопись: сколько бы ни сердились на Пикассо поборники «иллюзионистской манеры», даже они не в силах назвать полотен, выполненных в привычном для них стиле и при этом равных «Гернике» по передаче кошмара механизированного истребления тысяч — а ведь предлогов для таких картин, увы, было предостаточно. Ныне уже не срабатывает прежняя пружинка — вымысел, но как бы взаправду, на самом деле. «Эра подозрений», когда читатель все более недоверчив к прочитанному,— это не выдумка Натали Саррот, пусть мы не во всем согласимся с ее диагностикой. Силы, когда-то пребывавшие в равновесии,— правда и вымысел,— теперь нарушили его, трещит и взрывается изнутри традиционное относительное их содружество, оказывающееся лишь преходящим моментом в становлении художественного мышления. Невероятному доверяешь, когда оно запротоколированный факт либо когда оно не маскируется, открыто провозглашает свою невероятность, свое выпадение из ходовых мерок. В последнем случае оно уже не зеркало, наведенное на житейскую дорогу, а особый инструмент для обострения нашей чуткости ко всему, что в самой повседневности фантастично, хотя примелькалось, перестало ужасать или окрылять.

Отсюда, мне кажется, исподволь, но неуклонно нарастающее в литературе XX века расщепление, поляризация вымысла и правды, зачастую столь мирно неразлучных в бальзаковскую и особенно в послебальзаковскую натуралистическую пору. С одной стороны, внедрение лирически перенапряженной речи, сказового строя, мрачного гротеска и утопической грезы, притчевых конструкций, аналитико-эссеистского философствования, гиперболизированной глубинной психологии, прямого обсуждения с читателем того, о чем ведется рассказ, и многих других откровенно поэтических приемов обработки повествования. С другой стороны — тяготение художественной правды к своему прототипу, первооснове: факту, протоколу, документу.

Впрочем, памятуя сказанное выше о документе-в-услужении-мифа и документе-против-мифа, указать на одни эти внешние приметы сегодняшних поисков — значит, пожалуй, скользнуть по поверхности вещей. Протокольное обличье, в частности, позволяет догадываться о какой-то важной потребности нынешнего реализма сделаться другим, иным, чем столетие назад, стать вровень с запросами времени. Каким именно другим — об этом дает предварительное понятие не столько сама по себе склонность к документу, сколько структура документального повествования.

И здесь особенно плодотворно присмотреться попристальней к первым шагам документального театра — представления, ранее известного только в кино. В недавние годы на театральных подмостках один за другим появились спектакли, в которых очень мало или даже совсем нет текста, не заимствованного из протоколов или сходных историко-архивных материалов. Драматург сам ничего не пишет, он монтажер, отбирающий и компонующий документы; актеры же разыгрывают еще раз то, что однажды уже произошло на самом деле. Таков, к примеру, спектакль Жана Вилара «Дело Оппенгеймера» или «Судебное разбирательство» Петера Вейса.

В театральной жизни последних сезонов эти пьесы открыто и вызывающе противостоят не только бульварному развлекательному зрелищу, но и зрелищу метафизико-апокалипсическому — «театру абсурда». Примечательно, что порвавший с «антитеатром» один из его основателей, Артюр Адамов, именно так мыслит свою «Весну 71 го-

* См. «Иностранную литературу» № 9, 1965 г.

да» и что он обратился не к традиционной социально-бытовой или психологической драме, а к историко-документальной трагедии о Парижской коммуне. Как и все опыты театральных документалистов, «Весна 71 года» выглядит серьезной попыткой реализма отвоевать западноевропейскую сцену, но обратившись для этого не вспять, а выйдя на новые рубежи.

Каковы же они? Стержнем документального спектакля чаще всего служит словесная сшибка сторон во всеоружии их логических доводов. В своем конечном проявлении этот спор — либо следствие по государственному преступлению, либо судебное заседание прямо на подмостках. Документальность же его особо подтверждает всю насущность разбираемого «казуса», затрагивающего зрителя так, как будто он находится не в театральном зале, а в зале суда. Вот эта-то откровенная и дерзкая аналитичность, отсылающая к исторической хронике недавних лет и ради своего обнажения рискующая отбросить подпорки занимательной интриги, да и прочие приемы театральной сценичности, и заострена против принципов «антитеатра». Ведь последний по самой сути своей есть театр видения, смутного, нерасчлененного, полувысказанного, рассчитанного на интуитивное вчувствование, вживание в атмосферу кошмара наяву. Не случайно текст здесь, особенно у Беккета, оттеснен жестом, материализованной метафорой, пантомимой. Завораживающему действу, мираклю XX века документальный театр противополагает поэзию мысли, не ведающей никаких запретов, разрывающей пелену мифов и побуждающей тех, кто сидит в зале, задуматься над самыми болезненными, самыми ответственными вещами, от которых зависят подчас судьбы миллионов, да и всей нашей земли.

Быть может, как раз в предельном повышении интеллектуального накала и состоит ценнейший вклад документа в созидание сегодняшней литературы. Во всяком случае, его протокольная самоочевидность, наивность «сырого», необработанного свидетельства — кажущиеся. Он в первую очередь задает работу умам, взывая не к нашей способности созерцать, а к нашей потребности узнавать, думать.

Бор. Агапов

Искусство остается

«Депижонизация» в Париже производится просто: к месту голубиных сборищ подъезжает автомобиль, из него выстреливает невод, он накрывает голубей, и потом их увозят куда-то, вероятно, не для воспроизведения. В Японии карнизы красивейших, вырезанных из драгоценного дерева храмов обезображены проволочными сетками, потому что голуби загаживают их, а буддизм запрещает проводить депижонизацию.

Голубь — птица злющая, прожорливая, разносящая инфекцию и разводящая грязь. Символом мира он стал по христианской традиции («дух в виде голубине») и в этой должности работает хорошо, но как реальная птица давно уже разоблачен.

То же можно было бы сказать и о чайке. Ее поэтическая грациозность и вольный ее полет в действительности есть тяжелая, почти беспрерывная работа по добыванию пищи, и моряки рассказывают, что в штормовую погоду измученные борьбой с ветром и голодом птицы валятся на палубу и даже не пытаются взлететь, когда их хотят поймать.

Поэтические образы, всякие эмблемы и символы имеют право отрываться от действительности, но в наше время нам доставляет большее удовлетворение их разоблачать, нежели перед ними преклоняться. Таков уж двадцатый век, которому нравится демистификация.

Дело дошло до того, что сами мистификаторы в своем кругу не стесняются говорить о хитростях и обманах, какие они проделывают для охмурения масс,— так именно и поступали господа Геббельс, Гитлер и прочие.

Минувшие семьдесят лет были временем столь чудовищной лжи, столь беспардонного замусоривания мозгов, что люди устали от такой «пропаганды» и даже готовы видеть ее там, где ее и нет. Ленинская позиция на этот счет хорошо известна: он не делал разницы между пропагандой и правдой, он считал, что «мы должны ставить дело во всей нашей пропаганде и агитации начистоту».

Особенно ненавистны стали пропагандистские трюки в художественной литературе, вероятно, потому, что тут происходит не только обман читателя, но и оскорбление его чувства любви к искусству. Одно лживое стихотворение может вызвать недоверие и отвращение ко всей поэзии.

Одновременно с недоверием к пропаганде в сознание читающих людей проникает и тот научный стиль мышления, который стал приметой нашего столетия. «Жаждой ясности» (термин Д. Данина) охвачены не только ученые, но и очень широкие слои интеллектуалов и образованных рабочих. К этому умонастроению гораздо ближе скепсис по отношению ко всякого рода догмам, нежели согласие следовать за готовыми концепциями.

«Дайте мне точную информацию, а уж вывод я сделаю сам» — таков итог недоверчивости и тяги к научности в наше время.

Этим, я думаю, надо объяснить вкус к документальным материалам, заметный нынче у читателей.

Любовь к детективам нисколько не противоречит таким интересам, ибо никто и не предъявляет к Агате Кристи требования рассказать правду о жизни. Час-другой умственного отдыха и отвлечения от волевых усилий — вот все, чего от нее ждут.

Читатель ищет разгадок тех тайн, которые предъявляет ему жизнь, история. Он с трепетом ищет ответа на вопрос о будущем, о его личном будущем и о том, что готовит всем нам этот не очень гостеприимный мир. И тут он зачастую предпочитает плохие факты хорошему искусству.

Поэтому я ничуть не удивлен тем, что информационные заметки отбивают хлеб у писателей.

Однако, утвердив это вполне справедливое положение, мы останавливаемся перед терминологической путаницей, в которой необходимо разобраться.

Прежде всего, как мне кажется, следует исключить из обсуждения все явления, которые не имеют отношения к искусству. Сюда относятся сообщения, доклады, большая часть дневников, воспоминаний, писем и т. д. «Большая часть», потому что бывают письма и дневники, а в особенности воспоминания, которые по воле автора или без его желания обладают несомненными художественными достоинствами, хотя и не в этом главная их притягательная сила. Ведь речь идет о сфере художественной литературы, а не вообще о сфере чтения.

Затем следует оставить в стороне все подделки под документальность, каковой подделкой некоторое время был, например, «Робинзон Крузо», пока его не разоблачили. Они интересны только в том смысле, что подтверждают интерес читателя к фактам.

Тогда перед нами останется несколько видов участия фактического материала в художественном произведении.

Прежде всего самый, я бы сказал, свободный и наиболее близкий к традиционной литературе жанр — субъективно-лирическое повествование.

Возможность фактической проверки предлагаемого материала здесь колеблется от почти полного нуля вплоть до довольно значительных величин.

Крайним примером подобной работы может служить лирическая повесть Ольги Берггольц «Дневные звезды». Главный и почти единственный «факт» в этом произведении — внутренний мир автора, то есть нечто, не поддающееся наблюдению других людей. Однако расчет автора и уверенность читателя состоят в том, что этот мир описан документально точно. Это знание составляет как бы «фактическую» опору вещи. Интереса к личности известной поэтессы и ко времени, которое охватывает ее рассказ, достаточно для того, чтобы читатель раскрыл книгу и начал чтение. Искренность автора, ее талант и ее мастерство заставляют прочесть книгу до конца с горячим волнением и сочувствием.

Воспоминания Анастасии Цветаевой, недавно опубликованные «Новым миром», уже гораздо более фактографичны. В них гораздо больше связей с реалиями времени. Здесь действуют люди, широко и даже всемирно известные — создатель Музея изобразительных искусств Цветаев, поэтесса Марина Цветаева, Максим Горький... фактической проверке здесь подлежало бы очень многое, если бы в том была какая-нибудь надобность. В сущности, это документ, важный и для историка и для литературоведа, это — литература факта, то есть именно та литература, о которой говорит П. Палиевский.

Документальный материал выступает здесь как самодовлеющий элемент повествования, имеющий объективную ценность.

Вместе с тем нельзя сомневаться, что воспоминания написаны в высоком классе художественной прозы, иногда даже чересчур изысканно и гораздо более сложным и тщательным стилем, нежели проза Марины Цветаевой.

Если мы двинемся еще дальше к пределу объективности и документальности художественной литературы, мы встретимся с недавней работой Даниила Гранина о его путешествии в Австралию. На первый взгляд может показаться, что это не так. Гранин, романист и драматург, дает понять читателю, что он не хотел бы насыщать свою вещь сведениями об этом материке, об этом государстве, об этом народе и предпочитает рассказывать о себе, путешествующем. Однако читатель быстро разгадывает секрет автора, который состоит в том, что речь идет не о Гранине, а о современном мире, о нашей эпохе, о некоторых ее чертах, важнейших для нас всех и прежде всего для нашей молодежи, то есть для нашего будущего.

Речь идет о свободе души.

Поэтому так превосходно написан эпизод, где автор остается наедине с океаном, наедине со Вселенной, наедине с самим собой и вместе с тем в единстве с челове-

чеством. Здесь ничто не подлежит документальной проверке, это — не литература факта, но это — факт литературы, то есть факт одного из открытий современного внутреннего мира человечества.

Этой идее подчинены и все прочие эпизоды произведения, в которых, не в пример упомянутому, очень много фактического материала.

Документальная повесть Гранина есть философский этюд, выполненный средствами фактографии. Литературные качества этого этюда выше всяких похвал. Свобода стиля, вольность композиции, легкость языка, ироничность и горячность — все это освещено любовью к людям и верой в то, что человек добр.

Субъективное выражение объективной реальности: человечество жаждет мира и свободы. Мир прекрасен, и преступно всякое покушение на эту красоту.

Так оказывается, что факты жизни, вполне подлежащие проверке (если бы в том оказалась надобность), могут стать строительным материалом философской лирики и лирической публицистики самого высокого класса.

Передвигаясь дальше по ординате фактичности, мы встречаемся с применением документальных материалов двумя методами.

Во-первых, так сказать, с орнаментальными целями.

Когда-то был издан сборник, весьма обширный, посвященный одному дню планеты. (Впоследствии, совсем недавно, опыт этот был повторен издательством «Известия».) В первом сборнике были приведены сводки погоды по всему земному шару за описываемый день. Никакого значения для событий и для характеров людей, изображенных в сборнике, синоптические материалы не имели и иметь не могли. Передать обстановку того дня они тоже не были в состоянии. В общем, они не сыграли никакой роли, а только заняли место, хотя и были точны во всех отношениях.

Второй пример. Один из представителей школы «антиромана» во Франции писатель Бютор выпустил книгу под названием «В движении», посвященную путешествию по Соединенным Штатам. Вот отрывок, который может служить эталоном построения всей этой обширной работы.

«КЛИВЛЕНД, ОКЛАХОМА, Средний Запад (только для белых) — резервация Индейцев Озажей.

ДЕЙТОН, графство Свободы.

Море,
наш автомобиль, покинутый в песках,
ветер, который заметает трассы наших шагов,
море,
которое покрывает наши голоса,
запахи, идущие от земли,
твои пальцы, которые сжимаются в моей руке.
Настоящая Мексика на том берегу Рио Гранде.

Эссо,— «он засыпает».

ДЕЙТОН Н. М. (Нью Мексико), самый большой штат после Аляски, Техас, Калифорния и Монтана, Дальний Запад,— Индейцы Апаши».

и так далее.

Как видит читатель, фактические сведения, включенные в этот кусок и подлежащие проверке, если бы в том оказалась надобность, ничего не дают читателю. Названия ресторанов или индейских племен бессодержательны и могут нести только одну функцию — создавать ощущение однообразия, стандартности страны и мелькания этих стандартных деталей в окне автомобиля или поезда. Нерентабельный прием! Ибо ради такого ощущения не стоило заполнять справочными материалами чуть ли не половину всех строк книги.

В подобных случаях документальность выступает как своего рода кокетство, или, выражаясь жаргонно, «пижонство» со стороны автора, и хочется ему посоветовать произвести над рукописью тоже депижонизацию. Оказывается, и документами можно мистифицировать, хотя они и призваны выполнять обратную функцию.

Двигаясь дальше в сторону полной документальности, мы встретимся еще с такими писательскими работами, в которых автор почти самоустраняется, предоставляя читателю самому раскрывать смысл предлагаемых фактов и только направляя его мысль скупыми замечаниями. Так построена книга Е. Ржевской «Берлин, 1945». Точные зарисовки виденного и слышанного во время взятия Берлина чередуются с выписками из документов и материалов опросов и допросов. Е. Ржевская работала как переводчик в группе следователей, которым было поручено разыскать трупы Гитлера и Геббельса в столице поверженного германского фашизма.

Субъективные впечатления и ощущения сведены здесь к минимуму и переданы информационно. Основные этапы поисков и приближение к открытию подлинных материалов и вещественных следов гибели этих величайших мерзавцев века интересны для любого читателя и вполне отвечают жажде демистификации, характерной для нашего времени.

Соответственно этой установке строится и литературная характеристика записок. Здесь нет и следов какой-либо претенциозности, но нарочитая строгость, как это

ни странно, подчеркивает волнение, с которым автор участвовал в невеселой миссии следовательской группы. Сквозь перечень фактов просвечивает облик советской женщины, много перенесшей за долгое время работы на фронте, знающей слишком хорошо, что такое народное горе.

Автор приводит почти без комментариев выдержки из дневника Геббельса. Они говорят сами за себя. Мелкий жулик получил возможности для крупных, глобальных обманов. Он в восторге. Ему совершенно неинтересны ужасные последствия того, что он готовит. Он потирает руки от гордости, когда видит, что ему удается надуть целые народы, когда предвкушает уничтожение целого народа.

Есть еще одна форма использования документального материала в искусстве. Особенно часто она встречается в кино и фотоплакате. Она связана с раздокументированием документов. Пожалуй, это метод, наиболее далеко уводящий от факта.

Скажем, создается документально-художественный фильм, основные идеи которого авторы наметили, и теперь требуется их осуществить. Вместо того чтобы снимать подготовленные декорации и актеров или типаж, авторы подыскивают в документальном материале нечто подходящее или снимают под документ организованные сцены. В этих случаях то, что создает ценность документа, а именно — точный адрес во времени и пространстве, игнорируется. Скажем, для монтажной фразы нужна печальная женщина из северных районов. Если кадр с такой женщиной найден, авторов не интересует, кто она, действительно ли она была в печали или просто так получилось на пленке — важно одно: отвечает ли кадр задаче. Если отвечает, он идет в фильм в расчете, что его никто не видел в ином осмыслении.

Так создается произведение, элементом которого является уже неподвластный воле режиссера кусок, приблизительно совпадающий с темой. Мне кажется, что лишь в редких случаях подобные работы можно назвать документальными и то лишь тогда, когда в кадре присутствуют признаки, бесспорно соотносящие его с темой вещи — например, национальные, исторические, узкопроизводственные черты. Я лично полагаю, что для современного зрителя такая методика уже неприемлема все по той же причине — вследствие жажды ясности, вследствие стремления к демистификации.

Когда я учился в гимназии, наш учитель словесности объяснил нам, что во фразе: «монета упала, блестя и позванивая» — слова «монета упала» — не искусство, а слова «блестя и позванивая» — искусство, художественный образ. В наше время немало приходится встречать романов и рассказов, которые падают к вам на стол «блестя и позванивая», но не более. Подобно тому, как сейчас в кино уже никого нельзя поразить красиво снятым пейзажем, так и в литературе прошло время роскошных описаний и поражающих сравнений. Для украшений эпоха наша мало оборудована. Она тревожна и опасна. Люди хотят приподняться над бортами шлюпки и оглядеть горизонт. Они хотят разобрать, что перед ними — консервная банка или перископ. Чтение есть средство распознания окружающего. Выдуманные предметы не заботят никого. Громоздкие и скрупулезные описания отвергаются за недостатком времени. Предпочтительны факты действительности, которые могут (если могут!) служить ориентирами.

Другое дело — внутренний мир человечества. Посредством «блестя и позванивая» его не покажешь. Собственно литература стремится именно к тому, чтобы раскрыть нам нас самих. Всякое искусство есть метод обдумывания народом самого себя, и литература прежде всего. Тут факты ничего заменить не могут. Тут — слово художнику. Всякий, кто может показать всем то, что есть в каждом, есть художник. Конечно, его право прибегнуть к документу, но не в этом главная его сила.

Искусство остается.

Тема, которой была посвящена дискуссия, состоявшаяся в редакции журнала «Иностранная литература», возникла не случайно — рост интереса к фактическому, жизненно достоверному материалу в литературе, кино, театре бросается в глаза. В опубликованных выше выступлениях приведено много подтверждений этому: каждый читатель может, без сомнения, добавить доказательства из собственного опыта. О повышенном интересе к документальной литературе не раз писали в нашем журнале зарубежные критики. Да и сами страницы «Иностранной литературы» могут служить подтверждением того, с какой силой, самыми разными путями, проникает в современную литературу документальность, как входит она в сферу внимания и читательской аудитории, и писателей.

Самый живой отклик у наших читателей неизменно находили такие публикации, как дневник чешской патриотки Марии Кудержиковой, письма расстрелянных коммунистов, погибших героев Сопротивления, протоколы их допросов,— эти правдивые и неприкрашенные свидетельства величия духа борцов за свободу и независимость не устаревают со временем. Живейший интерес вызвали документальная повесть Д. Гамшика и И. Пражака «Бомба для Гейдриха», «История одной битвы» Александра Клюге и другие книги, в которых писатели обращаются к документальному материалу, чтобы

показать правду о прошлом — ради лучшего понимания современности. Документальная литература о второй мировой войне не иссякает, и, кажется, нет человеческой судьбы тех лет, которая не привлекала бы интереса. Огромной популярностью пользуются сегодня очерки и репортажи о явлениях современной жизни, особенно в социалистических странах, где они рассказывают о глубоких процессах изменения действительности и человеческого сознания. Писатель, обращаясь к документальному жанру, ищет возможность оперативно вмешиваться в жизнь, помогать своим соотечественникам осознавать и утверждать новое, разбираться в сложностях, преодолевать ошибки, намечать пути в будущее.

Но публикации последних лет говорят не только о распространении документальных жанров; можно заметить известные изменения и в сфере собственно художественной литературы. В частности, все чаще и чаще встречаются в ткани романов и повестей введенные туда фактические документы, все больше распространяются как литературный жанр «дневники», «переписка», «исповедь». С другой стороны, силу нравственного воздействия «Пассажирки» Зофьи Посмыш, такой книги, как «Пятеро, которые молчали» Мигеля Отеро Сильвы, и их художественный эффект нельзя представить себе вне сознания того, что все, описанное в этих повестях, происходит в реальном Освенциме и в реальной тюрьме венесуэльской охранки и реально пережито их героями.

Врывается факт и на сцену: «Судебное разбирательство» П. Вейса, «Дело Оппенгеймера» Г. Кипхардта могут служить наиболее выразительными примерами для доказательства этого; о кино и говорить нечего — старые ленты кинохроники, увиденные заново, с точки зрения сегодняшнего дня, все больше привлекают к себе и режиссеров и зрителей.

Идя навстречу своим творческим задачам — а иногда, очевидно, и читательскому спросу,— писатели сегодня чаще, чем раньше, документируют свое повествование, иногда даже имитируя фактическую достоверность там, где ее на самом деле нет. Может показаться, что и в самом деле ушли в прошлое времена, когда романы начинались неторопливыми словами: «В один прекрасный день 1... года в городе N.»; мысль сегодняшнего писателя нередко двигается в том направлении, в каком двигалась мысль финского прозаика Пааво Ринтала, озаглавившего свою новую повесть: «Аквалангист. Отчет о двух 20-минутных погружениях под лед у побережья Финского залива в тридцати километрах западнее Хельсинки 27 января 1964 года между 21.00 и 22.30».

И тем не менее ошибется тот, кто придет к выводу, будто повышенный интерес к «человеческому документу» — изобретение или привилегия нашего времени. И дело не только в том, что примеры успеха документальных книг, введения фактических материалов в ткань художественных произведений, появления романов, написанных в эпистолярном жанре или в форме исповеди и т. д., можно в большом количестве привести из творчества писателей прошлых веков. История каждой литературы — в том числе и литературы русской — показывает, что внимание к документальному материалу закономерно возникало в периоды, когда процессы общественной жизни достигали особого напряжения, когда общество находилось в процессе глубоких изменений, шло к ним. Примеров тому можно найти много и в далеком прошлом и в недавнем. Вспомним, сколько «фактографической» литературы появилось в первые годы после Октябрьской революции и какой мощный поток документальных книг она вызвала во всем мире, начиная с «Десяти дней, которые потрясли мир» Джона Рида. Все историческое движение советского общества — коллективизация деревни, индустриализация, стройки пятилетки, освоение Сибири и Дальнего Востока, героические полеты через Северный полюс, эпопея «Челюскинца», подвиг папанинцев — вся жизнь советского государства сопровождалась документальной литературой, вызывавшей огромный интерес и в нашей стране, и за рубежом.

Недаром в многосторонней деятельности Максима Горького тех лет особое место занимает все, что имеет отношение к развитию документальных жанров в их самых разных формах. В своих статьях он неоднократно указывал на «большое социально-педагогическое значение очерка», называл его «удачнейшей формой познания жизни и приобщения миллионов к тому, что делается вне доступного их глазу пространства». С именем Максима Горького связаны такие начинания, как «История гражданской войны», «История заводов», «История деревни», «День мира» и т. д. При этом Максим Горький постоянно подчеркивал познавательную и воспитательную роль, которую приобретала «литература факта» — она должна была, по его мысли, помочь «изучать нашу действительность во всем ее объеме», «учить исторически мыслить». Именно этим объяснялось его стремление сделать достоянием широкой читательской массы как можно больше реальных фактов, даже самых «ничтожных», рассказывающих и о жизни советской страны, и об ее прошлом, и о жизни зарубежных народов: «из ничтожных фактов всегда можно сделать большие выводы».

Факт вторгается в литературу прежде всего тогда, когда новое, безотлагательно требующее своего осмысления, вторгается в жизнь. Несомненный рост интереса к документальности в литературе наших дней связан с глубокими и сложными революционными процессами, бурно развивающимися в современном мире, полном движения, изменений, коренных перемен, затрагивающих многие миллионы людей. При этом распространение «фактографичности», «документальности», о которой шла речь в выступлениях,

свидетельствует об огромном интересе к человеку наших дней, к современнику, и обращение к ней неразрывно связано со стремлением понять строй его мыслей и чувств, силы, которые двигают им, общество, в котором он живет.

Литература — всегда «человековедение», и для нее важен не факт сам по себе и ради себя самого, а скрытая в нем «квинтэссенция факта» (пользуясь широкоизвестными горьковскими выражениями). В этом смысле «литература факта» и «литература вымысла» (выражения, конечно, условные) разными путями идут к одной цели. Поэтому так иллюзорна позиция тех писателей, которые хотели бы, воспроизведя «факт, как таковой», уклониться от необходимости глубокого осознания сложной и быстро текущей действительности нашего времени. Взгляд писателя на жизнь, цель, которую он ставит, работая над книгой, ее читательский адрес — все это раскрывается в «документальной» литературе не меньше, чем во всякой другой. Факты — вещь далеко не бесстрастная, с какой бы холодной объективностью ни излагал их автор. Они, как говорил Максим Горький, «различны по скрытой в них педагогике». Факты могут быть патетичными или ироническими, вызывать радость или печаль, могут заставить негодовать или звать на подвиг. Здесь огромное значение приобретает точка зрения, позиция того, кто наблюдает и отбирает факты, ставит в связь, делает выводы. Вольно — или невольно — за каждой, самой документированной книгой стоит личность художника, создавшего ее, и от направления его работы, от его эмоционального отношения к материалу, от его мировоззрения зависит то, какие факты привлекают его внимание, как он их группирует, какой смысл из них извлекает.

В. И. Ленин говорил, что «фактики, если они берутся вне целого, вне связи, если они отрывочны и произвольны, являются именно только игрушкой или кое-чем еще похуже» *.

Хорошо известно, как легко из мелких осколков правды сложить большую ложь. Относится это, естественно, и к жизненным фактам; выбранные произвольно или истолкованные односторонне, скрепленные ложной или поверхностно понятой причинной связью, они легко могут стать не орудием познания, а орудием обмана. Факт — вещь упрямая, но нет ничего более поддающегося искажающим и лживым манипуляциям, чем отдельно взятые «фактики». В сегодняшнем мире существует огромная документальная литература, которая спекулирует на читательском интересе к достоверности и служит самым лживым пропагандистским целям. Документальное по форме искусство может, как показывает опыт, воспитывать низменные инстинкты, жестокость, ненависть, садизм, презрение к другим народам. Американский миф о стране «равных возможностей», где каждый продавец газет может якобы стать президентом, тоже ведь подкрепляется теми или иными фактами биографий американских миллионеров, но нет мифа более лживого, чем этот. Вслед за мемуарами гитлеровских генералов книжный рынок Западной Германии затопили воспоминания о Гитлере и других главарях нацизма — это книги документальные по форме, но распространяющие в мире большую и смертельно опасную ложь. Есть и «фактические» книги и кинофильмы, оправдывающие и обеляющие нынешнюю политику американского империализма, его агрессию во Вьетнаме. Все это — литература, которая своей фактографичностью направлена против правдивого осмысления действительности, она запутывает и обманывает читателя, уводит его от познания истины, играя на его доверии к фактам. Здесь «объективность» документа становится умелым приемом сознательной фальсификации.

Сам по себе документ в искусстве еще не обеспечивает правдивости изображения. Оказавшись в сфере искусства, став его строительным материалом, взятый из жизни факт становится ареной идеологической, мировоззренческой борьбы в той же мере, что и созданный художником образ. Правдивость достигается тогда, когда факты увидены глазами художника, постигшего их в совокупности, разгадавшего их «структуру», их связь с другими обстоятельствами окружающей жизни, их подлинное значение. И здесь, как и в любом искусстве, «главная сложность», говоря словами Анри Барбюса, состоит в том, чтобы раскрыть явления жизни, основываясь на «крупных простых линиях», проходящих за «тысячами различных проявлений действительности». Чем выше точка зрения художника, тем больше он увидит в конкретном жизненном факте, тем шире и действенней будут его обобщения. Это особенно важно помнить в наше время, эпоху исторических социальных конфликтов, когда классовая позиция, ясность общественных взглядов приобретают решающее значение.

Поток «документализма» в искусстве наших дней включает в себя разные тенденции, но можно с уверенностью сказать, что само это явление свидетельствует о процессах демократического развития искусства, его «антиэстетском» направлении. Внимание к фактическому, жизненно достоверному материалу в искусстве не противоречит ни страстной мысли, ни высокой мечте, ни даже полету фантазии; но оно самым решительным образом не согласуется с попытками ослабить связи искусства с действительностью. Обращение к реальной жизни тесно связано с так сильно выраженным в любом виде реалистического творчества познавательным началом искусства, стремлением активно воздействовать на жизнь. Еще раздаются голоса, утверждающие, что функция искусства — творить свой автономный мир, подчиняющийся своим зако-

* В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 30, стр. 350.

нам, создавать «миф», заражающий «смутным беспокойством» и «ощущением несовершенства» окружающего. Огромный интерес к документальной литературе говорит о том, что широкий читатель ищет в книгах не идеалистических «мифов», а познания реальности окружающего мира. Это бесспорное жизненное свидетельство заставляет с сомнением отнестись к некоторым модным взглядам на искусство, отрицающим его аналитическую, познавательную сущность и видящим активность художника не в отборе и организации жизненного материала, не в претворении его в материал искусства, а в «мифотворчестве». Можно повторить слова Максима Горького, который больше тридцати лет назад говорил, что из анализа документальных книг «наша критика могла бы извлечь кое-какие весьма интересные выводы по вопросу о взаимоотношении литературы и жизни — вопросу, невероятно засоренному плохо переваренными мыслями профессиональных книгоедов и всяческим словесным мусором».

Было бы наивно гадать, долго ли сохранится повышенный интерес к документальности в той или иной национальной литературе, какие он примет формы, какое влияние окажет на традиционные жанры и т. д. Характерное явление современного искусства, ставшее темой этого разговора, заслуживает внимательного отношения к себе и обещает дать материал для интересных выводов, помогающих понять своеобразие литературного процесса наших дней.

ГОД ИНТЕРЕСНЫЙ, ХОТЯ И НЕ БОГАТЫЙ

(Письмо из Финляндии)

Если бы я захотел выяснить, что в Финляндии читают, скажем, в феврале — марте, то получил бы в результате прекрасный список. Ибо как раз в это время происходит распродажа книг по сниженным ценам, что позволяет издателям разгрузить свои склады, а любителям литературы — пополнить свои домашние библиотеки. Тогда можно значительно дешевле обычного купить разрозненные тома сочинений классиков, хорошую справочную литературу и лучшие произведения отечественных авторов, особенно поэтические сборники. Покупатели уцененных книг, вообще, разборчивая публика — это люди, для которых литература — предмет изучения или увлечения, они знают, чего хотят.

Но я истолкую поставленный вами вопрос по-другому: что вообще в Финляндии читают в последнее время, какая литература у нас сейчас пользуется спросом? В Финляндии книжный сезон отличается одной особенностью, которая, насколько мне известно, в Советском Союзе не имеет места: бóльшая часть художественной литературы выходит в свет осенью. Отчасти это объясняется близостью рождества: почти в каждой финской семье среди обязательных рождественских подарков есть книги. Отчасти же это просто укоренившаяся традиция.

Приблизительно половину издаваемой на финском языке беллетристики составляют переводы. В это число всегда входят и классики, и современные писатели. Советским читателям, видимо, будет приятно узнать, что минувшей осенью особым спросом пользовались произведения Михаила Шолохова, которого в Финляндии давно хорошо знают, но теперь, после присуждения Нобелевской премии, его книги продавались нарасхват. На финском языке изданы «Тихий Дон» и «Поднятая целина». Из других переводов с русского, изданных у нас в прошлом году, назову Бакланова — «Июль 41 года» и Тендрякова — «Свидание с Нефертити». Переведены на финский язык мемуары маршала Чуйкова и советского посла Бережкова. Русская классика имеет у нас постоянный круг друзей: так, например, произведения Гоголя, Льва Толстого, Достоевского, Чехова и Горького все время выпускаются новыми тиражами.

Нынче у нас выходят переводы со всех языков, книги со всех концов света. Само собой разумеется, что много переводят наших скандинавских соседей, хотя в Финляндии почти все могут читать и по-шведски. Недавно переведены на финский шведские прозаики младшего поколения — Ларс Гюлленстен и Свен Дельбланк. Из американской литературы пришли к нам негритянский писатель Джеймс Болдуин (который принимал участие в международном семинаре писателей в Лахти в 1964 г. и вызвал к себе здесь большой интерес) и Сол Беллоу, чей роман «Герцаг» многие критики оценили как самую значительную новинку нашей переводной литературы за прошлый год. Наше знакомство с Джеймсом Джойсом, роман которого «Улисс», переведенный в позапрошлом году, вызвал большой интерес, расширилось теперь благодаря изданию более раннего сборника новелл этого автора — «Дублинцы». Кафка все еще пользуется популярностью, так же как и Жан-Поль Сартр, чьи произведения в скором времени выйдут на финском языке. Большое внимание привлекает к себе польская литература — наряду с Мрожеком теперь нам стали известны такие имена, как Бруно Шульц и Ежи Анджеевский. Последний побывал этой осенью в Финляндии, как раз когда здесь вышел его роман о Пикассо «Иду, прыгая по горам».

По части оригинальной литературы урожай 1965 года был не из богатых. Едва ли многим его книгам кто-нибудь решится предсказать долголетие. Зато этот год был интересен в другом отношении: он ясно показывает, какого рода перемены совершаются в настоящее время в финской литературе.

В Финляндии, как и в Швеции, литература сделала шаг в сторону актуального разговора. «Разговор» — это лозунг настоящего момента. Например, в газетах теперь меньше рецензируют отдельные произведения, но зато стремятся сделать темой нечто общезначимое. Теперь стихотворные сборники нередко отличаются актуальностью, и многие стихи, положенные на музыку, получают широкое распространение. Так, например, первая книжка стихов Матти Росси «Действующие лица» содержит цикл резких антивоенных стихов о войне во Вьетнаме и ряд непочтительных стихотворных портретов известных политических деятелей мира. Многие стихи Вяйне Кирстины, положенные на музыку, получили известность и популярность. Пентти Саарикоски также сознательно использует в своих стихах актуальный материал. По сравнению с сугубо индивидуалистической, ушедшей в себя лирикой 50-х гг., поэзия 60-х стала социальнее, доступнее, ближе к народу, популярнее и—добавляют некоторые, придерживающиеся другого мнения,— скорее забывается.

Применительно к новой литературе у нас часто употребляют слово «общественная». Однако значение слова тут несколько иное, чем в Советском Союзе; при этом имеется в виду литература, скорее критикующая общество, чем строящая его. Может быть, здесь скорее подошел бы сартровский термин engagée, который трудно перевести на финский язык. Подразумевается литература, «занимающая определенные позиции» или «вовлеченная» в общественный процесс. Это и лучше отвечало бы действительному положению дел. Потому что литература, которую у нас называют общественной, по большей части вовсе не является таковой и не рассматривает взаимоотношения личности и общества. Скорее можно было бы сказать, что многие книги прошлой осени представляют собой отчеты — отчеты о некой реально сложившейся ситуации, о реальных людях,— и лишь в этом смысле они «общественные».

Слово «отчет» появилось даже в подзаголовке одной из книг. Пааво Ринтала, известный писатель младшего поколения, вызвавший в свое время много споров, назвал последнюю книжку так: «Акваланг ист. Отчет о двух 20-минутных погружениях под лед у побережья Финского залива в тридцати километрах западнее Хельсинки 17 января 1964 года между 21.00 и 22.30». Все это, по-видимому, достоверно,— ведь Ринтала страстный любитель подводного спорта, и он наверняка нырял с аквалангом под лед точно в указанное время. Содержание же самой книги, помимо документального изображения внешних обстоятельств подводных погружений, образуют главным образом мысли аквалангистов, блуждающие в молчаливом одиночестве и простирающиеся от естественно-научных наблюдений за жизнью рыб до общих раздумий о человеческой жестокости и о немецких лагерях смерти. Ринтала выпустил осенью еще и другую книгу — «Разговоры с детьми», которая тоже является своеобразным отчетом: в ней с помощью реплик детей и взрослых показано, как формируется мир детской фантазии и как взрослые стараются дать детям знания о мире и ответить на их, казалось бы, наивные, но на самом деле весьма далеко идущие вопросы.

Совсем иного рода пример «отчета» — книга, которую написал библиотекарь из Тампере Кари Аронпуро, «Аперитиф — открытый город». Вся книга составлена из бумаг двух сводных братьев — от счетов за электричество и до отрывков из литературных произведений. Автор верен своему стилю коллажа (от французского collage — наклеивание) настолько, что стихи умершего брата, написанные на обратной стороне каких-то магазинных счетов, так и даны: переворачиваешь страницу и на обороте действительно отпечатан счет! Местами Аронпуро явно щеголяет типографскими фокусами, но все же ему удалось добиться своеобразной цельности. Из всей этой калейдоскопической пестроты возникает нечто большее: два портрета, два человеческих характера. Перед нами два брата — неудачник Тауно, человек богемный, и «приспособившийся» Рейно, который постепенно приобретает в книге все более отталкивающие черты.

Другой известный молодой рассказчик Аапо Юнкола тоже написал «отчет» об одном дне судьи — «Время птиц». Писатель показывает, как предвзятые мнения могут влиять даже на, казалось бы, беспристрастные приговоры. «Находясь заранее на позициях придирчивости и недоверия, можно в ходе суда полностью исключить свойственные обычному, нормальному течению жизни противоречия и кажущуюся непоследовательность, происходящую от недостаточности наших суждений»,— думает «я» книги, младший судья, когда его старший коллега выносит приговор цыгану. Юнкола сам юрист и хорошо знает то, о чем пишет. Его роман кажется несколько схематичным и отвлеченным, но, может быть, это впечатление потом изменится, поскольку вещь не закончена и писатель работает сейчас над продолжением. Среди книг этой осени есть и другой «отчет», представляющий критику лица, занимающего видное положение в обществе. Я имею в виду роман Тикка Вуотила «Много для владыки», рассказывающий о буднях священника, вернее, о том, как священник привыкает работать буднично, по штампу, по шаблону, по сухой, мертвой схеме и словно умирает заживо и в конце концов находит себе занятие, чтобы убить время: ведет статистический подсчет имен в столичной телефонной книге! К. Мукка, мо-

лодой прозаик из Лапландии, делает объектом критики армию, показывая в своем романе «Откуда-то отсюда» душевный кризис молодого художника, призванного на военную службу. Как явления времени, произведения Юнкола, Вуотила и Мукка типичны: в основе их критики лежит тот же взвешивающий, скептический настрой, который мы видим и в лирике, и в песнях протеста, и в многочисленных сегодня пацифистских стихах.

Одним из наиболее впечатляющих и художественно законченных «отчетов» является «След» Юха Маннеркорпи. Юха Маннеркорпи вот уже почти двадцать лет причисляют к лучшим финским новеллистам, но читателей у него было немного. Его вообще считали «трудным» писателем, хотя стиль его надо признать весьма ясным на фоне того, что встречается в нашей сегодняшней прозе. «След» — это написанный от первого лица глубоко искренний рассказ о пустоте, которая образовалась в сердце писателя после смерти близкого и любимого человека. Маннеркорпи недавно потерял жену, и его книга — впечатляющее отражение личного горя. Повесть построена из мельчайших каждодневных событий, показывающих, что рука ушедшего человека оставила неизгладимый отпечаток на всем, окружавшем его, и как память о нем продолжает жить в конкретных предметах и в представлениях близких. В то же время книга эта рассказывает о победе над горем, о том, как человек, перенесший горе, вновь возвращается к жизни и в утрате своей черпает силу. «След» — одно из тех редких произведений этой осени, которые, вероятно, будут читаться и спустя годы.

Произведение Антти Хюрю «Начальная школа» я уже не могу назвать «отчетом», хотя книга и написана в стиле документального репортажа. Хюрю пишет максимально просто — короткими фразами, избегая местоимений и придаточных предложений, повторяя имена, так что при быстром чтении текст кажется монотонным и запинающимся. Читатели Хюрю разделились на две группы: одни находят его скучным, другим он нравится. Я отношусь к последним. «Начальная школа», на мой взгляд, представляет собой новое свидетельство того, как блестяще владеет Хюрю своим материалом. Он оживляет с редкостной точностью детство и школьные воспоминания крестьянского парнишки из Северной Финляндии. Если набраться терпения, то откроешь в книге множество деталей, полных лиризма, ряд свежих пейзажей. Хюрю обладает завидным умением создавать убедительную атмосферу при крайней скупости средств, и это умение, по-моему, делает ему честь как художнику.

К лучшим прозаическим произведениям минувшей осени я бы отнес также книгу Вейкко Хуовинена «Зимний турист», хотя пресса и отозвалась о ней сурово. Хуовинен известный юморист; написанный им в 1952 г. роман «Мыслитель из Хавукка-ахо» имел очень большой успех. Однако новая его книга весьма далека от юмора. В книге две новеллы. Одна представляет собой символическую картину последнего странствия умерших, пересекающих зимой, в трескучие морозы, Северную Финляндию. Тут, конечно, мнение зависит от того, нравится ли вам вообще подобная символика или нет. Вторая же новелла совсем иного рода. Это волнующий рассказ о двух молодых людях, вздумавших убежать из армии. Дело происходит зимой, и один из них погибает, замерзнув в пути, а другой — простой деревенский бедняк — в конце концов попадается. Хуовинен несколько лет молчал (точнее, выступал с незначительными произведениями), но в новой книжке, особенно во второй новелле, его талант сверкнул неожиданными гранями.

Упомяну еще юмористический роман Матти Хэлли «Наследство Мери-Хейкки», автобиографический роман «Ну, что же, Лееви?», оставшийся как завещание после трагически погибшего в автомобильной катастрофе талантливого поэта Лаури Вийта, отличную книгу очерков Эйлы Пеннанен да еще назову два молодых имени — Юркки Пеллинен и Ханну Мэкеля.

Весна дала мало новых книг, но одна из них стоит того, чтобы закончить ею обзор. Это «Лапуасская опера» Арво Сало. Арво Сало, бывший главный редактор студенческой газеты «Юлиоппиласлехти» и новоизбранный депутат парламента — социал-демократ, написал вещь, вызвавшую самые горячие споры и дискуссии, пьесу, где в стилизованной, резко пародийной форме представлены исторические события более чем тридцатилетней давности: начало фашистского Лапуасского движения, его действия и методы — все это сделано объектом бичующей сатиры. Это «опера» в том же смысле, как «Трехгрошовая опера» Брехта,—музыку к ней написал Кай Шюдениус,— однако по тексту и по своим персонажам она почти документальна. В ней под своими настоящими или слегка измененными именами действуют исторические лица, звучат подлинные цитаты из речей и т. п. Пьеса воспринимается как остроактуальная благодаря тому, что в ней решительно осуждается насилие и подчеркивается мысль, что силен не тот, кто бьет, а тот, кто воздерживается от удара. «Лапуасская опера», которой Студенческий театр отметил свое сорокалетие, явилась событием хельсинкской театральной весны, и, несмотря на имеющиеся в пьесе неровности, ей можно смело предсказать успех на сценах Финляндии, а, может быть, и шире.

г. Хельсинки

КАЙ ЛАЙТИНЕН

ПУБЛИЦИСТИКА

ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ

РАССТАВАЯСЬ С ИЛЛЮЗИЯМИ

В историю английского «поплора» * шестидесятых годов непременно войдет юноша из рабочей среды, который называет себя «Вопящий лорд Сатч». Знаменательно уже самое его прозвище: «Вопящий» — то есть исполнитель популярных песен, «лорд» — то есть человек, претендующий на равноправие с пэрами ** (причем буквально), и Сатч — его настоящее имя, так как по-английски это означает «всяк» и «каждый».

Вопящий лорд Сатч — неплохой певец. Но на последних выборах он выдвинул свою кандидатуру в парламент как независимый и декларировал, что выступает за все и против всего на свете. Он ходил по улицам, облаченный во фрак и цилиндр (традиционная карикатура на костюм лорда), с плакатом на груди, провозглашавшим его политическую программу — за равные возможности для молодежи, против назойливых опекунов.

Он появился в суде, одетый лишь в леопардовую шкуру, с трехфутовой дубинкой в руках. Теперь представьте себе очень казенный строгий зал суда, очень солидного судью в парике и мантии — судью, который не терпит никакого нарушения благопристойности,— и вы поймете, какой прием был оказан «лорду Сатчу».

Судебный пристав спросил, не собирается ли он надеть приличное платье.

— Нет,— ответил тот.— У меня нет «приличного платья».

Судья Леон спросил:

— Вы всегда так одеваетесь?

— Да, милорд.

Судья слегка поморщился и сказал:

— Отлично. Продолжайте.

Дело тоже представляло интерес. Компания по продаже в рассрочку предъявила Сатчу иск на 110 фунтов за купленный год назад грузовик для вокального ансамбля «Дикари». Грузовик был куплен не самим Сатчем, а директором ансамбля. Но материальную ответственность нес Сатч, так как он подписывал гарантийное письмо. Директор вскоре расстался с Сатчем и прекратил выплату денег за машину, поэтому торговая компания отобрала грузовик и продала его за 220 фунтов. Сатч предлагал продолжать выплату помесячно, но компании, по его словам, было выгоднее продать машину. Он заявлял, что они не имели право требовать с него лишние деньги.

Полуграмотный Сатч не имел адвоката. Он сам выступал в свою защиту — не из-за бедности, а потому, что никому не хотел доверить свое дело. Это также не улучшило его позицию в суде, который предпочитал, чтобы все шло обычным порядком. Но в своей леопардовой шкуре Сатч так хорошо защищался против адвоката компании, что пораженный судья отложил дело и сказал «лорду» Сатчу:

— По-моему, ваше дело выигрышное, и вы отлично вели его.

Выйдя из зала суда, Сатч сделал заявление, что его леопардовый наряд был формой протеста против всей этой истории.

■

Можно было бы придать излишнюю значительность этому маленькому эпизоду из жизни «лорда» Сатча. Но если мы откажемся от такого обязывающего выражения, как **значительность**, и попытаемся рассмотреть эту ситуацию, чтобы лучше понять сегодняшнюю английскую молодежь, то увидим — здесь-то и заключена главная суть вопроса.

Сатч предстал перед судом как должник торговой компании, требовавшей свой фунт мяса. Суд этот — учреждение,

* Аналогия «фольклору» — ироническое обозначение пошлой «поп-музыки».

** Игра слов — peer — пэр и равенство (англ.).

веками направленное против таких, как Сатч. В суде Сатч выразил свой протест нелепой одеждой, умением постоять за себя и отсутствием страха перед общепринятым и установленным. В его поступках — странная смесь сумасбродства и нелепости с удивительным умением действовать в рамках норм и правил, которых придерживается противная сторона. Он мастерски сумел провести меркантильное дело в меркантильном мире, показав себя талантливым адвокатом, банкиром и бухгалтером. Выйдя из зала суда, он превратился в политического деятеля и сделал заявление для печати; при этом заметьте, что он претендует на звание не гражданина Сатча, но лорда, пусть и вопящего.

Давайте же рассмотрим поближе эту главную черту современного английского молодого «дикаря».

Прежде всего материальные условия. В этом смысле долг торговой компании и суд отражают два явления: а) попытку вытянуть деньги у юноши и б) использование для этого существующих государственных институтов. Перед нами современный капитализм, который обрабатывает свою последнюю жертву — молодежь.

Одно из самых ошибочных представлений о капитализме заключается в том, что это всего лишь частная собственность на средства производства. Такая точка зрения весьма примитивна. Капитализм — также и психология, порожденная производственными отношениями: жаждой материального обогащения, разбойничьей погоней за прибылью, приводящей к эгоизму, конкурентной битвой за рынок, которая становится почвой разбойничьей морали. Все это проявления аморальности капитализма и бесчеловечности, ибо человек под их воздействием превращается в своекорыстного индивида, для которого всякая мысль об общественном благе теряется в борьбе за узкие, чисто материальные успехи.

Таков мир «лорда» Сатча и молодых «дикарей».

Сегодня в Англии каждый юноша так или иначе — в долгах за те блага и побрякушки, которые дают ему материально улучшившиеся условия. Наши юноши имеют машины, мотоциклы, скутеры, массу костюмов, проигрыватели, телевизоры и тысячи других вещей, которые они могут купить в рассрочку, еженедельно выплачивая определенную сумму (плюс ростовщические проценты).

Молодой человек каждую неделю получает вроде бы неплохое жалованье, что с оплатой сверхурочных составляет, казалось бы, немалую сумму денег. На них есть что купить, и он покупает все, что может. Пятница — день получки за долгую рабочую неделю, но то, что он кладет в карман в пятницу, в субботу уплывает — приходится отдавать долги. Он не вылезает из долгов.

Капиталистические способы сделать его вечным должником очень просты. Молодежь всегда жаждет перемен в моде и вкусах, и это отлично устраивает капиталистов. То, что сегодня ново и привлекательно, завтра уже устарело и вышло из моды. На этом и основан великий материальный соблазн. Ничто не успевает износиться. В этом смысле изобилие означает мгновенное старение. Разнообразие вкусов исчезает. Вкус превращается в массовое перескакивание от одной вещи к другой. Казалось бы, при изобилии индивидуальный вкус должен развиваться, но на самом деле он гибнет и спускается до уровня последнего крика моды, которая обгладывает молодежь, как саранча.

Вот вам высшая ступень денежных отношений, которая и поныне остается самой гнусной стороной капитализма. В нашем обществе свобода — это деньги. Но деньги в то же время и средство изоляции, ибо погоня за ними по необходимости эгоистична; и хотя официальная мораль учит, что комфорт и блага господствующих классов ниспосланы им свыше и здесь нет и тени денежного интереса, эта лицемерная болтовня никого больше не обманывает, и менее всего молодых «дикарей» вроде «Вопящего лорда Сатча».

Таков мир нашей молодежи, мир денег, и когда «Вопящий лорд» давал бой торговой компании, желавшей обобрать его, он просто боролся за свое существование. В этом мире, чтобы не попасть в зубы акулам, надо быть адвокатом, банкиром и бухгалтером одновременно.

Общество, основанное на корыстном расчете, предполагает расчет во всем, и его мораль — «chacun pour soi» *. Но наши господствующие классы специально для молодежи добавляют к этой всепоглощающей власти денег дополнительное правило: «Все — к вашим услугам, но только ценой того, что вы будете нам повиноваться и никогда не станете оспаривать нашу власть и наше право лишить вас пропитания».

Таков общественный договор западной цивилизации 1966 года. И он осуществляется на деле. Капитализм кажется сильным и полнокровным. Он процветает и действует на полный ход. И молодежь как будто приемлет его: ведь в войнах в Адене, в Малайе и Вьетнаме участвует именно молодежь. И в то же время, по пояс увязнув в денежных контрактах, она не доверяет этой системе и жаждет чего-то более прочного. Молодежь продала душу дьяволу, но она ненавидит свои рабские узы, не перестает бунтовать против тех самых пунктов договора, которым клялась повиноваться.

Этим я хочу сказать следующее: любое общество для своего развития должно стремиться к улучшению материаль-

* Каждый за себя (*франц.*).

ных условий; но все дело в том, какими средствами осуществляется это улучшение. При капитализме образца 1966 года это достигается чудовищной коррупцией почти всей общественной жизни. Так называемые улучшенные материальные условия на самом деле не что иное, как взятка, за которую у народа отнимают его силу и общую солидарность.

Борьбу людей за повышение материального уровня капитализм сделал каналом для развращения их при помощи денег и развития эгоизма. Увы, многие из бывалых социалистов заблудились в этих новых джунглях. В прежние времена влияние денежных отношений не распространялось на рабочий класс и на молодежь, во всяком случае в Англии. Здесь давление с помощью материальных благ — новость, вот почему молодежь и старшее поколение не знают толком, как реагировать на условия, в которых мы теперь живем. Старые способы борьбы не пригодны больше, ибо новое наступление и новая тактика капитализма меняют социальную основу этой борьбы, и главной мишенью этого наступления, естественно, становится молодежь, не потому, что она легче поддается разложению, но потому, что она родилась в этом новом мире и не имеет опыта старых классовых боев; так начинают подтачивать былую классовую солидарность и даже былые классовые связи. О новом типе классовых воззрений, возникающих среди пролетарской молодежи, я и хочу рассказать, ибо необходимо уяснить себе их, если хотим понять, что происходит с молодежью.

Конечно, дело не просто в деньгах. Деньги важны и в жизни Советского Союза, и в Китае, и в Югославии; но гражданин социалистического государства не может даже представить, что такое наша психология денежного расчета и каково ее значение для наших общественных отношений.

Три года назад десять человек остановили под Лондоном почтовый поезд и похитили 2 миллиона фунтов стерлингов (около шести миллионов рублей). Это было величайшее ограбление во всей истории человечества. Деньги в старых купюрах принадлежали трем или четырем крупнейшим банкам и направлялись в Сити. Ограбление произошло почти без всякого насилия — слегка ранили машиниста, и все. Вся операция была проведена блестяще и очень быстро.

Как же реагировало большинство нашего народа? Были ли они возмущены? Ничего подобного. Как показали дальнейшие события, большинство англичан (в том числе и люди прогрессивных убеждений) были на стороне грабителей. Грабителей потом схватили, хотя нашли лишь малую часть денег. Их судили и приговорили 10 человек в общей сложности к 300 годам тюрьмы. Когда приговоры были обнародованы, большинство считало их невероятно жестокими. Грэхем Грин послал гневное письмо протеста в «Дейли телеграф», где на той же странице была опубликована статья о деле Ферранти, самой крупной и уважаемой электрической компании Англии. Правительство вынуждено было с сожалением признаться, что компания Ферранти наживалась на правительственных контрактах и получила 8 миллионов фунтов сверхприбыли. Грэхем Грин спрашивал, какая же разница между методами получения денег у Ферранти и у грабителей поезда?

Популярность крупных преступлений — всего лишь один из побочных продуктов общества, основанного на корыстном расчете.

А вот и другой пример, совершенно отличный от первого, но имеющий ту же основу. В прошлом году во Франции министр по делам туризма широко рекламировал нововведение под названием «чеки улыбок». Все иностранные туристы получают во Франции чековую книжку и раздают «чеки улыбок» любому лавочнику, владельцу отеля, официанту или частному лицу, которые были добры к ним. «Добрый» француз несет чек в министерство по делам туризма и получает за это соответствующие льготы и премии. Это не чаевые. Чаевые — оплата за услуги частному лицу. А это введено специально, чтобы **купить** доброе отношение, то самое качество, которое некогда принадлежало к числу духовных ценностей.

Но вернемся к положению молодежи. Что получает и чего **не получает** она от общества?

Начну с рабочей молодежи.

Общество ведет подкоп под трудящиеся классы с самого детства и делает это хитроумнейшим способом: им пытаются привить своего рода классовую солидарность невежества, грубой речи, презрения к интеллекту и культуре, воспитать в них предубеждение против образования, внушить мысль, что знания — дело «снобов», а не их. Вот убеждения, которые общество стремится выработать у представителей пролетариата; но как показывает борьба рабочего класса, из этого ничего не выходит. И тем не менее это и есть те неблагоприятные условия, которые должен преодолевать юноша из рабочей среды, если он хочет чего-либо добиться.

На нашей улице товарищи моих детей в большинстве своем дети рабочих, это способные, умные и остроумные ребята, но порой я сам не понимаю их речь. И это вовсе не значит, что они говорят на лондонском «кокни», а лишь то, что они уродуют английский язык до неузнаваемости. Они опускают важнейшие слова, смазывают все, что звучит слишком определенно, и вообще разговаривают в

такой манере, словно ясность выражения — преступление. Такая манера складывалась на протяжении поколений, и ни в одном обществе не существовало такого чудовищного способа лишить народ ясности мышления: слова этих людей невнятны, будто они никогда не уверены в том, что говорят, если речь не идет о самых насущных жизненных потребностях.

Вы, конечно, спросите, почему же в школе их не учат правильно говорить на родном языке. Школы для детей рабочих, может быть, и пытаются это делать, но они не в силах состязаться с общим социальным давлением, когда рабочим словно говорят: «Вы будете разговаривать только так. Хорошая речь не про вас». И хорошую речь отвергают. Тот факт, что речь рабочего может быть богаче и сочней, чем речь любого буржуа, — результат бунта против влияния невежества. Прекрасный пример — Алан Силлитоу. Рождением он был предназначен к невнятности языка и мышления, но однажды открыв, что такое живой язык, он заговорил с такой силой, что немногие из буржуазных писателей могут с ним сравняться.

Язык, культура и образование — все это области, о которых рабочему твердят одно и то же: «Вам это ни к чему». И все-таки во всех университетах есть свой процент рабочей молодежи, пусть небольшой, и в каждой специальности и в каждой области искусства есть небольшой процент рабочей молодежи, которая каким-то чудом преодолела классовый барьер и вынужденное невежество и сумела добиться образования.

Однако огромное большинство рабочих-подростков в шестнадцать лет уже бросают школу, идут работать и никогда больше не заглядывают в книгу или в театр и не получают никакого образования, никаких культурных развлечений помимо телевидения или кино, которые сегодня никак не отнесешь в Англии к области настоящей культуры.

А общество стремится обмануть эту молодежь и уверяет, что такое положение — логический результат ее «естественного» невежества, «естественных» условий жизни, «естественной» неспособности заняться чем-нибудь более значительным, нежели ручной труд. И чтобы убедить ее, общество уже не пользуется устарелыми приемами, а пускает в ход более тонкий обман — обман, который куда труднее разоблачить.

Однако впервые за всю историю классовой борьбы в Англии этот обман перестает действовать. Впервые за всю нашу историю появилась рабочая молодежь, которая просто не желает верить всей этой чепухе, придуманной высшими классами; они не слушают ни поодиночке, ни все вместе. И в неверии этом столько силы и самобытности, что природу его необходимо как следует уяснить себе, ибо это нечто совершенно новое, возникшее вне видимой зависимости от прежних убеждений рабочего класса. Анархия, свойственная нашей молодежи, тоже отчасти коренится в этом неверии; постараюсь объяснить это.

Одним из любопытных противоречий экономической депрессии и кризиса в довоенный период — рабочий класс Англии казался тогда более воинствующим, чем сейчас,— было осознание каждым отдельным рабочим своего **личного** классового бесправия. Ему и в голову не приходило **лично** оспаривать превосходство высших классов и **лично** вести с ними борьбу. В этом была слабость его позиции. Дело, в которое он верил и за которое боролся как представитель определенного класса, было настолько отделено от его личных устремлений, что каковы бы ни были достижения его как активного классового борца, сам он оставался безоружным и неполноценным человеком. Классовое самосознание было развито, индивидуальное — нет.

Сегодня положение круто изменилось. Молодой рабочий настолько ясно видит все старые классовые ухищрения и ложь, что самая его борьба начинает носить скорее частный, чем классовый характер. И эта борьба идет под лозунгами «Я не хуже вас», «И я могу добиться того же, что и вы», «И я могу восхищаться тем же, чем и вы». В старые времена буржуа или аристократу стоило лишь открыть рот, как весь строй его речи указывал на умственное превосходство над рабочим — превосходство человека над человеком. Теперь многое изменилось.

Молодой рабочий стоит сегодня на собственных ногах и даже больше рассчитывает на себя, чем на свой класс, и, хотя такая позиция очень уязвима (здесь ведь тоже «каждый за себя»), тем не менее впервые за всю историю рабочий — и прежде всего молодой рабочий — провозглашает себя личностью, равною всем.

Конечно, это не так. На самом деле он еще не сравнялся с высшими классами, они еще владеют всем, чего у него нет. Но он сознает ценность собственной личности, и это — основа его борьбы; вот главное, чего добилась наша молодежь, несмотря на все ее ошибки и неудачи. Наш идеал — это человек, который верит в свой класс и в самого себя. Молодой рабочий еще не верит в свой класс, как в самого себя, и это досадно; но поскольку его борьба за существование перестает быть его частным делом и неизбежно превращается в классовую, этот молодой человек наверняка поймет истинное положение вещей и поймет его куда лучше отцов. Эти юноши порой циничны, но зато их труднее обмануть.

Такая личная война за личное равенство объясняет многое в поведении и взглядах рабочей молодежи. Знаменитые «битлз» — явление чисто английское. Их фантастический успех, не имевший себе равного в Англии, объясняется очень

просто, и для понимания его причин не требуется особой политической глубины.

Все они — рабочие ребята, типичные для любой группы в разной степени одаренных и образованных рабочих. Один из них (Ринго, ударник) — почти неграмотен и молчалив, хотя и мастер по части острот; в то же время Джон Леннон, их вожак, блестяще учился в школе, получал высокие оценки в университете и написал две сатирические книги, которые вполне могут поспорить с произведениями профессиональных сатириков.

Несколько лет назад, когда десять тысяч юношей и девушек собрались в лондонском аэропорту, чтобы проводить певцов, а затем встретить их по возвращении из Америки, эта массовая истерия выражала всего лишь преувеличенное восхищение тем, чего хотел бы достигнуть каждый рабочий парень.

Что же это такое?

«Битлз» талантливы, потому что их исполнение куда оригинальнее, чем у других. Теперь они стали мультимиллионерами, и это также вызывает восхищение. Но самое главное, что они никогда не пытались приспособиться, как другие популярные эстрадники,— они никогда не подделывались под лицемерный, вежливый, коммерческий, респектабельный стиль буржуазного мира. В этом мире они неизменно оставались чужаками, все теми же рабочими ребятами. В этом, конечно, есть определенная нарочитость, но факт тот, что они разбогатели, живут как богачи и рядом с богачами, посылают своих родителей отдыхать за границу — туда же, куда ездят богачи; словом, тот факт, что они претендуют на все привилегии богатых и при этом не приносят себя в жертву богатству, расценивается как некая, пусть и сомнительная, классовая победа. Каждый рабочий парень Англии восхищается «битлз» за то, что они натянули богачу нос в его собственном доме и не поддались подкупу и интригам высших классов. Общество из кожи лезет (включая награду от королевы), чтобы сделать их респектабельными и податливыми, но ничего не может добиться.

Все это, конечно, личный бунт, но самый его успех придает ему социальное и классовое звучание. «Вопящий лорд Сатч», который сам защищается в суде и побивает коммерсантов в их собственной классовой игре, «битлз», которые зарабатывают миллионы, наслаждаются ими, как капиталисты, но не собираются становиться буржуа,— это камерные, личные войны рабочей молодежи против богачей, которые правят ими.

Нигилизм и дух анархии, который владеет частью нашей молодежи, конечно, присутствует и здесь, но бок о бок с ним есть и решимость отстаивать свое право на индивидуальность в мире, в котором много болтают об отдельном человеке, а на самом деле стараются стереть его с лица земли.

Помимо преклонения перед «битлз» есть много других явлений, в которых отражается личная борьба рабочей молодежи против капитализма. Молодое поколение всегда шокирует и пугает старших, но наша молодежь, кажется, стремится поразить не столько старших, сколько самих себя. Молодежь часто ведет себя так, словно хочет уничтожить основу, фундамент собственной жизни. Костюмом, манерами, необузданностью, убеждениями, моралью, осмеянием всех и вся (в том числе и самих себя) молодые словно доводят себя до неистовства и жаждут разрушения общественных идеалов.

Но если присмотреться, то во всем этом главное — всего лишь стремление человека выжить и утвердить себя в обществе, которое вовсе не хочет его утверждения как индивида. Это относится ко всей молодежи и вдвойне справедливо по отношению к молодежи рабочей. Когда общество организовано таким образом, что отдельный человек — ничто, тогда этот отдельный человек любыми средствами начинает преувеличивать собственное значение. Это естественная реакция после двух мировых войн, ибо война по природе своей — уничтожение индивидов. Но, как ни странно, на этот раз выступили не те, кто был раздавлен войной, а послевоенное поколение, которое страдало не от самой войны, а, скорее, от ее последствий.

Эта камерная, личная война не обходится без насилия. Знаменитые набеги рабочей молодежи — «модов» и «рокеров» — на наши приморские курорты, где они учиняли, судя по полицейским отчетам, полный разгром, не что иное, как желание уничтожить силу, что держит всех их за глотку. В действительности эти разгромы никогда не были главным, что бы там ни утверждала полиция. Истинное наслаждение для них — выбрать самый чопорный курорт и вести себя как можно грубее и примитивнее: носиться по респектабельным улицам на ревущих мотоциклах, выставлять напоказ своих шалых девушек и немыслимые одеяния. К насилию прибегали лишь в тех случаях, когда полиция пыталась выкинуть их вон.

Бунтарство по природе своей вовсе не всегда связано с насилием. В нескольких сотнях ярдов от того места, где я живу, находится главная улица, которая на протяжении полутора километров тянется через парк. В полночь порой я вижу в конце улицы сборище рабочих ребят на мощных мотоциклах. Они занимаются любопытным спортом. Задача — развить на этих полутора километрах скорость в 160 км/час. Риск очень велик, и препятствий много. Прежде всего полицейский моторизованный патруль и уличное движение. Кроме того, на пере-

---

крестках стоят светофоры, и требуется большое мастерство и точность во времени, чтобы на большой скорости с ходу проскочить их при зеленом свете. Дорога заканчивается Т-образным перекрестком, и мотоциклист должен после скорости в 160 км/час замедлить ход настолько, чтобы резко свернуть в конце трассы. Это опасное и шумное времяпрепровождение, жестокости и насилия здесь нет. Требуется большая смелость, так как только самым ловким удается и набрать скорость, и миновать светофоры, и сделать поворот в конце. Любители этого спорта изъясняются на своем особом жаргоне и одеты наподобие средневековых рыцарей в черную кожу и металлические шлемы. У них есть и девушки, и если они не участвуют в состязаниях, то стоят со своими девушками (те тоже одеты в черную кожу, с белыми шарфами) вдоль обочины, взрывая тишину ночи грохотом моторов. Вы трепещете за их жизнь, но сердцем вы с ними, когда они с шумом уносятся во тьму, словно эта сотня миль в час хоть на миг вырывает их из тесной темницы жизни.

Теми же причинами можно объяснить дикие, чуть ли не ритуальные танцы нашей молодежи. В этом смысле мы не так уж отличаемся от первобытного общества, об этом твердят все, но важно понять, в чем тут суть. Примитивные люди танцевали эротично, ибо их сексуальный уровень был слишком низок и нуждался в стимуляции. Это была социальная необходимость. Сегодня естественный сексуальный уровень нашей молодежи достаточно высок, зато очень недостает «естественных» условий для самовыражения и наполненной эмоциональной жизни личности — они-то и требуют стимуляции.

Можно произносить напыщенные речи против твиста, но мода и увлечение такими танцами всегда имеют социальную подоплеку. В этом смысле твист можно сравнить с бешеной мотогонкой в темноте: тут тоже есть элемент и эротики, и смелости, и самоудовлетворения, и бегства от действительности. Взгляните на танцующих твист, и вы убедитесь, насколько это «личный» танец. Партнеров два, но каждый, в общем, занят собственным эмоциональным круговоротом. Хороший «твистер» целиком поглощен собой и своими движениями, и лишь иногда спускается на землю и сталкивается с партнером, который находится в состоянии такого же транса. Лучшими «твистерами», кстати, бывают дети — они так естественно думают только о себе. Я замечал это на детских вечеринках, на днях рождения сына.

■

И вот мы невольно, хотя и неизбежно пришли к вопросу о влиянии секса на наше общество. Здесь не место говорить об отношении к сексу рабочей молодежи или о роли секса в обществе или вообще давать социологический анализ этой проблемы. Я могу только бросить самый поверхностный взгляд, как и на все прочие проблемы, и попытаюсь не столько ответить на вопрос «что», сколько выяснить «почему».

Нет никакого сомнения в том, что новые сексуальные отношения играют роль в современных условиях. Половая мораль, основанная на любви, браке и детях, еще существует, но эти респектабельные формы перестают быть общепринятой нормой. Моральная посылка, гласящая, что все браки совершаются в небесах, воспринимается сейчас как шутка. Религиозная половая мораль мертва. Несмотря на шаткую мораль ноттингемских рабочих у Силлитоу, рабочий класс всегда более строго соблюдал брачные и моральные государственные законы. Рабочий люд имел меньше возможностей нарушать их. Пролетарии слишком много и тяжело работали, слишком мало разрешали себе игры эмоций, чтобы широко пользоваться внебрачными связями. И несмотря на то, что рабочий-подросток привык употреблять грубые слова, касающиеся половых отношений (практически таково каждое четвертое или пятое слово в оживленном разговоре), однако с точки зрения морали он куда более целомудрен, нежели молодые буржуа. Буржуа намного распущеннее, хотя и более сдержанны в речах.

И разрушается в нашем обществе именно буржуазная основа половой морали. Она начала разрушаться давно, но это происходило при закрытых дверях (в книгах Д. Лоуренса, которые нельзя было купить). Но в последние годы эти двери широко раскрыли (а может, их просто вышибли), и теперь разложение происходит у всех на глазах. В этом публичном нарушении старых моральных и половых табу есть даже элемент вакханалии.

Очень интересно наблюдать, как капитализм осуществляет процесс уничтожения своих собственных моральных и сексуальных норм. После войны, вместо того чтобы остановить разложение (пятьдесят лет он безуспешно пытался это делать), капитализм начал обращать упадок нравов себе на потребу. Этикой капитализма сделалась аморальность, а сексуальная аморальность лежит в основе многих других отступлений от морали, ибо если уж нельзя верить в честность тех, кто прокламирует взаимную любовь, то можно ли вообще говорить о социальном или личном доверии?

Как же все это сказывается на молодых представителях рабочего класса?

Живя в буржуазном обществе, мы неминуемо сталкиваемся с воздействием норм буржуазной морали, и хлынувший на нас бесконтрольный секс влияет на убеждения рабочего класса. Большинство молодых рабочих все еще влюбляются, женятся, рожают детей и не

очень-то запутываются в сложной паутине секса. По сравнению с буржуазией процент разводов в рабочей среде весьма невелик. Но никто в нашем мире не может скрыться от обнаженных грудей, измен, оргий, гомосексуализма, побочных детей, насилия и алчности, которые составляют повседневный рацион наших телевизионных передач, прессы, рекламы, кино и даже популярной литературы. Однако мы уже так привыкли, что даже не замечаем этого, хотя время от времени кому-нибудь вдруг становится тошно.

Милтон Шалмэн, несколько циничный, но остроумный обозреватель газеты Бивербрука «Ивнинг стандард», обычно сухо подсмеивается над сложными сексуальными драмами на телевидении; но в тот день, когда я писал эти строки, он вдруг страшно возмутился по поводу сверхсексуальной пьесы под названием «Полиция Ривьеры». Его бешеная атака на режиссера и автора и на порнографическое содержание пьесы — редчайший случай в нашей прессе. А ведь «Полиция Ривьеры» занимает второе место среди самых популярных телепроизведений; и так как большая часть зрителей состоит из рабочих, то это означает, что невероятное количество рабочих охотно смотрит пьесу, о которой другой известный критик писал в «Спектэйторе»: «Мерзкая программа... ее вдохновителем был, видно, журнал «Континентальные фильмы» — издание, полное снимков женщин, которые, видно, подстегивают усталых работников телевидения».

Шалмэн и обозреватель газеты «Спектэйтор» возражают на самом деле не столько против секса, сколько против **вульгарности** в изображении этого секса, причем и здесь, как в экономической и общественной жизни, худшее предназначается для рабочего класса. Чем вульгарнее и грубее, тем очевиднее, что это — для рабочего зрителя. Более изысканная и утонченная порнография доступна лишь тем, кто способен наслаждаться намеками и нюансами в буржуазных театрах, журналах и газетах.

Следовательно, секс, который «перепадает» рабочим, не просто аморален (он аморален для всех), но груб и аморален. Не последнее место в распространении самого худшего, самого гнусного, чудовищного по грубости, неприличию и вульгарности секса занимает «Дейли миррор», газета, имеющая самый большой в Англии тираж. «Дейли миррор» поддерживает лейбористов, ее контролирует Сесиль Кинг, самый богатый издатель в Европе, сторонник политики Уилсона, у которого в качестве «экспертов» работают несколько лейбористов — членов парламента. Предполагается, что каждый рабочий читает «Дейли миррор».

Все связующие нити, если их проследить, очень просты. Никому не надо быть главнокомандующим этой аморальной операции, она возникает в мозгу людей, которые совершают ее совсем бездумно, и она безусловно чрезвычайно выгодна.

Проще всего было бы сказать, что среди рабочих существует массовое сопротивление вульгарности и моральному разложению. Но это не так, да и не может быть так, ибо такие вещи — неотъемлемая часть мира, в котором мы живем. Измените мир, и вы измените мораль. И несмотря на энтузиазм сторонников изменения мира, многие рабочие сегодня не видят, к чему стоит стремиться, и чрезвычайно цинично принимают это разложение. Так порой человек напивается от нечего делать, хотя и мог бы примкнуть к борьбе за великую цель.

И, наконец, последний аспект влияния половой распущенности на рабочую молодежь — это необычайная ее прибыльность. Создан ряд больших предприятий, с многомиллионным оборотом, хотя эта сторона эксплуатации подростков не ограничивается только сексуальным возбуждением молодежи, поставленным на коммерческую ногу.

Безработица у нас никогда не исчезает, хотя бывают и периоды полной занятости. В настоящее время большинство молодежи имеет работу (какую работу — это уже второй вопрос). Миллионы рабочих-подростков — мальчиков и девочек пятнадцати, шестнадцати, семнадцати лет — кончают школу, идут работать, в конце недели они получают жалованье и становятся законными жертвами всевозможных хитроумных ловушек, при помощи которых капитализм в субботу выкачивает у них деньги. Это и есть борьба за рынок — выкачать деньги раньше всех остальных.

Вот и получается, что молодого рабочего, при всем его умении обращаться с деньгами и при всем его индивидуализме, обдирают, как липку, и не успеет он получить заработанные деньги, как теряет все. Дьявольская хитрость состоит здесь в том, что капитализм точно знает, что творится с душой и телом подростка в переходном возрасте, и, зная все это, капитализм просто пьет кровь молодежи. Пробуждение чувственности у юных редко напоминает весну — чаще всего это адский кавардак, и происходит оно не в тихих романтических рощах, а на шумных улицах, где больше нет ничего святого.

Общество немилосердно эксплуатирует это положение. Оно эксплуатирует самые интимные минуты и выставляет юношей и девушек на всеобщее обозрение именно в тот миг, когда он или она особенно нуждаются в помощи и укромном убежище.

Истерия мальчиков и девочек становится источником прибыли, в переходный период настроения их все время ме-

---

ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ
РАССТАВАЯСЬ С ИЛЛЮЗИЯМИ

няются, они все ищут объяснения тому, что с ними происходит, и удовлетворения — физически и эмоционально. Одежда, танцы, любовные песни, насилие, сексуальные сцены в фильмах, книгах, на экранах телевизоров, реклама — все поставлено в зависимость от этих стремительных и сложных перемен в настроениях молодежи. То, что нравится сегодня, уже не нравится завтра, все время надо что-то новенькое — новую песню, новый танец, новое украшение. Капитализм специально преувеличивает, поддерживает мучительные метания подростков: чем больше жадности и смятения, тем больше погони за разными развлечениями, предоставляемыми за деньги.

Не все эти развлечения грубы. Песенки «битлз» больше всего отвечают настроениям молодежи, и она это чувствует. Иначе эти песни не были бы так популярны. «Битлз» умеют даже из вульгарности извлекать какую-то неистовую поэзию. Но другие распространители «поп-музыки» просто-напросто оплевывают все общепринятые нормы — больше ничего. Таковы «Роллинг стоунз», выступление которых в Западном Берлине обошлось владельцам стадиона в 30 000 фунтов стерлингов убытка, так как молодежь разнесла здание. Широкая популярность «поп-музыки» объясняется еще и тем, что на долю пролетариата в английском обществе профессиональной музыки еще никогда не доставалось, если не считать дешевых «отходов» — изделий коммерческих халтурщиков. Теперь наша молодежь чувствует, что она сама сочиняет свою музыку. Как сказал один певец: «Пусть это ерунда, но это наша собственная ерунда».

Одежда — также предмет прибыли для капитализма. И здесь также не все просто. Не всякое платье — просто вульгарное украшение жадных к переменам подростков. Мне, например, нравится нарочитая «неуклюжесть» молодых девушек, подчеркнутая «чудным» покроем современных костюмов. Они не безобразны, а привлекательны. Юность хочет быть привлекательной, она хочет жизненного разнообразия, изобретательности, хочет чувствовать себя уверенной. Чтобы вытянуть из карманов молодых людей побольше денег, капитализм предоставляет им желаемое, и часто с большим вкусом и выдумкой. Глупо было бы закрывать на это глаза. Но это не меняет гнусной природы такого эмоционального ростовщичества.

■

В конце статьи я расскажу о том, как рабочая молодежь сопротивляется этому процессу, теперь же следует рассмотреть, что получает от капитализма представитель буржуазной молодежи и чего он не получает. Буржуазия, в свою очередь, делится на две группы, и деление это очень простое — на низших и высших; я буду говорить о каждой из них отдельно.

Когда я был на Московском кинофестивале, то вместе с советскими зрителями видел фильм «Дорогая». Это повесть о буржуазной девушке, довольно типичной для определенного круга. Она работает натурщицей в рекламной фирме и существует где-то на грани общества, состоящего из так называемых «новых людей». Эти новые люди — не вульгарные выскочки и не ученые, а профессиональные буржуазные специалисты по нововведениям: они создают новые украшения и новую философию нашего времени. Это авторы реклам, журналисты, работающие на радио и телевидении, кинорежиссеры, модельеры, ведущие сотрудники интеллектуальных воскресных газет. Эта сплоченная группа и составляет фон фильма «Дорогая». Поначалу как будто развертывается картина жизни этих людей, но социальный анализ изображаемого отсутствует, просто показана судьба одной девушки, в итоге фильм расплывается этакой эротической фантазией — своего рода английская «Сладкая жизнь». Только все это не настоящее. Всего лишь подделка под итальянскую «сладкую жизнь».

Если бы фильм сохранил социальную основу, мы бы узнали, что на самом деле сталось с этой девушкой в среде, где царит бездумный нигилизм и идет война против всех моральных и общественных табу. Мы бы увидели подлинную буржуазную аморальность, которая приводит вовсе не к «сладкой жизни», а к очень будничной и унылой жизненной неразберихе.

Когда я каждую субботу иду вдоль Кингс-род в Челси, я вижу сотни этих «дорогих», Челси чуть ли не их штабквартира. Их даже называют «девочками из Челси». Мне кажется, что у Джона Слессинджера, режиссера картины, именно здесь родилась идея фильма, так как я часто вижу его на Кингс-род, где он словно наблюдает за «дорогими». И не в том суть, что вся буржуазная молодежь напоминает «дорогую», но в том, что «Дорогая» — это несколько преувеличенная кристаллизация всего, с чем сталкивается буржуазный молодой человек.

С самого дня рождения жизнь буржуа во всех отношениях отличается от жизни и окружения рабочего. Само рождение, поступки, воспитание, речь, образование, знакомства, манеры, отношение к жизни, понятие об успехе, неудаче, достижениях, общий облик и даже мечты — все это настолько же отличается от воспитания рабочего, как мел от молока.

До сих пор я говорил о буржуазии в целом. Теперь давайте рассмотрим отдельно нашу мелкую буржуазию. В общем, сюда относятся средней руки лавочники, продавцы, клерки, мелкие служащие, техники и т. д. И если в Англии нередко приходится слышать, что пропасти между классами более не сущест-

вует, имеется в виду именно сближение мелкой буржуазии и буржуазии более обеспеченных кругов.

Аморальная героиня «Дорогой» могла вырасти либо в мелкобуржуазной семье, либо в обществе обеспеченных людей средних классов. В данном случае это едва ли важно, ибо после войны «сливки» средних классов вынуждены были уступить почти все свои незыблемые позиции рядовым представителям этих же классов, и между детьми тех и других более не существует пропасти. Это прямой результат энергичного наступления мелкой буржуазии — самой надежной опоры существующего общественного порядка. Она — поистине становой хребет нынешней социальной системы; не ставя под сомнение эту систему, она требует для себя прав, соответствующих той огромной роли, которую в ней играет. Быть может, я уже говорил об этом, но считаю нужным еще раз указать, что пьеса Джона Осборна «Оглянись во гневе» выражала как раз недовольство юноши из мелкобуржуазной * среды, получившего такое же образование, как и его сверстники из семей высшей буржуазии, но обнаружившего, что последней он не нужен. Герой пьесы Джимми Портер сердит на то, что «сливки» средних классов не желают видеть в нем равного себе.

С тех пор прошло более десяти лет. Пьеса Осборна была лишь одним из целого ряда гневных выступлений мелкой буржуазии, требовавшей упрочения своих позиций в обществе. За эти годы мелкой буржуазии удалось добиться огромного сдвига в своем общественном положении, утвердить свои права на образование и участие в управлении страной, подчас на самом высоком уровне. Из этой среды вышло не менее половины лейбористских лидеров и несколько лидеров консерваторов.

Представители средней и мелкой буржуазии являются в сегодняшней Англии людьми, наиболее остро и болезненно ощущающими связь со своим классом, который они ненавидят и из которого хотят вырваться наверх — разумеется, в рамках существующей общественной системы. Эта группа дала почти всех молодых драматургов и прозаиков, выдвинувшихся в последние 15 лет (Осборн, Брейн, Уэйн, Эмис, Уэскер, Копс и другие), а также большинство новых художников, режиссеров и актеров. Переворот, произведенный ею в нашей литературе и в искусстве, говорит кое-что о настойчивости и силе ее социальных требований и о ее разочаровании в прошлом. Этот же класс (впрочем, не столько как класс, сколько как группа людей, к нему принадлежащих) выступил одним из самых активных участников движения за мир и антиколониального движения.

Честолюбивые представители средних классов, продвигаясь вверх по лестнице социальной иерархии, поставляют все больше и больше искусных инженеров и технологов, которых требует наше общество в век техники. Большое число наших молодых ученых, преподавателей, служащих, инженеров — это питомцы неаристократических университетов, где учатся дети рядовых семей средних классов. Никто не сумел воспользоваться крупнейшим сдвигом вперед, намеченным обширной лейбористской программой 1945 года, которая во многом была разумной и прогрессивной, так умело, как средние классы. 1945 год был поистине годом их «революции», хотя эту «революцию» осуществили для них своей борьбой рабочие. Но двадцать лет предательства оставили от этих завоеваний лишь преимущества для средних классов — более, чем для кого-нибудь еще.

Проблема, стоящая перед молодежью этого класса, не лишена интереса. С одной стороны, эта молодежь добивается прав, которых она была лишена многие десятилетия, а с другой — начинает во многом отворачиваться от общества, которому призвана служить. Сознательная часть этого класса является в настоящее время лучшим союзником рабочих, но другая, не думающая часть (она составляет большинство) выступает их злейшим врагом.

Некогда капитализм мог с уверенностью рассчитывать на безоговорочную преданность масс средних классов, но теперь ему приходится уже кое-что для них делать, ибо эти юнцы из средних классов учатся изо всех сил, чтобы выйти в люди, и руководствуются они уже не простым честолюбием, а уроками, почерпнутыми в истории и политике, тем, что дало им образование и их собственный опыт.

Кроме того, в наши дни многие аспекты политики требуют хорошей осведомленности, если хочешь правильно оценивать события и воздействовать на их ход. Возьмите ядерное оружие. Во главе всех кампаний за запрещение атомной бомбы стояли студенты и интеллигентная молодежь, рядовые представители средних классов, потому что они читали о Хиросиме, изучали последствия радиации и поняли, чем грозит атомное вооружение им самим. Понять это им было легче, чем рабочим, и протест их оказался более ощутимым, чем протест рабочей молодежи, хотя в классовом отношении пролетариат сыграл другую и гораздо более значительную роль.

В наше время развития личных форм протеста и мятежа этот класс, для которого характерен узкий, даже пугливый индивидуализм, сосредоточил на себе

* По-английски это понятие (lower middle class) включает и высокооплачиваемую категорию рабочих.

основное внимание. Он поставляет «протестующих». Он стоит в центре всех движений «протеста», и характерное для этих своеобразных движений сочетание положительных и отрицательных сторон объясняется природой самого этого класса. Самое ценное в движениях «протеста» — это пропаганда необычными, яркими действиями, которые помогли осознать опасность атомного оружия и в конечном счете привели к массовым политическим выступлениям с других, более четких позиций. Однако даже собственные свои цели они представляли себе слишком расплывчато. Их метод сводился к манифестациям, убедить логически они и не пытались. Как правило, их участники руководствовались своей совестью; протестующее сознание такого юноши подчас находит отзвук у его сверстников, и они объединяются. Но такой солидарности едва ли достаточно для того, чтобы возник подлинный социальный коллектив; и когда сознание отдельных «бунтарей» охватывает растерянность и смятение, это смятение передается всему движению.

У юноши из мелкой буржуазии больше шансов пробиться в обществе, чем у молодого рабочего, хотя бы потому, что у него больше возможностей получить образование и занять какой-нибудь, пусть самый скромный, пост в управлении страной. Притязания Осборна и «сердитых молодых людей» удовлетворили не полностью, хотя сейчас они имеют бесконечно больше, чем в те времена, когда Осборн писал свою пьесу. Таким образом, даже когда эти молодые люди играют в обществе незначительную роль, они поставлены перед выбором: либо требовать для себя более существенной роли в обществе, либо выступить против самой структуры общества.

Большинство «сердитых» выбрали первое. Они признали иерархию буржуазной системы и задались целью выжать из нее для себя все, что можно. Кое-кто из них настроен сейчас настолько реакционно, что весь их гнев ныне обратился против коммунизма. Но другие, как Осборн, все время пытаются уяснить, что же стоит за всей этой системой: хотя Осборну по-прежнему свойственна уже профессиональная, почти ребяческая «сердитость», в его пьесах протеста заложена социальная в своей основе тема, которая далеко не сводится к возмущению индивида тем, что его обокрали. Путем Осборна пошли и многие другие, и, хотя нельзя сказать, чтобы они питали нежные чувства к пролетариату (к которому до сих пор относятся с изрядной долей презрения), это не мешает им выступать союзниками рабочего класса в чисто внутренних вопросах, а также поддерживать рабочих в их протесте против войны, колониализма, империалистического насилия.

Молодежь средних классов еще не сделала решительного политического выбора, но роль ее трудно переоценить. С точки зрения моральной, этической, материальной ее положение ничем не отличается от положения рабочего класса, и, хотя фильм «Дорогая» рассказывает скорее о высших, чем о средних слоях буржуазии, неосуществленный пролог к картине мог бы красноречиво поведать о том, как девушка из среднебуржуазной семьи пробивается наверх, в круг буржуазии высшей. Для такой молодежи пути туда открыты, несмотря на то, что старшее поколение по-прежнему охраняет свою кастовую замкнутость.

Молодым людям, принадлежащим к высшим слоям буржуазии, достается все самое лучшее: лучшее образование, лучшие условия жизни, более высокая культура, больше шансов занять ведущее положение в обществе. Эти преимущества дают высшей буржуазии возможность стать настоящими хозяевами нашего общества, его постоянными руководителями. Это они устанавливают и истолковывают его законы, его парламентскую систему, его религию, это они охраняют неприкосновенность буржуазной системы, какая бы партия ни находилась у власти.

Юноши и девушки этого круга даже говорят на особом языке. Друг друга они узнают за километр. Их классовая солидарность непоколебима, а полученное ими образование подсказывает им, что они призваны управлять, ибо никто другой, исключая властвующую элиту, которая стоит еще выше, не способен, не может управлять.

Такому юноше очень трудно преодолеть воздействие своей среды. Печать этого воспитания остается на всю жизнь, какую бы политическую проницательность ни приобрел впоследствии молодой буржуа. Между прочим, из этой прослойки вышло много марксистов (в том числе все наши лучшие молодые теоретики, погибшие в Испании), но всякий раз в поведении такого человека можно было различить неизгладимые признаки принадлежности к буржуазному «свету», и это часто отгораживало его **как личность** от рабочего класса, которому он решил посвятить свою жизнь.

Нужно ли говорить, что в большинстве своем молодые люди из высшей буржуазии **не становятся** марксистами. Они воспринимают свое привилегированное положение как ниспосланное богом и не сомневаются в том, что общество принадлежит им. К детям этой касты до восьми лет приставлены нянюшки, после чего их отправляют в подготовительную школу, и они видятся с родителями только по воскресеньям. (Эти люди ненавидят коммунизм за то, что он «разрушает семью, забирая из нее детей»!) Когда ребенку исполняется 11 лет, его посылают в так называемую публичную «государственную» школу, являющуюся

на деле очень дорогим закрытым пансионом.

«Государственные» школы весьма различны по уровню, и выбор школы определяется богатством и влиянием родителей. Главные из них — Итон и Харроу, и, хотя они предназначены исключительно для отпрысков властвующей элиты, высшая буржуазия стремится пристроить своих детей именно туда. Есть и другие специальные «государственные» школы, например, Гордонстаун — школа на немецкий манер, в которой учится наследник британского престола, а также сотни других школ, в чем-то уступающих одна другой и обслуживающих семьи, обладающие чуть меньшим состоянием и чуть более слабым влиянием в обществе, пока мы не доходим до привилегированных средних школ для детей как высшей, так и средней буржуазии.

Уровень подготовки в этих «государственных» школах очень высок, количество учащихся в классе ограничено, а преподаватели самые лучшие. Здесь готовится основная масса студентов для наших лучших университетов, а став студентом, юноша из высшей буржуазии по-прежнему уверен, что лишь получает должное, учась в университете, двери которого открываются юноше из рабочих разве что чудом.

В таких школах сознанию классового превосходства внимания уделяется ничуть не меньше чем обычным предметам, уже здесь среди учащихся возникает та система круговой поруки и взаимной поддержки, которая остается и в будущем, когда они становятся адвокатами, судьями, политиками, офицерами, бизнесменами и управляют всеми нами — как они уверены — по праву, а не по привилегии.

В прошлом молодежь этого класса вершила судьбами обитателей всей Британской империи. История британского владычества в Индии, Африке и других частях планеты тесно связана с историей этого класса. Можно утверждать, что рядовых Британской империи поставлял пролетариат, сержантов и чиновников — массы средних классов, а офицеров, управляющих, политических чиновников и губернаторов — высшая буржуазия. Все они утверждали власть белого человека в далеких, разбросанных по всему миру уголках империи, в то время как властвующая элита (большей частью) оставалась на островах и просто направляла их деятельность.

Но хотя молодежь, принадлежащая к верхушке общества, действительно подчиняет себе все мало-мальски важные области общественной жизни, она тоже подвержена сомнениям, и здесь тоже назревает раскол; положение дел в мире и мощное движение истории к социализму тревожит их, более того, вселяет тайный страх. В отличие от империализма американского, французского или голландского, английский империализм прославился умением достигать компромисса с новыми силами, стремившимися избавиться от него. Как никакой другой, английский империализм умел грабить страну, не оставляя следов и создавая видимость самоуправления. Английский метод (обычно сводившийся к известному «разделяй и властвуй») не мог, как доказала история, обеспечить возможность грабить и обманывать до бесконечности. Но из всех империалистических методов он оказался самым умным; этим он в очень большой мере обязан молодежи из высшей буржуазии, отлично натренированной в лицемерии, в умении властвовать, не показывая вида, и убедительно внушать угнетенным народам, что англичанин — не такое уж чудовище, даже если он рубит головы направо и налево.

Воспитание угнетателей, даже очень тонко действующих, всегда угроза обществу; молодые люди не отдают себе отчета в том, какую опасность они собой представляют. Есть как субъективные, так и объективные причины, объясняющие их высокомерную самонадеянность. И хотя Британская империя прекратила свое существование, пока существует классовая система, будет существовать и вежливая жестокость этих людей.

Их умение держать себя, их правила поведения в обществе отработаны до блеска. Они никогда не шумят и не хвастают, они не высказываются до конца (это, кстати, тоже вид высокомерия) и рассуждают всегда с точки зрения «здравого смысла», который, конечно, понимают по-своему. Этот класс возвел безразличие к другим в принцип, безразличие — это суть индивидуалиста в капиталистическом обществе, и оно оказывается очень эффективным там, где правилом жизни было и остается «занимайтесь своим делом».

Несмотря на традиционную прочность своих классовых позиций, молодежь из высшей буржуазии тоже переживает кризис. Империя, находившая всем им место, разрушена почти до основания. Они все еще управляют там, где сохранились ее остатки. Но остается в основном грязная или никчемная работа (например, демонстрация английских фильмов нигерийским племенам) — и эти функции все чаще передаются выходцам из более скромной социальной среды. Армии, которой высшая буржуазия поставляла когда-то офицеров, теперь требуются больше люди с технической подготовкой, и даже церковь, раньше служившая еще одним полем деятельности этого класса, сейчас воспринимается несколько иронически и вряд ли устраивает их.

Так чем же занимаются сейчас молодые люди этого класса?

Они пополнили ряды соискателей бо-

ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ
РАССТАВАЯСЬ С ИЛЛЮЗИЯМИ

гатств. Было время, когда этот класс считал торговлю «вульгарной», не допускал и мысли о том, чтобы что-то покупать или продавать (в прямом смысле слова). Ныне, однако, погоня за деньгами не удручает их своей вульгарностью, тысячи молодых буржуа, ни на секунду не задумавшись, вступают в мир бизнеса сразу же по выходе из пансиона или университета. Вы встретите их во множестве в мощных нефтяных компаниях, кораблестроительных и химических фирмах, конторах стальных магнатов, а также в кондитерских, хлебных, мыльных трестах, мелких компаниях по производству кирпича и велосипедов. Бизнесмен — служащий фирмы — в наши дни является выходцем именно из этого класса.

Они переживают и кризис духовный. Их класс был основным поставщиком идеологов капитализма. Лет пятнадцать после войны старшее поколение интеллигентов продолжало определять идеи и принципы буржуазной жизни. Но они оставались на довоенных позициях, то есть все еще считали, что так или иначе доминируют в мире — в форме либерального капитализма или фашистской диктатуры, все равно. Коммунизм оставался чудовищем, сила которого не изведана.

Однако сегодня молодые философы этого класса уже понимают, что старый взгляд не только бесплоден, но и опасен для них самих. Прежние «устои» (хотя они сами их утвердили) мешают им не меньше, чем низшим классам. Таким образом, эти молодые интеллигенты начинают порывать с устоявшимися формами буржуазной идеологии и утверждать новые формы. Возможно, наиболее яркое выражение этих новых «устоев» дает настроенный «против устоев» еженедельник «Обзёрвер» — великолепный советчик тех юных буржуа из высших слоев, которые пытаются понять и истолковать мир и для себя и для своего класса.

«Обзёрвер» принадлежит семейству Астор и редактируется одним из младших представителей этого рода. Его родственники постарше занимаются «Таймс», газетой, ратующей за «устои». Хотя «Таймс» принадлежит властвующей элите, газета воздерживается от примитивной пропаганды, которой заполнена желтая пресса, но держит себя так, как будто ее читателям действительно нужна правдивая информация. В целом они ее получают, причем эта информация очень добротная по качеству. «Таймс» и «Морнинг стар» — единственные английские газеты, которые стоит читать. Роль «Обзёрвера» другая, ибо он обращается почти исключительно к буржуазной молодежи, говорит ее языком и выражает ее идеи и ее восприятие суматошного мира. К социализму «Обзёрвер» относится снисходительно, чего нельзя сказать о «Таймс». Зато «Таймс» иногда дает отличный критический анализ политики Вильсона, в то время как «Обзёрвер» часто выступает не более как умным защитником Вильсона, даже когда тот делает непростительные ляпсусы. «Таймс» ни в коем случае не хочет признать, что роль Англии стала гораздо скромнее и что Англия — не более как усовершенствованная Швеция, и настаивает на нашем могуществе. Младший брат газеты, «Обзёрвер», наоборот, говорит, что Англия утратила свое мировое могущество и ей следует стать образцовым государством социальной демократии, умерив свой пыл; свое широкое влияние Англия могла бы с успехом использовать, выступив мировым посредником в трудных вопросах. «Таймс» располагает отличным корреспондентом по Советскому Союзу, умеющим писать умно, тонко и проницательно; экспертом по русским делам в «Обзёрвере» состоит Эдвард Крэнкшоу, давний враг СССР, съевший зубы на антикоммунизме. «Таймс» читают люди думающие, и для них эта газета небезразлична. «Обзёрвер» читает молодежь из средних классов, стремящаяся найти людей, настроенных так же, как она. «Таймс» честно реакционна и дает отличную информацию; «Обзёрвер» обманчиво либерален и, подобно многим своим читателям, самовлюблен, как Нарцисс.

Несмотря на старания «Обзёрвера» и прочих идеологических советчиков буржуазной английской молодежи, ее прежний мир умирает на глазах. Излюбленный ею поэт Т. С. Элиот сказал как-то, что мир погибнет, «не грохоча, а хныча»,— только подобная философия поистине работает на эту молодежь. Из трясины, в которую завел ее капитализм, доносятся не громовые удары, а хныканье. В области идеологии эти молодые люди уверены только в одном — что они против коммунизма; но в наши дни даже это кредо приходится прикрывать защитными похвалами и объяснениями. Найти какое-то позитивное оправдание своей жизни они не могут и тратят ее в мелочных притязаниях, в бесцельных попытках самоутверждения: они лишены дальнего прицела и каких-либо перспектив, кроме планов материального обогащения. Как м-ру Майкоберу в «Давиде Копперфилде», им остается надеяться лишь на то, что «что-нибудь подвернется» (в историческом плане) и спасет их.

Но ничего не подвернется, и в глубине души они это знают. Может показаться странным, что молодежь даже этого класса «бунтует» не из-за того, что ей чего-то не дают, а из-за того, что она утратила. В наследство она получила пустой сосуд. Две мировые войны, атаки соперничающих капиталистических держав на английский капитализм как рукой сняли упоение собственным индустриальным и военным могуществом, от всего этого остались лишь живописные лохмотья. И молодежи не за что обожать от-

цов, мало-помалу промотавших полученное состояние. Остались крохи, и они чувствуют, что их надули.

Эта молодежь лишилась веры, она не знает ответов на вопросы, поставленные жизнью, ее идеи посредственны, интеллект истощился — в этом, без преувеличения, зловещее предвестие для самой общественной системы. Почти весь авторитет, каким обладал некогда этот класс, тратится теперь на то, чтобы с умом приспособиться к поражению. За всю долгую английскую историю еще не было такого скучного и глупого парламента; искусство, литература, архитектура находятся на достаточно высоком профессиональном уровне, но какое убожество идей и замыслов, как ничтожно их социальное звучание!

Она наблюдает, как, хныча, распадается ее мир, и реакция этой молодежи на неизбежную утрату ее привилегий может представить опасность. Стоит лишь еще немного ухудшиться ее положению, возникнуть кризису — и молодежь этой мощной, но недовольной прослойки нашего общества ответит взрывом гнева. Их головы забиты реакционными идеями, они едва сдерживают ярость, а сердца их трепещут от страха, когда они видят пробуждение мира, слышат клич социализма в своей стране и не могут найти выхода. Пока еще не пришло время спешно его искать, но нет сомнения в том, что рука их потянется за оружием, когда им придется сделать диктуемый историей выбор.

Да он и сейчас уже ясен. Это класс, прекрасно знавший, чего он хочет, научившийся подчинять свои эмоции целям далеко рассчитанного политического маневра, а не грубой силе. Сила для них — последнее прибежище, и они пользуются ею лишь тогда, когда все методы обмана и политической борьбы не принесли желаемого успеха. Хитрости они отдают предпочтение, но в крайних случаях не остановятся перед самым разнузданным насилием — и это всегда будет решающим образом сказываться на их жизни. Именно поэтому им непременно нужно добиться терпимого отношения со стороны низших социальных слоев, даже пролетариата. Но как раз терпимости становится все меньше и меньше. Низшие классы, два века служившие им верой и правдой, теперь породили молодежь, которая никому не намерена служить, даже если сейчас это проявляется в форме индивидуального протеста. Взаимное презрение и часто ненависть, характерные для отношений между молодежью этих двух классов,— основа классовой борьбы в том виде, в каком она выступает в наше время.

Позиции средних классов особенно неустойчивы оттого, что они не только испытывают давление снизу, но и вынуждены подчиняться все возрастающим требованиям властвующей элиты (которая на деле больше всего выигрывает от их смирения и лояльности). В былые времена молодежь средних классов воспринимала свой долг по отношению к вышестоящим как нечто естественное, но современная молодежь в этом отношении резко отличается от своих предшественников. Сегодня даже молодые люди из средних классов не желают признавать что-либо естественным или неизбежным и тоже притязают на более ощутимую роль в управлении страной на высоком уровне. Когда говорят о «революции управляющих» (как будто «управляющие» и вправду подчинили капитализм своему контролю), имеется в виду, что «управляющие» требуют, чтобы к их голосу больше прислушивались, и укрепляют свои позиции. Но не они управляют событиями.

■

На деле контроль над капиталистической системой осуществляют те же самые люди, что всегда стояли у ее ключевых позиций. **Властвующая элита** в Англии состоит из старой аристократии, промышленных магнатов и крупных земельных собственников, а молодежь, принадлежащая к этому классу, является самой привилегированной, самой сильной и самой замкнутой в своем круге группой в стране.

Может показаться, что нет смысла говорить о проблеме этой молодежи просто потому, что она богата и стоит у власти. О чем же тут говорить? Но когда встает вопрос о молодежи в целом (ибо за ней будущее), мы должны понять как подвластных, так и властвующих.

Даже молодые люди, принадлежащие к верхушке средних классов, должны обладать исключительно высоким уровнем знаний, чтобы попасть в школы для избранных — такие, как Итон и Харроу, или в лучшие университеты — Оксфорд и Кембридж, но молодежи из высших кругов достаточно знать совсем немного, чтобы учиться здесь. Если юноша из средних классов намерен стать адвокатом, судьей, офицером, управляющим, он должен обладать по окончании учебного заведения очень высокой научной квалификацией; юноше из высших кругов нужно всего лишь отличиться в спорте или пользоваться репутацией хорошо воспитанного человека.

Если не считать лет, проведенных в школе и университете, молодежь властвующей элиты редко покидает свое крайне замкнутое социальное окружение, если только такой юноша не родился на свет каким-нибудь чудаком и не пополнил когорту неприкаянных (такие случаи бывали). Само каждодневное существование призвано преподать им науку управления и руководства. С первой же минуты своего существования, с

тех дней, что они проводят в детской, окруженные нянями и учителями, они ни секунды не сомневаются, что Англия принадлежит им.

И все-таки было бы ошибкой думать, что все дело в тех привилегиях, которые даются им еще до рождения. Английской системе «государственных» школ присуща любопытная, жестокая демократия, распространяющаяся, правда, лишь на богатых и власть имущих. Или, что вернее, ее можно назвать иерархическим внушением классовых принципов. Во всяком случае, мальчик лет одиннадцати, отданный в школу типа Итона, независимо от того, насколько богата и известна его семья, в младших классах третируется как раб старшими школьниками, которые нередко бьют его, дабы он почувствовал разницу между положением управляющего и подчиненного. Это очень действенный метод в обучении науке управлять. Проходит несколько лет, и вот уже вчерашние бесправные мальчуганы в свою очередь приказывают и дают зуботычины младшим. Позднее, когда он уже управляет страной, через правительство или какое-нибудь важное учреждение, он, не задумываясь, переступит через лучшего своего друга, коль скоро тот станет у него на пути,— эта способность давать и получать встрепку «безлично» уже стала для него чем-то органичным,— а потом можно и похлопать друга по плечу и выпить с ним в клубе.

Нынешняя молодежь властвующей элиты намеревается сделать то самое, чего никак не хотел сделать Черчилль,— справить поминки по Британской империи. Для них это не более чем исторически необходимое изменение курса, без чего английскому капитализму не выжить. Если говорить исторически, то империя уже испустила дух под ударами национально-освободительных движений, но экономически она переживает сейчас что-то вроде бабьего лета, которое капитализм тщится любым способом продлить.

В наши дни молодые капиталисты, составляющие стратегические планы в своей борьбе за жизнь, готовы пойти на любую жестокость. Несмотря на то, что их научили вести себя умно, инстинктивно они стремятся не к компромиссу с оппозицией, а к ее разгрому. Только искушенным пособникам из состоятельных средних классов удается убедить элиту не прибегать к насилию, а терпеливо идти на соглашение и добиваться своего хитростью. Но и хитрость не всегда будет палочкой-выручалочкой, ибо разочарование пролетариата и нетерпение высших классов возрастают, и лишь средние классы удерживают равновесие и пытаются оттянуть конечный бой.

■

Именно молодым англичанам придется решать, как поступить с тем, что осталось от британского империализма, и из какого материала строить свое будущее. Антиколониальные движения в сегодняшней Англии играют известную роль в организации интеллигенции и народа и вызывают к жизни иные движения протеста, но пока еще нет крепкой спайки между сторонниками освобождения колоний и английским пролетариатом, хотя враг у них один и тот же.

Антиколониализм — это совсем не просто для любого англичанина, а для молодого рабочего в особенности. Было бы ошибкой думать, будто можно сказать английскому рабочему: «отдадим все английские запасы нефти в мире их подлинным хозяевам»,— и он поймет вас. На это никто не соглашается, потому что 100% нашей нефти поступает из колониальных или полуколониальных районов.

И все же когда колониальные народы восстают против колонизаторов и гонят их, молодые рабочие отнюдь не горят желанием встать на защиту английских «интересов» и драться с угнетенными нациями.

Капитализм стремился убить у молодежи самое главное — чувство и совесть. Кое в чем это ему, бесспорно, удалось: нынешней молодежи не хватает прежнего умения мыслить, да и критерии совести у нее иные. Но если молодежи чего-то не хватает, то, с другой стороны, она несет и нечто новое. Любой прогрессивно настроенный человек должен не отмахиваться от новой молодежи, как ни на что не годной, а оценить новые условия, вызвавшие ее к жизни, и понять ее.

По-новому понятое равноправие, являющееся основой основ мировоззрения нынешних молодых рабочих,— это понятие в чем-то болезненное, но во многом и здоровое. Недовольство молодежи средних классов обществом часто принимает действительно «болезненные» формы. Любопытно, что без изменений осталась лишь мораль высших классов — просто потому, что она, по сути, всегда была аморальна и осталась аморальной по сей день.

■

Многое из сказанного покажется упрощением любому советскому человеку, приехавшему в Англию, ибо он сможет увидеть некоторые рабочие кварталы, где каждая семья имеет автомобиль, и спросит: «Где же эксплуатируемые рабочие?» Он также сможет увидеть капиталистов, которые скромно живут в загородных домах без особого великолепия, и спросит: «Где же жирный капиталист?» И эти вопросы будут справедливы. Понять капитализм не просто, так как это не какие-то застывшие условия, а процесс. Но все, что возникает из современного капитализма, есть не более чем отражение торгашеской системы, все более и более зависящей от растущего

спроса на предметы потребления и хищного эгоистического интереса.

Социальная изоляция — вот что действительно разрушает буржуазный индивидуум, а молодые интеллигенты все еще не осознают своего положения. Все мы на Западе живем изолированными группами и только при помощи огромных усилий можем образовать какие-то социальные объединения с социальной ответственностью. Для того чтобы добиться этого, надо иметь политический кругозор и классовое сознание, и хотя наши молодые интеллигенты не боятся политики, они полны такой яростной решимости быть «независимыми», что часто сами себя лишают ключей к собственному существованию, и в результате пребывают в постоянном смятении. Чувство независимости позволяет им сказать «да» и «нет» по отношению к одному и тому же, в одно и то же время. Таким образом, у них создается ощущение «свободного» выбора.

Возможность принять интеллектуальное решение без понуждения — бесценная возможность, но самое главное — это то, относительно чего решение принимается. Наши молодые либералы из средних классов обладают роскошью чисто интеллектуального выбора, но парни с моей улицы не имеют вообще никакого интеллектуального выбора. Их выбор весьма реален: пойдут ли они работать в 16 лет и прекратят свое образование или они пойдут в 16 лет работать и учиться в вечерней школе и попытаются за несколько часов каждый вечер превзойти своих одногодков из средних классов, пользующихся свободой полного образования под руководством специалистов.

Где-то здесь начинается разделение на классы. Понимание разницы социальных условий присутствует неизгладимо и постоянно. Старая классовая структура основывалась на том, что каждый «знал свое место». Теперешняя — что никто не «знает своего места», глаза у всех широко открыты. Ни один рабочий-подросток не настолько глуп, чтобы считать, что у него такие же возможности, как у подростков из средних классов, что бы ни говорили ему на этот счет его правители.

Фатальной дилеммой капитализма является задача оставить классовую структуру привилегий в сохранности и в то же время сдерживать идейное и социальное наступление социалистических стран. Социализм докапывается в людях до глубин, чтобы освободить огромный потенциал. Я уже двадцать лет знаю одну рабочую семью в Москве. Я познакомился с ними, когда все они жили в одной комнате во время войны в тяжелых военных условиях, но даже тогда у их детей было больше перспектив на будущее, чем у рабочей семьи в Англии. В последний раз я видел их летом 1965 года, и мать мальчика, ему чуть больше 20 лет, не придавала особого значения тому, что ее сын — студент-медик. То же самое в Англии было бы маленьким чудом.

Капитализм остается врагом человечества, как бы эффективен он ни был, как бы умно он ни приспосабливался к своим собственным противоречиям. Сюда включаются и всегда включались не только экономические соображения. В центре оказывается сам человек, и, в частности, именно будущему поколению придется ощутить, как все его существование и все его человеческие качества будут приведены к пропасти физической непристойности и нравственного отчаяния. Молодежь уже сейчас с подозрением и предчувствием опасности взирает на такую перспективу. Но винит ли она капитализм в том, что с ней происходит?

Капитализм и его мораль имеют много синонимов. В Англии таким словом, обозначающим правящие классы, является слово «устои», и как молодежь из средних классов, так и рабочая молодежь настроены против многих «устоев». Собственно говоря, быть «против устоев» в сегодняшней Англии довольно легко, потому что такова официальная позиция интеллигенции, по крайней мере молодежи. «Устоям» это не нравится, но они не рискуют слишком яростно защищаться. С одной стороны, они обвиняют молодежь в том, что она заходит в дикие крайности, и в то же самое время, взывая к ней и подкупая ее, обращают ее же в конформизм. В своей боязни молодежи и ее так называемого хулиганства «устои» проявляют смесь ненависти и паники.

■

Итак, на Западе нельзя сказать «молодежь» и иметь в виду что-то однородное. Я попытался показать, что сама молодежь разделена совершенно так же, как и общество. И если обычное деление общества нарушается или временно устраняется, как, например, по вопросам мира и войны, то молодежь еще раз отражает общий характер самого общества. Мировые проблемы сейчас гораздо более важны, чем когда-либо, поэтому немарксистская молодежь нередко подходит к подлинно верному интеллектуально активному мировоззрению. Иногда их «взгляд на мир» приводил к странным результатам. Когда Азия и Африка восстали против империализма, средние классы в Англии чудесным образом открыли, как бедны и несчастны колониальные народы. Когда британский империализм был в зените, совестливость среднего класса посылала миссионеров в дальние уголки империи, чтобы спасать души, но не тела коренных обитателей. Теперь, когда против империализма восстали и тела и души

ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ
РАССТАВАЯСЬ С ИЛЛЮЗИЯМИ

туземцев, наши спасители душ из средних классов моментально переключились на язык физического, а не метафизического благополучия. Вместо библий они посылают сейчас сухое молоко, пшеницу и медикаменты. Даже и здесь присутствуют подспудные черты политической значимости, ибо нельзя отделить помощь отсталым странам от мировой политики, в которую отсталые страны теперь вовлечены. Во время демонстраций против апартеида перед посольством Южной Африки вы найдете среди молодых демонстрантов все оттенки классов и мнений. И если они оказывают моральную помощь некоторым африканцам, они по логике событий начинают следить за тем, что происходит во всей Африке. Если в них говорит совесть по отношению к слаборазвитым странам, то им следует признать, что происходящее в Южной Африке и во Вьетнаме — чудовищно.

Только сами события могут заставить молодых интеллигентов принять уроки истории, противоречащие урокам их собственного воспитания. События, разумеется,— лучшие учителя, но, не умея понять события, молодежь может совершить большие ошибки, и иногда наши молодые интеллигенты действительно совершают их.

В нашем западном мире самой значительной проблемой молодежи является не различие между поколениями, но различие между интеллигенцией и рабочим классом. Дело здесь обстоит не так уж плохо, как раньше, ибо теперь грани между классами стираются больше, хотя и основная классовая структура остается без изменений. Будущее рабочей молодежи очень во многом зависит от ее союза с интеллигенцией — и наоборот.

Не все молодые рабочие, оканчивающие университет и становящиеся интеллигентами, присоединяются к высшим классам. Во всем рабочем движении много интеллигентов, которые не отошли от своего класса ни на йоту и еще более слились с ним, хотя у них и была наипрекраснейшая возможность проникнуть в буржуазию. Этих людей можно найти и в Коммунистической партии Англии, и в различных организациях лейбористской партии, и в профсоюзах. Тут, скорее, поглощение самим рабочим движением, чем союз с ним.

Более тесному контакту молодых интеллигентов с рабочим классом противостоит не одно препятствие, а несколько. Основная причина — это проклятие классовых различий, но и помимо этого условия жизни и развитие событий не породили еще у молодых интеллигентов понимания, которое прямым путем привело бы их на сторону рабочего класса. Молодые интеллигенты поддерживают широкие и популярные движения вроде кампании за ядерное разоружение, или кампании за мир во Вьетнаме, или кампании против апартеида, они выступают против «цветных барьеров» в Англии, но в целом они слишком далеки, например, от больших забастовок в автомобильной промышленности или на железных дорогах, чтобы чувствовать, что эти события имеют отношение и к ним.

Наши молодые интеллигенты не виноваты в этом полностью. Антиинтеллигентские настроения в самом рабочем движении подчас очень сильны. Вероятно, оправдание можно найти в воспоминаниях прошлого, но взаимное подозрение, разделяющее обе стороны, нередко оборачивается обоюдной тупостью, и даже не все прогрессивные деятели рабочего движения убереглись от подобной бесплодной позиции.

По иронии обстоятельств, между молодыми интеллигентами и молодыми рабочими оказывается куда больше общего на вульгарной почве, чем на политической. Они поют те же модные песенки, у них те же «идолы» — «битлз», или Боб Дилан, или Джоан Баез; они к тому же сходятся на чисто бунтарском отношении к «устоям» и начальству. Это делает многие «популярные» увлечения не такими уж плохими. Если подростки с рабочим будущим и подростки с интеллигентским будущим могут сходиться хотя бы на таком уровне, здесь есть определенная перспектива.

Поле общих интересов рабочего класса и буржуазии также гораздо шире, чем было раньше. Ленин ясно понимал роль «рабочей аристократии» в Англии, а эта категория сохранилась и по сей день. Многие наши молодые рабочие так высококвалифицированны и обученны, что они, скорее, считают себя буржуазией, чем рабочими. Но когда они приходят к такому выводу, они соприкасаются с мелкой буржуазией, а не с крупной, и на этой линии классового взаимопроникновения действительно много места для сотрудничества интеллигенции и рабочего класса. Сотрудничество можно наблюдать в профсоюзах, где, например, есть профсоюз чертежников («интеллигентная» профессия), ведущий себя с такой же политической энергией, как, скажем, профсоюз механиков. Общей почвой, местом, где классы чаще всего вступают в контакт, является профсоюзное движение, и именно здесь молодой рабочий любого уровня, высшего или низшего, должен научиться понимать, что такое класс и что значит политическая борьба в классовом смысле.

На заводах Англии молодые рабочие действительно напоминают Артура Ситона из романа Силлитоу, много работающего, много получающего (хотя и половину того, что ему следует), расточительно тратящегося на одежду и на веселое времяпрепровождение и полного решимости не позволить капитализму превратить его в червя. Артуры Ситоны с наших фабрик хотят наслаждаться жизнью, и они хотят и будут яростно сражаться

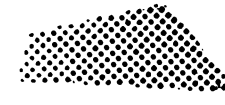
за право на это, а значит, и за большую зарплату, за лучшие условия, а также против боссов, начальства и мелких приспособленцев, грабящих его. Он чувствует, что грабят его втройне: во-первых, недоплачивая ему, во-вторых, беря с него втридорога и, в-третьих, вытягивая из него деньги по платежам в рассрочку. Его недовольство капитализмом в таких условиях имеет чисто личный характер главным образом потому, что капитализм еще не в таком критическом положении, чтобы угрожать настоящей нищетой.

Молодые рабочие составляют треть профсоюзных сил, и рост влияния молодежи значительно возрастает с ростом промышленности. Через десять лет средний возраст наших рабочих значительно снизится, и молодые рабочие будут составлять половину общего числа. Это будет время проверки нашей молодежи, и все указывает на то, что она готова к ней.

Итак, простых ответов не существует. Молодежь становится все более сложной, ибо живет во все более усложняющемся мире. Никогда еще молодежь не жила под тенью атомной бомбы. Но преимущества тоже очевидны, ибо никогда еще молодежь не имела поддержки упрочившихся социалистических стран, не имела перед собой таких ясных уроков истории, которые могут вести ее вперед. Установившееся таким образом соотношение благоприятствует появлению молодежи, освобожденной из старой тюрьмы потерянных иллюзий.

Особое преимущество британской рабочей молодежи — здоровые социальные отношения, уже существующие внутри класса, в то время как члены средних классов ужасающе отделены друг от друга и являются жертвами своего самолюбования. Жизнь средних классов постоянно пребывает в кризисе нравственных мучений, самая сильная их эмоция — это некое исполненное страсти отчаяние. В социальном плане они заняты сохранением того, что имеют, и хотя делают это с некоторым искусством, сам процесс негативен. Агрессивное вторжение рабочего класса в мир их привилегий уже начался, у рабочего класса — инициатива, перед ним реальная цель — достойное будущее.

г. Лондон



Дневники Воспоминания

МИРКО МАРКОВИЧ

Я ЗНАЛ ХЕМИНГУЭЯ

Я не собираюсь писать об Эрнесте Хемингуэе как о художнике, хотя очень часто наслаждался его книгами.

Я поделюсь лишь кое-чем из личных воспоминаний (частично записанных прежде, частично сохраненных памятью) о Хемингуэе в Испании, об Эрнесте — товарище, человеке.

Первая встреча с Хемингуэем

Это случилось весной 1937 года. Хемингуэй находился в Испании в качестве корреспондента каких-то американских газет, а батальон американских добровольцев в составе XV интернациональной бригады занимал позиции возле Харамы, обороняя Мадрид.

Весенний день близился к концу, когда мне принесли записку командира бригады Владимира Чопича о том, что в батальон приедет Эрнест Хемингуэй, что ему нужно помочь увидеть и услышать все, что он захочет, и, разумеется, необходимо (насколько это возможно на войне) его поберечь...

Из записки я не мог понять, когда он прибудет и как долго он намерен оставаться у нас.

В нормальной обстановке я, вероятно, был бы взволнован возможностью скорой встречи с писателем, которого знал по книгам, прочитанным до отъезда в Испанию: «Прощай, оружие!», «Снега Килиманджаро», «Иметь и не иметь». Но на Хараме я не испытывал такого волнения. Вместо этого меня беспокоила мысль, как бы с ним чего-нибудь не случилось, по крайней мере, тогда, когда он будет у меня. Об этом предупреждал и Чопич, да ведь я и сам (правильно или неправильно) понимал, что несу ответственность «за все живое и мертвое» в секторе батальона...

Несколько успокаивало то, что у нас на позициях наступило вечернее затишье, и я надеялся, что Хемингуэй не останется в батальоне на ночь — в ближнем селении Мората-де-Тахунья можно было удобно (по военным временам) переночевать...

Однако Хемингуэй появился возле нашей землянки прежде, чем я рассчитывал; он застал меня с запиской Чопича в руках. По нашему первому разговору вряд ли можно было предположить, что мы станем друзьями: все вышло как-то неловко.

После того как мы обменялись рукопожатиями, последовал его лаконичный вопрос:

— Русский?

И мой столь же лаконичный ответ:

— Черногорец!

На лице Хемингуэя появилась тень разочарования, которую он даже не пытался скрыть:

— А я, черт возьми, слышал в Мадриде, будто нашими ребятами командует какой-то русский!

Я возразил, стараясь говорить помягче, что вот и он, оказывается, попался на удочку реакционной пропаганды о том, что якобы испанской республиканской армией и интернациональными бригадами командуют русские.

— Я вовсе не хочу вас обидеть, мне в самом деле было приятно услышать это в Мадриде... Русские — хорошие солдаты, а я по опыту знаю, что значит иметь командиром хорошего солдата... Конечно, я интернационалист, но все-таки эти ама-

риканские парни, эти молодые дьяволы из Нью-Йорка, Пенсильвании, Иллинойса и других мест как-то мне ближе...

Теперь Хемингуэй уже улыбался:

— И Чопич наверняка откуда-нибудь... с Балкан?

— Да, хорват!

Вероятно, эта наша первая беседа завершилась бы благополучно, если б возле меня не было Мило Дамьяновича (черногорца, лейтенанта разведроты нашего батальона), горячего парня, далекого от какого бы то ни было «культа личности». Он почувствовал себя оскорбленным словами Хемингуэя, усмотрев в них не только пренебрежение к командиру американского батальона, но и вообще лобовую атаку на черногорское мужество и доблесть...

— А знаете ли вы, товарищ Хемингуэй, что черногорцы...— и Дамьянович разразился речью (он отлично говорил по-английски), в которой звучали и названия Царев Лаз, Вучьи Дол *, и слова «пятьсот лет», «турецкие орды» — все залпом и довольно сердито.

— Признаюсь, до сих пор я не встречался с черногорцами,— словно бы оправдывался Хемингуэй.

Кто-то из присутствующих ответил, что это и не удивительно, потому что их очень мало, а живут они далеко в черных горах. И вот так, под смех и шутки товарищей, страсти постепенно утихли. А Хемингуэй продолжал:

— После того, что вы мне сказали, я беру свои слова обратно. Вижу, вы в самом деле ершистый народ, значит, умеете драться. А уметь драться — это здесь, на Хараме, да и во всей Испании, важнее всего... Однако, если мне позволит этот длинный черногорец (Дамьянович был почти двухметрового роста), я хотел бы спросить у командира, чем он занимался прежде.

Я ответил, что работал «по просвещению».

— Все какие-то учителя! Эмиль (так звали командира первой роты) — учитель, Мериман (это был наш штабной офицер) — тоже учитель... А в ротах, наверно, полно ребят со школьной скамьи, а?

— Хватает, товарищ Хемингуэй. Вы, конечно, не предполагали, что защищать Мадрид приедут американские офицеры? — задиристо спросил Дамьянович.

— Странная армия!— Это адресовалось больше самому себе.— Да вы могли бы тут школу открыть...

Дамьянович, обрадовавшись случаю, начал пылко объяснять Хемингуэю, что, «с чисто марксистской точки зрения», Харама «сама по себе большая школа...»

— Вы наверняка до отъезда в Испанию работали в каком-нибудь агитпропе или как это у вас там называется?..

— Вот и тут вы ошиблись... Я мыл посуду в нью-йоркском ресторане!

Незаметно настала ночь. Внизу в долине едва виднелась извилистая Тахунья. Темнели серебристые листья маслин. Из кухни в штаб принесли лишний котелок. Для гостя. Начались суетливые поиски ложки, которым положил конец сам гость, вытащив из кармана свою.

— Видно, вы останетесь с нами, раз «вооружились» ложкой...— заметил кто-то.

— Останусь ненадолго, если вы не имеете ничего против,— Хемингуэй покосился на Дамьяновича.— А солдат без ложки — почти то же самое, что без винтовки... Если ничему другому, то уж этому я научился в минувшей войне!

— Солдат — да, но писатель — нет! — Дамьянович явно потерял чувство меры, так что разговор приобретал несколько неприятный оттенок. Однако Хемингуэй сам «выровнял» ситуацию, ответив ему в тон:

— В Испании, «с чисто марксистской точки зрения», писатель тоже солдат, не так ли?

Волнение в батальоне

Еще в сумерках по ротам разнесся слух о приезде Хемингуэя. Вскоре в штаб стали заходить «по делу» командиры и даже бойцы. Они делали вид, будто страшно удивлены присутствием Хемингуэя среди нас. А он каждого встречал дружески просто.

— Ну как, лейтенант? — спросил он Гарланди, командира негритянской роты, бывшего книготорговца в Гарлеме. Тот широко улыбнулся:

— Немного поскучнее, чем бой быков... Или, может, это нам только кажется...

— Согласен с тобой, Гарли... Там спорт, а здесь — чистка выгребных ям... Я надеюсь, ваши комиссары, да и ты, Гарли, не обидитесь на меня за такое сравнение. Герои, борцы, освободители! Все это громкие слова. А на самом деле вычищают навоз, чтобы человеку, этому проклятому двуногому, жилось посвободнее!

— Боюсь, товарищ Хемингуэй, что скоро весь батальон побросает окопы, чтоб посмотреть на вас,— заметил я.

— Ну, чтоб этого не произошло,— ответил он,— лучше мне пойти к ним... Разумеется, с вашего разрешения. Правда, в глазах этого длинного черногорца (теперь он

* Места, где черногорцы громили турок: Царев Лаз — 1712 г., Вучьи Дол — 1876 г.

не оставлял в покое Дамьяновича) я капиталист, буржуй. Это «с чисто марксистской точки зрения». Но все равно пойдем, а?

Я оказался не в очень-то приятном положении. В записке Чопича не сходились концы с концами, иначе и быть не могло («пусть увидит и услышит все, что захочет», с одной стороны, и «береги его», с другой). Если б это не был Хемингуэй, который и на Хараме хотел увидеть и услышать все и у которого для этого было не только желание, но и подходящие нервы, дело кончилось бы в укрытии, у подножия холма, там, где пули в самом худшем случае пролетали над головой. Но наверху, в расположении рот, пуля могла и «заблудиться». И не требовалось большого ума, чтобы понять, какую беду могла принести одна такая «заблудившаяся» пуля!

Как бы там ни было, по ротам сообщили, что Хемингуэй придет — конечно, при условии, что из-за его прихода не будет никаких нарушений обычного распорядка.

Мы по очереди прошли по всем ротам. Я предполагал, что Хемингуэй, как сказали бы статистики,— человек, чья храбрость выше среднего уровня. И все же его хладнокровие и даже легкомыслие во время нашей прогулки по траншеям удивили меня. В его поведении было что-то вызывающе-озорное, дерзкое, а с точки зрения моей ответственности за его жизнь, пока он находился в нашем секторе, немного и лишнее. Я стал нервничать.

Возле одного из брустверов мы чуть не поругались... То, что он выглядывал через бруствер, ладно, пускай, но когда он чуть совсем не вылез, да еще принялся что-то громко объяснять, я силком потащил его вниз. Я должен был это сделать.

Случись это в другом месте, мне наверняка досталось бы «кроше» или еще что-нибудь из его боксерского ассортимента. Однако здесь дело кончилось иначе:

— Какого черта ты меня тащишь! Уж не воображаешь ли ты себя моим опекуном!

— Ты здесь только доброволец, а я отвечаю за свой сектор! — ответил я не менее злобно.

Долю секунды мы, тяжело дыша, смотрели друг другу прямо в глаза.

Не знаю точно почему, в этой нашей первой (но не последней) схватке промелькнула искра душевного контакта... Словно только сейчас мы впервые встретились.

В одной из групп бойцы встретили Хемингуэя громким «Ура!» Франкисты, наверно, подумали, что мы вышли из окопов. Сильнее застучали пулеметы, громыхнуло несколько мин, взлетели ракеты, «порядок и покой» были нарушены.

Нам пришлось подождать, пока тревога уляжется, чтобы возвратиться в штаб батальона.

Разговор под звездами

Стояла ясная, свежая, безлунная ночь. Я предложил Хемингуэю проводить его до селения Мората-де-Тахунья, где он сможет удобно переночевать, чтобы завтра, если захочет, снова к нам прийти.

— И не подумаю! Наверно, я могу одну ночь переспать на Хараме, а?

— По мне,— ответил я,— ты можешь хоть навсегда остаться в батальоне. В конце концов эти парни такие же американцы, как ты.

— Чего доброго, назначат меня командиром батальона, и мы оба окажемся в убытке: ты потеряешь «позиции», я — свободу... Мне бы тогда пришлось командовать нашими дьяволами, это еще полбеды, но выслушивать приказы сверху — вот тут-то и настал бы Kurzschluß *.

— А может, тебя бы назначили советником генерала Миахи!

— Вот тогда и началась бы заваруха, хотя мне этот старикан по душе — как солдат!

Мы улеглись под открытым небом на каких-то одеялах. Нашлась и бутылка коньяку.

Долго говорили о Черногории, Балканах, Италии, вернее, об участии Хемингуэя в боях на итальянском фронте против Австрии в первой мировой войне.

Много раньше, когда мне и в голову не приходило, что придется вот так лежать с ним на одеяле под мадридским небом, я читал его «Прощай, оружие!», и это теперь помогло мне найти с ним общий язык, даже когда речь шла о Пьяве и Капоретто **. А его по профессиональной привычке интересовали история и обычаи Черногории... Мы не замечали, как уходила ночь, бутылка передавалась из рук в руки.

— Знаешь, мне скучно выговаривать твое имя... Ты не рассердишься, если я буду звать тебя просто Майк?

— Ничуть! Зови хоть горшком, только не разбей,— есть у нас такая пословица.

Это ему понравилось: «...но до завтра я ее забуду, а сейчас в темноте не могу записать». После того как я обещал повторить пословицу завтра, «если нас не прихлопнет немецкий снаряд», мы заговорили о гражданской войне в Испании.

---

* Скорый конец *(нем.)*.

** Места, где во время первой мировой войны австрийцы разгромили итальянцев, выступавших на стороне Антанты.

Он возмутился, что я «не поспеваю» за ним с коньяком, а меня уже тошнило и от того, что я выпил. Я сказал ему об этом.

— Значит, слабо пьешь!

Я ответил, что вообще не люблю это дерьмо, а пью с ним для компании.

— Я могу и один. Здесь компания не нужна... С моей точки зрения, это дерьмо — одна из лучших вещей, придуманных человеком... Но ты прав! Как, впрочем, и я. И черт с тобой!

И чем быстрее уменьшалась горькая жидкость в бутылке, тем оживленнее, бессвязнее и свободнее становился наш разговор. Как он смотрит на все то, что происходит в Испании? Что заставило его участвовать в событиях? Вот некоторые из его ответов (по кратким заметкам моего испанского дневника и по памяти).

— Разве где-нибудь в другом месте ты видел такое небо? (Я возразил, что его можно увидеть и в Италии и на Адриатике...) Врешь, такого нет! И ты не мог там его видеть! Только здесь!.. Или ты слепой и ничего не видишь... (Вижу те же звезды, которые видишь и ты, а может, и получше тебя.) Не верю. Может быть, ты их иначе видишь! Черт его знает, может, тут что-то другое! Я люблю смотреть на корриду! Это, Майк, великое и суровое искусство! (Это не искусство, это жестокое развлечение сытых людей, так повелось еще со времен гладиаторов.) Он рассердился: Майк! Сейчас ты сказал страшную глупость!.. Ты когда-нибудь видел корриду? (Один раз. И не думаю, что захочу еще раз посмотреть на это издевательство над животными и над людьми...) К черту! У вас, коммунистов, все иначе... (Кто тебе сказал, что я коммунист?) Никому и не надо мне говорить! Кто еще потащится сейчас в Испанию? (Да вот ты-то приехал, а ты не коммунист. Эмиль здесь, он тоже не коммунист. И кто знает, сколько среди твоих, как ты их зовешь, «дьяволов», таких, как Эмиль и ты.) Это исключения. Не знаю почему, но я часто попадаю в среду, где я исключение. Глупо, правда? В самом деле, какой черт погнал меня в прошлую войну в Италию, чтобы швабы перебили мне ноги, и какой черт загнал меня сейчас в Испанию, чтоб в меня стреляли... кто, ты сказал, сейчас в твоем секторе? (Немного марокканцев, немного фалангистов и немецкая артиллерия.) Вот видишь, снова швабы!.. Слушай, Майк, я очень люблю эту проклятую прекрасную страну и все ее plaza de toros *. Я знаю испанских рыбаков, крестьян, тореадоров... как свой карман. (Когда ты сюда приехал?) После путча этих ослов-генералов. Когда я узнал, что испанцы не сдались этим ублюдкам, две вещи стали для меня очевидными: что это только увертюра к новой мировой войне и что я должен приехать в Мадрид... В здешнюю гостиницу все время попадают какие-то снаряды. Несколько раз меня накрывала штукатурка и засыпала известковая пыль. Но все равно здесь мне спится в тысячу раз лучше и спокойнее, чем если б я остался в Нью-Йорке или во Флориде. Слушай, Майк!.. Не заснул ли ты? (Нет!..) Люди навыдумывали много глупостей и дерьма. Но фашизм — одна из самых отвратительных вещей, до которых додумалась эта двуногая тварь... И вот такая гадость хочет, видишь ли, навязаться этому бедному народу, этому небу, в которое ты сейчас таращишь глаза и ничего не видишь. (Вижу ровно столько же, сколько и ты!) Черта ты видишь!... Разве от всего этого не переворачивается нутро!.. Слушай-ка, а этот коньяк не так уж плох! (Я сказал ему что-то в том смысле, что до сих пор не представлял себе, как глубоко он осмыслил необходимость борьбы с фашизмом...) Как тебе сказать? Я вижу, ты толковый парень, ты меня поймешь. Когда с одной стороны смотришь на жизнь, то она, в самом деле, зас...ная штука; а с другой — вовсе и нет, хотя бы потому, что есть в ней забавные вещи... И так и этак! Но то, что делают с этими кампесиносами, обреросами и пескадоресами **, не может не вызывать возмущение!.. Я не знаю, понимаешь ли ты меня, Майк? (Я ответил, что отлично его понимаю и не сплю,— мне подумалось, будто он переспрашивает больше ради проверки: не заснул ли я.)

Мне казалось, я только что задремал, когда дежурный растолкал меня. Обычно на самой заре враг начинал атаковать наши позиции.

Хемингуэй за пулеметом

Видеть, что Хемингуэй спит, было приятно. Пустая бутылка валялась рядом.

Едва я успел дойти до окопов, как вспыхнул первый луч зари, и одновременно с ним открыла огонь вражеская артиллерия. Франкисты готовились к атаке.

Я позабыл о Хемингуэе, пока один из связных не сообщил, что и он «здесь, где-то справа» — на позициях четвертой роты.

Там были установлены три станковых пулемета, равномерное стрекотание которых не прекращалось все время, пока мы отбивали атаку.

Я поспешил в расположение четвертой роты...

И тут было на что посмотреть: крупная фигура Хемингуэя, согласно всем уставным требованиям, лежала возле одного из наших «максимов», его волосатые руки крепко держали ручки, а большие пальцы строго ритмично через долю секунды нажи-

* Арена боя быков *(исп.)*.

** Крестьянами, рабочими и рыбаками *(исп.)*.

мали на гашетку. Он, как опытный пулеметчик, вел стрельбу короткими очередями — берег боеприпасы, в которых мы ощущали недостаток.

Вмешиваться было бессмысленно. Я понимал, что любая моя попытка загнать его в укрытие оказалась бы тщетной.

Мне не оставалось ничего иного, как дождаться, пока все утихнет.

Когда мы отбили атаку, Хемингуэй оставил пулемет и направился в укрытие. Он был в отличном настроении. И как будто только что меня заметил.

— Доброе утро, Майк... Пулемет у тебя плохо поставлен. Слева мертвое пространство...

— Что касается меня,— ответил я,— я голосую за то, чтобы тебя назначили вместо Миахи!

— Это скучная должность!

— Тогда директором plaza de toros в Мадриде...

— Это, пожалуй, поинтереснее!

Вши и шелковое белье

Эрнест возвращался из батальона в Мадрид, и я обещал навестить его при первом же удобном случае. Особенно меня воодушевило сообщение о том, что у него есть ванна... Из Мадрида Хемингуэй время от времени присылал в батальон ящик-другой сигарет. Сам он не курил.

Перед Брунетским наступлением я попал на день в Мадрид и решил, пользуясь случаем, вымыться у Хемингуэя.

Мы встретились, как старые знакомые. Я застал его за пишущей машинкой в рубашке и шортах — день был жаркий.

— Все еще на Хараме? — И, не ожидая моего ответа, продолжал: — Ведь это, Майк, мертвый сектор. Вот уже год ни с места! Не понимаю, почему наши стратеги,— в его словах звучала ирония,— никак не придумают, что делать с этим сектором. Черт их там разберет...

Узнав, что времени у меня в обрез, он повел меня в ванную.

— Вши есть?

— Найдутся.

— Тогда бросай сюда все свое белье, его потом сожгут... Я тебе дам пижаму, шелковую. Знаешь, я этому научился в прошлой войне... Думают, будто вошь подыхает от шелка! Черта с два! Она просто не может удержаться на шелковой ткани. Вот и вся премудрость... А в мадридских лавках откуда-то полно шелкового белья!— И, подумав, добавил: — Понимаешь, можно было бы сделать кое-что для ребят. Нет для солдата ничего хуже вши, черт бы ее побрал...

Прошло много времени. Испания осталась в воспоминаниях, как и встреча с Хемингуэем. Я не мог даже предполагать, что мы вновь встретимся.

Первый ужин с Эрнестом в Гаване

Ухабистые дороги оставшегося в живых интербригадовца привели меня в 1939 году из нью-йоркской тюрьмы в Гавану. Вскоре по приезде в Гавану я встретил Майкла Голда. Он был одним из тех, кого Хемингуэй называл «потерянным поколением».

— Ты знаешь, что здесь Хемингуэй? — спросил Голд. Он рассказал, что получил отпуск в редакции «Дейли уоркер» на пятнадцать дней и решил провести его на Кубе.

— Понятия не имею!

— Вернувшись из Испании, он поселился тут,— сказал Голд.— Кажется, постоянно... Живет где-то недалеко от Гаваны... в собственном доме. Я у него не был, но говорят, он забрался в берлогу, как медведь в Скалистых горах, и пишет... Мы условились поужинать с ним в городе, если ты свободен, пойдем вместе.

Я объяснил Голду, почему меня так обрадовала эта новость, рассказал о нашей встрече и дружбе в Испании.

— Я думаю, что и Эрнесту будет приятно.

— Наверно, он поможет тебе выбраться отсюда и вернуться в Нью-Йорк! — рассуждал Голд, передав мне распоряжение из Нью-Йорка поскорее вернуться к работе.

В тот же вечер мы встретились с Хемингуэем в гаванском ресторане — впервые после Испании.

Сначала — минута изумления.

— О, сто чертей! Откуда ты здесь взялся?!.. Смотри-ка, два Майка сразу!

Потом объятия, похлопывания по плечу...

— Слушай, Эрнест, я-то могу с тобой наконец поздороваться? — возмущался Майкл Голд.

— Прости, Майк, мы были вместе на Хараме... Как ты, как там наш старый Нью-Йорк?

Мы уселись, и Хемингуэй сказал, что он слышал о моей «одиссее» и пребывании на острове Эллис, но ему и в голову не приходило, что я окажусь здесь и что мы снова встретимся под испанским небом!

Я сказал Голду, что Хемингуэй помешан на каком-то «испанском небе» и что однажды на Хараме он мне всю ночь надоедал с этим небом.

— Не слушай его, Майк! Этот черногорец вообще не имеет понятия о красоте. Он не понимает...

— Например, корриды! — добавил я ему в тон.

— Конечно! Знаешь, что он мне сказал: что это пережиток гладиаторских времен...

— Я с ним полностью согласен!

— Ну еще бы! Все вы, «красные», согласны друг с другом, хотя бы это была и глупость... Я только не знаю, какого черта я путаюсь с вами, раз все вы такие одержимые! — ворчал Хемингуэй, а мы дружно смеялись.

Во время ужина воспоминания хлынули рекой, взаимным расспросам не было конца (что с тем-то и тем-то, как было там-то и там-то), всего этого оказалось слишком много для одного вечера — и общих знакомых и событий. Мы как-то даже позабыли о Голде, пока он не запротестовал.

— Погодите, люди! Я не в состоянии уследить за вашей трескотней — все эти имена, которых даже в библии не найдешь, какие-то страшные географические названия, словно вы говорите не по-английски. Включите красный свет! Стоп!

Даже жарища в этом ресторанчике Гаваны не могла испортить наше отличное настроение.

Позже Хемингуэй рассказал, что сейчас он работает над новым романом об испанской гражданской войне («По ком звонит колокол»).

— И пока не закончу, ни шагу отсюда!.. Одно только могу тебе сказать, Майк, (это Голду): мы с тобой выбрали самое трудное ремесло... Писать — дьявольски тяжелое дело. Если по-настоящему писать!

Охота на меч-рыбу

В то время Хемингуэй писал преимущественно ночью. Он сказал мне, что так для него удобнее по нескольким причинам: днем в Гаване тропическая жара, ночи гораздо свежее; никто и ничто не отвлекает. К тому же «днем лучше ловить меч-рыбу».

Я признался, что даже не слыхал о существовании такой рыбы.

— Ну, конечно, она не попадалась тебе в пропагандистской литературе!

— Уж не думаешь ли ты, что я читаю только пропагандистскую литературу!

— Все пропаганда!

И вот тут-то началась схватка по поводу романа Островского «Как закалялась сталь». Ему не нравилась манера описания событий.

— Сразу видишь, что писал не Достоевский, не Толстой, не Горький! Это писатели, Майк!.. Не знаю, понимаешь ли ты меня!

— Понимаю и не спорю! Но Островский — тоже большой писатель, ты-то понимаешь это?

— Тут и понимать нечего!

В конце концов, мы сошлись на том, что перевод «Стали» на английский язык никуда не годится.

— Давай-ка чокнемся за меч-рыбу, которую мы завтра поймаем! — Он пил «виски с содовой» — многовато виски и маловато воды; я — какую-то смесь рома с соком зеленых лимонов и ломтиками льда.— «Меч», Майк, это симфония! Нет! Вру! Это верх элегантности и грациозности. Но это молния, страшная сила... разбойник!.. Мне рассказывали здесь в Гаване, что однажды меченосец одним ударом убил рыбака. Он пропорол ему живот, конец меча вышел у бедняги на спине. Умер, прежде чем его успели снять!..

Когда Гавана стала просыпаться в утренней прохладе, Хемингуэй заехал за мной на машине, и мы направились в Кохимар. Там стояла на якоре его яхта «Пилар». Ее белый корпус вырисовывался на голубой поверхности воды. Два дизеля приводили ее в движение.

— Разве она не прекрасна? — указывал он рукой на яхту, пока мы приближались.— Правда, в ее линиях есть что-то от стройной девушки, а? Так и хочется похлопать ее ниже спины...

Когда мы поднялись на палубу, Хемингуэй взял в рубке капитанскую фуражку с разными нашивками и золотыми шнурочками и водрузил ее на голову.

— Ну теперь ты вылитый генерал Миаха!

— Не могу выйти с рейда без этого украшения... Пришлось ведь сдавать экзамен на шкипера...

Он официально считался командиром корабля.

Отдав распоряжения команде (четыре матроса), капитан встал за штурвал, моторы застучали, и мы медленно вышли из Кохимара в открытый океан...

Как только мы оказались в море, Хемингуэй привычным движением швырнул в рубку капитанскую фуражку и натянул вместо нее полотняную кепку с зеленым каучуковым козырьком — от солнца.

Пока «Пилар» молнией мчалась вперед, матросы закинули четыре большие, заранее подготовленные удочки с мелкой рыбешкой-приманкой за корму.

Хемингуэй объяснил мне, для чего нужны предметы, находившиеся на палубе. Кстати, здесь же было и четыре полуавтоматических карабина...

— Видишь это, Майк,— подбросил он карабин.

— Вижу, и мне жаль, что у меня такого не было на Хараме!

— Погоди!... Я не о том... Почти всегда на пойманную меч-рыбу нападают акулы. Этим мы ее защищаем. Надо только уметь... Бесполезно стрелять в тело акулы. Целься в белый круг вокруг головы. Ты меня понял?

— Como no, hombre *,— ответил я его излюбленной испанской фразой.

Случалось, мы носились часа по два, а меч-рыба и не думала попадаться. Однако это бывало редко. Чаще всего она вертелась рядом, но не шла на приманку. Словно играла с нами: несется за яхтой, вот-вот коснется кормы, потом шмыгнет вдоль борта, опишет большой круг и вновь оказывается далеко позади.

— Эта должна взять! — Хемингуэй становился за штурвал и начинал заигрывать с рыбой, маневрируя яхтой, следуя лишь одному ему известной тактике ловли меч-рыбы.—Самое меньшее пятьсот фунтов потянет, Майк! Я тебе говорю, крупная тварь!— И весь нацеливался на добычу, а перед моими глазами вставала картина боя на Хараме, когда он лежал за пулеметом.

Помню, как мы поймали первую меч-рыбу. Этому предшествовала долгая игра. «Пилар», ведомая могучими руками Хемингуэя, каждую секунду меняла курс. Рыба носилась вокруг нас, делая большие круги, а Хемингуэй ловко поворачивал к ней яхту тем бортом, где были прикреплены удочки... И вдруг, словно разозлившись, рыба рванулась и заглотнула одну из двух приманок. Когда удилище со свистом врезалось в воду, Хемингуэй одним прыжком оказался возле стояка, на котором было укреплено основание удилища... Стоило видеть в этот миг его широкое небритое лицо с крепко стиснутыми челюстями, с выражением сосредоточенности и чуть заметного восхищения.

Край удилища он воткнул в специальную дырку на кожаном ремне (такими ремнями мы всегда подпоясывались во время лова) и начал подводить рыбу. Сперва он тянул сильно, но равномерно, а когда пойманная рыба, отчаянно сопротивляясь, приближалась к судну, он ловко и проворно наматывал леску на диск. Рыба билась, выбрасывая над водой свое гибкое тело, стремительно уходя в глубину — насколько допускала леска. Когда она оказалась метрах в двадцати от нас, он передал мне удилище. Теперь наматывать должен был я. Никогда я не мог даже представить, сколько для этого нужно силы, а еще больше ловкости. Я с трудом удерживался на ногах во время рывков.

— Тяни и наматывай! Тяни и наматывай! И смотри, чтоб удилище прочно держалось в ремне, иначе леска рассечет тебе ладонь!

Я тянул, обливаясь потом, ладони у меня горели, как в огне. Ребята из экипажа стояли наготове с длинными баграми, выжидая, когда рыба приблизится к самому борту. Двое из них разом вонзили багры в ее тело...

— Смотри, чтоб тебя не зацепило! — кричал Хемингуэй.— Смотри, тебе говорят!

Это относилось ко мне, я единственный был здесь новичком.

Рыбу втаскивали на борт все. А когда она оказалась на полубе, началось настоящее побоище, все рушилось под ударами ее хвоста и «меча», все летело в разные стороны...

Труднее, но веселее бывало, когда на пойманную меч-рыбу, пока ее вытягивали на борт, нападали акулы. Тогда один из матросов хватал удочку, а Хемингуэй и я — карабины... Иногда нам удавалось отбить пленницу, но нередко случалось вытаскивать лишь ее голову.

Сколько было брани, пальбы, смеха!..

В одном Хемингуэй всегда оставался верен себе: на охоте ли, в спорте или при любом другом занятии он никогда не издевался над товарищами. Он не был мелочным, не устраивал «каторги» для других ради собственной забавы или каприза. Он наслаждался, когда его друг испытывал удовольствие от того же, что и он. А если замечал, что это не так, сразу прекращал забаву. Оттого в его обществе всегда было хорошо.

Разумеется, это не значит, что на тот или иной промах он не реагировал крепким словцом. Но ответ в том же духе принимал как должное.

Я знал, что Хемингуэй ловит меч-рыбу из спортивного интереса, ради развлечения, из любви к острым переживаниям. Но не имел понятия о том, что он делает с такой кучей мяса, причем превосходного (гораздо более вкусного, чем мясо тунца).

Сначала я думал, что он оставляет его экипажу яхты. Поэтому мне и не хотелось никого расспрашивать, когда после первой охоты перед самым заходом солнца мы возвращались в Гавану.

---

* Разумеется *(исп.)*.

Еще в море матросы принялись чистить рыбу и рубить ее на куски. Постепенно появилась солидная куча отличного мяса, которую сверху покрыли брезентом.

Едва мы вошли в порт, мне сразу стало ясно, кому предназначалась эта добыча...

На берегу собралась толпа женщин, ребятишек, попадались старые рыбаки. Как только мы показались, все принялись махать нам руками и шапками.

— Готовят тебе торжественную встречу, Эрнест! — сказал я.

— Они поджидают рыбу, а не меня! Голодное брюхо никого и ничего не славит, кроме куска хлеба, Майк!

Когда яхта пристала, один из матросов стал бросать куски мяса на берег, следя, чтоб никто не взял сразу два и чтобы хватило всем.

— Уж не основал ли ты здесь коммуну, по примеру Оуэна, Эрнест?

— Погоди, а кто такой был этот Оуэн?! — Он стал тереть лоб, пытаясь припомнить.

Хемингуэй без пиджака

После плавания путь наш лежал обычно к одному из гаванских отелей, который считался официальной резиденцией Хемингуэя и где он получал почту. Здесь же был и большой бар...

В Гаване тогда действовал глупейший закон, который, нам говорили, протолкнули торговцы готовым платьем. Согласно этому закону никто не имел права появиться в каком-либо публичном месте без пиджака! Подобное распоряжение в почти тропическом городе было подлинным наказанием. А Хемингуэй обычно расхаживал в не очень уж отглаженной рубашке с короткими рукавами, в не менее измятых брюках (коротких или длинных), в сандалиях на босу ногу. Должно быть, он так себя удобнее чувствовал.

И вот однажды по дороге в отель нас остановил страж Батисты: на Хемингуэе не было пиджака! Начались пререкания. Собрались зеваки. Кто-то из нас попросил Хемингуэя: «Эрни, не трогай дурака... ведь не он же виноват в этой глупости».

Мы успокаивали его, зная, чем обыкновенно он заканчивает подобные споры — нокаутом. На сей раз Хемингуэй удовлетворился тем, что отодвинул полицейского с дороги и обозвал его hijo de puta *.

На другой день Хемингуэй получил письменное извинение «от высокой персоны» за необдуманный поступок полицейского.

Сорок первый день рождения Хемингуэя

Прощаясь со мной однажды после рыбалки, Хемингуэй спросил, свободен ли я завтра вечером, он хотел бы, чтоб я пришел к нему ужинать. Был день его рождения.

Мы договорились, что он пришлет за мной свою машину, ибо он жил довольно далеко от Гаваны.

Это был холм, покрытый лесом, в основном сосновым, с просторным бунгало на вершине. В пятидесяти метрах от дома чуть пониже виднелся большой бассейн.

Я приехал еще засветло. Из грузовика выгружали лед в бассейн — без него вода была бы теплой и в ней было бы неприятно купаться.

Мои опасения, что будет много гостей, не оправдались. Вместе с юбиляром нас собралось человек пять-шесть.

Не знаю почему, но в тот вечер Хемингуэй был не в настроении, хотя и праздновал свой день рождения (а может быть, именно поэтому).

Он позвал меня в свой кабинет. На столе возле пишущей машинки были разбросаны страницы романа «По ком звонит колокол». Он попросил меня перевести письмо, которое получил от издателя из Москвы.

— Забавно, верно, Майк... Это страна, где, мне кажется, у меня больше всего читателей... Насколько мне известно, там перевели все, что я до сих пор написал...

— Одно из двух: или это то самое, что ты называешь «русской пропагандой», или ты сам пишешь «пропагандистски»,— пошутил я, намекая на наши частые споры о «пропаганде».

— Ну и злопамятный же ты, Майк!

Я перевел ему письмо, в котором издатель сообщал о большой сумме денег, положенной в рублях на его имя в Госбанке. Это были гонорары за разные его произведения, переведенные и изданные в Москве, но тратить их он мог только в Советском Союзе...

— А что, Майк, не отправиться ли нам туда? Поживем, как Остап Бендер (он очень любил сатиру Ильфа и Петрова)... Скажем, на Кавказе, а?.. Согласен?

— Во-первых, у меня срочная работа, а во-вторых, я не могу добраться даже до Нью-Йорка, не говоря уж о Кавказе...

* Сын шлюхи (*исп.*).

— В самом деле! Что с американской визой?

— Ничего! Я тебе уже говорил, что мне последний раз отказали в посольстве (и я рассказал ему, что собираюсь пробираться в Нью-Йорк через Мексику).

— Ни в коем случае! Предоставь это дело мне!.. Правда, я чуть подзабыл всю эту историю, а кроме того, я не люблю с ними иметь дело, но...

Во время ужина повариха внесла торт с сорока одной зажженной свечой. По обычаю, виновнику торжества полагалось все их погасить, причем одним дыханием. Однако юбиляр уже был «под градусом». (Я часто замечал, что Эрнест в определенных ситуациях хотел выглядеть более пьяным, чем бывал на самом деле. Нечто подобное имело место и на сей раз, в чем я убедился позже в связи с одним эпизодом.)

— Гаси их ты! — сказал он пожилой негритянке, когда она поставила перед ним торт. Мы хором загалдели, дескать, пускай сам гасит... (И тем не менее, насколько я помню, мы гасили их все вместе...)

— Ах вот как! Суеверный человек подумает, что это дурное предзнаменование, а?

— Не знаю! — отвечал я.— Но торт великолепный!

Мы простились на рассвете. И, провожая меня к выходу, где уже ожидала машина, он сунул мне в руку пачку долларов. Я взглянул на него с изумлением.

— Для вас, там, в Монсерате! (Монсерате — так называлась захудалая гостиница, где жили мы, изгнанные испанские доброзольцы. Всех нас, служивших прежде в одном батальоне, выпустили из нью-йоркской тюрьмы. Питание и квартиру оплачивало Общество помощи Испанской республике в Нью-Йорке, на карманные расходы мы получали из общей «кассы», за пополнение которой следовало благодарить американских моряков. Когда в порт Гаваны заходил какой-нибудь американский корабль, кто-нибудь из экипажа вносил взнос профорганизации парохода в нашу «кассу», Хемингуэй об этом знал.)

Тут я убедился, что хозяин был совершенно трезв.

— Спасибо тебе, Эрни! Ребята будут рады.

— Пустяки... Но я думаю, что нам не придется завтра порыбачить. Собственно, завтра — уже сегодня... Я тебе дам знать...

Я вручил нашему кассиру взнос Эрнеста — пятьдесят долларов. В тот день мы решили добавить к нашему обеду пиво.

«По ком звонит колокол»

Как я уже упоминал, Хемингуэй писал тогда одну из лучших своих книг «По ком звонит колокол». На яхте «Пилар» во время рыбалки мы читали из нее отдельные страницы. Работая над своим романом, он вторично переживал трагедию Испании...

Он не боялся замечаний (которые, разумеется, не относились к литературной стороне дела), он ждал их, вызывал их сам, хотя упорно защищал свою позицию, свой замысел. Мы поссорились по поводу наступления у Брунете (лето 1937 года)... В «Колоколе» как раз говорилось об этой операции республиканской армии. Автор, по крайней мере в рукописных вариантах, был слишком строг к некоторым лицам из командного состава. Он «крошил» их своим сжатым лаконичным хемингуэевским сарказмом. Я знал, как, впрочем, знал и он, о ком идет речь, поэтому мы могли говорить без обиняков. Это облегчало дискуссию.

— Слушай, Майк, я (тому-то и тому-то) не позволил бы кур сторожить, не говоря уж о том, чтоб передвигать целые дивизии!.. Разве имело смысл заканчивать все дело на холмах Москито, возле Лас-Росас, Брунете и Кихорны?!

— Что делать, если на большее не хватило сил?

— Тогда не стоило и начинать! Тогда вместо брунетского наступления надо было предпринять меньшую по размаху, но более эффективную операцию (и начиналась хемингуэевская стратегия — от Пиренеев до Андалузии)... А этот (следовало имя)... он куровод, а не военачальник!

Иногда я пользовался аргументом «политического вреда», который могло вызвать то или иное место рукописи.

— Опять политика! Опять пропаганда! Фигу! Это меня абсолютно не касается! Кто куровод, тот куровод, и точка! Если ты связан этой вашей дисциплиной, то я — нет.

— Ну, хорошо, к чему, например, этот диалог крестьян, где говорится, что Пасионария отправила своего сына в Советский Союз, в то время как чужих сыновей звала в бой? * Ты и сам знаешь, в начале войны в СССР были эвакуированы сотни и сотни испанских детей, чтоб их не уничтожила немецкая и итальянская авиация, а сын Пасионарии такой же ребенок, как и все другие дети! На кого рассчитаны эти «объективные» подробности? Не на того ли американского мещанина, который завтра будет читать твой роман?..

---

* Рубен Ибаррури, сын Пасионарии, добровольцем вступил в Советскую Армию в годы Отечественной войны и погиб в бою под Сталинградом. Герою Советского Союза Рубену Ибаррури поставлен там памятник.

Я не успел кончить, как он вскочил и схватил меня за рукй — да так сильно, что приподнял меня:

— Майк! Неужели ты думаешь, что я такой подлец?

— Ты наш товарищ.

— Ну?

— Ну!

Мы, тяжело дыша, смотрели друг на друга, как тогда на Хараме. Его пальцы-клещи разжались:

— Извини, Майк! Но ты дьявольски умеешь обижать!

— Нисколько!

(Впрочем, спор об отдельных местах «Колокола» на этом не закончился. После того как книга вышла, он продолжался, вернее, был перенесен в объединение испанских добровольцев в Нью-Йорке, где меня обвинили в том, что я несу часть «политической ответственности» за некоторые страницы «Колокола», хотя это абсолютно не соответствовало истине.)

Я уже находился в США, когда роман вышел. К сожалению, где-то там и остался мой экземпляр книги с надписью Хемингуэя...

В фонд компартии Кубы

Под давлением антифашистских сил диктатор Кубы Фульхенсио Батиста приблизительно в 1938 году вдруг сделал странный поворот влево. Он разрешил легализовать рабочее движение. Объединенные профсоюзы и коммунистическая партия начали борьбу за свои права. Были объявлены выборы в конституанту (учредительное собрание). До тех пор Куба, будучи по существу колонией американских монополий, не имела даже своей конституции. Следует напомнить, что Батиста после выборов вновь вернулся на старые позиции, вновь установил террор по отношению к кубинским трудящимся и рабочему движению.

На выборы 1939 года вышла и компартия Кубы... И если буржуазные партии располагали богатыми фондами на пропаганду, то коммунистам, чтобы как-то противостоять противникам, приходилось собирать среди трудового люда сентавосы и песо.

Однажды, когда я оказался в ЦК, мне поручили попросить Хемингуэя сделать взнос в избирательный фонд партии... В конце концов мы согласились на том, что писателя посетит д-р Диас Сото, казначей ЦК (д-р Диас также был испанским добровольцем. Он работал врачом в Мадриде и в других местах, а вообще же родился в Гаване и состоял членом ЦК КП Кубы... Из разговоров с Хемингуэем я знал, что он его высоко ценит). Я точно объяснил Диасу, где находится вилла Хемингуэя, и он с кассиром, не мешкая, отправился в путь. Хемингуэй дружески их принял и без лишних слов дал большую сумму.

Партия на выборах добилась значительного успеха. Из пятидесяти мест в конституанту она получила семь или восемь.

«Веришь ли ты в судьбу?»

Однажды вечером мы отправились с Хемингуэем взглянуть на игру «полети» (играют чем-то похожим на длинную ложку, прочно привязанную к руке игрока, и теннисным мячом). Мы даже держали пари, но, насколько я помню, ничего не выиграли... На обратном пути завернули в кафе и надолго там задержались.

Не помню, как мы коснулись в разговоре темы «человек—судьба—жизнь—смерть»...

— Ты веришь в судьбу, Майк? — внезапно спросил меня Хемингуэй.

— Нет! А ты?

— Не знаю. Но есть одна вещь, которая мне не по нутру... Мой старик застрелился. Написал, что проклятое ружье оставляет мне в наследство.

— Если тебя это мучает, ты просто-напросто выбрось «наследство»...

Чувствовалось, что он взволнован.

— Зачем он завещал мне как раз то оружие, которым убил себя?

— Ты суеверен! — засмеялся я, не подозревая, что уже тогда его преследовала черная мысль о самоубийстве.

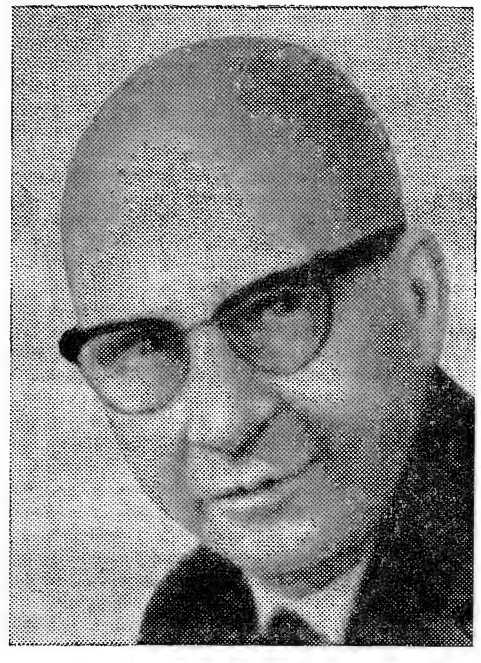
— Впрочем, к черту это! — Что-то не понятное мне мучило его.

А на другое утро мы «оседлали» «Пилар» и понеслись по Мексиканскому заливу в поисках меч-рыбы...

г. БЕЛГРАД

Перевод с сербохорватского АЛЕКСАНДРА РОМАНЕНКО

«Я вырубаю из жизни своих героев»



— Я шахтер. Я сын шахтера. Я не разделяю пренебрежения некоторых интеллигентов к промышленности, я не боюсь машин, не боюсь работы и рабочих.

Это говорит Сид Чаплин, и хотя говорит он об этом с полным правом — он и сейчас, став известным писателем, добывает хлеб насущный, работая в одном из управлений угольной промышленности,— в его словах звучит не только гордость человека своим происхождением. Сид Чаплин, в сущности, рассказывает и о том, что составляет предмет его забот как писателя.

— Во времена моего детства угольная промышленность на севере Англии состояла из трехсот маленьких шахт, разбросанных на большом расстоянии друг от друга. И у каждого из этих крошечных шахтерских поселков были свои традиции, своя история борьбы, история забастовок и катастроф. Люди в этих поселках жили как одна большая семья, они прекрасно знали, что такое чувство локтя. И в этой-то их спаянности не последнюю роль играл язык — особый диалект, благодаря которому они так хорошо понимали друг друга.

Шло время, и я увидел, как постепенно стал разрушаться старый уклад жизни шахтерских поселков. Рост капиталистического хозяйства породил огромные предприятия, которые свели вместе громадное количество людей, но, сводя это множество людей на одном предприятии, капитализм в то же время, как это ни странно, разъединяет их, изолирует друг от друга, и у рабочего человека постепенно исчезает чувство спаянности. Вот я и хочу выяснить не только, как это происходит, но и почему это происходит. Возможно, все дело в том, что во времена моего детства люди вместе шли на работу, вместе работали в шахте и вместе уходили домой. И я не перестаю думать, как же вернуть, сохранить это чувство спаянности, чтоб люди чувствовали себя одной большой семьей, чтоб были у них общие цели.

Сид Чаплин говорит увлеченно, ведь все это давно волнует его. И здесь, очевидно, нет попытки идеализировать какие-то патриархальные начала в жизни старой шахтерской Англии, хотя на склоне лет людям по большей части свойственно с нежностью вспоминать то, что было во времена их детства.

Тревогу по поводу растущей разобщенности английского рабочего класса читатель

ощущает и в книгах Сида Чаплина. Молодые герои его романов «День сардины» * (1961), «Стражники и заключенные» (1963) со свойственным молодости пылом жаждут иной жизни. Артур Хэггертон из «Дня сардины» тяжело страдает от одиночества. Это его слова: «Да, братцы, иногда я думаю: кивни мне хоть кто-нибудь на улице, и я пойду за ним на край света. И даже позабуду взять чемодан со сменой белья». Горькие слова. Слова, которыми и заканчивается роман. Тим Мейсон из «Стражников и заключенных» преодолевает одиночество. И с каждым днем — будь это день, когда он терпит неудачу, пытаясь усмирить распоясавшихся расистов (он еще с ними расквитается), или горячие и тревожные дни борьбы со спекулянтами-домовладельцами — Тим укрепляется в мысли: он нужен людям. И это — счастье.

Вернуть трудовому человеку понимание его общественного предназначения — вот что более всего заботит писателя. И как логическое завершение этой линии в творчестве Чаплина воспринимаются его слова о задачах литературы, когда он предупреждает об опасности, подстерегающей многих молодых писателей Англии.

— Я имею в виду опасность быть поглощенным миром политической коммерции. Такие писатели порой позволяют себе показывать в своих произведениях даже кое-какие недостатки нашего общества. Однако этим они и ограничиваются. И меня это очень беспокоит. Мы должны стремиться создавать цельные произведения, проникнутые верой, которая поможет людям строить, созидать, идти вперед.

И, желая пояснить свою мысль, Сид Чаплин приводит слова одного из персонажей пьесы Горького «Мещане». Слова о том, что люди, у которых нет высокой цели в жизни, достойны лишь смерти.

— И литература без веры, без цели,— убежденно продолжает Сид Чаплин,— тоже не имеет права на жизнь. Мне кажется, западные писатели многому могут поучиться у Горького, потому что вопросы, которые он ставил, в особенности в произведениях начала века, имеют сегодня прямое отношение к западной действительности.

Может быть, не случайно с такой симпатией говорит писатель о книгах молодых своих соотечественников Стэна Барстоу и Алана Силлитоу. (Роман С. Барстоу «Любовь... любовь?» был опубликован в «Иностранной литературе» в №№ 11—12 за 1965 г.; роман А. Силлитоу «Ключ от двери» — в №№ 5—7 за 1963 г.).

Подобно Сиду Чаплину, выходцы из рабочего класса, эти молодые прозаики, придя в литературу, остались, как подчеркивает наш гость, «со своим классом».

— Барстоу пишет очень просто, но это обманчивая простота. Она несет в себе огромный заряд, побуждающий человека думать. А это принципиально важно. Самым значительным из молодых мне представляется Силлитоу. Правда, он преувеличивает стихийное, анархическое начало в жизни рабочего класса, но зато у него большое сердце,— Сид Чаплин прижимает руку к груди: да, эти молодые писатели в самом деле очень близки его сердцу.— Я люблю Силлитоу, хотя никогда с ним не встречался. Он замечательный парень. Кстати, мне кажется, в романе «Смерть Уильяма Постерса» Силлитоу глубже, чем в предыдущих.

Сида Чаплина роднит со Стэном Барстоу и Аланом Силлитоу не только внимание к жизни людей из низов — недаром критика обычно рассматривает их творчество в общих рамках «рабочей литературы»,— у этих писателей, в конечном счете, один герой: молодой парень, который не хочет мириться с неправдой окружающей его действительности.

— Благородные стремления, осознание цели в жизни, жажда знаний, поэзии,— все это свойственно многим молодым людям в Англии,— рассказывает Сид Чаплин, когда речь заходит о молодом поколении в его стране.— Но бывает, что в конце концов они удовлетворяются игрушками — машинами, новейшими телевизорами. Возможно — только на время, пока эти игрушки новы.

Мещанство — старый и давний враг Сида Чаплина. И если Тим Мейсон из «Стражников и заключенных» осознает эту опасность омещанивания, противостоит ей, то с героем его нового романа «Утро Сэма» дело обстоит иначе.

— Герой романа «Утро Сэма»,— рассказывает Сид Чаплин,— молодой чиновник, отец которого — управляющий банком, а дед — рабочий. Сэму импонирует, что он служит в таком крупном учреждении. Им овладевает навязчивая идея — он влюбляется во власть ради власти. Но оказывается, что он не властен над человеческой личностью.

Название книги «Утро Сэма» ироническое. Утро жизни может открыть молодому человеку окно в широкий мир с огромным горизонтом. А Сэм живет так, что его горизонт все время сужается, и в финале романа он становится духовным банкротом — разочарованным, озлобленным, ни во что не верящим.

— Может быть, все это несовершенно, но, мне кажется, об этом надо было написать.

Сид Чаплин помолчал.

— Я работаю, как скульптор, я вырубаю из жизни своих героев,— и, зажав в руках воображаемый резец, он прищуривает глаза, как бы примеривается и начинает воспроизводить характерные движения... нет, не скульптора, а шахтера, когда тот рубит уголь.

Сид Чаплин действительно вырубает из жизни своих героев. И вниманием писателя завладевают все новые жизненные проблемы.

— В последнее время я читаю много книг социологического характера. Это интересная литература, которая дает факты. Она, мне кажется, особенно нужна, потому что в Англии сейчас существует мнение, будто

* Роман вышел в русском переводе в издательстве «Молодая гвардия» в 1964 г.

все социальные проблемы разрешены — поскольку почти нет безработицы и уровень жизни довольно высокий. В действительности это далеко не так. Существует много морально-этических проблем, которые тесно переплетаются с социальными и которые рождают разочарованность, недовольство.

Об одной из таких проблем Сид Чаплин и пишет пьесу.

— Это общечеловеческая проблема. Во все времена и почти у всех народов существовал неписаный закон: дети должны заботиться о своих старых родителях. И сейчас, когда все больше и больше молодежи не хочет заботиться о стариках, проблема эта встает во всей своей глубине. Такая нравственная проблема становится и социальной, потому что никакие усилия общества обеспечить старость не могут возместить то, что несет с собой забота детей о родителях.

Есть и другая сторона этого вопроса. И тут мы сноза сталкиваемся с проблемой цели в жизни, на сей раз в очень простом ее значении. У нас в Англии женщины перестают работать в 60 лет, а мужчины — в 65 лет. Но бывает, что люди в этом возрасте сердцем еще молоды, а иногда и физически не стары, и в работе для них — цель и смысл жизни; и когда они бывают вынуждены уйти с работы, они теряют эту цель, оказываются оторванными и от жизни, и от народа, и даже от детей. Если поместить их в дом для престарелых, они окажутся «на дне» — не совсем в том смысле, как у Горького, но тоже на дне жизни.

Вы, вероятно, слышали о работных домах, читали о них у Диккенса. Это очень страшное место, куда посылали людей тогда, когда они не могли обеспечить свое существование. Они жили там в нищете и чувствовали себя несчастными и умирали в нищете и несчастье.

Там, где я живу, бытует рассказ об одном молодом парне, который ведет своего отца в такой работный дом. Ему нужно было идти километров двадцать до этого дома, отец был немощен и стар, и сыну пришлось нести отца на себе. По дороге они присели у крутого холма отдохнуть. И тогда старик сказал ему: «Помню, как я отдыхал здесь со своим отцом, когда так же, как ты сейчас меня, нес его в работный дом».

В комнате было тихо, и Сид Чаплин говорил тихо.

— И тогда сын сказал отцу: «Нет, я не отдам тебя в работный дом. Мы вернемся домой, и ты будешь жить вместе с нами».

Вот об этом я и хочу рассказать молодежи.

Сид Чаплин — прекрасный рассказчик. У него совершенно особая манера рассказывать, и мы ощутили ее не только как читатели его книг, но и как участники беседы в редакции «Иностранной литературы».

— Я же шахтер,— улыбаясь, в который раз повторил эти слова Сид Чаплин.— А шахтерам положено уметь рассказывать и слушать рассказы. Издавна сложились обычаи, которые рождали эту любовь к рассказу. Скажем, прежде чем спуститься в шахту, они присаживались на корточки,— Сид Чаплин встал со своего кресла и присел сбоку от него на корточки; лукавый, чуть застенчивый огонек мелькнул в его глазах: как отнесутся к этому присутствующие? Негромко, слегка растягивая слова, он продолжал: — Они присаживались возле входа в шахту на корточки, и один из них рассказывал какую-нибудь историю. Женщины в тех поселках тоже большие мастера рассказывать. Например, моя бабушка.

Сид Чаплин снова сидит в кресле, и его руки, сильные, добрые руки рабочего, спокойно лежат на коленях.

— Когда я был маленьким, я прислушивался к тому, как она и женщины, которые к ней приходили, разговаривали друг с другом, иногда я читал им разные книги, и они обсуждали прочитанное. А бывало, одна из старушек смотрела на меня, слушала, слушала и вдруг начинала рассказывать какую-нибудь историю, и тогда все замолкали.

Разумеется, ничто не рождается из ничего. То, что я стал писать, было подготовлено всей цепью событий моей жизни, и корни ее тянутся из истории этих шахтерских общин. Сначала я просто слово за словом записывал то, что слышал, собирал эти истории, а потом постепенно стал писать на их основе свои рассказы.

Беседа близилась к концу, а мы еще не задали нашему гостю свой традиционный вопрос: что удалось ему увидеть у нас, какие впечатления он вынес из поездки по нашей стране?

— Я побывал в Кремле, в Оружейной палате, в соборах Кремля, посетил большой рынок, он, пожалуй, не беднее Оружейной палаты, был на Выставке достижений народного хозяйства. Особенное впечатление произвел на меня павильон «Космос». Был я и в Доме-музее Льва Толстого в Хамовниках, где сохранилась улица — кусочек старой Москвы. Дом этот удивительно похож на другой дом — дом Марка Твена у него на родине: там на столе стоит цилиндр. В нем он держал массу записок... Кроме того, что Толстой был великим писателем, он был и великим человеком. У великого писателя обязательно должна быть великая душа, иначе он не будет великим.

И вообще я потрясен тем, что увидел. Необычайно тронуло нас дружелюбие, с каким нас встречали везде; то, как люди разговаривали со мной, как они охотно откликались на малейшие просьбы. Мне нравится, что всюду вы сажаете деревья.

В Америке существует легенда о Джоне— сеятеле яблоневых зерен. Он ходил по земле и всюду бросал в землю зерна яблонь, и там, где он проходил, вечно цветут яблони... Вероятно, у вас тоже существует свой Джон Яблоневое Зерно или Джон Сиреневое Семечко. Деревья украшают не только улицы, но и жизнь людей — это истина, которую никогда не надо забывать. Сажайте деревья!

И. ЗОРИНА

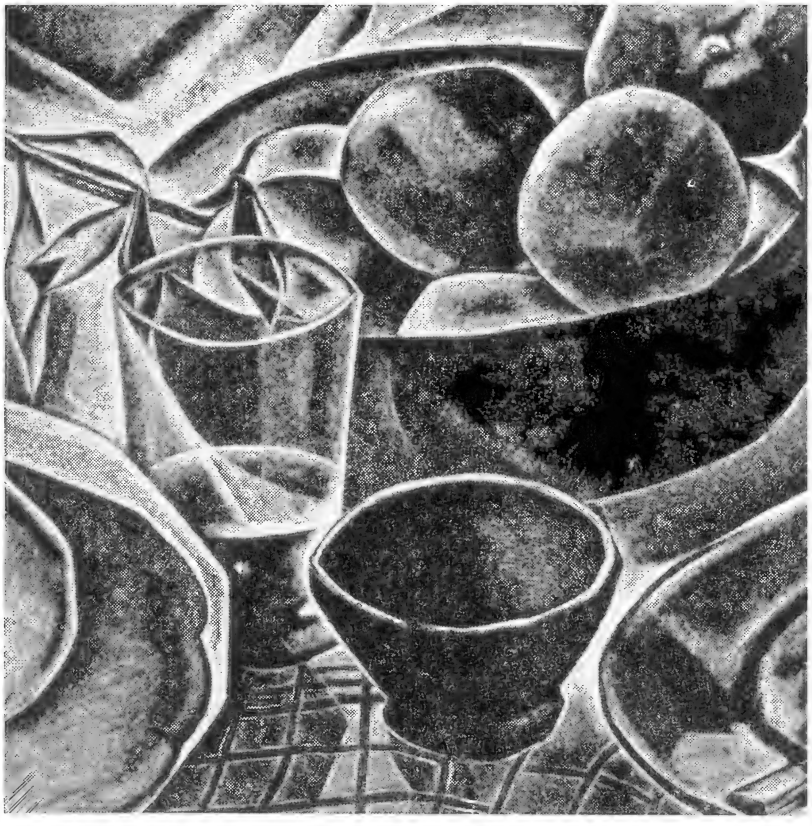
СОВРЕМЕННАЯ *ГРАФИКА* ГРЕЦИИ

Д. ГАЛАНИС. Пейзаж. *Ксилография.*

Греческая графика поздно утвердилась в правах самостоятельного и полноценного вида изобразительного искусства. Вплоть до середины прошлого века она развивалась исключительно в рамках народного творчества и лишь в шестидесятых годах, проникнув в газету, сделала первый шаг от ремесла к искусству. С газетой и типографским делом связано начало творческого пути почти всех греческих графиков старшего поколения. Среди них наибольшую известность получил Димитрис Галанис (1882—1966).

Родился он в Афинах. Сначала собирался стать инженером, но вскоре бросил учебу и начал брать уроки живописи у художника Никифороса Литраса. Переехав в 1900 году в Париж, Галанис увлекся графикой и вскоре отдался ей всецело.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО За рубежом



А. ТЕОДОРОПУЛОС. Натюрморт. *Ксилография.*

А. ТАССОС. Часть триптиха «Гражданская война». *Ксилография.*

Широко известны его иллюстрации к «Потерянному раю» Мильтона (ксилографии, 1930), к «Эдипу» Андре Жида (ксилографии, 1930) и др. В 1945 году Галанис был избран во французскую Академию.

Современник Галаниса Ангелос Теодоропулос (1889—1965) долгое время сотрудничал в газетах и журналах, заведовал художественной мастерской и первый в Греции дал образцы квалифицированной художественной рекламы. Выступал Теодоропулос и в качестве оформителя книг, в частности он иллюстрировал «Святую гору» З. Папантониу и «Свет,

Я. КЕФАЛИНОС. Иллюстрация к роману П. Превелакиса «Несчастный Крит». *Ксилография.*

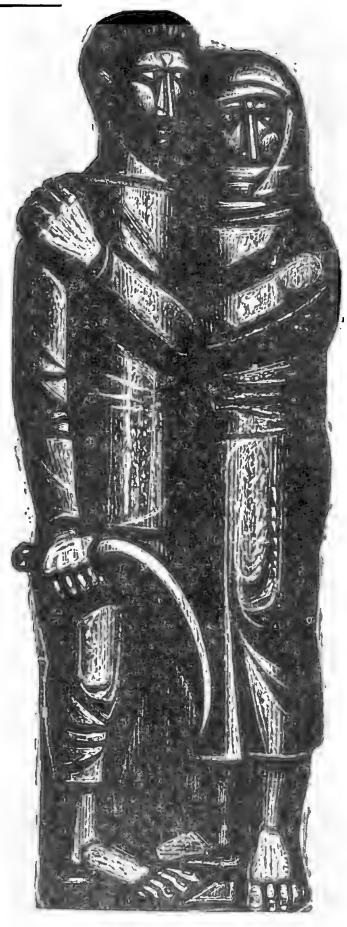
А. ТАССОС. Часть триптиха «Гражданская война». *Ксилография.*

А. ТАССОС. Девушка с цветком. *Ксилография.*

который жжет» — замечательный сборник революционных стихотворений Варналиса. Простой, спокойный рисунок, скрупулезная техника исполнения сближают работы Теодоропулоса с гравюрами прошлого века.

Яннис Кефалинос (1894—1957) на протяжении 25 лет был бессменным преподавателем графики афинской Высшей школы изобразительных искусств. Из его мастерской вышли наиболее известные современные греческие графики, и можно без опасения сказать, что педагогическая деятельность Кефалиноса составила для Греции целый этап в эволюции этого вида искусства. Образы Кефалиноса

А. ТАССОС. В поле. *Ксилография.*



А. ТАССОС. Гнев. *Ксилография.*

А. ТАССОС. Музыкант. *Ксилография.*

А. ТАССОС. Урожай. *Ксилография.*

В. КАТРАКИ. Девушка. *Ксилография.*

В. КАТРАКИ. Гречанка. *Литография.*

всегда органичны для его композиций, главное, что можно было бы выделить в его манере,— простота и мудрость; это ощущение остается и тогда, когда тенденция декоративности становится особенно явной.

К той же плеяде относится и Эвфимис Пападимитриу (1895 — 1959),

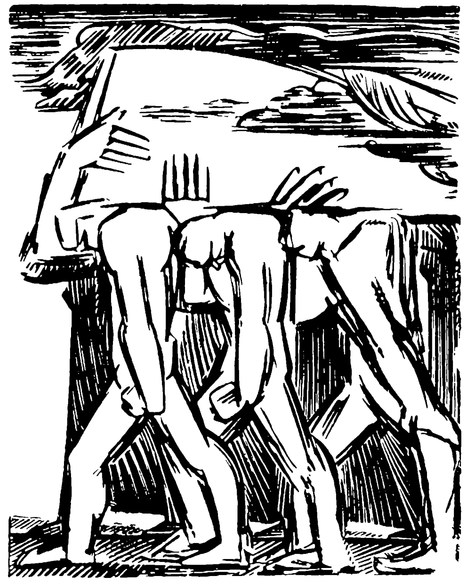
В. КАТРАКИ. Мать. *Литография.*

В. КАТРАКИ. Иллюстрация к рассказу М. Александропулоса «Облако». *Литография.*

ненадолго заместивший Кефалиноса на кафедре графики Высшей школы изобразительных искусств. Он тоже сотрудничал в газетах и журналах и оформил несколько известных литературных произведений. В последний период творчества Пападимитриу преодолел в какой-то мере ограничивавшую греческих графиков традицию иллюстраторства и создал самостоятельные произведения графики.

Двум художникам с острова Корфу — Маркосу Завицианосу и Ликургосу Когевинасу — принадлежат замечательные гравюры на меди. Особенно выделяются крупные циклы гравюр Когевинаса, посвященные памятникам Древней Греции и средневековья.

К этой же группе следует причислить известного художника Антониса Протопациса (1897—1947), чья творческая деятельность связана прежде всего с Парижем. Образы

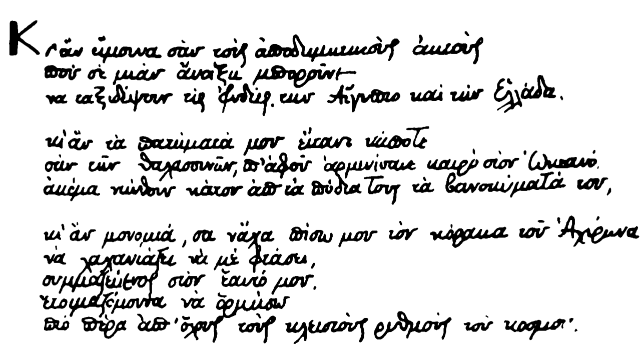


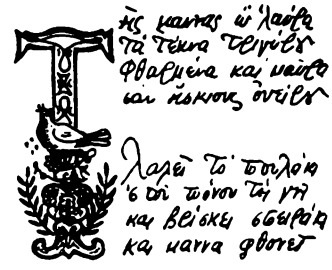
Х. ДАНГЛИС. *Гравюра.*

А. КОРОЯННАКИС. Иллюстрация к запрещенным стихотворениям Бодлера. *Ксилография.*

С. ВАСИЛИУ. Из подпольного сборника стихотворений А. Сикельяноса, изданного в период оккупации.

ΣΤΥΓΟΣ ΟΡΚΟΣ





Из подпольных альбомов Сопротивления.

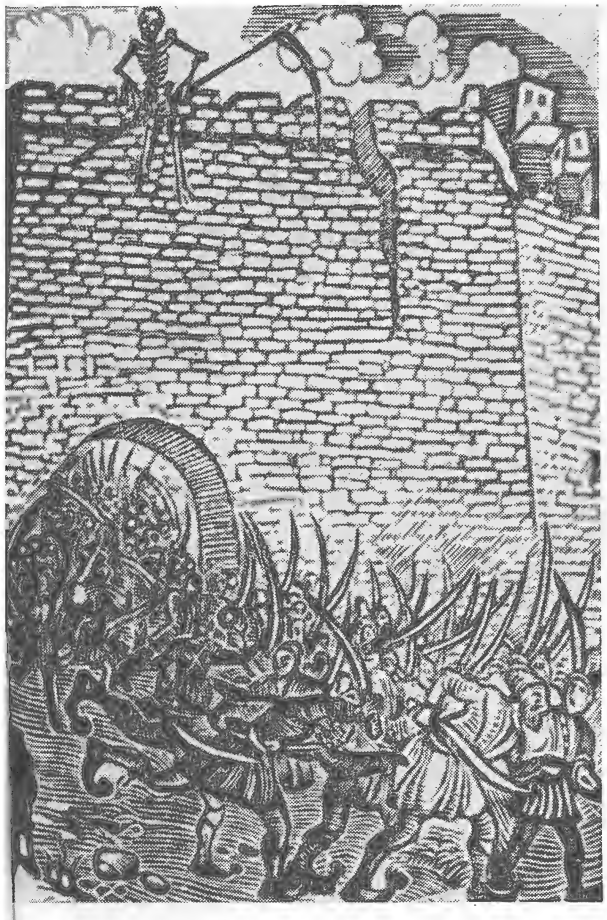
Из подпольных альбомов Сопротивления.

Из подпольных альбомов Сопротивления.

Протопациса благородны и поэтичны. Талант наблюдательного и тонкого рисовальщика чувствуется как в живописных его произведениях, так и в гравюрах.

Вне определившихся групп работают такие мастера, как Димитрис Яннукакис — автор реалистических, а также абстрактных произведений и график-абстракционист Николаос Вефтурас, уединенно живущий на острове Корфу.

Среди художников школы Кефалиноса, чья деятельность началась до войны 1940 года, выделяются два замечательных мастера современной графики — А. Тассос и Васо Катраки. Тассос последовательно продолжает традиции своего учителя. Убедительно и точно воспроизведены в его произведениях образы современной жизни. Героика Сопротивления греческого народа в годы фашистской оккупации значительно обогатила творчество художника. Ее пафосом отмечены не только работы, непо-



Из подпольных альбомов Сопротивления.

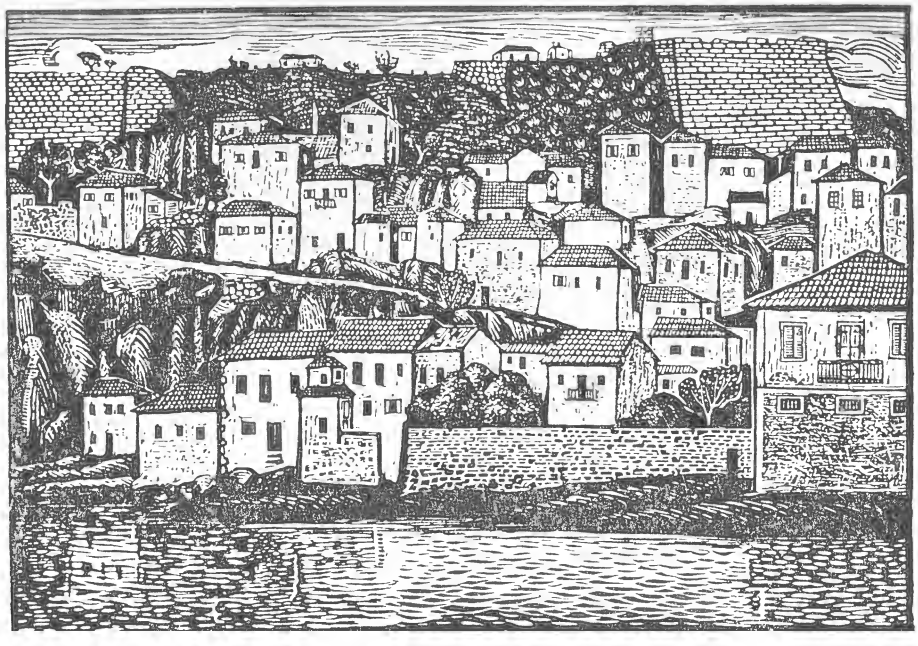
средственно посвященные Сопротивлению, но и произведения, тематически не связанные с ним. Основной материал Тассоса — дерево. Тассосу принадлежит немало цветных гравюр. В последнее время он выставил превосходные черно-белые работы, посвященные событиям гражданской войны в Греции.

Предельно напряженной выразительностью и динамичностью характерна манера Васо Катраки. Человек и его трагическая повседневность, угроза новой войны, прошлые и нынешние испытания, выпавшие на долю греческого народа,— вот круг тем, привлекающих внимание художницы. Чтобы выразить полнее накал своих чувств, Васо Катраки обратилась к камню. Произведения Васо Катраки не раз были отмечены на крупных международных выставках.

Долголетние преследования за участие в Сопротивлении не давали возможности Х. Данглису проявить в полной мере свой талант графика, и все же ему удалось создать несколько очень интересных гравюр на дереве; наиболее удачные из них выполнены художником в ссылке на острове Агиос Эвстратиос.

Активное участие в движении Сопротивления принимали многие художники. Работая в подпольных типографиях, они печатали гравюры революционного содержания — альбомы ксилографий, посвященные Сопротивлению в городе и борьбе народной армии в горах, небольшие брошюрки и просто отдельные листки, переходившие из рук в руки, афиши, панно, прокламации. Часто эта их деятельность граничила с под-

П. КАЦУЛИДИС. Пейзаж. *Ксилография.*

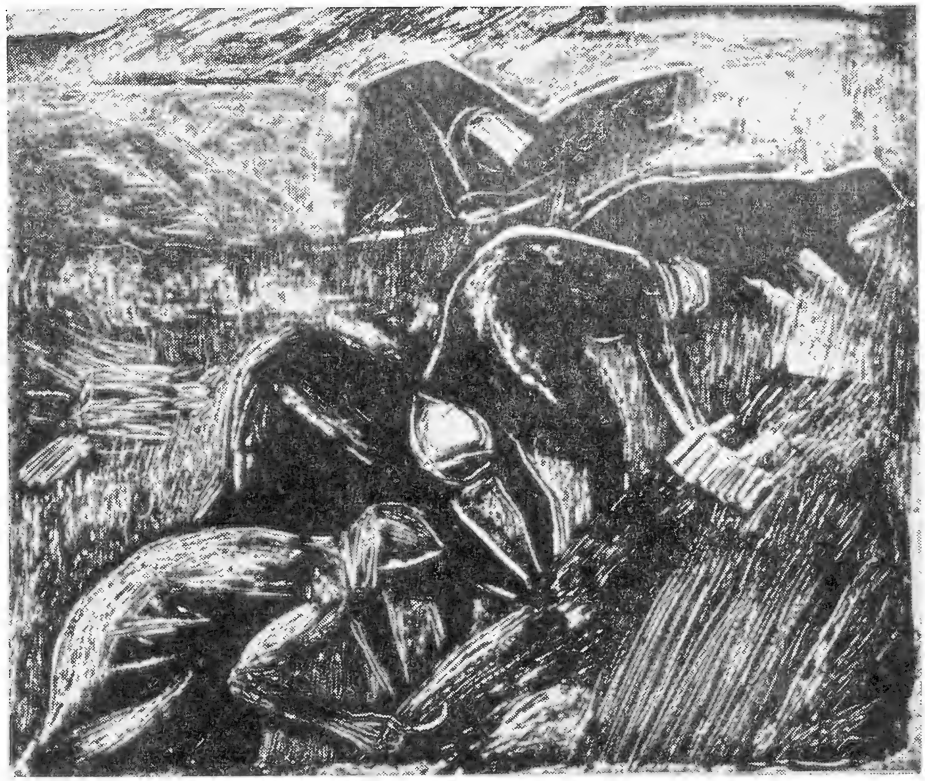


Я. МОРАЛИС. Иллюстрация к книге С. Миривилиса «Лешие». *Ксилография.*

Э. ИКОНОМИДУ. Народ. *Ксилография.*

вигом. Каждую ночь тысячами их листовок и афиш обклеивались стены домов порабощенных городов. К сожалению, этот огромный и необычайной ценности материал теряется и гибнет, до сих пор никто не

В. СЕМЕРТЗИДИС. Крестьянка. *Литография.*



В. СЕМЕРТЗИДИС. Жатва. *Литография.*

позаботился о создании соответствующего архива.

Самое молодое поколение греческих графиков испытало сильное влияние Костаса Грамматопулоса, руководителя кафедры графики Высшей школы изобразительных искусств, обучающего своих учеников на образцах абстракционизма. И все же лучшие ученики Грамматопулоса тяготеют к реалистическому искусству, непосредственно связанному с жизнью.

Часто в области графики выступают и известные живописцы — Орестис Канеллис, Яннис Моралис, Валиас Семертзидис, Яннис Царухис и Н. Хадзикириакос-Гикас.

Г. ПЕТРИС

г. АФИНЫ

В. СЕМЕРТЗИДИС. Крестьяне. *Литография.*

Культура и современность

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

ЗАРУБЕЖНЫХ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ

Президент Джонсон и две культуры

В США происходят интересные события. Там все шире развертывается борьба двух культур, наличие которой всегда отрицалось буржуазной пропагандой. Причем борьба эта захватила теперь широкие области и разделила на противостоящие друг другу лагеря так называемую «массовую культуру», ранее считавшуюся надежным и безопасным средством отвлечения народа от его насущных интересов.

На одной стороне этого столкновения — официальная, пользующаяся поддержкой всего финансово-промышленного и военного аппарата США «культура комиксов», которая изо всех сил старается внедрить в мозг обывателя истины и нормы «американского образа жизни» и необходимость агрессивного курса нынешней политики США. На другой — новая, завоевывающая себе аудиторию культура народной песни, откликающаяся на злобу дня и выражающая мнение демократических слоев американского общества. Несмотря на очевидное как будто неравенство сил: в распоряжении «официозов» почти вся пресса, теле,- радио- и другие зрелищные средства, а у народных исполнителей — только гитара да собственный, часто далеко не профессиональный голос и стих, победа нередко оказывается на стороне демократической массовой культуры.

Это не значит, однако, что «культура комиксов» согласна уступить свои позиции. Верная своим привязанностям, она все откровеннее ищет теперь покровительства у высокопоставленных политических деятелей США, Пентагона и монополий, то есть у наиболее реакционных группировок страны. Вот что рассказывает об этом французский еженедельник «Арэ луазир» в статье «Америка в час военных комиксов»:

«Было бы неправильным считать комиксы пустячным делом. Они участвуют на свой манер в политической жизни наиболее могущественной нации мира — Соединенных Штатов.

Там успешно процветает торговля целыми сериями картинок, посвященных соответственно японо-китайской, тихоокеанской, корейской и, наконец, вьетнамской войне. На протяжении тридцати лет одним из наиболее популярных авторов этих азиатских хроник, этих приключений и злоключений американского солдата на Дальнем Востоке является Мильтон Кэнифф. Он родился в 1907 году в Хилсборо, штат Огайо. В 1934 году он создал группу персонажей под общим названием «Терри и пираты» для «Чикаго трибюн». Терри принимал участие во всех тихоокеанских баталиях от Пирл-Харбора до Гвадалканала. В 1947 году Мильтон Кэнифф расстался с «Терри и пиратами» ради Стива Кэньена. Его новым героем стал полковник американских ВВС, который после ряда приключений на Филиппинах, Формозе и в Корее очутился, разумеется, во Вьетнаме.

В 1966 году около 125 ежедневных американских изданий, включая «Нью-Йорк геральд трибюн», отводили Стиву Кэньену место на своих полосах. Что касается самого Мильтона Кэниффа, то его слава не уступает славе его персонажа. Он начал свою карьеру рассыльным в бюро одной американской газеты, а теперь является одним из признанных богачей (он крупный акционер компании «Форд») и национальным героем. Военно-воздушные силы США наградили его орденом, самолеты, целые эскадрильи в течение тридцати лет носят имена его персонажей. Каждый год американская армия отмечает «День Мильтона Кэниффа», подобный нашему празднику 4 июля *.

* Речь идет о празднике французских военно-воздушных сил.

В этот день организуется парад в честь автора «Терри и пиратов», «Призыва» и «Стива Кэньена»... Перед Кэниффом устраивают фанфарное шествие, войска отдают ему честь. Ради этого события военно-воздушные силы отряжают специальный военный самолет, который доставляет Кэниффа к месту торжества. Сам президент Джонсон принял его в Белом доме. Целые книги посвящены изучению его деятельности: «Рембрандт комиксов».

Тут же журнал приводит и впечатляющие подтверждения этой карьеры. Во-первых, фотография, на которой в самом деле президент Джонсон, позади — национальный флаг США, а рядом — «Рембрандт» — Кэнифф с большим белым картоном, где тот же Джонсон воплощен в этакий умильный «дружеский шарж». Все трое: президент, «Рембрандт» и «шарж» в военной фуражке чувствительно растроганы.

Во-вторых, опусы непосредственно из военных серий Кэниффа. Они, разумеется, еще любопытней и сразу объясняют, почему так любезен сердцу президента бойкий карандаш удачливого вкладчика компании «Форд».

Вот он, на первой картинке, их общий идеал, полковник Стив Кэньен, этот, как саркастически замечает «Ар э луазир», «новый американский Роланд». Маленькие глазки из-под кустистых бровей, челюсть и остроконечные, приросшие к черепу уши. В правой могучей руке авиационный шлем, левая оперлась на бедро. Вся фигура словно ждет приказа, чтобы прыгнуть и загрызть. Это, так сказать, заставка.

А вот и другая картинка: тот же Кэньен с пистолетом где-то во вьетнамском болоте бросает соседу через плечо: «Не нервничай, парень! Уж не собираешься ли ты жить вечно?» На третьей — Кэньен с приятелем ведут под руки вьетнамскую даму в вечернем платье, только что освобожденную из коммунистических когтей. Совсем по Маяковскому: «Одного — раз, другого — раз, кстати, как денди, и девушку спас». Не беда, что на заднем плане картинок горят все так же дотошно разрисованные вьетнамские деревни, лежат трупы крестьян в характерных сандалиях, корежатся взорванные мосты. Этот антураж, очевидно, еще более мил сердцу заказчиков «Рембрандта», чем даже сам герой-супермен, ибо для чего он нужен, как не для таких деяний? Чем больше он оставит позади себя этих «азиатских трупов», тем лучше. Как сказал когда-то генерал Макартур: «Это радует мои старые глаза».

Но, по-видимому, проповедники белокурой бестии на этот раз перестарались. «Подвиги» различных Кэньенов — и не на картинках, а в действительности — вызвали во всем мире такую мощную волну протеста, так всколыхнули американскую молодежь, что молодые протестующие голоса исполнителей народных уличных песен вдруг получили невиданную в Америке популярность и сразу оттеснили на задний план все прямые и замаскированные под «искусство» доводы официальной пропаганды.

Подите-ка сюда, мастера войны,—
Вы, что смастерили ружья,
Вы, что построили смертоносные машины,
Вы, что начинили взрывчаткой большие бомбы,...

Вы, что никогда ничего не делали,
А только изобретали разрушения,
Вы играете нашим миром,
Как будто он ваша маленькая игрушка.
Вы суете мне в руки ружье,
А потом исчезаете с глаз долой,
И прячетесь, и убегаете,
Когда свищут пули.

Как и все прежние Иуды,
Вы обманываете и лжете,
Что можно выиграть мировую войну,
Вы хотите, чтоб я вам поверил.
Но я вижу сквозь ваши глаза,
И я вижу сквозь ваши мозги,
Как я вижу сквозь воду,
Что наполняет мой окоп.

Слова и музыку этой песни, под названием «Мастера войны», написал Боб Дилан — 25-летний сын аптекаря из провинциального городка Хиббинг в штате Миннесота,— за короткое время получивший широкое признание демократически настроенной молодежи США. Журнал «Эскуайр» опубликовал результаты опроса в университетах страны. «Кто является самой замечательной личностью современной эпохи?» Среди ответов на первом месте стоял Джон Кеннеди, на третьем — Фидель Кастро. Но между ними, на втором,— Боб Дилан. А в ответ на вопрос о лучшем из живущих американских поэтов большинство безоговорочно назвало Дилана.

Чем объясняется эта популярность? Ведь недавно еще казалось, что умы молодежи будут захвачены изощренным психологизмом и разъедающей иронией романистов типа Сола Беллоу или Нормана Мейлера. Один из опрошенных ответил на это так:

«Нам до лампочки страхи Мозеса Герцага * или кошмары, терзающие Нормана Мейлера. Нас заботят такие вещи, как угроза ядерной войны, движение в

* Герой одноименного романа Сола Беллоу.

защиту гражданских прав, распространяющиеся в США бесчестье, конформизм, особенно в Вашингтоне, а Боб Дилан — единственный американский поэт, который говорит об этих предметах в том смысле, как понимаем их и мы» («Нью-Йорк таймс»).

Другой опрошенный — агент по продаже пластинок — поделился таким наблюдением:

«Пока не появился Боб Дилан, большинство наиболее популярных песен составляли слезливые жалобы подростков на несчастную любовь. Но теперь до удивления большое число самых популярных пластинок составляют песни о войне, международной политике и бедности. Так или иначе, интерес, который, к изумлению многих, проявило теперь молодое поколение к серьезным вопросам: гражданским правам или Вьетнаму — заслуга Боба Дилана. Пожалуй, он оказывает теперь самое прямое влияние на то, что происходит с молодыми людьми в современной Америке — марши протеста, пикетирование и т. д.,— большее, чем кто бы то ни было в стране» («Нью-Йорк таймс»).

Музыкальный критик еженедельника «Трибюн» писал после посещения Диланом Австралии:

«На протяжении многих лет мы верили... сентиментальному пацифизму, и все наши песни о мире были своего рода коллективным соучастием в этом пацифизме, утопическим хором.

Дилан изменил все это. Он осмелился говорить вещи, которые казались «сектантскими», и снова заставил нас думать. Очень скоро он стал героем среди исполнителей народных песен...»

Разумеется, далеко не все в этом протесте оказалось зрелым и продуманным. Кое-что шло и от традиционного американского рекламного шума, сопровождалось иной раз неосмотрительными заявлениями, которые тут же подхватывала и по-своему использовала буржуазная печать. Сама обстановка этой борьбы определила неизбежное участие в ней случайного, наносного в сочетании с подлинным, живым и политически проницательным. Убедившись, что из официальных источников информации и культуры ждать истины не приходится, молодежь сама — и в каждом случае своими «кустарными» силами — взялась за переосмысление важнейших вопросов дня с помощью короткого стиха, песни, памфлета и застольного спора.

Обозреватель «Ар э луазир», описывая эти собрания, рассказывает, что они стали проходить в основном в так называемых «кафе-хаузах» — маленьких университетских залах, полукабаре, полубистро, куда студенты забегали поговорить и выпить хороший кофе — «напиток все еще редкий в США». Там стали появляться школьники, богема, художники и псевдохудожники. Тут и определился впервые тип певца с сумкой через плечо и гитарой, забредающего «на огонек» и поющего «о чем придется», то есть о том, что в данное время волнует молодежь. Его темы — это

«мир, свобода, гражданские права, вьетнамская война, которую он яростно осуждает, бомба, которую он ненавидит, расовая сегрегация, которую он отрицает. Тексты этих песен иногда слишком просты, а голос певца оставляет желать лучшего. Не важно, что он скорее говорит, чем поет. Его слушают не для того, чтобы брать уроки бельканто: хотят слушать то, о чем он говорит».

Замечено это, безусловно, верно. Именно то, *о чем* заговорили, запели эти исполнители, громко высказавшие протест американской молодежи, определило успех таких быстро прославившихся представителей нового поколения, как Боб Дилан или Джоан Баез. Они сумели шаг за шагом опровергнуть ходячие догмы официальной «массовой культуры».

Вы можете сказать, что я молод,
Вы можете сказать, что я неуч.
Пусть. Но есть одна вещь, которую я знаю,
Хотя я моложе вас:
Даже Иисус не простил бы никогда
Того, что вы делаете.

Дайте я задам вам только один вопрос:
Так ли всесильны ваши деньги,
Что смогут выкупить вам прощение?
Вы думаете, смогут?
Я думаю, когда смерть ударит в свой колокол,
Все деньги, что вы награбили,
Никогда не выкупят вашу душу.

Я надеюсь, что вы умрете
И что ваша смерть наступит очень скоро,
Я последую за вашим гробом
В бледный послеобеденный час,
И я буду смотреть, как вас опустят в могилу,
На ложе смерти.
И я постою над могилой,
Пока не уверюсь, что вы в самом деле умерли.

Это обращено все к тем же «мастерам войны».

Самой известной — уже далеко за пределами США — стала песня, сложенная Питом Сигером в ходе борьбы за равные права американских негров «Мы победим»:

Мы победим,
Мы пересилим,
Мы победим,
Наступит день.
О, где-то глубоко в душе
Я верю:
Мы еще победим.
Наступит день.

И вот что замечательно. Президент Джонсон, тот самый, что принял и обласкал автора милитаристских комиксов, вынужден был, как рассказывают, этой песне в самом буквальном смысле подпевать. Произошло это во время настойчивых маршей борцов за гражданские права негров в США. «Говорят,— сообщает «Ар э луазир»,— что президент Джонсон, стремясь успокоить протестующих, запевал вместе с хором рефрен этой песни». Был ли это демагогический жест или нет — неизвестно, но одно остается бесспорным: сила солидарности и протеста рано или поздно заставит «мастеров эскалации» прислушаться к голосу разума. А пока происходит то самое, что нарисовал на одной из своих картинок все тот же Мильтон Кэнифф: герой и супермен Кэньен тащит, закинув руку за шею, своего убитого коллегу. Комментарий французского журналиста: «Как пятнадцать лет назад французский легионер, американский солдат напевает в 1966 году в Дананге или Гуэ: «Был у меня товарищ...» В самом деле, и песни ведь бывают разные.

Предупреждение серьезное. Тут, может быть, не лишне и вернее было бы вспомнить другой пример. Фашистские солдаты на Востоке тоже когда-то певали: «Был у меня камрад, лучшего не найти». Это был неизбежный рефрен агрессоров, топтавших чужую землю... Он говорит теперь о необходимости прислушаться к голосу разума. И лучше рано, чем поздно.

П. ВАСИЛЬЕВ

Нюрнберг и Вьетнам

Мозаика

Эту подборку, сделанную австрийским публицистом Гюнтером Андерсом, мы перепечатываем из французского журнала «Тан модерн» без комментариев, в которых она не нуждается.

«Большинство из вас знает, что такое 100 трупов, лежащих рядом, или 500, или 1000 лежащих трупов. Выдержать это до конца и при этом, за исключением отдельных случаев проявления человеческой слабости, остаться порядочными людьми. Вот что закаляло нас. Это — славная страница нашей истории, которая не написана и которая никогда не будет написана...» (Из выступления рейхсфюрера Гиммлера перед группой руководителей СС в Познани 4 октября 1943 года.)

«Я хотел бы, чтобы они (американские студенты) продемонстрировали такую же фанатическую приверженность к политической системе Соединенных Штатов, какую проявляли молодые нацисты к своему режиму во время войны». (Из выступления президента Джонсона перед американскими студентами, «Нью-Йорк таймс», 6 февраля 1965 года.)

I

НЮРНБЕРГСКИЕ РЕШЕНИЯ ПРИЗНАЮТСЯ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИМИ АМЕРИКАНСКОЙ ЮСТИЦИЕЙ...

8 августа 1945 г. Соединенные Штаты, Великобритания, Франция, Советский Союз заключают соглашение для создания в Нюрнберге Международного военного трибунала. Цель этого трибунала — быстро и

НО ТОЛЬКО В ТЕОРИИ, ПОТОМУ ЧТО

«Одним из самых жестоких видов пытки, применяемых правительственными войсками, является пытка электричеством, или «поджаривание», согласно терминологии одного американского советника. Мы присутствовали однажды при такой пытке. К большим пальцам пленного вьетконговца привязали два провода. Другие концы проводов соеди-

беспристрастно провести судебное разбирательство и вынести приговор главным военным преступникам европейских стран Оси. Статья 6 Устава Нюрнбергского трибунала гласит:

«...Следующие действия или любые из них являются преступлениями, подлежащими юрисдикции Трибунала и влекущими за собой индивидуальную ответственность:

а) Преступления против мира, а именно: планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны в нарушение международных договоров, соглашение, или заверение, или участие в общем плане или заговорах, направленных к осуществлению любого из вышеизложенных действий;

b) Военные преступления, а именно: нарушение законов или обычаев войны. К этим нарушениям относятся убийства, истязания или увод в рабство или для других целей гражданского населения оккупированных территорий; убийство или истязание военнопленных или лиц, находящихся в море; убийство заложников; ограбление общественной или частной собственности; бессмысленное разрушение городов или деревень; разорение, не оправданное военной необходимостью, и другие преступления;

с) Преступления против человечности, а именно: убийство, истребление, порабощение, ссылка и другие жестокости, совершаемые в отношении гражданского населения до или во время войны, или преследование по политическим, расовым или религиозным мотивам с целью осуществления или в связи с любыми преступлениями, подлежащими юрисдикции Трибунала, независимо от того, являются ли эти действия нарушениями внутренних прав страны, где они были совершены, или нет.

Руководители, организаторы, подстрекатели и пособники, участвовавшие в составлении или в осуществлении общего плана или заговора, направленного к осуществлению любого из вышеупомянутых преступлений, несут ответственность за все действия, совершенные любыми лицами с целью осуществления такого плана».

«...Тот факт, что подсудимый действовал по распоряжению правительства или приказу начальника, не освобождает его от наказания, но может рассматриваться как довод для смягчения наказания, если Трибунал признает, что этого требуют интересы правосудия».

«...сущность Устава состоит в том, что индивидуумы имеют международные обязанности, стоящие выше национального долга, налагаемого каждым государством».

нены с генератором, приводимым в действие вьетнамским солдатом. Машина вырабатывает электрический ток, который сотрясает и сжигает пленного».

(Беверли Дип, *«Нью-Йорк геральд трибюн»*, 25 апреля 1965 года.)

«К 12 часам прибыл вертолет, и полуголый морской пехотинец, сидевший под тентом, объявил, что они направляются в Дананг... Молодой рыжий пулеметчик, сидевший впереди, жевал шоколадное печенье из своего пайка. Ударом ноги он отшвырнул связку проволоки. «Мы сопровождали нуонгов, это видно по проволоке».— «Как это?» — спросили мы. Нуонги — китайские наемники с Формозы... «Им всегда нужна проволока для пленных,— объяснил парнишка.— Вы не знали? Они ловят вьетконговца и заставляют приложить руки к щеке, потом они продевают проволоку через другую щеку и руку. Оба конца проволоки наматывают на палки. Вы никогда не видели этого? Стоит посмотреть, как спокойно держатся пленные в вертолете, когда упакованы таким образом».

(Джимми Бреслин, *«Нью-Йорк трибюн»*, 29 сентября 1965 года.)

«К вискам прикладывают шелковые чулки, наполненные песком, и привязывают людей к электрогенераторам».

(*«Санди миррор»*, Лондон, 4 апреля 1965 года.)

11 декабря 1946 года. По предложению Соединенных Штатов Устав и приговор Нюрнбергского трибунала и провозглашенные им принципы международного права были вновь и единогласно подтверждены в Резолюции (2) (95) Генеральной Ассамблеи Объединенных Наций.

«Нормы международного права входят как неотъемлемая часть в наше право». (Решение Верховного суда США, 1957 год.)

«Другая система, широко применяемая для того, чтобы заставить пленных говорить, состоит в том, что у них вырывают ногти или на глазах у одних отрезают пальцы, уши или половые органы у других».

(Беверли Дип, *«Нью-Йорк геральд трибюн»*, 25 апреля 1965 года.)

«Если вы начнете переживать из-за убийств женщин и детишек, вы меньше чем за неделю превратитесь в сумасшедшего».

(Американский летчик, *«Ландон дейли мейл»*, 28 июня 1965 года.)

II

АМЕРИКАНЦЫ ПОМНЯТ НЮРНБЕРГСКИЙ УСТАВ...

В конце 1961 года Дэвид Генри Митчел, в возрасте 18 лет, учащийся университета Браун, проживающий в Нью-Ханаане в Коннектикуте, получил повестку из местного призывного пункта. Два месяца спустя Митчел послал на призывной пункт письмо, в котором отказывался от воинской повинности. В течение последующих двух лет молодого человека неоднократно призывали к порядку, но он каждый раз отвечал, что не может согласиться на воинскую повинность.

18 мая 1964 года Митчел получил повестку, предписывающую ему явиться для занесения в списки 10 июня 1964 года. Вместо того чтобы подчиниться, он написал властям: «Я прекрасно знаю, что мог бы найти способы избавиться от воинской повинности, но меня это не устраивает. Я не намерен без сопротивления позволить вовлечь себя в рекрутскую систему. Моя цель — бороться против этой системы... Я сопротивляюсь не потому, что она угрожает лично мне, но потому, что она представляет угрозу для мира и жизни на земле. Воинская повинность — вот в данном случае причина зла, как это показывают действия американского милитаризма во всем мире... Я отказываюсь сотрудничать с ним каким бы то ни было образом...»

25 сентября, 10 ноября и 14 декабря призывной пункт послал новые повестки Митчелу, которые тот оставил без внимания.

ПОТОМУ ЧТО ОНИ НАРУШАЮТ ЕГО ВО ВЬЕТНАМЕ

«На плоскогорьях Центрального Вьетнама, где потеря урожая может привести к голоду среди партизан, американские самолеты опрыскивали землю химикалиями, чтобы уничтожить листья на деревьях и кустарниках вдоль дороги мыса Сен-Жак. Две недели спустя листья начали опадать, так что партизаны лишились прикрытия, необходимого для засады. Воздушные наблюдатели донесли, что деревья изменились в цвете. Один крестьянин жаловался американским властям, что химикалии уничтожили плантации каучуковых деревьев».

(Гомер Бигарт, *«Нью-Йорк таймс»*, 24 января 1962 года.)

«Мы поставляем взрывчатое вещество на фосфорной основе, применяемое как артиллерией, так и бомбардировщиками; при взрыве оно образует белое облако, сжигающее все, к чему прикасается».

(*«Депеш ассошиэйтед пресс»*, Сайгон, 21 марта 1964 года.)

«Теоретически укрепленные деревни должны помешать проникновению вьетконговцев, но колючая проволока закрывает не только вход, но и выход. Вьетнамских крестьян под угрозой винтовок загоняют в это подобие концлагерей. Их дома, их урожай, их имущество сжигают. В провинции Хиен-туонг семерых сельских жителей вывели на площадь. Им вспороли животы, вырезали печень и выставили на обозрение. Этими жертвами были женщины и дети. В другой деревне двенадцать матерей были обезглав-

лены на глазах у своих соотечественников. Еще в одной деревне правительственные войска созвали на площадь беременных женщин под тем предлогом, будто бы их собираются чествовать. Им вскрыли животы и извлекли младенцев, которые должны были родиться».

(*«Даллас морнинг ньюс»*, 1 января 1963 года.)

«Я отказываюсь поддерживать свое правительство не потому, что я пацифист или не чувствую своей связи с окружающим, но напротив, именно потому, что все это непосредственно касается меня, и потому, что я осуждаю Соединенные Штаты за преступления против мира и человечности. Я отказываюсь участвовать в каком бы то ни было вторжении или в блокаде Кореи, Кубы, Вьетнама и содействовать росту атомной угрозы, которая благодаря нам нависла над миром».

(Дэвид Митчел, 10 июня 1964 года).

«Я хотел бы, чтобы они (американские студенты) продемонстрировали такую же фанатическую приверженность к политической системе Соединенных Штатов, какую проявляли молодые нацисты к своему режиму во время войны».

(Из выступления президента Джонсона перед американскими студентами, *«Нью-Йорк таймс»*, 6 февраля 1965 года.)

«Сформировалось новое поколение американцев, которое мы почти не знаем и к которому нам уже пора привыкнуть. У этих молодых людей от 18 до 19 лет стальные нервы, и они слишком щедро наделены тем качеством, которое обозначают словами «инстинкт убийцы». Эти парни, кажется, в восторге от возможности «бить» вьетнамцев».

(Уоррен Роджерс, *«Нью-Йорк джорнел Американ»*, 16 сентября 1965 года.)

14 июня 1965 года Митчелу было предъявлено обвинение. Он не признал себя виновным и попросил передать дело на рассмотрение суда присяжных.

«В провинции Дельты у одной женщины сожжены напалмом обе руки, а также веки, так что она не в состоянии закрыть глаза.

Когда наступает время сна, родные покрывают ей голову одеялом. Двое ее детей погибли в апреле от бомбежки, во время которой сама она была ранена, на ее глазах убили еще пятерых детей. Она бесстрастно заявила одному американцу, что «чаще других погибают дети, потому что у них нет опыта и они не умеют ложиться под прикрытие плотин на рисовых плантациях».

(Чарльз Мор, *«Нью-Йорк таймс»*, 5 сентября 1965 года).

Процесс Дэвида Митчела проходил с 13 по 15 сентября 1965 года; молодой человек защищался, ссылаясь на то, что Нюрнбергский Устав и процесс недвусмысленно показали, что индивидуум несет ответственность на основании международного права, каковы бы ни были приказы и законы его страны.

Судья назвал аргументы, приводимые Митчелом, «вздором» и говорил о «дегенеративной подрывной деятельности»; он заявил, что Нюрнбергским решениям нет «места» в подобном процессе. Митчел был приговорен к пяти годам тюрьмы и штрафу в размере пяти тысяч долларов.

III

ЧЕМУ ЖЕ ЗДЕСЬ НЕТ МЕСТА: ТОЧКЕ ЗРЕНИЯ СУДЬИ ДЖЕКСОНА?..

«Мы не должны судить человека, если не готовы выслушать все, что он имеет сказать в свою защиту, и дать ему возможность представить показания других свидетелей».

(Из выступления Джексона, члена Верховного суда США, в Американском обществе международного права.)

ИЛИ ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА?

«Был случай, когда двух пленных вьетконговцев допрашивали на борту самолета, направлявшегося к Сайгону. Когда первый отказался отвечать, его выбросили из самолета на высоте тысяча метров».

(Беверли Дип, *«Нью-Йорк геральд трибюн»*, 25 апреля 1965 года.)

ГДЕ ВЫРОЖДЕНИЕ: В РАЗМЫШЛЕНИЯХ МИТЧЕЛА?..

«Миллионы людей считают, что гораздо легче согласиться на воинскую повинность, гораздо легче согласиться на атомную войну и даже гораздо легче согласиться умереть, чем навлечь на себя неприятности политического характера».

(Д. Митчел)

ЧТО ЖЕ «ВЗДОР»: ЗАЯВЛЕНИЯ МИТЧЕЛА?..

«Я, конечно, никогда не согласился бы работать в нацистском концентрационном лагере, даже если б имел возможность сказать в свое оправдание, что мне не приходится обслуживать печи или газовые камеры, а только заниматься канцелярской работой или нести караул».

(Д. Митчел)

ИЛИ В ОПЕРАЦИЯХ МОРСКОЙ ПЕХОТЫ?

«В ходе операции «Горящая земля» морская пехота сожгла урожай, подожгла или взорвала динамитом жилища».

(*«Геральд трибюн»*, 23 мая 1965 года.)

ИЛИ СУДЬБА ДЕТЕЙ?

«Что может быть ужаснее отчаяния родителей, присутствующих при агонии своих маленьких детей, отравленных рвотными газами, примененными по приказу нашего военного командования? Люди слабые, и молодые и старые, не способны перенести шок, вызванный этим будто бы «человечным» оружием Они корчатся в страшных судорогах, пока не обессилеют, синеют, чернеют и умирают».

(Дэвид Хилдинг, доктор медицины, профессор медицинского факультета Йельского университета, цитируется в *«Нью-Йорк таймс»*, 26 марта 1965 года.)

IV

После апелляции приговор был отменен и дело передано на новое рассмотрение в другом составе суда. В постановлении указывалось также, что Митчел имел право выбрать линию защиты: допускались ссылки на Нюрнберг.

ТОЛЬКО ОДИН МИТЧЕЛ?

«Мама, мне пришлось убить женщину и младенца. Мы обыскивали мертвых вьетконговцев, когда жена того, что я обыскивал, выбежала из пещеры .. Я выстрелил в нее. Ружье у меня автоматическое, поэтому прежде, чем я успел что-либо сообразить, я уже выстрелил шесть раз. Четыре пули попали в женщину, а две другие рикошетом ударились в скалу и поразили младенца. Я буквально заболел. Младенцу было не больше двух месяцев. Клянусь богом, эта страна хуже, чем ад. Почему меня заставляют убивать женщин и детей?»

(Капрал Ронни Уилсон, 20 лет, корпус морской пехоты, из письма к матери.)

ДРУГОЙ СУДЬЯ ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО НЮРНБЕРГСКИЕ РЕШЕНИЯ ЗДЕСЬ НЕПРИМЕНИМЫ

Второй процесс начался 15 марта 1966 года. Он закончился на другой день. Хотя судья принял ссылки на Нюрнберг и согласился спросить будущих присяжных, нет ли у них предубеждения против тех, кто опирается на Нюрнбергские решения, он не счел нужным выслушать свидетельские показания или доказательства, представленные свидетелями, и отказался применить Нюрнбергские решения, как «не относящиеся к делу».

«НЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К ДЕЛУ»?

«Вьетконговские бойцы находятся под защитой Женевского соглашения, так же как и американские солдаты. Следовало решительно протестовать, когда первые военнопленные вьетконговцы были убиты, когда

ТОЛЬКО ПО ВИДИМОСТИ

«Правительство рассматривает вьетконговские больницы как мишени для наземных и воздушных атак; когда южновьетнамское командование приказывает совершить воздушный налет на медицинский центр, его

их подвергли пыткам, когда американская армия начала разрушать больницы и препятствовать доставке лекарств».

(Ганс Хенле, бывший начальник информационной службы Международного Комитета Красного Креста в Женеве, *«Нью-Йорк таймс»*, международный выпуск, 14 октября 1965 года.)

«Как ученый и отец пяти детей, я оплакиваю извращение техники, которое позволяет армии использовать практически беззащитную страну в качестве лаборатории, где испытывается оружие против повстанцев. По сути подобные действия ничем не отличаются от тех, которые совершали нацистские врачи, ставившие опыты на несчастных жертвах концлагерей. Если мы будем продолжать, мы потеряем не только нашу душу, но и наше положение в мире, потому что нельзя защищать принципы, если мы сами полностью лишены их».

(Доктор Том Стоньер, физик-атомщик, *«Нью-Йорк таймс»*, 25 марта 1965 года.)

подвергают бомбардировке, даже если там находятся американцы. На вопрос, одобряет ли американское командование эти атаки, одно лицо, которое можно считать официальным выразителем позиции Соединенных Штатов, ответило: «У нас нет определенной политики по отношению к Вьетнаму»; «самолеты военно-воздушных сил Вьетнама часто пилотируются американцами».

(«Нью-Йорк таймс», 25 июля 1962 года.)

«Иногда военнопленных кастрируют или ослепляют.

Во многих случаях подозрительных вьетконговцев после допроса привязывают к броневику и волокут по рисовой плантации. Это всегда приводит к самой мучительной смерти».

(Малькольм Браун *«Новое лицо войны»*. Бобс-Меррил К°, 1965 год.)

КТО ВИНОВАТ?

«Мы отвергаем парадокс, согласно которому те, что обладают наибольшей, абсолютной властью, несут наименьшую ответственность перед законом... Доктрина неприкосновенности главы государства обычно сопровождается другой доктриной, согласно которой приказы, данные начальником, охраняют того, кто их выполняет. Заметим, что, комбинируя эти два тезиса, можно доказать, что никто не виноват».

(Джексон, судья Верховного суда, доклад президенту Трумэну, 1945 год.)

«Я хотел бы, чтобы они (американские студенты) продемонстрировали такую же фанатическую приверженность к политической системе Соединенных Штатов, какую проявляли молодые нацисты к своему режиму во время войны».

(Из выступления президента Джонсона перед американскими студентами, *«Нью-Йорк таймс»*, 6 февраля 1965 года.)

«Мне не нравится бомбить деревни. Знаешь, ведь бомбы поражают и женщин и детей Однако нужно верить в благородство дела, которому служишь, в его необходимость».

(Из ответов американского летчика корреспонденту *«Нью-Йорк таймс»* 6 июля 1965 года.)

«Большинство из вас знает, что такое 100 трупов, лежащих рядом, или 500, или 1000 лежащих трупов. Выдержать это до конца и при этом, за исключением отдельных случаев проявления человеческой слабости, остаться порядочными людьми. Вот что закаляло нас. Это — славная страница нашей истории, которая не написана и которая никогда не будет написана...» (Из выступления рейхсфюрера Гиммлера перед группой руководителей СС в Познани 4 октября 1943 года)

Процесс Соединенных Штатов против Дэвида Генри Митчела закончится в Верховном суде. Невозможно предвидеть решение судей. Но одно ясно: какова бы ни была юридическая фразеология, к которой они прибегнут, их приговор подтвердит справедливость либо речи Джонсона, призывающего американскую молодежь гореть тем же фанатизмом, что нацисты, либо речи Дэвида Генри Митчела, призывающего американскую молодежь гореть священным гневом против уничтожения людей.

ГЮНТЕР АНДЕРС

РАСПАХНУТЬ ЖЕЛЕЗНЫЕ ВОРОТА

А. Франгяс. Железные ворота. Перевод с греческого Н. Подземской. Предисловие П. Антеоса. Редактор Е. Кострова. Москва, «Прогресс», 1965. 423 стр.

Война окончена. Враг изгнан. Но наступивший мир оказался совсем не таким, каким мечтали увидеть его тысячи греческих борцов Сопротивления. Их обезоружили. Им не позволили сделать свою страну подлинно свободной и демократической. Бывшие союзники англичане приложили все усилия к тому, чтобы не выпустить Грецию из-под своего влияния. И удел вчерашних победителей — бедность, безработица, разочарование. Этот период, наступивший после первого поражения демократического движения Греции, избрал для первого своего романа «Люди и дома» (1955) Андреас Франгяс.

Его герои — люди рабочего предместья, оказавшие в свое время вооруженное сопротивление оккупантам. Словно памятники данного здесь сражения, стоят у моста обугливщиеся стены сожженных гитлеровцами домов. Под рухнувшими балками этих домов, под огнем вражеских автоматов погибли многие участники боя. А где те, что остались в живых? Один только что вернулся из плена, другой вот уже много месяцев не может найти работу, третий, погнавшись за удачей, вовлечен в грязные махинации и кончает тюрьмой. Сражавшиеся бок о бок люди оказались теперь разобщенными, и никому из них не удается в одиночку справиться со своей бедой. Поиски выхода из тупика вновь сводят их вместе на дороге борьбы.

Франгяс простился со своими героями в 1946 г., на первой стадии этой борьбы, но читатель, получивший роман в 1955 г., знал, что им предстоит пережить еще одно страшное поражение, что многие из них погибнут в огне гражданской войны 1947—1949 гг., многие пройдут через тюрьмы и концлагеря, а потом вновь столкнутся с безработицей, нищетой, отчаянием.

В этот период, последовавший за вторым поражением демократического движения в Греции, Франгяс знакомит нас с героями второго своего романа «Железные ворота» (1962). Атмосфера романа, затронутые в нем проблемы сродни первому, однако значительно глубже и драматичнее. И значительно отчетливее выступает главный вопрос: где вы, бывшие борцы Сопротивления? Как узнать вас в шумной толпе, среди озабоченных торопливых прохожих? Как за блеском и роскошью витрин, за внешним лоском столицы увидеть ваше горе, вашу растерянность, ваши сомнения? Помните ли вы, за что боролись?

Сопротивление стало теперь далеким прошлым, и для некоторых героев Франгяса воспоминания о нем потускнели, а то и совсем погасли. Их погасила ежедневная изнурительная борьба за кусок хлеба и теплый угол, за хоть сколько-нибудь прочное место в крайне неустойчивой, ненадежной жизни, за которой еле-еле удается поспевать. В поисках выгодной сделки мечется по городу Андонис. Он уволен с работы за политические убеждения и теперь дает консультации коммерсантам, служит их посредником в переговорах с фирмами. Угроза долговой тюрьмы висит над ним, как дамоклов меч, и Андонис все чаще идет на компромисс. Однако отступление дается ему нелегко. Он помнит своих друзей по молодежной группе Сопротивления, помнит уличный бой, в котором был ранен, помнит гитлеровский лагерь Хайдари. «Вы полагаете, раз я занялся торговлей консервами и прочими дурацкими делами, то я забыл старых друзей и мои идеалы? Теперь, видите ли, каждый старается заработать себе хотя бы на пропитание. Это не капитуляция... Мо-

жет быть, вы считаете, что это позор? Иной раз я впадаю в отчаяние... Ведь я, воспитанный на светлых идеях, с детства вместе с друзьями вынашивал изумительную мечту о новом обществе и боролся за это, как мог, а вот теперь и я бегаю целыми днями в погоне за консервами, за удачей...» Память о прошлом еще жива, и поэтому Андонис проявляет иногда не понятную для его клиентов донкихотскую щепетильность, поэтому он тешит себя иллюзорными теориями «честного предпринимательства», поэтому он не хочет стать совладельцем мастерской — быть хозяином ему не по душе. И в конце концов прошлое побеждает. Отказавшись уволить рабочих, Андонис покидает мастерскую.

Эволюция характера Андониса с различными вариациями повторяется во многих образах романа. «Тогда мы стремились быть безупречными во всем»,— вспоминая о Сопротивлении, говорит наборщик Статис. Работая в подпольной типографии, он не имел права выходить в город и подчинился этому суровому требованию конспирации, пожертвовав своим личным счастьем. Теперь он уже не стремится быть безупречным, им владеет глубокая апатия, неуверенность в себе, неосознанный страх. Однако в критический момент Статис находит в себе силы преодолеть страх и дает убежище скрывающемуся Ангелосу.

В судьбе Ангелоса автор сосредоточил самые резкие противоречия, из которых складывалась в послевоенные годы судьба поколения Сопротивления. Инженер-строитель, лишенный возможности созидать, борец, прошедший через два поражения и оказавшийся вне борьбы. Семь лет назад, в разгар террора, Ангелоса по ложному обвинению заочно приговорили к смерти. Все эти годы он скрывается, и постепенно страх быть схваченным парализует его волю. Потеряв связь с товарищами по организации и фактически исключив себя из жизни, он как бы приводит в исполнение смертный приговор. Имеет ли он право

по-прежнему считаться борцом? Мучительно размышляя над этим вопросом, Ангелос не хочет себя обманывать: борцом называется тот, кто борется; он же, Ангелос, бездействует. Игра в карты с укрывавшим его майором, решение геометрических задач — это лишь способ убить время. И только обратившись к настоящему делу, успешно завершив проект, который достал для него Андонис, Ангелос вновь обретает веру в себя. Он решает покинуть тайное убежище, распахнуть железные ворота, отгораживавшие его от жизни. Он будет работать и бороться.

На образах Андониса, Статиса, Ангелоса и многих других героев романа Франгяс прослеживает судьбы бывших борцов Сопротивления, их путь, полный лишений, испытаний и жертв. Плодами же их победы наслаждаются их бывшие враги, такие, как Тодорос, предатель и пособник оккупантов. Возмездие угрожает не ему, виновнику гибели многих патриотов, а Ангелосу, который однажды спас его от стихийной кары народа, а потом им же был оклеветан. Позорное прошлое не отягощает совесть Тодороса и не мешает ему богатеть. Он чувствует себя хозяином положения и, совершенствуя методы, занимается старым своим ремеслом — разбоем. Так он прибирает к рукам мастерскую Евтихиса.

Евтихис—пожалуй, самый яркий и живой из персонажей романа. К Сопротивлению он не имел никакого отношения. В те годы он был совсем мальчишкой и, чтобы не умереть с голода, воровал продукты с немецких грузовиков. Жизнь обошлась с ним сурово, и, пройдя через огонь и воду, Евтихис вырос в бойкого, независимого, хваткого молодого человека. На пути к своей цели Евтихис не щадит никого. Мать и младшего брата он выгоняет из дому. Разоряет отца своей невесты на приданом. Став хозяином мастерской, безжалостно эксплуатирует своих бывших друзей. Но наряду со всеми этими качествами, наряду с грубостью, порою садистской, в Евтихисе уживаются своеобразное душевное благородство и чувство справедливости. Очень трогательно его отношение к Эльпиде, сестре друга, с которым они в детстве воровали немецкие продукты и которого раздавил немецкий грузовик. Но даже Евтихис, человек предприимчивый и на все готовый, не может устоять под натиском жизненных трудностей. Его мастерская фактически переходит к Тодоросу, и для Евтихиса это начало падения.

Ангелос, его невеста Измини и Андонис вместе выходят за железные ворота дома, служившего Ангелосу добровольной тюрьмой. Ни у кого из них нет сомнения в том, что только на пути борьбы они смогут остаться верными себе и своему прошлому, отстоять свои права и свое достоинство. И в этой вере — оптимизм Франгяса. Пусть жизнь разбросала бывших друзей по оружию, пусть они на какое-то время потеряли дорогу, они оправятся от перенесенных испытаний и вновь встанут рядом.

«Люди и дома» и «Железные ворота» Франгяса, несмотря на хронологические про-

белы, создают довольно полное представление о послевоенной Греции, о ее победах и поражениях, разочарованиях и надеждах, о трудной судьбе лучших ее сыновей и дочерей. И нельзя не порадоваться тому, что роман «Железные ворота», одно из интереснейших произведений послевоенной греческой прозы, увидел свет в переводе на русский язык. Будем надеяться, что это только начало нашего знакомства с А. Франгясом, очень честным, серьезным и вдумчивым художником, редко, но глубоко радующим читателя своими книгами.

С. ИЛЬИНСКАЯ

СУМАН, ДОЧЬ ТАВАИФ...

Разия Саджад Захир. Дочь куртизанки. Роман. Перевод с урду А. Сухочева. Москва, «Прогресс», 1965. 180 стр.

С этой девушкой по имени Суман встречаемся мы в старой полуразрушенной усадьбе на окраине Лакнау среди разношерстного и разноплеменного городского плебса. Кто она, как попала сюда и почему так много тревожной тоски в ее больших испуганных глазах?

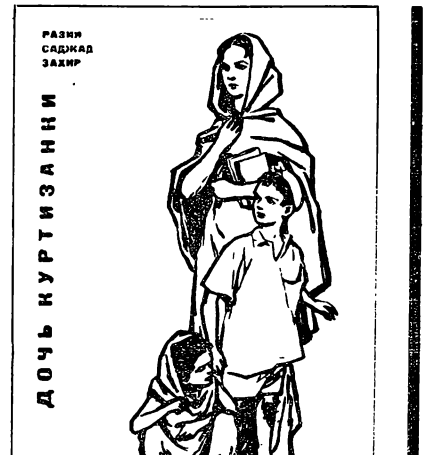
Известная индийская писательница Разия Саджад Захир, сделавшая Суман героиней своего романа «Дочь куртизанки», историю жизни Суман прослеживает издалека — с детства. Дочь таваиф — куртизанки... Это страшно, ибо единственный путь для Суман — тот, по которому шла ее мать. Проклятие, лежащее на среде, к которой она принадлежит по рождению,— это и ее проклятие. Правда, заставить ее быть «подругой богатых мужчин» никто не может: не те времена. Оказывается, на свете немало людей, которые совершенно точно знают, что так быть не должно...

И Суман, надо сказать, везет на встречи с такими вот хорошими людьми. Старый учитель Рам Дин (он первый постарался внушить Суман, что «дочь куртизанки не обязательно сама должна стать куртизанкой, что благородство заложено в самой натуре человека, а не достается ему в наследство...»), вдова Асаф, предоставившая ей убежище в своей обедневшей усадьбе, ее сын, коммунист Юсуф, другой коммунист — доктор Рафик — это они защитили Суман. Много пережившая, много выстрадавшая, чуть было не изверившаяся в людях (в доме матери, да и потом в приюте для бездомных женщин ей всякие встречались — подлецы по преимуществу), Суман находит, наконец, и свое место в жизни.

Страшно подумать, что сталось бы с ней, если б происходило все это лет, скажем, двадцать—двадцать пять назад. Впрочем, это совершенно отчетливо можно себе представить: на втором плане ведет писательница рассказ о другой таваиф — Сохни. Она гибнет, зло и безжалостно уничтоженная людьми. В известной мере Сохни сама виновата в своей гибели: ту плату, что требовали от нее за возможность носить воздушные сари и богатые украшения, она не посчитала слишком высокой, как Суман. И все же вина ее ничтожна по сравнению с виной тех, кто ее погубил. Р. С. Захир говорит: не только в том дело, что и таваиф, мол, человек, но ведь и те, кто ими пользуется, тоже люди! Люди, следовательно, они должны советоваться постоянно со своей совестью. Обстоятельство важности первостепенной: в нем ключ к разгадке того, как понимает «проблему таваиф» писательница и каков, по ее мнению, путь разрешения этой проблемы: до тех пор, пока общество будет продолжать относиться к таваиф (и не только к таваиф) как к отверженным, «они все равно будут страдать от сознания собственной неполноценности и не сумеют противостоять презрительному к ним отношению».

Р. С. Захир выписывает образ Суман тонко и с большим тактом. Чувство меры не изменяет ей, и Суман отнюдь не является ходячей добродетелью. Очень важно и то, что автор романа не стремится вызвать в читателях жалость к Суман, и хотя временами нам ее все-таки по-человечески жалко, более сильное чувство завладевает нами — уважение.

Увлеченные борьбой девушки за свою честь и человеческое достоинство, мы поначалу упускаем из виду одного героя. Имя его — Салман. Он, так же как и невеста Юсуфа Нафис, да и сам Юсуф,— из аристократической семьи, но человек он уже новый. И хотя Салман еще не пришел в тот лагерь, куда пришел Юсуф, а может быть, вообще туда не придет, но и в свой «высший мир» он уже не вернется. Не сразу можно разгадать в этом озорнике и зубоскале юношу честного, отзывчивого и умного, который шутками и остротами только защищает себя от врагов. Вот он-то и явился тем самым человеком, что посмотрел на



Суман просто как на молодую и красивую девушку, как на чистое, способное полюбить существо. Будет ли с ним счастлива Суман? Хочется верить.

Образы Суман и Салмана выглядят особенно привлекательно, если сопоставить их с образами Нафис и молодого, способного подлеца Джавида. Этот разорившийся аристократ выписан резко и, пожалуй, излишне прямолинейно. Каждое его слово, каждый поступок призваны охарактеризовать его как циника и жестокого себялюбца, ни перед чем не останавливающегося для достижения своей цели. А цель его на данном этапе — Нафис, точнее, деньги ее папы, богатого землевладельца.

Гораздо сложнее и многограннее сама Нафис. По природе своей она очень неплохая девушка. Многое в той жизни и обществе, что ее окружает, у нее вызывает отвращение, но никуда из этого мира Нафис все же не уйдет: она слишком безвольна, слишком нерешительна. Тот круг общества, где имеет значение только одно: есть ли у человека деньги, или оных у него нет, присосал ее к себе тысячами щупалец и не отпускает. Несмотря даже на то, что этот мир уже рушится. Веками создававшиеся порядки и представления медленно, но верно уходят в прошлое, и время неумолимо раскалывает мир Нафис на полярные части. Отмирает помещичье землевладение, готовится закон, по которому «на службу станут принимать все касты». Так, выходцы из одной аристократической среды—Нафис и Юсуф—оказываются на разных полюсах общества. Писательница оставляет Юсуфа и Нафис так и не сумевшими побороть преграды, воздвигнутые между ними.

Чрезвычайно важно для нас то обстоятельство, что Разия Саджад Захир показала нам в своем романе индийских коммунистов. Доктор Рафик и Юсуф — коммунисты по убеждению, по духу. Характерно, что оба они литераторы, так же как и автор романа «Дочь куртизанки»,— члены Ассоциации прогрессивных писателей Индии. Вне всякого сомнения, мысли доктора Рафика о роли писателя и писательской организации в общественной жизни страны — «разбудить трудящийся класс» — мысли самой Разии Саджад Захир.

ВАЛЕРИЙ МАКИЕВ

ЗЕЛЕНЕЮЩЕЕ ДРЕВО ЖИЗНИ

Айрис Мэрдок. Под сетью. Перевод с английского М. Лорие. Послесловие Д. Шестакова. Редактор М. Кристальная. Москва, «Прогресс», 1966. 317 стр.

Когда писатель знакомит нас со своим героем, это нередко делается для того, чтобы ввести нас в мир книги: показать, как реагирует герой на жизненные обстоятельства, как он оказывается участником тех или иных событий, как группируются вокруг него другие персонажи. Личность самого героя, его взгляды, привязанности в значительном числе случаев — лишь побочный результат интереса автора к обступающей героя жизни. В романах Сноу, например, предметом внимания становятся различные круги английской интеллигенции: ученые, университетские профессора, государственные служащие. Словом, это то, что когда-то называлось «романом нравов». Что касается Айрис Мэрдок, то цель ее первого романа «Под сетью» — показать лишь один «нрав»: английского интеллигента-гуманитария, лондонского литератора-поденщика Джейка Донагью.

Герой писательницы не будет незнакомцем для русского читателя. И Чарльз Ламли из «Спеши вниз» Уэйна, и Джим Диксон из «Счастливчика Джима» Эмиса могут принять его в свое общество. Собственно, так и было: все три книги вышли приблизительно в одно время — в начале пятидесятых годов, и многие критики причислили их героев к категории людей, чей голос раздался потом со сцены в нашумевшей пьесе Осборна. Но Мэрдок все же стоит особняком. Для Уэйна и Эмиса главным вопросом остается, *как* происходит столкновение их героя с окружающими; гримасы Джима Диксона потому и смешны, что мы можем лишь догадываться, что скрыто за ними. Роман Мэрдок—это прежде всего ответ на вопрос, *что* составляет предмет размышлений, забот и интересов ее героя.

Приключения Джейка Донагью служат как бы фотографическим «проявителем» его интеллектуального ландшафта. А в том, что такой процесс «проявления» происходит не только для читателя, но и для самого героя, заложен драматический ключ романа.

Чтобы разобраться в предмете размышлений современного западного интеллигента, не обязательно тут же обращаться к новейшим теориям и концепциям. Мы знаем, правда, что Айрис Мэрдок — автор книги о Сартре и преподаватель философии в Оксфорде — приверженка экзистенциалистской философии. Но, как говорил Ленин в письме к Горькому, «художник может почерпнуть для себя много полезного во всякой философии». Вопросы, которые занимают Мэрдок в этом романе: отчуждение сознания от бытия, их противопоставление, ставились на протяжении всего нового (то есть буржуазного) времени. Особенно остра была эта проблема для романтиков. И Мэрдок в своем первом романе гораздо ближе к романтическому, чем к последовательно экзистенциалистскому взгляду, более полно выраженному в ее последующем творчестве.

Еще Гамлет и Фауст, стоящие у истоков нашей эпохи, хотели прорваться к действию и живой жизни *из-под сети* мертвых слов и абстракций. В этом смысле их можно назвать предшественниками тех интеллигентов сегодняшнего дня, кто подобно Джейку Донагью серьезно задумался о своем месте в мире.

В наше время предельного разделения труда определенному слою интеллигентов

остается подвластным лишь то, благодаря чему они существуют в обществе,— «слова... слова... слова...» Поэтому самым непосредственным образом относится к роману замечание гетевского Мефистофеля, зовущего от абстракций к жизни:

Во всем подслушать жизнь стремясь,
Хотят явленья обездушить,
Забыв, что если в них нарушить
Одушевляющую связь,
То больше нечего и слушать.

Поисками этой «одушевляющей связи» и оборачиваются приключения Джейка, положенные в сюжет романа. «Одушевляющей связью» кажется ему любовь к Анне Квентин, «существу бездонному», ибо «назвать человека неисчерпаемым — значит попросту дать определение любви».

С этим чувством оказывается соотнесенной целая теория, подобная тютчевскому «мысль изреченная есть ложь». Она принадлежит киномагнату Хьюго Белфаундеру, которого, как и Анну, Джейк ищет на протяжении всего романа. Хьюго считает, что «классификация уже немыслима, поскольку каждый предмет видится как единственный и неповторимый». Теоретизирование, слова убивают ощущение жизни, или, опять обращаясь к «Фаусту»:

Бессодержательную речь
Всегда легко в слова облечь.
Из голых слов, ярясь и споря,
Возводят здания теорий.

Но дело не в демонстрации различных взглядов и не в полемике или соглашении главного героя с тезисом Хьюго «достичь правды в молчании». Целью является прежде всего правда, а не молчание, и из этого вытекает вопрос творчества, и не только художественного («художник знает, что любая теория — смерть»), а творчества, понимаемого в широком смысле слова: как жить, как творить свою жизнь.

Джейк, каким мы видим его в начале книги, занимается переводом второстепенных французских романов, чтобы, продавая свой труд, не вкладывать себя в него полностью; он не отдается целиком любви («слишком большая близость меня страшит»), чтобы «не прекращать беседы с самим собой». С нерешенными проблемами Джейк снова сталкивается, вновь встретив Анну, которую любил раньше, и увидев, что она под властью идей Хьюго (ее театр пантомимы ставит своей целью приблизиться к правде через молчание, таящее в себе много оттенков и возможностей).

Дальнейшие поиски Анны и Хьюго — это эпизоды из своеобразного «пути паломника» к решению вопроса «как жить?». Герой «Спеши вниз» Уэйна, решив с самого начала вырваться из общества, оказывается к концу своих скитаний в «золотой клетке». Джейк Донагью на протяжении всей книги ускользает из клеток и ловушек. Вот, взламывая замок, друзья освобождают его из квартиры сестры Анны, кинозвезды Сэди, где он был заперт; вот сам он ломает клетку, где сидит Мистер Марс, собака-кинозвезда; вот он — и это самое главное — отказывается от выгодной синекуры во вновь создаваемой кинокомпании. Джейк не согласился войти в позолоченную клетку, приготовленную ему миром корысти и махинаций, миром преуспевающего букмейкера Сэмми Старфилда и Сэди. А ведь именно к этому вели его безответственность и склонность к компромиссам.

Выбрать свой собственный путь учит Джейка любовь к Анне, образ которой оказался для него связанным с теорией молчания Хьюго Белфаундера, и, конечно же, добрый и бессловесный (что тоже важно) Мистер Марс. Ибо, как отмечает в своем послесловии к роману Д. Шестаков, Мэрдок очень любит вводить в повествование животных — они служат воплощением теплоты жизни (согреваясь теплом Марса, Джейк ночует на уличной скамейке), и в то же время их бесхитростное молчание хранит в себе ее тайну. Жизнь, как любовь, как молчание, неисчерпаема, и только при творческом отношении к ней можно это почувствовать. Поэтому Джейк отбрасывает компромиссы, которыми раньше покупал свою внутреннюю свободу, решает оставить перевод и всерьез заняться писательством. Выбор самостоятельной жизни и отказ от всего, что хоть как-то лишает ее творчества и заставляет изменять самому себе, сочетается у Джейка с признанием необходимости труда для общества. Но выбранная им работа санитара в больнице все же не является предательством своего пути, не предполагает продажи своих *творческих* способностей, как это происходило с Джейком, когда он переводил романы Жана-Пьера Бретейля, как это могло бы случиться, прими он денежное предложение стать сценаристом в новой кинокомпании. (Кстати, этот же мотив работы в больнице есть и у Уэйна.)

Таков моральный итог «паломничества» Джейка Донагью, а различные эпизоды романа служат ступенями внутренней самореализации героя, или, как упоминалось выше, его «проявления». Что процесс этот внутренний, видно хотя бы из того, как заканчивается роман: мы прощаемся с Джейком в той же самой лавочке в Сохо, откуда он начал свой путь. И даже сумма денег в его распоряжении остается после всех финансовых превратностей такой же, как и в исходной ситуации. Но в качестве напоминания о вынесенном уроке с ним остается Мистер Марс.

Все в романе подчинено общему замыслу: ни один эпизод, ни один персонаж не работают вхолостую. Вот Хьюго Белфаундер. Появившись лишь несколько раз, он отбрасывает тень на все повествование. Его незримое присутствие и странное обаяние, которое чувствует в нем Джейк, как бы материализуют идею об истинности несущего много возможностей молчания. Отсюда его увлечение пиротехникой, искусством недол-

говечным и потому, по его мнению, правдивым. Даже его богатство — тоже своеобразный намек на то, что оно сулит много возможностей. Вот Дэйв Гелман — логический позитивист, вот Лефти Тодд — сторонник политической активности, оба они занимают свое место в общем замысле, представляя различные жизненные позиции, среди которых ищет свой путь Джейк Донагью. Писательница строит повествование, где даже, казалось бы, случайные мелкие замечания — вроде того, что не следует бояться потерять вертикальное положение при борьбе дзю-до или при плавании,— служат определенным целям: в данном случае вертикальное положение осмысливается как атрибут прямостоящего мыслящего животного (человека), положение, покинув которое, выходишь из мира абстрактного мышления.

Но такая рационалистичность совершенно незаметна при чтении романа. Местами — это увлекательная комическая пикареска, местами — чуть грустное лирическое повествование. Джейк Донагью был сразу узнан и принят той средой, откуда вышли и Джим Диксон, и Чарльз Ламли, и Джимми Портер: «Мы встречали его, вместе с ним шатались по пивным, вместе с ним снимали на двоих крохотные квартирки»,— так писал известный английский критик Кеннет Тайнен, сближая героев Осборна и Мэрдок. Всякая возможная нарочитость тут же нейтрализуется юмором, оживляющим конструкцию романа, и многочисленными лирическими пассажами, в которых поэзия чувства одушевляет умозрительность идей. Кроме того, Мэрдок как бы оживляет декорации своей моральной драмы, ее герой все время находится в контакте со своим городом, он живет в нем: «Я оглядел дом с недоверчивым любопытством, и он словно ответил мне тем же». Описания Лондона с его церквами, пивными, автобусами вещественны и в то же время поэтичны. И уж совсем романтический оттенок придает писательница парижскому эпизоду. Увидев Анну в толпе, празднующей 14 июля, Джейк теряет ее (уже навсегда) в аллеях сада Тюильри — вместо Анны к нему оборачивается другая женщина. «Я пошатнулся, как от удара ножом. Белая блузка ввела меня в заблуждение. Минуту мы смотрели друг на друга, потом я отвернулся. Я прислонился к дереву. И тут же бросился бежать, поглядывая то вправо, то влево. Анна должна быть где-то рядом. Но в роще было очень темно. Через минуту я очутился у ступеней зала для игры в мяч. За железной решеткой горела огнями площадь Согласия, где в громкой мешанине из музыки и голосов танцевали тысячи людей. Шум этот разразился надо мною внезапно. Я отпрянул, будто мне швырнули в лицо щепотку перца, и ринулся назад, под деревья». И это не единственное проявление романтических мотивов романа — они подробно разобраны в послесловии к его русскому изданию.

Итак, Джейк Донагью не соблазнился подачками: «Дело моей жизни лежит в другой стороне. У меня есть своя дорога, и если я по ней не пойду, она так и останется нехоженой. Долго ли еще я буду медлить?» Мы покидаем его размышляющим о «чудесах нашей жизни», зная, что он честно будет смотреть ей в лицо.

А. ДОРОШЕВИЧ

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

МЯТЕЖНЫЕ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Jean Pierre Chabrol. Les Rebelles. Imprimé en France, Plon, 1965.

Французский роман не сдается. Ему пророчат гибель с обязательным исчезновением характера и расщеплением композиции. Но он упрямо собирается воедино, напрягает силы и, как звонкая тетива лука, выпускает в жизнь настоящих героев. Достойных наследников Жюльена Сореля, Мишеля Кретьена — наших современников, наших единомышленников, которые спрашивают и требуют, советуют и протестуют. Они самолюбивы и непокорны, как все герои своего времени, и имя, выбранное для них Жаном-Пьером Шабролем,— «Мятежные» — отвечает духу эпохи.

Большой писатель всегда ищет под внешним спокойствием скрытую энергию, отнимает у равнодушных право на беспечность, слабым придает уверенность, а тех, кому «все ясно», заставляет размышлять и волноваться. Не потому ли чем сложнее, запутаннее общественная ситуация, тем охотнее обращается роман к переломным, кризисным моментам жизни нации, чтобы обновить чувство ответственности, заново осмыслить критерии поведения человека перед лицом социальной или нравственной опасности. Когда на Европу надвигалась вторая мировая война, крупнейшие писатели Франции — Роллан, Мартен дю Гар, Арагон,— не сговариваясь, посвятили свои книги первой мировой: люди, будьте бдительны, снова грозит непоправимое. Когда французское правительство, едва отпраздновав торжество Освобождения, стало травить патриотов, спасших честь трехцветного флага, Арагон романом «Коммунисты» напомнил о «странной войне» и мужестве «партии расстрелянных». В тот час, под беспощадным прожектором истории, формировалось нынешнее поколение, нация обретала солидарность, человек — свое «я».

В маки́ приведет читателя второй том «Мятежных» *.

* Им станет, по свидетельству автора, роман «Оружие бодрствует».

Пока (время действия «Мятежных» — 1932—1933 гг.) мальчишки призыва сорокового года бегают в школу — по крутым горным тропинкам, босиком, как и пристало детям шахтеров из тихого севеннского городка Клергемора.

Для французского романа 60-х годов «Мятежные» — явление необычное. Необычна сюжетная коллизия: сцены борьбы рабочего класса Франции против тирании монополий давно не появлялись на страницах французского романа; необычна общая атмосфера нравственного спокойствия и уверенности; необычно, наконец, откровенное пренебрежение автора к формальному новаторству. Но вопреки подчеркнутой традиционности повествования (поначалу даже утомительно подробного и медлительного) книга Шаброля производит впечатление художественного открытия. Вас захватывает переданная без всякой внешней новизны удивительная новизна чувств, страстей, рожденных трудом и солидарностью. «Землей рожденные» назвал героев «Мятежных» еженедельник «Экспресс».

Со страниц «Мятежных» веет щедрыми запахами земли и трудового пота, садов с переспелыми яблоками и чисто выскобленных деревенских изб, звучит колоритная крестьянская речь. Трудно сказать, попадут ли фрагменты «Мятежных» в школьные хрестоматии, как утверждают некоторые парижские критики. Но среди лучших произведений о французском рабочем классе и крестьянстве «Мятежные» твердо заняли свое место. Герои Шаброля словно только что расстались с Рыжиком Жюля Ренара, Сильвером Эмиля Золя, папашей Милоном Мопассана или Кола Брюньоном Роллана, донеся сюда, к середине XX века, самобытность народного мироощущения, складывавшегося веками.

Вереницей трудных, не богатых радостями дней формировалась сдержанность «черной вдовы» Эрмини Ларгье, от которой мы не услышим ни счастливого возгласа, когда на пороге появится ее сын-писатель, давно привыкший к парижскому псевдониму Шершмиди; ни горького вздоха, когда возьмет она в руки письмо от своей непутевой дочери, вышедшей против воли родителей замуж за музыканта-венгра Яноша Жожу; Эрмини лишь иронически скривит губы, увидев, как запыхался ее сын, поднявшись по склонам Клергемора к отчему дому, и всю неделю будет мять в кармане фартука письмо, где рассказывает Лилетта о расистских погромах в Гамбурге. Решения ее щедрее речей: вскоре Эрмини снаряжала Леона в Гамбург за внуком, о котором столько лет и слышать не хотела. Атмосфера рабочего городка, веселого и незлобивого, радушного к пришельцам, снисходительного к «чудакам» и даже к беспощадному директору шахты господину Флюбелю, потому что бог уже наказал того семнадцатью (!) детьми, городка, то бурно веселящегося по обоим берегам приветливой Кайенны, то собирающегося в грозный кулак, передана Шабролем пластично и выразительно. Леон Ларгье ехал в родные края сначала просто из любопытства и, кажется, ненадолго. Но постепенно он чувствует, что здесь, среди величественной природы и молчаливо сдержанных, но добрых сердцем людей, он словно начинает «оттаивать». Канули в прошлое горячечные споры кружка сюрреалистов, вымученные сложности его последнего романа, холодно принятого критикой, чад бессонных ночей и лихих кутежей. Он начинает дышать каждой клеточкой тела. Это пробуждение приходит с чистым, как родниковая вода, объятием — на берегу родной реки, среди зеленых зарослей. Поцелуй, соединяющий героя с односельчанкой,— «поцелуй дезертира, поцелуй сбежавшего из плена»,— столько в нем голода по чистоте и здоровью простой жизни. Эта сцена любви кончается смущенным вопросом парижанина, не решающегося «оплатить» этот миг счастья: «Тебе ничего не надо?» «Ах да, я забыла дома расческу» — безмятежный ответ свободной женщины свободных Севенн.

Но Клергемор, противопоставленный в романе суетному Парижу и зловещему, присягнувшему фашистской свастике Гамбургу,— вовсе не руссоистский островок в море цивилизованного варварства, да и безмятежен он только с виду.

Реалистический метод Шаброля хранит верность славной традиции французского социального романа — запечатлеть момент, когда чаша народного терпения грозит переполниться, когда назревает или, наконец, разражается взрыв и ненависть, теплившаяся годами, как огонь под потухшим углем вот-вот взметнется яркими языками...

Так пришли в мировую литературу «Шуаны», «Девяносто третий год» и «Жерминаль»; потом «Огонь» и «Страстная неделя». У Шаброля, правда, этот взрыв локален. Если автора «Коммунистов» и «Страстной недели» влечет пора всеобщего смятения, май 1940 и март 1815, потому что «оба раза это был день, когда умирали боги... а мы все сразу, не сговариваясь, поняли, что судьба наша в наших руках...», то автор «Мятежных» занят событиями как будто «местного значения». У каждого народа, у каждого города есть, кроме общих, свои, особые памятные даты. У Клергемора — большая забастовка 1929 г. на шахтах и этот лесной пожар 1933 г., нечаянно обнаживший суровый классовый антагонизм. Привыкшие к частым стихийным бедствиям, клергеморцы дружно и быстро его затушили. Но железнодорожная компания, по чьей вине он вспыхнул, «догадалась» обратить пожар в политическое дело: поджигателями объявлены школьники, дети шахтеров — Люк Ру и Джино Пассола, а их подстрекателями — учитель Ален Дуарен и мэр города, коммунист. Мальчиков увозят в тюрьму, школу приказано закрыть, по городку рыщут следователи. Вот тут-то и прорвалась наружу сила, мирно дремавшая

около трех лет со времени знаменитой забастовки. Бросив работу, шахтеры собрались у мэрии. И все с оружием, тайно хранимым еще с первой мировой. Зрелище оказалось внушительным. Кто знает, не затронул бы этот «эпизод» всю Францию, если бы не трагическое решение одного из маленьких пленников — Люка Ру. Люк заявил жандармам, что изувечит себя, если завтра не будет дома. На следующий день залитого кровью мальчика отправили в больницу, а «дознанию» поспешили положить конец.

Постепенно все вернулось в обычное русло. Люк вместе с товарищами бегает в школу. Отцы спустились в забой. Женщины принялись за многотрудное полукрестьянское, полушахтерское домашнее хозяйство... Но ведь опять до поры до времени. Бродит, бродит по Клергемору, требуя чистоты души и смелости действий, «призрак коммунизма», вспыхивают то там, то здесь споры; люди, никогда не видевшие даже Клермон-Феррана, размышляют о том, что происходит в Париже, Германии, Европе, Советском Союзе...

Образы отцов-шахтеров получились у Шаброля менее выразительными, чем смышленых севеннских гаврошей или «черных вдов», родивших для подземной тьмы два поколения углекопов. Но один «мужской» образ — мэра-коммуниста Шапона запечатлен Шабролем с неподражаемой естественностью, и это признала даже скупая на похвалы подобного рода буржуазная критика. С юношеской поры мэра, страстного поклонника Жореса, иначе и не зовут: «Жорес сказал», «Жорес придет...» Тогда он еще не был коммунистом. «После Турского конгресса (провозгласившего создание Французской коммунистической партии.— *Т. Б.*) мэр Клергемора заперся у себя и перечитал все тексты Жореса, потом объявил, что будет коммунистом. Он не потерял голосов».

Для шахтеров Жорес самый что ни на есть «свой» человек, чья справедливость и честность стали пословицей, а авторитет подтвержден будничными десятилетиями классовой борьбы.

Неистовая волна народной ненависти, послушная воле Жореса, обретает силу организованного и потому уже непобедимого потока. Карабины, только что выкопанные из грядок, легли к ногам Жореса, а он, как полководец перед битвой, спокойно и уверенно отдавал приказы: на шахтах забастовка, дети продолжают учебу, клергеморцам быть в боевой готовности, известить о происходящем соседей... Провокация, которую не преминули бы устроить жандармы, очутившись лицом к лицу с вооруженной толпой, сорвана.

В образе Жореса — таком, как получился он у Шаброля,— нет и тени риторики, искусственности, схематизма. В его характере человеческая доброта соединилась с классовой проницательностью и, главное, народной мудростью многих шахтерских поколений. Шапон-Жорес — блестящее завоевание гуманистической французской литературы, утверждающей идеалы социальной справедливости и действия. У Жореса врожденный иммунитет против фразеологии, против привычки громкими словами заменять реальную, требующую постоянной внутренней напряженности и смелости борьбу за доброе отношение к человеку. Автор говорит о нем без всякого упрека: «Жорес не простирал своих взглядов далеко — ни в будущее, ни в пространство. Разговоры о международной политике ему быстро надоедали, счастье праправнуков его непосредственно не трогало. Но каждодневные вопросы, постоянно возникающие в коммуне, буквально лишали его сна».

Секретарь мэрии, тоже коммунист, Меффи — другого склада. Жорес ссорится с ним чаще, чем с кем-либо из односельчан. Ведь тот по всякому поводу «любил порассуждать о происках империалистов», говорил много, «слишком много, два-три слова, добавляемые, когда уже все ясно, мгновенно разрушали доверие, которое уже начинали оказывать его словам...» Главное же, Меффи с бóльшим удовольствием доказывает свою правоту, чем ищет выхода из положения, которое сам может назвать «трагическим», «катастрофическим», «угрожающим». Впрочем, благодаря свойственному клергеморцам юмору, конфликт между ними и Меффи ни разу за долгие годы не обострялся всерьез. Они-то прекрасно знают, что Меффи искренне думает об их благе, что он бескорыстен и самоотвержен, если понадобится,— только вот наделила его природа длинным языком... ну, оборвут, когда невтерпеж, высмеют беззлобно и... снова выберут в мэрию.

Атмосфера доверия и классовой солидарности, человеческой порядочности и серьезных споров, в которых постепенно выкристаллизовываются зерна истины, с самого рождения окружает маленьких клергеморцев. Истины пролетарской борьбы, выученные отцами на собственном горьком опыте, для нового поколения — уже аксиома. «По отношению к рабочему царит несправедливость»,— пишет Люк Ру в школьном сочинении на вольную тему о самом сильном впечатлении своей жизни. Для Люка — это забастовка 1929 года, когда он впервые испытал дикий голод и волнующее чувство причастности к справедливой борьбе отцов.

Из таких мальчишек вырастают герои. И они наверняка станут ими. Ведь в 1940 г. им будет двадцать, и знаменитое севеннское маки́ — это, конечно, Люк Ру, Джино Пассола, Рауль Ардайян, Франк Жожа.

Юное поколение Клергемора готовится к битвам, гораздо более серьезным, чем те, что выпали на долю отцов. Эта интонация является финальной в романе. Согласие Ларгье, сторонившегося раньше журналистики, сотрудничать в боевой антифашистской газете — лишь характерная деталь общего процесса приобщения к действию.

Роман Шаброля по основному своему настрою — антисхематичен. В нем все нестандартно, непредугаданно: коммунисты друг с другом ожесточенно спорят, писателя-парижанина «заражает» политикой не столи-

ца, а «провинция», злой на язык оказывается самым отчаянным, а тот, что не любит помогать,— сладко говорит...

И если начать хотелось с оттенков, которые отличают книгу Шаброля от французских романов 60-х годов, то здесь как раз уместно наметить точки соприкосновения нравственно-эстетической позиции Шаброля с идейно-художественными исканиями современной французской прозы. Стремление понять разные душевные состояния человека, разгадать нюансы его настроений, не судить a priori — таков, пожалуй, самый характерный аккорд, сопровождающий сегодня повествование о гражданине Франции, нашем современнике, будь то писатель, подводящий трудный итог своей жизни («Гибель всерьез» Арагона), или бесстрашный фронтовик, непримиримый к слову «героизм» («Когда море отступает» А. Лану), будь то администратор, пытающийся быть справедливым («Андре» А. Стиля), или почтенный семьянин, тоскующий по яркой, похожей на итальянское солнце любви («Изменения» М. Бютора).

Человек не так однолинеен и прост, каким порой кажется,— эту полемически заостренную истину утверждают герои «Мятежных» поступками, репликами, в идейных столкновениях. Однако в человеке всегда есть главное, чем определяется в конечном счете его личное достоинство и отношение к окружающим: сердцевинка, которую не изменишь никакой внешней бравадой. Шаброль выделяет ее осторожно, но последовательно, и тысячи разноречивых воль сливаются постепенно в одну — ту, что противостояла фашистам в дни позорной оккупации Франции.

Классовый антагонизм Севенн и предгрозовая атмосфера Европы требуют решения и действий — вот та идея, которая связывает воедино различные сюжетные линии «Мятежных». Отношения в Клергеморе — шахтеров друг к другу, их вместе к пожару и трагическому конфликту, за ним последовавшему, старожилов к «новичкам», детей к учителю и учителей к детям, наконец, взрослых и детей к коммунисту Жоресу, а Жореса к своим избирателям,—по Шабролю, определенная мера человеческих отношений. Не идеальных (такое понятие чуждо шабролевскому, очень трезвому видению мира), но таких, которые должны царить в человеческом обществе, если мы хотим положить конец войнам, искоренить несправедливость, утвердить чистоту чувств.

«Мало еще во Франции книг, которые повествуют о народе,— писал в «Юманите» Андре Стиль,— которые не боятся этого слова и подходят к образу народа с волнением, чувством ответственности, жадным интересом, любовью и подлинным душевным талантом».

«Мятежные» — одна из таких редких по художественной силе книг о революционных традициях французского народа. Мятежный дух Франции жив в ее искусстве.

Т. БАЛАШОВА

НОВАЯ КНИГА СЕМБЕНА УСМАНА

Sembène Ousmane. Vehi-Ciosane ou Blanche-Genèse. Mandat. Paris, ed. Presence Africaine, 1965.

Весной этого года на Всемирном фестивале негритянского искусства в Дакаре Сембену Усману, прозаику и кинематографисту (теперь его так можно называть уверенно), было присуждено три премии, две из них — за фильмы, одна — за новую книгу «Вехи-Тиозане». Успех книги обусловлен, по-видимому, не только тем, что написана она уже зрелым художником, чье мастерство крепло от работы к работе. Главное в этой книге — большая гражданская зоркость художника, для которого характерны постоянная заинтересованность в судьбах людей и страны, ясное понимание проблем эпохи. Действие двух небольших повестей, составивших книгу,— «Вехи-Тиозане» и «Почтовый перевод»* — происходит в Сенегале, но значение их перекрывает границы одной страны: в них поставлены очень злободневные, если не сказать больные, вопросы африканской современности. Книга эта откровенно полемична, у нее есть точный адрес.

Последние четверть века для народов Тропической Африки были годами острой политической и идеологической борьбы. Для большинства стран борьба за национальную государственность окончилась победой. Но борьба, приобретая разные формы, не утихает, и это понятно — начался сложный период становления, поисков путей в будущее.

В Тропической Африке очень популярны идеи социализма, но в силу ряда особенностей и исторического прошлого и современного социального устройства эти идеи часто преломляются через призму отсталых идеологических систем. Еще в период антиколониальной борьбы возникли такие философские концепции, как панафриканизм и негритюд. При всем их различии, в них есть нечто общее: утверждение исключительности путей общественно-исторического развития Африки. Обе эти концепции возникли как реакция на расизм, как стремление восстановить человеческое достоинство африканца. Стремление естественное, но зачастую оборачивается преувеличением достоинств и замазыванием темных сторон африканского прошлого и настоящего. История Африки в изложении ряда африканских ученых предстает сплошным Золотым Веком. Больше того — появилось несколько теорий «африканского социализма», их общей чертой является утверждение, что африканское общество по самой своей природе бесклассовое, что до прихода колонизаторов оно уже было социалистическим и сейчас задача состоит в том, чтобы восстановить социа-

* Печатается в этом номере журнала.

листические порядки. При этом «африканское общество» рассматривается обычно как нечто постоянное, вне времени и пространства, не зависящее от того, как далеко зашла социальная дифференциация в том или ином районе. Ячейкой современного социалистического общества этим идеологам представляется община, которой якобы всегда свойственны дух братства и равенства, коллективизм, солидарность, гуманизм и высокие моральные принципы.

Сембен Усман, не вступая в ученый спор со своими оппонентами, раскрывает бесплодность подобных построений. В предисловии он сообщает читателю, что было немало африканцев, которые уговаривали его не писать такой книги: это бросило бы тень на прошлое африканцев и на них самих, это дало бы, по их утверждению, оружие в руки хулителей негро-африканской цивилизации. Но до каких пор, спрашивает Сембен Усман, мы будем воспринимать себя не через наше человеческое «я», а через чей-то цвет кожи? Африканцы — прежде всего люди, им свойственно все человеческое. Много славного было в их прошлом, но были и позорные страницы, как у других народов. Скрывать от себя правду — значит ослаблять себя: новый, долгожданный мир родится из старого, обреченного мира. Значит, и пороки его должны быть ведомы. Не установив, что у нас плохо, нельзя знать, что именно должно быть исправлено. Только трезвая оценка себя и своего мира вернет африканцу право на самоуважение и уважение других.

В первой повести перед нами встает крестьянская община в Сенегале через несколько лет после окончания второй мировой войны. Глухая деревушка, затерявшаяся в бескрайней саванне, как тысячи других, вдали от больших дорог и городов. Деревня предоставлена сама себе, колониальные власти наведываются сюда лишь раз в год — собрать налог. Нет школы, нет больницы, никаких связей с внешним миром. Молодежь уходит в города. За последние годы лишь один человек вернулся сюда из большого мира — сумасшедший солдат парашютных войск, сын вождя, воевавший в Алжире и Индокитае. Все, что он вывез из своей прошлой жизни,— это пятнистая форма парашютиста, кинжал десантника, трепет перед начальством и инстинкт убийства. Его присутствие в повести — единственная временна́я веха. В остальном — время как будто остановилось. Как века назад, жизненный опыт крестьян ограничен горизонтами деревни, а мудрость — опытом предков: вся их духовная пища — Коран и еще более древний традиционный обычай. По-прежнему строго соблюдаются кастовые границы, по-прежнему аристократия гордится своей родословной и высокомерна с представителями низших каст. Ни о какой солидарности, об интересах общины в целом не может быть и речи, они остались в преданиях, как идеал.

Деревушка гибнет. Нет рабочих рук, сокращаются урожаи. Холодны глаза девушек — они обречены на одиночество. В страхе перед будущим, которое не сулит им ничего доброго, старики истово предаются религии, уповая на последнюю награду — место в раю. Полное оскудение — материальное и духовное — делает их не способными на дерзание, предприимчивость, наконец просто на то, чтобы подумать о детях — своем будущем. У них нет будущего. Мусульманская религия требует аскетизма: правоверный должен жить так, будто он завтра умрет. И поскольку худо-бедно удовлетворена потребность существования (не жизни!), все остальное — тщета. «Это — как стоячая вода,— говорит деревенский гриот.— Известно, если вода не течет, она загнивает». Но лишь немногие замечают неблагополучие жизни, к нему привыкли. И нужно было, чтобы нарыв прорвался — только тогда это неблагополучие раскрывается людям общины во всей трагичности.

В деревне совершено тяжелое преступление: вождь деревни, представитель династии, которая правит здесь с незапамятных времен, силой склоняет к сожительству свою дочь. Жена вождя, не выдержав позора, кончает жизнь самоубийством. Медун, его брат, прикрываясь стремлением сохранить честь общины, пытается при поддержке имама местной мечети захватить власть и завладеть имуществом вождя (плюс десять процентов от налога). Торопясь стать вождем до приезда коменданта, он подговаривает сумасшедшего солдата, и тот убивает своего отца. Но против Медуна и имама сложилась довольно сильная оппозиция, которую возглавляет гриот-сапожник, представитель самой низшей касты. Люди общины свергают узурпатора и отстраняют имама от руководства мечетью: причину загнивания общины они видят в засилье аристократов и в том, что ради Корана преданы забвению традиционные обычаи предков. Теперь они пытаются заново организовать жизнь, понимая, что только от них самих зависит их будущее.

Пока что у них на вооружении только традиционный обычай — свою болезнь они пытаются лечить домашними средствами. В этом споре между сторонниками Корана и традиции нет правых, старая община кончила свое существование. Современное общество должно строиться на идеологических основах, соответствующих современному состоянию мира. Но в людях появилось, может быть, самое нужное на пути овладения жизнью — чувство ответственности. И они уже отвергают утверждение древнего мудреца, согласно которому ложь, объединяющая людей, есть истина.

Незаконнорожденная девочка, чьим именем названа повесть, становится символом: она — то будущее, которое, родившись из старого мира, будет избавлено от его пороков. И ей — делать будущее страны.

Между первой и второй повестью существует глубокая внутренняя связь. Действие повести «Почтовый перевод» происходит в Дакаре, столице Сенегала, уже в шестидесятые годы. Герой — неграмотный старик безработный — тщетно пытается получить денежный перевод, посланный ему племян-

ником из Парижа. Бедняки, живущие в Медине, пригороде Дакара,— вчерашние крестьяне. В них еще сильно понятие «большой семьи», чувство группы, ответственности перед родственниками и соседями. Они замучены постоянной безработицей, хронической нуждой, и трудно пришлось бы им, если бы они не приходили на помощь друг другу. Окружающая их в городе жизнь с ее социальными контрастами вытравливает из них эти высокие человеческие качества, нужда, голод порождают подозрительность, зависть, желание зла семье удачника. В обществе, где «вору живется легче, чем честному человеку», где «предприимчивый живет за счет доверчивого» и «сильный пожирает слабого»,— что остается, казалось бы, людям, как не «надеть шкуру гиены», чтобы сохранить себя и своих близких.

«То, что называют нашим «африканством», нашим «негритюдом»,— есть наша слабость, огромный порок нашего времени. Вместо того чтобы способствовать покорению природы наукой, они поддерживают угнетение, развивают продажность, кумовство, бесхозяйственность и все те немощи, которыми пытаются прикрыть низкие человеческие инстинкты. А мы набиваем цену умозрительным построениям о нашем современном обществе, где сливаются прошлое и будущее, твердим о чувстве коллективизма у наших отцов и прадедов»,— пишет Сембен Усман в предисловии к книге. Действительно, в людях с высокими моральными устоями, в людях труда чувства солидарности и взаимопомощи живут и крепнут. Однако эта солидарность — не расовая солидарность, о которой говорят так много идеологи «социальной гармонии» африканского общества. Это — качественно иное явление — солидарность трудящихся. Именно поэтому грустная повесть кончается светлой, оптимистической нотой.

Полемический заряд придает книге авторское предисловие: в самих повестях не декларируется никаких тезисов, не дается никаких лобовых решений. Но по мере развития действия, внешне спокойного и логически ясного, перед читателем раскрываются важнейшие проблемы африканской современности во всей их сложности и противоречивости. Решать их надо сейчас. Именно в этом огромное общественное значение новой книги Сембена Усмана.

Г. ПОТЕХИНА

ДВА ПОЛЮСА: ТРИНИДАД И АНГЛИЯ

V. S. Naipaul. Mr. Stone and the Knights Companion. London, Andre Deutsch, 1963.

Рассказ о произведениях тринидадского писателя В. С. Найпола лучше всего начать прямо с цитаты из него самого: «В четвертом классе я написал торжественную клятву на обложке «Латинского букваря» Кеннеди, что покину Тринидад через пять лет. Я сделал это через шесть; и много лет спустя в Англии, задремав перед электрическим камином в тесной спальне-гостиной, я просыпался в ужасе, потому что мне снилось, будто я снова в тропическом Тринидаде».

Эти слова молодого писателя — индийца по крови, брахмина по касте, тринидадца по рождению, англичанина по языку—взяты из его книги «Путешествие в средину».

Я не знаю, сколько лет Найполу, но судя по фотографиям на обложках его книг, лет тридцать пять, не больше.

В. С. Найпол, написавший пять романов,— лауреат нескольких литературных премий. Он получил премию памяти Дж. Левеллина Райса за роман «Мистик-массажист», премию Сомерсета Моэма за роман «Мигель-стрит» и премию Хоторна за недавний роман «Мистер Стоун и рыцарский орден компаньонов».

Найпол — автор двух беллетризованных повествований о путешествиях — кроме уже названного «Путешествия в средину», он написал «Зону мрака», посвященную его поездке в Индию, откуда из штата Уттар Прадеш два поколения назад дед Найпола завербовался рабочим на сахарные плантации Тринидада.

Романы Найпола заселены так же густо и пестро, как его родной Тринидад. Словно находчивый оператор современного фильма, он то ведет бесстрастный объектив рассказа вдоль Мигель-стрит — улицы на окраине жаркого Порт-оф-Спейна; то показывает крупным планом первые в истории острова парламентские выборы на богом забытой плантации под названием «Эльвира»; неторопливо и беспощадно движется объектив, когда Найпол ведет нас по жизни мистера Бисваса или, верней, по жизни трех поколений индийской семьи на Тринидаде.

И когда думаешь об огромном количестве человеческих судеб, выхваченных Найполом из мрака: о базарных стряпчих, мистиках, торговцах, землевладельцах, рабочих на плантациях, врачах, журналистах, проститутках, шоферах, портных, столярах, убийцах, сутенерах, пьяницах, мужчинах и женщинах, старых и молодых,—то действительно не видишь среди них ни одной истории успеха, это истории растоптанных надежд.

В. С. Найпола никак нельзя назвать пессимистом; видимо, такова уж реальность жизни, фиксируемой им, что если даже его персонажи и добиваются победы в борьбе с обстоятельствами, то это пирровы победы.

Мистер Бисвас («Дом для мистера Бисваса») очень хотел учиться. Правда, он смутно представлял себе — чему, да это было и не столь важно. Кроме того, он хотел писать. Мистера Бисваса рано женили, пошли дети. Когда он чудом устроился репортером в «Тринидад сентинел», он испортил много казенных блокнотов, пытаясь написать рассказ. Рассказ всегда начинался одинаково: «Ему было всего тридцать три года,

но он уже был обременен семьей». Еще ему хотелось приобрести дом и жить, как нравится.

Он умер сорокалетним в доме, который пришлось заложить и перезаложить из-за его болезни.

Учиться хотел и Элиас с Мигель-стрит. Все говорили, что у парня редкостные способности, но вот экзамен на кембриджскую стипендию ему никак не удавалось выдержать. Тогда Элиас решил стать санитарным инспектором — ему нравилась эта работа, только тут тоже нужно было сдать экзамен, а он их уже боялся. И друзья говорили ему, что на Тринидаде ничего просто так не бывает, вот если бы у Элиаса были деньги... Денег не было.

Элиас, однако, навсегда остался аристократом на Мигель-стрит: он сделался мусорщиком — ему нравилась и эта работа.

Лаура стала своеобразной рекордсменкой Мигель-стрит не потому, что у нее было восемь детей — этим-то Мигель-стрит не удивишь,—а потому, что она родила их от семерых мужей. Никто не знал, где она достает деньги на прокорм всей этой оравы, но и это никого не удивляло — «одно из чудес Мигель-стрит было в том, что там никто не умирал с голоду. Если сесть за стол с карандашом и бумагой и подсчитать, то это окажется невозможным, но я сам житель Мигель-стрит и могу засвидетельствовать, что с голоду никто не умер».

Лаура была хохотушкой и умела сквернословить так, что мужчины ахали, а мечтала, как все жители Мигель-стрит, дать детям другую, не похожую на ее собственную жизнь. Она постарела сразу в тот день, когда ее старшая дочь Лорна, которая училась стенографии, объявила матери, что у нее будет ребенок. Лорна родила и утопилась вместе с ребенком. Газеты назвали это «предвоскресной трагедией», а уличный философ Хэт сказал: «Фигóвая штука эта жизнь. Видишь, что беда идет, а сделать ничего не можешь, ну как есть ничего. Только и делать, что сидеть, смотреть, ждать».

На первый взгляд может показаться, что по крайней мере Ганеш из «Мистика-массажиста» добивается успеха в жизни — деревенский парнишка, который становится членом парламента, это ли не победа! И это ли не наглядное торжество британской демократии в ее колониях!

У отца хватило денег, чтобы послать Ганеша в колледж, он окончил его и ему невероятно повезло — он получил возможность учительствовать. Школа, описанная Найполом в характерной для него манере: сдержанно, скупо, но с поразительными по яркости деталями, живо вызывает в памяти бурсу, как мы представляем ее себе по Помяловскому. Ганеш не выдерживает ни школьной каторги, ни жизни в большом, шумном городе и возвращается в деревню.

Ганеш существует, как существуют, а отнюдь не живут тысячи и тысячи ему подобных, пока случайно не обнаруживает в себе способности изгонять злых духов. Он сколачивает приличную практику — судя по всему, Тринидад просто кишит злыми духами — и прибивает к манговому дереву перед своим домом табличку: «Ганеш. Мистик».

Спокойно и очень убедительно показывает Найпол, как Ганеш карабкается по крутым ступенькам общественной жизни и, наконец, решает заняться политикой.

Найпол описывает политическую жизнь Тринидада с таким едким сарказмом и знанием дела, что ему нет никакой надобности делать выводы о бесплодии буржуазной демократии вообще и о ее предельной нелепости в британской колонии.

Вот история рождения двух индусских политических партий — одну из них возглавляет мистик Ганеш, а другую — Нарайан, землевладелец.

Партии, собственно, возникают из-за того, что богатый индийский торговец, умирая, решил завещать тридцать тысяч рупий на «культурное развитие Тринидада» — партии борются за эту сумму. Побеждает Индусская Лига во главе с Ганешем, который быстро перестает быть мистиком и выдвигает свою кандидатуру в Законодательный Совет. Излишне даже говорить, что у Ганеша нет никаких политических убеждений, поэтому, начав свою политическую карьеру бунтарем и оппозиционером, он становится впоследствии антикоммунистом и конформистом — это лучше оплачивается.

Да, это факт — буржуазная демократия, к тому же искусственно пересаженная на чуждую ей почву, принимает на ней карикатурнейшие очертания, которые не смешны лишь потому, что трагичны.

Именно поэтому так окарикатуривает Найпол образы политических деятелей в своих романах — и тринидадцев, и англичан — нелепых, полуграмотных, жалких и жадных людишек, усвоивших ритуал демократии и ее жаргон, но не более того.

Для новоиспеченного политического деятеля Харбанса, из романа «Избирательное право в Эльвире», парламентские выборы — просто коммерческая сделка: он платит столько-то за голоса мусульман, столько-то за голоса индусов, столько-то за голоса испанцев и негров, избирается и возмещает свою инвестицию с прибылью. Если его коллега в туманном Альбионе считает необходимым делать хоть что-то для своих избирателей, то Харбансу это даже не приходит в голову, впрочем, так же, как тем, кто голосовал за него.

В критических статьях, посвященных творчеству Найпола, с редкостным единодушием говорят о том, что сатира на уродливые формы политической жизни в зависимой стране удается писателю лучше всего.

Думается, однако, что именно тут мастерское бытописательство Найпола подводит его. Не увидев на Тринидаде иных политических деятелей, кроме тех, кого он так беспощадно выставил на осмеяние, Найпол приводит читателей своих книг к выводу о бесполезности, бессмысленности политической борьбы вообще.

Насколько я помню, ни в одном романе Найпола нет слова «колониализм», нигде нет речи о нем, и тем не менее каждый че-

ловек, живущий на страницах этих романов,— живое обвинение колониализму.

Такие колонии, как Тринидад, сельское хозяйство которых требовало огромного количества дешевых рабочих рук, заселялись сначала африканскими рабами, потом завербованными рабочими из Китая, Индии, Мадейры.

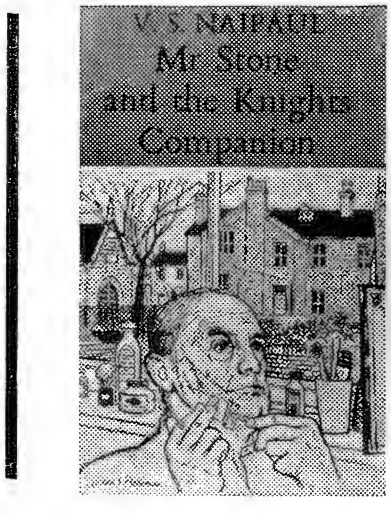
Естественно, что индиец Найпол пишет преимущественно об индийцах на Тринидаде, быт которых ему особенно хорошо знаком. Индия — далеко, далеко и жизненный уклад, отстаивавшийся тысячелетиями. В новых условиях попытка сохранить традиции вырождается на практике в цепляние за ритуалы, да и они постепенно забываются.

Хочется задать вопрос: почему же, почему так цепляются эти люди за ритуалы, смысл которых они порой уже перестают понимать? Почему испанцы, о которых Найпол походя замечает, что вообще-то они уже давно смешались с неграми, но называют себя «испанцы»,— почему они назвали свою деревеньку Кордова?

Может быть, потому, что соблюдение ритуалов сохраняет и общность людей, в них посвященных, создает иллюзию хоть какой-то связи и близости с людьми в огромном, чужом, пугающем мире. Но, с другой стороны, чувство принадлежности к узкой этнической или религиозной группе делает понятие «общество» лишенным смысла для тринидадца, и, в конечном счете, он остается в одиночестве.

Оторванные от родной почвы, переселенцы не могли противопоставить традиции своей культуры хорошо продуманной культурной политике метрополии, а это могло привести и привело только к одному — к стремлению походить на европейца.

Герои Найпола очень довольны второй мировой войной — ведь она для них означает только строительство американских баз на Тринидаде, работу, работу, работу. Те, кому повезло, кто окончил колледж, может даже стать банковским клерком, журналистом, учителем — о техническом образовании герои Найпола и не мечтают, а, кроме того, если человек хочет быть совсем как европеец, то работа, требующая крахмального воротничка, имеет первостепенное значение для него. Других европейцев Тринидад не знает.



Так вступает молодой тринидадец в порочный круг: получая образование, он не находит применения своим знаниям в стране экономически застойной, а развитие экономики идет черепашьим шагом, в частности, из-за отсутствия кадров.

На первый взгляд может показаться, что последний — хронологически — роман В. С. Найпола «Мистер Стоун и рыцарский орден компаньонов» резко отличается от всего, что он писал прежде, но впечатление это мимолетно. Да, конечно, все предыдущие романы Найпола посвящены Тринидаду, а этот — Англии, герой всех романов Найпола — нищета и беспросветность жизни, а мистер Стоун вполне обеспеченный человек, и, наконец, впервые Найпол отказался от колониальных проблем. Но так ли?

Когда мы знакомимся с Ричардом Стоуном, ему шестьдесят с лишним, и он прожил удивительно приличную, благоустроенную жизнь, начисто лишенную событий. Жизнью этой он доволен, ему нравится только то, что уже позади, он любит рассматривать свое, все удлиняющееся прошлое. Мистер Стоун культивирует свои привычки—бреясь в ванной, он всегда начинает с левой щеки, потом переходит на правую...

Но, наверное, в самом спокойном течении жизни есть свои подводные камни, и они, не видимые глазу, сами вызывают всплески на поверхности. Чем иначе можно объяснить, что мистер Стоун вдруг женится? На очень пристойной вдове, которая тем не менее нарушает холостяцкий уклад его жизни и расстилает леопардовую шкуру в его обжитой гостиной.

Мистеру Стоуну пора на пенсию, и мысль эта не дает ему покоя. Нет сомнения в том, что фирма отблагодарит его приличной пенсией, но чем займет себя Ричард Стоун — пенсионер? Как-то неожиданно выясняется, что хотя фирме, своей работе мистер Стоун отдавал строго регламентированное количество времени, а сердце его принадлежало дому, принадлежать-то ему нечему.

Впервые в жизни Стоун начинает работать по вечерам — он рождает в счастливых муках проект, согласно которому при фирме создается Орден рыцарей-компаньонов. Члены Ордена — пенсионеры, задача Ордена — поддержание бодрости в пенсионерах.

Глава фирмы «Экскал» в восторге от идеи, он немедленно учреждает новый департамент, наполняет его клерками, машинистками и счетоводами, которые подчиняются мистеру Стоуну и его всемогущему консультанту Уимперу. Разрабатывается устав Ордена, развертывается его деятельность, а тем временем мистер Стоун все работает, и чем больше он занят поддержанием

бодрости в пенсионерах, тем дальше уходят от него мысли о его собственной пенсии. И все же наступает день, когда пенсия настигает и мистера Стоуна, когда Уимпер приписывает себе все его заслуги в создании Ордена, совращает попутно его племянницу, и когда мистер Стоун возвращается домой, зная, что ему больше нигде не найти себе применения.

Бреясь по утрам в ванной, Ричард Стоун всегда смотрит на большое дерево, которое растет на заднем дворе и по которому он привык определять приближение смены времен года. Ричард Стоун наблюдает и за нахальным черным котом на заборе, большим ловеласом, которого из-за этого в конце концов пришлось даже ликвидировать. И дерево, и кот-наглец имеют свои функции в жизни, исполняют их и находятся поэтому в полной гармонии с окружающим их миром. Проходя по улице в день своей отставки, мистер Стоун видит в собственном холле черного кота, внешностью своей свидетельствующего, что кот ликвидированный был его отцом. Большое дерево и черный котище целесообразны и поэтому практически бессмертны. А человек Ричард Стоун?

Может быть, дело в том, что англичанин Стоун, сытый и респектабельный мистер Стоун, никогда не знавший ни нищеты, ни просто житейских неудобств, ничуть не богаче голодных тринидадцев.

Найпол считает одной из трагедий Тринидада отсутствие там самобытной культуры и пышный расцет чертополоха — культуры, а точней, цивилизации импортной, подражательной и поэтому — дешевой и вульгарной. У мистера Стоуна есть своя культура, но нет своих духовных ценностей, он весь «как все», он во всем подражает тем, кто выше его по положению на социальной лестнице. Тринидадские герои Найпола несчастны, и несчастен мистер Стоун, если те несчастны все вместе, то этот несчастен в одиночестве.

Предыдущие романы Найпола проникнуты мыслью о том, как бы вырваться, вырваться, вырваться — из тисков нищеты, из тесноты Тринидада, из духоты безработицы и незначительности. Ричард Стоун свидетельствует собственной судьбой, что это еще не все. Впервые говорит Найпол в этом романе о застойности и мелкости той самой Англии, куда устремлялись и его собственные мечты и мечты его героев.

Впервые в этом романе у Найпола появляется герой, живущий в условиях благосостояния, и ставится вопрос о смысле его жизни. Может быть, постановка вопроса — это сказано чересчур решительно; Найпол по своей природе художника никогда не бывает конструктивным: просто неторопливо и чуть безразлично он перелистывает перед читателем календарь жизни Стоуна, и читателя охватывает тягучая жуть. Но так же нельзя жить? Ну что ж, пожалуй, отвечает Найпол. А как же нужно? Неизвестно, отвечает Найпол.

Аккуратнейший, прилежнейший, добродетельнейший Ричард Стоун страшноват, как страшноват уклад жизни, сделавший его таким. Он ведь даже ничего не хочет — ему достаточно казаться, быть чем-то в глазах окружающих, а они тоже стараются быть чем-то в его глазах. Мистеру Стоуну безразлична его работа — достаточно, что все знают название достойной фирмы, где он служит; мистер Стоун равнодушен к своей семье — достаточно считаться приличным человеком; мистера Стоуна не волнуют проблемы его страны — достаточно того, что он читает газеты.

Ричард Стоун, гражданин великой Англии, которая превратила Индию Найпола и Тринидад Найпола в то, что они есть, Ричард Стоун жалок и ничтожен. Если тринидадские герои Найпола — жертвы политики метрополии в колониях, то мистер Стоун и его компаньоны — жертвы цивилизации, построенной на сытости и равнодушии к тем, кто голоден.

М. САЛГАНИК

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АВСТРАЛИЯ

«ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ ПРОТИВ ВОЙНЫ ВО ВЬЕТНАМЕ»

Под таким заголовком австралийский еженедельник «Трибюн» поместил статью писателя Джуды Уотена, который недавно возвратился на родину после поездки по Европе и Индии; эта поездка заняла более года. «Одним из наиболее сильных моих впечатлений,— пишет Дж. Уотен,— была широкая солидарность европейских писателей в их протесте против войны во Вьетнаме. Я почувствовал, что писатели глубоко сознают свою ответственность за события, происходящие в мире... Я не могу припомнить, чтобы за последние 20 лет писатели, композиторы, художники были столь единодушны в какомлибо вопросе».

Говоря о наиболее ярких и вместе с тем характерных моментах этой борьбы, Дж. Уотен упоминает опубликованное в «Нью-Йорк таймс» заявление 45 крупнейших деятелей культуры Европы, а также заявление виднейших деятелей культуры Англии, помещенное в «Таймс»

Однако борьба европейской интеллигенции не ограничивается протестами ее наиболее видных представителей, пишет Дж. Уотен. Большую роль играет в ней студенчество, профессора университетов, учителя, артисты. Писатель упоминает о студенческих демонстрациях в Брюсселе и Мюнхене, о митинге студентов университетов в Лондоне, на котором выступила известная английская писательница Айрис Мэрдок.

АНГЛИЯ

КИНГСЛИ ЭМИС ПРОТИВОРЕЧИТ... КИНГСЛИ ЭМИСУ

Вышел в свет новый роман «Лига объединившихся против смерти» Кингсли Эмиса, считающегося основоположником литературного течения «сердитых молодых людей». Действие романа происходит в солдатских казармах и в расположенных неподалеку трактире, публичном доме и лечебнице для душевнобольных. Совершаются загадочные убийства, и это бросает тень на расквартированную в казармах воинскую часть. Один из офицеров в порядке протеста основывает «Лигу объединившихся против смерти»...

Английская печать опубликовала много отзывов на роман.

Рецензент литературного приложения к газете «Таймс» писал о романе следующее: «В нем Эмис объединил самые разнообразные литературные формы нашего времени: это и рассказ о разведчиках, и приключенческий роман, и роман психологический, и технический справочник, и научная фантастика».

Газета «Морнинг стар» вместо рецензии на книгу опубликовала высказывания о ней самого автора. В предваряющей их редакционной заметке о творческом пути писателя, в частности, говорится: «Двенадцать лет тому назад, когда Кингсли Эмис опубликовал роман «Счастливчик Джим» (напечатан в «Иностранной литературе» №№ 10, 11, 12, 1958) ...вокруг него был создан ореол бунтаря против существующего общества, этакого левого... Некоторые критики считают, что «Лига объединившихся против смерти» — свидетельство того, что Эмис отошел от генеральной линии предыдущих своих романов. Наш корреспондент Боб Лисон решил услышать от самого автора, как обстоит дело. Ниже приводится ответ Кингсли Эмиса».

Писатель называет чушью все, что писала критика о его романах «Счастливчик Джим» и «Это неопределенное чувство». «Мне говорили, будто я создал новый тип героя и тому подобное, показал человека — представителя нового, рождающегося на свет социального слоя. Я и не думал этого делать. У меня не было других наме-

рений, кроме намерения создать подлинную картину жизни, что входит в задачу каждого добросовестного писателя».

«Надеюсь, это звучит не слишком претенциозно, — продолжал Эмис,— но меня интересуют человеческие характеры, такие, какими они всегда были, со всеми присущими особенностями. «Лига объединившихся против смерти» — это книга, которую я изо всех сил старался сделать менее социологичной. Я хотел, чтобы она по возможности больше была «вневременной».

Настаивая на том, что его прежние произведения лишены политической заостренности, Эмис сделал заявление, которое свидетельствует об известном изменении его позиции: «Прежде я думал, что человека можно сделать более счастливым, улучшив условия его жизни». Теперь взгляды Эмиса изменились. «Подлинные враги человечества не землевладельцы, а рак; не капиталисты, а смерть; не поджигатели войны, а имеющиеся в распоряжении человека средства и возможности убивать людей»,— пишет он. Так Кингсли Эмис шестидесятых годов противоречит прежнему Кингсли Эмису. Пожалуй, комментарии здесь излишни. Именно такого мнения придерживается «Морнинг стар».

ЭКРАНИЗАЦИЯ ПОВЕСТИ «451 ПО ФАРЕНГЕЙТУ»

Французский кинорежиссер Франсуа Трюффо снимает в Англии фильм по фантастической повести Рэя Брэдбери «451 по Фаренгейту».

Действие повести Брэдбери, как известно, развертывается в обществе, где запрещено читать, а книги, если их удается найти, сжигают. Герой повествования — пожарник, по фамилии Монтэг, работает в одной из таких «пожарных» команд. Сжигая книги, пожарник начинает мало-помалу интересоваться ими, тайком читает их и, в конце концов, переходит в другой лагерь...

— Когда мы начали работать над сценарием,— рассказал Трюффо журналистам,— то скоро заметили, что повесть имеет сходство с одной из подлинных историй времен антифашистского Сопротивления. Человек, работавший в гестапо, начал интересоваться Сопротивлением и затем перешел на его сторону. Именно поэтому я и захотел экранизировать повесть: по правде говоря, я не поклонник научной фантастики... Фильм, может быть, и разочарует любителей фантастики, потому что, в конечном счете, он очень реалистичен.

...Это фильм о любви к книгам,— продолжал Трюффо.— Здесь я не опускаю ничего из того, что есть в повести Брэдбери. Важнее всего для меня те сцены, где книги разыскивают и сжигают. Для меня книги — главные «действующие лица». Я искал сценарий, который позволил бы мне говорить о книгах, еще до того, как ознакомился с сюжетом «451 по Фаренгейту»...

Когда книги сжигают, для меня это все равно что видеть, как умирают люди или животные. Видно, как они корчатся в огне. На мой взгляд, этого достаточно, чтобы люди поняли, как я отношусь к книгам.

Никто не хотел браться за этот фильм,—рассказал в заключение режиссер.—Мне понятны колебания французских продюсеров, к которым я обращался. Постановка «451 по Фаренгейту» для них слишком дорого стоит. Все трудности кончились в тот момент, как я принял решение ставить фильм на английском языке и снимать его в Англии. Главные роли исполняют актеры, которые сейчас обрели всемирную известность. Джули Кристи — наиболее популярная английская актриса, а талант Оскара Вернера, исполнителя роли Монтэга, очень высоко ценят в США.

Кадр из фильма «451 по Фаренгейту». В центре — Джули Кристи.

(Еженедельник «Фильм»)

БИРМА

КАКОЙ РОМАН СЧИТАТЬ ПЕРВЫМ?

До сих пор литературоведы в Бирме ведут споры о том, какое литературное произведение следует считать первым бирманским романом.

В настоящее время, как отмечает литературный обозреватель журнала «Гардиен», в качестве первого романа чаще всего называют вышедший в свет в 1904 году бирманский вариант известного романа А. Дюма «Граф Монте-Кристо». Однако это спорно. Прозаические произведения, появившиеся до адаптированного «Графа Монте-Кристо», и вовсе не могут претендовать на это, так как представляют собой либо переводы с арабского, либо изложения буддийских легенд.

Первым бирманским романом, по мнению обозревателя, является роман У. Кайи «Маун Хмайн — продавец роз», который вышел в свет спустя несколько месяцев после адаптированного «Графа Монте-Кристо». В этом произведении рассказывается о судьбе маленького человека, продавца роз, жившего вблизи дворцов знати и дерзнувшего бросить вызов власть имущим.

БОЛГАРИЯ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕМИИ ЗА 1965 ГОД

Орган Союза болгарских писателей еженедельник «Литературен фронт» опубликовал сообщение о присуждении литературных премий СБП за 1965 г. Среди награжденных есть авторы, чьи произведения публиковались на страницах журнала «Иностранная литература»: Павел Матев (за сборник стихов «Чайки отдыхают на волнах»), Божидар Божилов (за сборник стихов «Весенняя поэзия»), Йордан Радичков (за сборник новелл «Жаркий полдень»), Ангел Каралийчев (за детскую книгу «Самый дорогой подарок»). Кроме того, премии присуждены Генчо Стоеву (за повесть «Цена золота») и Минко Николову (за книгу «Антон Страшимиров»).

ВЕНГРИЯ

ТРИУМФ ВЕНГЕРСКОЙ ОПЕРЫ

Широко известна пьеса испанского поэта Федерико Гарсиа Лорки «Кровавая свадьба». Недавно она получила как бы второе рождение в одноименной опере молодого венгерского композитора Шандора Соколаи. Премьера оперы состоялась в Будапеште в 1964 году. В прошлом году ей аплодировали зрители вуппертальского оперного театра в ФРГ. Печать дала высокую оценку произведению венгерского композитора.

С тех пор опера начала свое шествие «вокруг света». Заключены контракты с оперными театрами Загреба, Праги, Кошице и Тулузы. Берлинская «Комише опер» (ГДР) включила «Кровавую свадьбу» в свой репертуар, ею заинтересовались оперные театры Ленинграда, Цюриха, Нью-Йорка, Лос-Анжелеса, Братиславы.

Лауреат премии имени Эркеля композитор Шандор Соколаи по случаю 21-й годовщины освобождения Венгрии за свою творческую деятельность и оперу «Кровавая свадьба» удостоен премии имени Кошута третьей степени.

Сейчас Шандор Соколаи работает над оперой «Гамлет» по драме Шекспира.

ГДР

МИР ВЬЕТНАМУ!

«Ежедневно американские военно-воздушные силы бомбят Вьетнам. Гибнут люди, уничтожаются поля и леса. Цель этой войны — уничтожение целого народа».

«Мы — ученые, художники, писатели — призываем положить конец американской войне во Вьетнаме! Покончить с варварскими бомбардировками!

Мы призываем к солидарности с героическим народом Вьетнама». Так написали в своем обращении видные деятели культуры ГДР. Среди них — Анна Зегерс, Арнольд Цвейг, Елена Вейгель и другие.

ЧЕЛОВЕК ОБРЕТАЕТ РОДИНУ

Писатель Иоахим Кнаппе в своем новом романе «Моя безымянная страна» остро ставит проблему взаимоотношений личности и общества. Пресса широко откликнулась на этот роман. Как отмечается в рецензиях, роман продолжает лучшие традиции литературы Германской Демократической Республики. Писателю удалось показать совсем еще юного героя в процессе развития и становления.

...17-летний Стефан Бек бежит из родительского дома. Он не хочет иметь ничего общего с фашистским прошлым, традиции которого еще так сильны в его семье. Возненавидев своего отца, он начинает ненавидеть все «поколение отцов», не делая никаких различий. К ним он относит и таких людей, как коммунист Вейднер, отец его любимой девушки. Все, что окружает Стефана, кажется ему хаосом, в котором нельзя разобраться, хаосом, в котором хорошие люди бессильны. Природа, звери — вот куда он хочет убежать от людей. Он ищет новую родину. В его мечтах такой родиной представляется Австралия.

«Путь Стефана «куда-нибудь» — это поиски жизненного идеала, того идеала,

---

«Художественный совет» — рисунок Доньо Донева.
(Журнал «Филмови новини»)

который ищет каждый молодой человек,— пишет обозреватель газеты «Нейес Дейчланд». — Утопическая мечта об Австралии вызвана стремлением обрести почву под ногами. Когда Стефан принимает решение остаться в ГДР, он заново обретает свою настоящую родину».

В интервью еженедельнику «Зонитаг» писатель сказал: «У Стефана не было родины даже в детстве, если понимать под словом «родина» не только определенное место на карте... Я рассказал историю героя правдиво, такой, какой она была, ничего не прибавляя и не утаивая. Я должен был сказать правду».

ПО РОМАНУ МАКСА ФОН ДЕР ГРЮНА

В ГДР создан телевизионный фильм по известному роману западногерманского писателя Макса фон дер Грюна «Светляки и пламя» о жизни шахтеров (см. «Иностранную литературу» № 3, 1964 г. и № 2, 1965 г.).

Во время съемок Макс фон дер Грюн находился в ГДР. «Я встретил в ГДР людей, стремившихся помочь моей работе,— сказал писатель.— Я убедился в этом во время работы над фильмом. Думаю, что культурные контакты между нами будут расширяться».

«Роман «Светляки и пламя» впервые показал жизнь в Западной Германии с точки зрения рабочего-горняка, — пишет обозреватель журнала «Фильмшпигель».— Он показал, что делается за фасадом «экономического чуда». Видимо, поэтому автору пришлось ставить фильм по роману не в ФРГ, а в ГДР».

ФРГ

ЕЩЕ ОДНА ПРОБУДИВШАЯСЯ СОВЕСТЬ

На редкость единодушно откликнулись обозреватели крупнейших западногерманских газет и еженедельников на литературный дебют сорокашестилетнего режиссера баден-баденской радиостудии Хорста Крюгера, чей автобиографический роман «Разрушенный дом, или Юность в Германии» вышел в этом году в издательстве «Рюттен унд Лёнинг».

Известный писатель Вольфганг Кёппен в рецензии, опубликованной еженедельником «Шпигель», пишет: «...Крюгер рассказывает правдивую историю, героем которой мог бы стать любой. Это роман о наших соотечественниках, которые не видели того, чего не хотели видеть, и не слышали того, что взывало к небесам... «Разрушенный дом» Крюгера находится в берлинском пригороде Эйхкампе, на окраине Груневальда. Я хорошо помню этот район. Он служил убежищем добропорядочным государственным пенсионерам, тихим и смирным... Сын должен был продолжать карьеру отца — стать пастором или государственным советником в министерстве...

В романе Крюгера сын начал с того, что попал под суд, затем стал десантником-парашютистом, безвестным ефрейтором второй мировой войны, военнопленным, а под конец, в разделенной Германии, журналистом и писателем с аллергической реакцией на политическую болтовню...

И вот, много лет спустя Крюгер снова приехал в Эйхкамп, на сей раз в качестве гостя, гражданина ФРГ... Его мучает вопрос: как все это, собственно, могло случиться?»

Рецензент «Франкфуртер альгемейне» подчеркивает, что герой романа — «типичный сын тех безобидных немцев, которые никогда не были нацистами и без которых тем не менее нацисты никогда не смогли бы сделать свое дело. Речь идет не о той прослойке мелкой буржуазии, представители которой ощущали себя нищими, обойденными и которые стали первыми распространителями нацистской заразы. Нет, семья, изображенная в книге, могла себе кое-что позволить».

Даже реакционный критик Райх-Раницкий в благожелательной рецензии, напечатанной еженедельником «Цейт», пишет:

«В последних главах подводится горький итог этой глубоко личной книги о Германии: распад этических категорий, крушение веры в культуру, разочарование, испытанное целым поколением, и, прежде всего, утрата героем истинно прусской веры в воспитательное значение и моральную силу правопорядка. В конце кни-

---

Макс фон дер Грюн (в центре) беседует с режиссером Гейнцем Тилем и исполнителем главной роли в фильме по роману «Светляки и пламя» — Гюнтером Симоном (справа).

(Журнал «Фильмшпигель»)

ги автор отправляется во Франкфурт, чтобы присутствовать на одном из заседаний Освенцимского судебного процесса; он видит в этом последнюю возможность «встретиться с прошлым во плоти и крови». Вывод, который делает Крюгер — «от этого Гитлера нам, пожалуй, не отделаться до конца жизни»,— заключает в себе нечто большее, чем разрушенный во время бомбежек родительский дом в Эйхкампе и разделенную Германию».

В ГОСТЯХ ЗА ОКЕАНОМ

Очередное заседание «Группы 47», состоявшееся в Принстоне, США, по приглашению профессора германистики Принстонского университета Виктора Ланге и на средства фонда Форда, вызвало многочисленные отклики западногерманской прессы.

«...Это заседание было 29-м по счету со дня основания группы в 1947 году и 3-м из проводившихся за границей,— пишет обозреватель еженедельника «Цейт».—...В течение трех дней, с утра до позднего вечера, члены группы читали свои произведения и выслушивали критику... Так, Вальтер Йенс познакомил коллег с отрывками из своей пьесы (условное название — «Красная Роза»), исследующей историю убийства Розы Люксембург (театральная премьера состоится осенью в Гамбурге); Гюнтер Грасс нашел эту пьесу «несценичной», а Кайзер отметил «отсутствие в ней драматизма»... Лауреат прошлогодних чтений «Группы 47» швейцарец Петер Бихсель, автор сборника юмористических рассказов, выступил на этот раз с повестью. Гюнтер Грасс прочитал 7 стихотворений, а Эрнст Аугустин — отрывок из нового романа... Однако премии — впервые за 19 лет существования группы — никому не присудили...»

На состоявшейся затем конференции писателей ФРГ и США выступил известный драматург Петер Вейс, чья пьеса «Марат» (см. сообщение в «Иностранной литературе» № 8, 1965) с успехом идет в одном из нью-йоркских театров в постановке Питера Брука. В дискуссии на тему об «ангажированности» писателя Вейс сказал, что если прежде он был пассивным созерцателем, то сегодня считает своим долгом защищать эксплуатируемых и угнетенных, ибо, когда художник занят искусством и только искусством, он содействует коррупции общества...

Петер Вейс, Ганс Энценсбергер и Рейнгард Леттау сделали публичные заявления по вьетнамскому вопросу. В интервью газете «Нью-Йорк таймс» Вейс, например, сказал, что его привело в Америку желание выразить от своего имени и от имени других писателей протест против войны во Вьетнаме. Мы хотим, добавил Вейс, заявить о нашем сочувствии и поддержке всех тех, кто борется за иную Америку, и мы ищем контактов с такими американцами...

Приглашенные в Нью-Йоркский и Колумбийский университеты, Вейс, Энценсбергер и Леттау выступили против американской политики во Вьетнаме. Энценсбергер призвал аудиторию повлиять на общественное мнение США с тем, чтобы воспрепятствовать допуску бундесвера к атомному оружию. Гюнтер Грасс не принял приглашений университетов.

ГРЕЦИЯ

«ВНЕ СТЕН» ВАСИЛИСА ВАСИЛИКОСА

Произведения молодого талантливого прозаика Василиса Василикоса неизменно вызывают интерес греческих читателей. Вышедший недавно в афинском издательстве «Темелио» сборник рассказов «Вне стен» — восьмая книга писателя, но, как пишет обозреватель газеты «Авги», это первая книга, в которой Василикос непосредственно откликается на такие актуальные для Греции проблемы, как массовая эмиграция в поисках заработка, тяжелое положение греческой провинции, деятельность молодежной организации Ламбракидов, политический переворот 1965 года и т. д. Молодой прозаик, по словам обозревателя, не остается в стороне от животрепещущих проблем эпохи.

ДРВ

РАССКАЗЫВАЮТ ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ ВЬЕТНАМА

Еженедельник «Ван нге» опубликовал интервью с несколькими деятелями культуры Демократической Республики Вьетнам, в которых они рассказали о своей работе и творческих планах.

— Мой излюбленный жанр в литературе — роман,— сказал известный писатель Нгуен Динь Тхи,— однако я настолько занят повседневными делами, что свободного времени для серьезной творческой работы остается мало. Поэтому приходится работать над крупными произведениями подобно муравью: время от времени добавлять к ним по крупице.

...Недавно я сдал в печать повесть «В огне» (опубликована в «Иностранной литературе» № 6, 1966); надеюсь летом завершить работу над вторым томом романа «Прорванные берега».

Поэт Нонг Куок Тян происходит из народности тай, которая лишь недавно обрела свою письменность.

— Я поставил перед собой три задачи,— рассказал поэт.— 1) Учиться. 2) Больше ездить, узнавать жизнь. 3) Писать об увиденном. Надеюсь в ближайшем будущем закончить цикл стихов «Люди цветущих гор» — об освободительной борьбе народностей Вьет-Бака. Работаю над стихами о людях Севера и Юга.

Драматург Дао Хонг Кам рассказал корреспонденту еженедельника о том, что за последнее время трижды ездил в районы, подвергающиеся варварским бомбар-

дировкам американской авиации. Там он написал две небольшие пьесы о солдатах, находящихся на боевых постах. Одна из пьес носит название «Племянник», вторая — «Первый бой».

ИНДИЯ

ПИСАТЕЛИ СОЛИДАРНЫ С ВЬЕТНАМОМ

Сорок четыре известных индийских писателя, среди них Саджад Захир, Мулк Радж Ананд, Кришан Чандар, Х. А. Аббас, Мохан Ракеш, Сардар Дарсан и другие, подписали заявление, в котором выражено горячее сочувствие борющемуся вьетнамскому народу.

Писатели протестуют против продолжающихся налетов американской авиации на Демократическую Республику Вьетнам, против применения отравляющих веществ, против массовых репрессий в Южном Вьетнаме.

«Мы требуем,— говорится в заявлении, опубликованном в газете «Нью эйдж»,— немедленно прекратить эти зверства и вывести все американские войска из Вьетнама».

АССОЦИАЦИИ ПРОГРЕССИВНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ — 30 ЛЕТ

Недавно отметила свое тридцатилетие Ассоциация прогрессивных писателей Индии, первым президентом которой был выдающийся писатель хинди и урду Прем Чанд. С самого начала своей деятельности Ассоциация поддерживала движение индийского народа за национальное освобождение, против феодальных пережитков, за равенство и гражданские права. «Движение прогрессивных писателей играет необыкновенно важную роль,— сказал в свое время о деятельности Ассоциации Джавахарлал Неру,— мы связываем с ним большие надежды».

Английская колониальная администрация преследовала прогрессивных писателей, бросала их в тюрьмы, запрещала их книги. Но движение прогрессивных писателей ширилось — оно пользовалось поддержкой народа.

В настоящее время Ассоциация прогрессивных писателей—самая представительная писательская организация в стране, насчитывающая около двух тысяч членов. Среди них крупнейшие писатели, создающие произведения на основных языках страны.

Ассоциация прогрессивных писателей Индии, которую сейчас возглавляет Саджад Захир, твердо придерживается своей антиимпериалистической линии, поддерживает борьбу за мир и за социалистический путь развития страны.

ИСПАНИЯ

ПРИЗЫВЫ К ЕДИНСТВУ

В одной из аудиторий университетского городка в Мадриде состоялась конференция с участием представителей интеллигенции и студенчества. Обсуждалась тема: «Литература, университет и общество». Университетское начальство сделало все возможное, чтобы сорвать конференцию. Помещение, где первоначально должны были собраться ее участники — здание факультета экономических и политических наук,— было закрыто под предлогом того, что у декана факультета умерла мать. Конференцию пришлось перенести в одну из пустовавших аудиторий другого факультета, а вместо трибуны использовать стулья.

Выступивший на конференции прозаик Антонио Феррес говорил о необходимости «нерушимого единства между университетом и интеллигенцией» в борьбе за демократию. Яркую речь произнес известный писатель Армандо Лопес Салинас. Говоря о недостойных попытках университетского начальства сорвать конференцию, Салинас иронически заметил, что оно уже два-три раза «хоронило» мать декана факультета экономических и политических наук, только бы не допустить никаких студенческих собраний в его помещениях. Он призывал бороться за право на свободный студенческий профсоюз, за действительное право на забастовку. Салинас подчеркнул, что у интеллигенции и трудящихся одни и те же проблемы. И именно поэтому, заявил он в заключение, «необходимо тесное единство между студентами, интеллигенцией и трудящимися» в борьбе за демократию.

«Прекратить войну во Вьетнаме!» — рисунок из индийской газеты «Нью эйдж».

ИТАЛИЯ

«БУМ КАРМАННЫХ ИЗДАНИЙ»

Литературные журналы и газеты в последнее время уделяют большое внимание проблеме так называемого «бума карманных изданий». Вслед за издательством

Мондадори, выпустившим немногим более года назад массовым тиражом роман Хемингуэя «Прощай, оружие» и тем самым положившим начало серии «карманных изданий», и другие издательства—Гардзанти, Сансони, Даль Олио — начали выпускать большими тиражами произведения итальянской и зарубежной классики и крупных современных писателей. Печать отмечает несомненно благотворные результаты этого «бума»: резко возрос спрос на книги у широкого читателя.

В то же время издатели высказывают беспокойство, что вскоре может произойти «насыщение» читателя, когда полки его маленькой домашней библиотечки будут заполнены. Критики и писатели выражают опасения иного рода. Во-первых, серии «карманных изданий» составляются недостаточно продуманно, часто носят случайный характер, и малоподготовленному читателю грозит опасность потерять ориентацию в неожиданно хлынувшем потоке книжной продукции. Во-вторых, увлечение издателей «карманными» сериями, носящее, разумеется, в первую очередь коммерческий характер, может привести (и уже приводит) к тому, что при издании будет оказываться предпочтение произведениям знаменитых, чаще всего уже умерших писателей, и в лучшем случае двум-трем из живущих итальянских литераторов, а произведения молодых и вообще не столь широко известных авторов будут публиковаться менее охотно.

Этим проблемам была посвящена специально созванная в городе Терамо конференция профсоюза итальянских писателей, на которой, в частности, выступили руководитель этого профсоюза известный писатель Либеро Биджаретти и литературный критик Джакомо Дебенедетти. В письменном виде свои выступления прислали, в числе прочих, Альберто Моравиа и Гоффредо Паризе. Проблемы издательского дела и судьбы книги в Италии глубоко волнуют итальянскую общественность и, прежде всего, разумеется, самих писателей.

«ГОЛОСА ИСПАНИИ»

Общественность разных стран отметила тридцатилетие начала первой схватки с фашизмом — гражданской войны в Испании. В Италии в театре «Белли» состоялось большое представление «Голоса Испании», подготовленное драматическим коллективом Бартоломео Пинелли и музыкальной группой «Канцоньере интернационале». Первое отделение спектакля было составлено из отрывков пьес, посвященных гражданской войне и партизанскому движению в Испании, а также из поэтических произведений Рафаэля Альберти, Антонио Мачадо, Пабло Неруды. Во время исполнения этих произведений на экране, в глубине сцены, демонстрировались кадры кинохроники, рассказывающие о подавлении демократических свобод в сегодняшней Испании. Во втором отделении звучали народные испанские песни тридцатых годов, в которых выражена ненависть к фашизму и призыв к борьбе за демократическое развитие страны. «Огромный успех спектакля, длительные аплодисменты, заставлявшие много раз поднимать занавес, были вызваны прежде всего острой антифашистской направленностью всего представления, наглядностью и живостью исполнения,— писал корреспондент газеты «Паэзе сера».— Этот спектакль еще раз показал, что испанские антифашисты не одиноки в своей борьбе — с ними демократы всего мира».

ЗА МИР ВО ВЬЕТНАМЕ

В охватившем Италию широком движении за прекращение американской агрессии во Вьетнаме активное участие принимают писатели и деятели искусств.

О своей солидарности с борющимся вьетнамским народом заявили Пьер Паоло Пазолини, Ренато Гуттузо, Карло Мушетта, Эдуардо Де Филиппо и десятки других видных представителей творческой интеллигенции итальянской столицы. В митингах протеста принял участие в полном составе коллектив «Интернациональной песни» прогрессивного молодежного театра «Армадио».

Многие деятели культуры, в частности популярный кинорежиссер Нанни Лой, участвовали в состоявшемся в Риме «походе мира» под лозунгом: «Италия должна отмежеваться от агрессора — Соединенных Штатов».

На происходивших в городах Италии — Турине, Пьяченце, Реджо-Эмилии, Новаре и многих других — митингах и собраниях литераторы и художники выступают с требованием прекратить войну во Вьетнаме. Так, в селении Сан-Джорджо возле Пьяченцы, где находится одна из военно-воздушных баз НАТО, на митинге, проходившем под лозунгом: «За Европу без атомных бомб, за ликвидацию иностранных военных баз и нейтралитет Италии», выступил известный художник Эрнесто Треккани.

Такие же манифестации состоялись во всех районах итальянской столицы. Например, в массовом собрании римского района Трастевере участвовали группа скульпторов и художников из художественного салона «Подсолнух», актеры Джан Мария Волонте и Энрико Мария Салерно, режиссер и кинодраматург Джанни Пуччини и многие другие видные деятели искусства.

«Свободу!» — плакат, посвященный мужественной борьбе вьетнамского народа, работы писателя и художника Карло Леви.

(Газета «Унита»)

Присутствующим был показан документальный фильм «Вьетнам зовет».

Художник Ренато Гуттузо откликнулся на события во Вьетнаме полотном «Документ о Вьетнаме», разоблачающим злодеяния американской военщины.

Глубокое возмущение итальянской творческой интеллигенции вызывает запрет демонстрации фильма «Небо и земля», снятого известным голландским режиссером- документалистом Йорисом Ивенсом во Вьетнаме. На происходившем во Флоренции «Фестивале народов» смотреть этот фильм были допущены лишь кинокритики и члены жюри.

Итальянский комитет за мир и свободу во Вьетнаме выпустил грампластинку «Вьетнам здесь», на ней записаны выступления, песни, стихи, которые читают поэт Альфонсо Гатто, видные актеры Буаццели, Фо, Гаррани, Волонте и другие.

Газета «Паэзе сера» в нескольких номерах публикует воспоминания американского офицера Дональда Дункана, участвовавшего в войне во Вьетнаме, который демобилизовался из американской армии в знак протеста против «грязной войны» во Вьетнаме.

РЕСПУБЛИКА КОНГО (БРАЗЗАВИЛЬ)

ГОВОРИТ ЛАУРЕАТ ФЕСТИВАЛЯ В ДАКАРЕ

«Золотую антилопу» — премию Всемирного фестиваля негритянского искусства в Дакаре получил 35-летний поэт из Республики Конго (Браззавиль) Тчикайя У Тамси за признанную лучшей книгу стихов «Извлечение». По отзывам критики, он — один из самых талантливых и популярных поэтов Африки. Тчикайя опубликовал уже пять сборников стихов и поэм. Его произведения переведены в Бельгии, США, Италии Польше.

— Поэт выполняет свои функции в обществе, как это делают каменщик, плотник, сапожник, каждому свое,— сказал Тчикайя в беседе с корреспондентом еженедельника «Жён Африк».—Я считаю, что мир нуждается в поэзии. Поэт мечтает, а мечта есть не что иное, как проекция в будущее того, что может быть осуществлено. Что такое поэзия, я не сумею выразить, но уверен, что в душе каждого человека — рабочий он или инженер — должно быть место для поэзии.

На вопрос корреспондента, как отразились в его жизни и творчестве бурные годы в истории Конго и его знакомство с Патрисом Лумумбой, Тчикайя ответил:

— Я очень рано увлекся политикой в самом возвышенном значении этого слова и старался принимать участие в политической жизни моей родины. Личность Лумумбы оказала на меня влияние еще до того, как я его увидел, а когда мне посчастливилось с ним встретиться, я обнаружил в нем человека, который меня потряс своим мужеством. Он был сильным человеком. Я лично его очень уважал. Лумумба полностью соответствовал моему представлению о национальном герое. Я дал его имя своему сыну.

КУБА

На страницах газеты «Гранма» недавно был опубликован цикл рисунков под названием «Янки, убирайтесь домой!» художника Фуэнтеса. Один из этих рисунков мы здесь воспроизводим.

КОСТА-РИКА

ПРЕМИЯ КАРЛОСУ ЛУИСУ ФАЛЬЯСУ

Национальная премия Коста-Рики по литературе была присуждена в этом году выдающемуся писателю-коммунисту Карлосу Луису Фальясу, недавно умершему.

Присуждение национальной премии Карлосу Луису Фальясу было расценено демократической общественностью Латинской Америки как большая победа про-

грессивных сил Коста-Рики. «Реакционным силам не удалось затормозить процесс всенародного признания этого большого писателя и революционера»,— писал по этому поводу корреспондент еженедельника «Либертад», издающегося в Сан-Хосе. «Карлос Луис Фальяс — прекрасный пример писателя, который всего себя отдал борьбе за освобождение своего народа, за прогресс и демократию»,— говорится в статье, опубликованной кубинской газетой «Гранма».

МЕКСИКА

НОВАЯ КНИГА О Л. Н. ТОЛСТОМ

Обширнейшая литература о Л. Н. Толстом пополнилась новым исследованием. Недавно в Мексике вышла книга «Толстой. Жизнь и творчество», которая привлекла широкое внимание мексиканской печати. Автор этой книги Хайме Торрес Бодет — известный мексиканский поэт, публицист, общественный и государственный деятель. Новая книга Торреса Бодета — итог многолетнего изучения жизни и художественного наследия гениального русского писателя. Мексиканская критика проявила полное единодушие в высокой оценке работы о Л. Н. Толстом. В многочисленных рецензиях были отмечены художественная ценность книги, поэтический и вдохновенный язык Торреса Бодета, органическое единство в рассказе о жизни и творчестве великого русского писателя.

Анализируя художественные особенности, идейный смысл и историю создания основных произведений Л. Н. Толстого—«Детство», «Отрочество», «Юность», «Казаки», «Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресение»,— Торрес Бодет стремится показать глубокую взаимосвязь его мировоззрения и творчества, отмечая нарастание социального протеста в этих произведениях. Рецензент мексиканского журнала «Политика» считает новую работу Торреса Бодета большой творческой удачей. «Книга о Толстом Торреса Бодета—мастерское произведение,— пишет рецензент.— Нелегко было достигнуть такой критической проницательности, такой глубины научного анализа, такого знания этого вопроса и такого умения владеть словом».

МОНГОЛИЯ

«МОЯ ГЛАВНАЯ РОЛЬ»

Имя заслуженного артиста республики Дамбына Дамдинсурэна широко известно в Монголии и за ее пределами. За годы своей творческой деятельности талантливый артист сыграл немало самых разнообразных ролей в театре и кино.

Однако главным делом своей творческой жизни актер считает работу над ролью В. И. Ленина в пьесе Николая Погодина «Кремлевские куранты».

— Когда я узнал от режиссера, что мне поручена эта роль,— рассказал артист в беседе с монгольскими журналистами,— р а д о с т ь моя была безграничной. Образ гениального вождя пролетариата — моя главная, любимая роль. К 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции Государственный драматический театр поставит на своей сцене пьесу «Человек с ружьем». Я надеюсь и в ней сыграть роль В. И. Ленина.

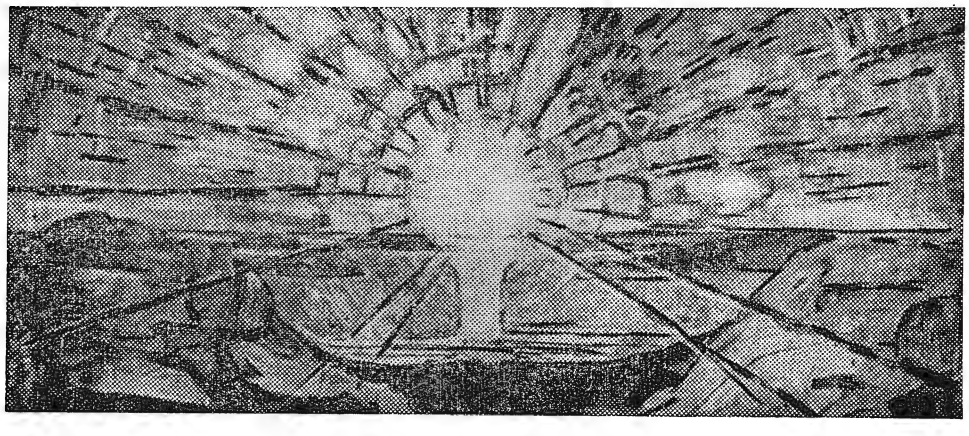
НОРВЕГИЯ

«НАВСТРЕЧУ СОЛНЦУ»

Так называется театрализованная поэма о жизни и творчестве крупнейшего норвежского художника Эдварда Мунка, подготовленная режиссером Бартольдом Халле и хореографом Эдит Рогер к международному фестивалю искусств в Бергене.

Спектаклю предшествовала, по словам рецензента газеты «Берлингске тиденде», многолетняя упорная и кропотливая работа. Постановщикам удалось подобрать богатый текстовой материал, включающий, помимо критических исследований, дневники художника, его письма и стихи в прозе. «Эдвард

Эдвард Мунк — «Солнце».



Мунк был не только талантливым художником, но и значительным поэтом,— отмечает рецензент.— Его стихи так современны по форме, что с успехом могут быть напечатаны в антологиях современных поэтов». В постановке использованы разнообразные сценические средства — пение, танцы, декламация. В качестве иллюстраций к повествованию на экран проецируются картины Мунка. Музыкальным оформлением спектакля служит оригинальная музыка одного из молодых композиторов Норвегии.

Зритель знакомится с людьми, сыгравшими ту или иную роль в судьбе художника. Это — его друзья, близкие, а также враги. Сам художник в спектакле не представлен. Его слова передаются в магнитофонной записи.

В намерения постановщиков, по словам рецензента, входило не только рассказать о полной горечи и испытаний жизни Эдварда Мунка, о его постоянной борьбе за утверждение своего искусства, но и показать, как развивался его талант, как на творчестве художника отразились жизненные невзгоды.

Постановка заканчивается рассказом о работе Э. Мунка над росписью стен в актовом зале университета в Осло, работе, которая увековечила имя художника и принесла ему заслуженную славу.

ПОЛЬША

СЪЕЗД ПИСАТЕЛЕЙ ЗАПАДНЫХ И СЕВЕРНЫХ ЗЕМЕЛЬ

Событием в общественно-политической и культурной жизни Польши стал IX съезд писателей Западных и Северных земель, который на протяжении нескольких дней проходил в Быдгощи. На съезде с речами выступили член Политбюро ЦК Польской объединенной рабочей партии Зенон Клишко и председатель Союза польских писателей Ярослав Ивашкевич. Зенон Клишко от имени руководства партии говорил об исторических, идеологических, литературных проблемах. Об особом значении этого съезда сказал в своем выступлении Ярослав Ивашкевич: «Мы вступаем во второе тысячелетие нашей истории с сознанием ответственности, которую мы берем на себя, уже сейчас участвуя в формировании будущего, нового тысячелетия... Именно мы, писатели, можем стать носителями того величайшего духовного богатства, с которым нам предстоит вступить во второе тысячелетие».

Съезд единодушно принял резолюцию, в которой, в частности, говорится: «Польские писатели, собравшиеся на IX съезде писателей Западных и Северных земель в Быдгощи, считают своим долгом выступить с новым протестом против усиливающейся в ФРГ безответственной кампании националистических и реваншистских элементов, которые угрожают миру и спокойствию в Европе.

...Польская культура едина. Мы, ее представители, заявляем, что своей деятельностью будем и впредь укреплять и умножать извечно существующие на землях по берегам Одры и Балтийского моря традиции польской мысли, речи и письменности.

Ради благоденствия этих земель и всей нашей Родины польские писатели не пожалеют своих сил в меру своих талантов».

Это заявление польских писателей было поддержано гостями съезда — писателями Советского Союза, Чехословакии, ГДР и Югославии.

Как сообщает печать, на площади Старый Рынок в Быдгощи состоялась большая манифестация молодежи и общественности города с участием писателей. Собравшимся была прочитана резолюция, осуждающая реваншистские настроения в ФРГ, которая была горячо одобрена участниками митинга.

Следующий, X, съезд писателей Западных и Северных земель состоится в будущем году в Щецине.

«ФРОНТ СВОБОДЫ»

Известная польская писательница Моника Варненская летом прошлого года провела два месяца среди партизан Южного Вьетнама. Ее репортажи оттуда публиковались в советской печати, в том числе в «Литературной газете». Сейчас Варненская работает над книгой о бойцах Фронта национального освобождения Южного Вьетнама. Отрывок из этой книги был опубликован недавно польским журналом «Пшияцюлка». В нем Варненская рассказала о женщинах-партизанках, которых там называют «армией с пучками на голове» (замужние вьетнамки собирают волосы в пучок).

Варненская встретилась с Нгуен Тхи Дин, возглавляющей южновьетнамский Союз женщин за освобождение.

Нгуен Тхи Дин поведала писательнице об одном из эпизодов освободительной борьбы, участницей которого была она сама. Все началось с того, что в «стратегическую» деревню ворвались солдаты марионеточной армии, чтобы по приказу американцев «навести там порядок».

— Мы вышли навстречу солдатам,— рассказала Нгуен Тхи Дин,— вышли всей деревней с большим транспарантом в руках: «Долой фашистскую диктатуру американцев и их марионеток!» Та же надпись была на лентах, прикрепленных к блузкам и к соломенным шляпам женщин. Из толпы раздавались крики: «Солдаты! В кого вы хотите стрелять? Вспомните своих матерей, вспомните своих жен! Неужели вы забыли о них?! Они живут так же, как и мы,— на этой земле. Не стреляйте!» И ни один солдат тогда не выстрелил...

Но бывает иначе. Солдаты стреляют. Тогда падают беззащитные женщины. Растет ненависть к врагу. Ненависть, зовущая к дальнейшей борьбе...

Варненская запомнила еще одну встречу — с молодой вьетнамской партизанкой, которой довелось прой-

ти сквозь пытки, ничем не отличавшиеся от пыток в застенках гестапо. Год она просидела в тюрьме. Палачи ежедневно били ее, душили, пропускали через ее тело электрический ток... Она чудом спаслась, а теперь не может ходить.

«Польская сестра,— обратилась она к Варненской,— расскажи вашим женщинам и женщинам других далеких стран, как здесь нас мучают и как мы сражаемся...»

И Моника Варненская рассказывает. Скоро ее книга, рабочее название которой «Фронт свободы», выйдет в свет.

АКТЕРЫ О СЕБЕ

На страницах еженедельника «Культура» недавно состоялся интересный обмен мнениями о профессиональных проблемах актеров польского театра и кино. Начало этому разговору было положено статьей «Парадокс актера» известного польского критика Кшиштофа Теодора Теплица (КТТ). Критик затронул в ней актуальные вопросы, связанные с творческой работой актеров, с режиссурой, с экспериментом. Однако, как отметили выступившие вслед за ним на страницах «Культуры» актеры, КТТ, рассуждая о чисто польских проблемах, ссылался больше на примеры, взятые из жизни актеров западных стран.

«Теплиц ставит на одну доску нас и актеров Запада,— писал популярный актер, известный советскому зрителю по фильму «Крестоносцы», Мечислав Каленик.— Однако между нами — существенная разница...»

Эту мысль развила Барбара Краффтувна, исполнявшая главную роль в фильме «Как быть любимой», который также демонстрировался на советских экранах: «Кинозвезды фабрикуются большим бизнесом западных продюсеров. Звезды ездят в роскошных автомобилях, купаются в ваннах из розового мрамора. Вся пресса интересуется их личной жизнью. Звезды приносят своим владельцам колоссальные прибыли. Их фетишизируют.

У нас нет звезд. Мы ездим в трамваях. У нас нет розовых ванн. Люди, как правило, мало знают о нашей личной жизни, которая в конце концов очень похожа на жизнь всех обыкновенных людей. Это хорошо. Это свидетельствует о том, что в нравственной области мы сделали огромный шаг вперед. Мы — иные в любой роли. Это достижение. И комплимент. Мы стыдимся маленького, узкого амплуа. Ненавидим штампы. Это свидетельство того, что у нас более изысканный вкус. Нас больше привлекает работа над одной значительной ролью, чем создание невыразительных, на одно лицо, серийных героев...

В отличие от наших западных коллег,— продолжала Краффтувна,— мы более самостоятельны в наших творческих поисках... И в театре, и в кино мы ищем новое, экспериментируем».

По мнению актрисы, статья Теплица не содержит предложений, как решить насущные проблемы актерского мастерства, однако Краффтувна выражает благодарность критику за то, что эти проблемы были вынесены им на суд общественности. «Мне кажется, что дискуссия, организованная редакцией «Культуры», об актерских проблемах в Польше,— очень своевременна»,— вторит ей известный киноактер Збигнев Цибульский.

С высказываниями на страницах «Культуры» выступили также Веслав Голас, Тадеуш Ломницкий, Густав Голоубек и другие польские актеры.

РУМЫНИЯ

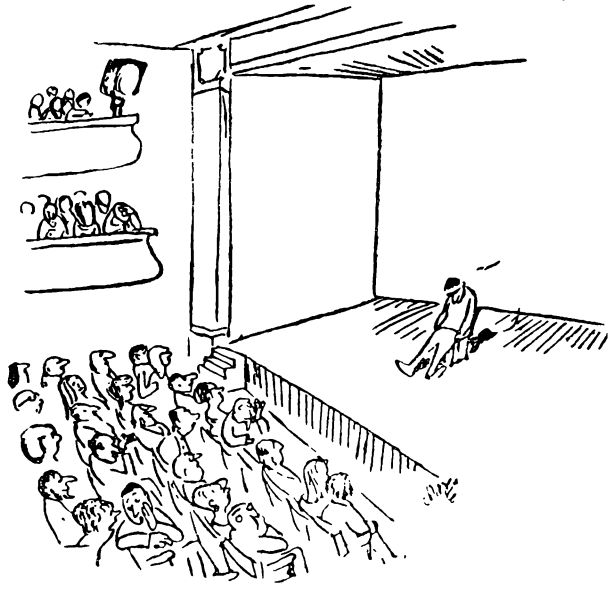
СЛОВО РУМЫНСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Чувство глубокой солидарности с героической борьбой вьетнамского народа на севере и на юге страны против империалистической агрессии США выражает народ социалистической Румынии.

В одном из номеров газеты «Скынтейя» опубликована статья известного румынского писателя, председателя Союза писателей Румынии Захарии Станку «Уважать священное право

— Почему он молчит?
— Пьеса построена на внутреннем монологе героя...

Рисунок К. Ферстера, перепечатанный из еженедельника «Польское обозрение».



вьетнамского народа — самому решать свою судьбу!» От имени румынской общественности Станку выразил протест против преступной войны США во Вьетнаме.

«Война, которую вот уже несколько лет ведут американские интервенты, по самой своей природе несправедливая,— пишет Станку.— Какие бы аргументы ни выдвигали Пентагон и госдепартамент, ни один здравомыслящий человек не верил и никогда не поверит, что США во вьетнамских джунглях защищают свою безопасность или свободу вьетнамцев от... других вьетнамцев.

На крови южновьетнамских патриотов, на страданиях мужественного народа, на пепле, засыпавшем огромные пространства, Соединенные Штаты Америки не завоевали себе ни воинской славы, ни политического престижа. Но кое-чего они добились: всеобщего презрения, осуждения всем миром политики, которая препятствует стремлениям народов к свободе и прогрессу.

В течение года почти не было дня, когда американские бомбардировщики не обрушивали бы на мирный народ Демократической Республики Вьетнам потоки огня и железа. Они жгут города и села, разрушают железнодорожные линии и шоссе, убивают тысячи и тысячи людей: юношей и стариков, женщин, детей...»

В заключение Захария Станку пишет о том, что американским агрессорам не удалось запугать вьетнамский народ и что «моральная сила вьетнамских патриотов, сражающихся в джунглях, и всего вьетнамского народа завоевали признание и восхищение всего мира.

...Чтобы решить вьетнамскую проблему, необходимо:

положить конец воздушным налетам на ДРВ;

вывести войска интервентов;

выполнять Женевские соглашения;

уважать священное право вьетнамского народа самому решать свою судьбу».

«РУМЫНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА СЕГОДНЯ»

Литературная печать страны уделяет много внимания исследованию «Румынская литература сегодня», принадлежащему известным румынским критикам Думитру Мику и Николае Манолеску.

Авторы книги впервые попытались обобщить и проанализировать опыт современной румынской литературы, положив в основу принцип разделения писателей по литературным жанрам. В ней несколько разделов: поэзия, роман, новелла, очерк, драматургия.

Иллюстрация Елены Броницки к повести Иона Крянгэ «Воспоминания детства», опубликованная еженедельником «Флакэра».

Появление книги вызвало оживленные отклики, комментарии, дискуссии. Вот что писал по этому поводу еженедельник «Газета литерарэ», организовавший в своей редакции встречу критиков за «круглым столом» для обсуждения книги Д. Мику и Н. Манолеску: «Румынская литература сегодня» — первая попытка дать обобщающий анализ современной румынской литературы. Редакция еженедельника «Газета литерарэ» считает, что подобная работа должна вызвать интерес различных читательских кругов и обмен мнений по важнейшим проблемам современной литературы».

Известный критик Ов. С. Крохмэлничану высоко оценил эту работу: «Книга дает панораму нашей современной литературы сжато, с минимумом абсолютно необходимой информации, со множеством тонких и точных характеристик. Написанная живым языком, книга содержит зачастую мужественные оценки произведений в духе настоящей критики, хотя с ними можно спорить».

США

«РОМАН БЕЗ ВЫМЫСЛА»

Автор документальной повести «Обыкновенное убийство» (опубликована в «Иностранной литературе» №№ 2, 3, 4, 1966) Трумэн Капоте рассказал недавно в беседе с итальянским журналистом Дж. Мелега, как в течение шести лет он создавал свое произведение, которое к настоящему времени переведено на многие языки.

— Половину своего времени я проводил обычно с жителями Холкомба или в Гарден-сити, где помещаются следственные органы. Остальное время я коротал в камере приговоренных к смерти, с убийцами. Чтобы написать все, как я задумал, мне необходимо было понять этих людей, как бы влезть в их шкуру, слиться с ними душой и телом, до тончайших нюансов вникнуть в их психологию. Эксперимент был изнуряющий. Книга не отражает того, что было самой трудной частью моей задачи. Автор, рассказчик остается вне рамок повести, его участие ограничивается лишь выбором тех деталей и той долей правды, которые ему показались наиболее заслуживающими внимания. Все действительно соответствует истине, но все заранее продумано.

Корреспондент попросил Капоте рассказать о том, как создавалась его теория «романа без вымысла».

— В обычном романе всегда присутствует автор,— сказал Капоте,— и он больше всего заинтересован тем, что происходит в нем самом, у него есть потребность ухватить читателя за отворот пиджака и крикнуть ему: «Перестань думать сам! Следи за тем, что я ду-

маю, что случилось со мной и с персонажами, которых я выдумал». Очень молодым, в 23 года, я написал «Завтрак у Тиффани» и сразу получил известность. Успех мог вскружить мне голову. Слишком просто мне все давалось. Я писал так же легко, как поют, имея голос. Я понимал, что моей заслуги в том нет. Так я пришел к теории «романа без вымысла». Три года я искал в газетах такой факт, который позволил бы мне проверить художественную состоятельность моей теории.

...Я выбрал обычное для Америки убийство, взяв одно из сообщений с последних страниц «Нью-Йорк таймс». Я отправился в штат Канзас и вернулся оттуда лишь через шесть лет. Я должен был лично узнать обстановку. Я был похож на человека, в темноте простукивающего стены помещения.

Корреспондент спросил автора, чем же труд романиста отличается от труда историка, который так же строго придерживается фактов.

— По форме, хотя у них много общего в подходе к изображаемому, — ответил писатель.—Но главное—историк не обязан вживаться в описываемые им события.

ТУРЦИЯ

«НАШИ ОТВЕТЫ НА АМЕРИКАНСКУЮ ЛОЖЬ ВО ВЬЕТНАМЕ»

С каждым днем в Турции ширятся протесты против войны США во Вьетнаме. Пытаясь противодействовать этому, американский пропагандистский центр в Анкаре распространил бюллетень, в котором дал двадцать ответов о политике США во Вьетнаме на двадцать самими же американцами поставленных вопросов.

Полностью перепечатав содержание этого бюллетеня, турецкий еженедельник «Йон» снабдил каждый из американских ответов своими комментариями. Опираясь на факты, редакция еженедельника шаг за шагом проследила, как американцы нарушили Женевские соглашения, превратили южновьетнамских правителей в своих марионеток, развязали войну и, в ярости от собственного бессилия, варварски уничтожают вьетнамских мирных жителей.

«Война во Вьетнаме,— говорится в статье, озаглавленной «Наши ответы на американскую ложь о Вьетнаме»,— одно из самых страшных преступлений вандалов двадцатого века. Она вызывает возмущение в Турции, как и во всем мире. Студенты и профессора, литераторы и деятели искусств осудили эту грязную войну в многочисленных заявлениях протеста.

Директор отдела информации в американском пропагандистском центре Уильям Х. Антони разослал свой бюллетень с вопросами и ответами о Вьетнаме. Пропаганда — долг мистера Антони, и поэтому, возможно, не стоит удивляться, что он совершит насилие над фактами. Какое ему дело до того, что двадцать его ответов прямо противоположны истине?!. Очевидно, американский представитель полагает, что турецкая интеллигенция состоит из простофиль, которые не имеют никакого понятия о том, что творится во Вьетнаме, и готовы проглотить самую грубую ложь. Мистер Антони зашел так далеко, что осмелился утверждать, будто его ответы опираются «на историю и право». Мы сочли поэтому своим долгом, опираясь на американское «право», показать, как американский представитель обращается с правом и историей. И картина войны во Вьетнаме открылась для нас во всей своей неприглядности».

Обложка еженедельника «Йон», в котором напечатан комментарий к вопросам и ответам американского пропагандистского центра в Анкаре.

75-ЛЕТИЕ ГАЛИКАРНАССКОГО РЫБАКА

Турецкое отделение ПЕН-клуба устроило в Стамбуле чествование старейшего писателя Турции Джевада Шакира, известного широкой читательской публике под именем Галикарнасского Рыбака. Этот псевдоним писатель ставит под своими произведениями начиная с 1926 года. Все они посвящены морю, рыбакам и морякам Эгейского и Средиземноморского побережья Турции, их верованиям, обычаям, их извечной борьбе со стихиями.

Высланный за демократические убеждения в город Бодрум на побережье Эгейского моря, писатель по окончании ссылки не пожелал расстаться со своими новыми друзьями. Он стал профессиональным рыбаком, ловцом губок. И одновременно писал романы и рассказы о людях моря. Его перу принадлежат также две монографии, посвященные легендам и мифам Эгейского побережья.

На вечере, устроенном в честь 75-летия писателя, выступили видные турецкие критики и писатели, сопоставлявшие творчество Дж. Шакира с творчеством Д. Конрада и Д. Лондона. «Читая его книги о море,— заявил председатель турецкого ПЕН-клуба профессор Стамбульского университета С. Э. Сиявушгиль,— мы попадаем в атмосферу современной Одиссеи. Беспощадный реалист, когда речь идет о береге, об отношениях, в которые вступают труженики моря со своими патронами. Галикарнасский Рыбак

становится романтиком, когда рассказывает о морской стихии, о своих друзьях-рыбаках. Произведения Джевада Шакира убеждают читателя в том, что море создано для рыбацких парусников, а не для атомных ракетоносцев».

ФРАНЦИЯ

ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ ПЕРВОМУ «КОСМИЧЕСКОМУ» РОМАНУ

Книги Жюля Верна переведены на 82 языка мира. По количеству переводов он занимает второе место — между Толстым и Шекспиром, сообщает французская печать.

Широко отмечалось во Франции столетие со дня выхода в свет первого «космического» романа Жюля Верна «С Земли на Луну».

Издательство «Ашетт» в серии «Карманная книга» миллионным тиражом переиздало десять произведений Жюля Верна, входивших в серию «Необыкновенные путешествия», с иллюстрациями Риу, Фера, Бенета, сделанными в свое время для первого издания.

Это же издательство организовало в Париже выставку «Жюль Верн вчера и завтра». В день открытия выставки на почтовых марках ставился специальный штемпель погашения в честь Жюля Верна.

Первое, что видели французы — посетители выставки,— это макет советской станции «Луна-9» и фотографии лунной поверхности. Они с интересом узнали о том, что хорошо известно советскому читателю: что Циолковский в молодости зачитывался Жюлем Верном и что Лев Толстой вечера напролет читал своим внукам «Необыкновенные путешествия». Роман «Вокруг света в 80 дней» был издан в русском переводе без иллюстраций, и Лев Николаевич сам рисовал их для своих внуков. Его рисунки заняли на выставке большой стенд.

Тут же было приведено высказывание Юрия Гагарина: «Читая Жюля Верна, я решил посвятить свою жизнь астронавтике».

Почетное место на выставке занимала экспозиция рисунков летчика-космонавта Алексея Леонова.

Рядом были помещены увеличенные иллюстрации к роману «С Земли на Луну» и макеты ракет.

Экспонировались подлинные рукописи «космического» романа и романа «20.000 лье под водой», а также макет каюты капитана Немо, выполненный в натуральную величину для одноименного фильма Ричарда Флейшера.

На выставке ежедневно демонстрировались подводные съемки из фильма «20.000 лье под водой», а также кадры, снятые во время полетов советских кораблей «Восход» и американских «Джемини».

«АМЕРИКАНЦЫ ВО ВЬЕТНАМЕ»

В журнале «Тан модерн» опубликована статья без подписи под этим заголовком. В редакционном вступлении говорится, что ее автор—ученый с европейским именем, в настоящее время живущий в Южном Вьетнаме. Он находится в этой стране уже несколько лет и постоянно общается с жителями городов и деревень, ранеными, заключенными, а также с американцами.

«Война во Вьетнаме поразительно напоминает войну в Испании,— пишет автор.—Маленькая страна стала плацдармом военных операций, и весь мир почувствовал себя причастным к тому, что в ней происходит.

Зверские убийства, газы, бомбардировки — все это нельзя не осуждать. Они представляют собой типичные проявления бесчеловечности и варварства целой социальной системы по отношению к вьетнамскому народу. И все это совершается под прикрытием слов: «во имя свободы».

Далее автор рассказывает о страданиях и борьбе народа Южного Вьетнама после освобождения от французского колониализма. При поддержке американцев была начата кампания «разоблачения» коммунистов — всех тех, кто боролся за землю. Аресты, пытки, убийства вызвали протест народа, переросший в гражданскую войну. Стремясь спасти ненавистный народу режим, американцы начали военные действия на море и в воздухе.

«В настоящее время количество американских войск намного превышает численность экспедиционных французских войск в 1953 году,—говорит автор.— Число жертв среди гражданского населения растет. Особенно ужасает огромное количество раненых женщин и детей».

«Люди доброй воли,— пишет в заключение автор статьи,— должны сделать все от них зависящее, чтобы прекратить затеянную американцами гигантскую расправу над народом Вьетнама».

ЮГОСЛАВИЯ

«МОСТ»

Такое название носит новый литературный журнал-обозрение, первый номер которого вышел недавно в Белграде. Задача этого ежеквартального издания — информировать зарубежного читателя, владеющего английским или французским языками, о наиболее значительных и интересных явлениях в современной югославской литературе. В журнале печатаются новые произведения югославских авторов. В первом номере «Моста» центральное место занимают материалы конференции «круглого стола» редакторов и издателей европейских литературных журналов, состоявшейся в прошлом году в Белграде.

Отдел литературных публикаций представлен отрывком из романа Мирослава Крлежи «Флаги», а также стихами словенских лириков.

В отделе библиографии опубликованы данные о переводах югославских авторов за рубежом.

Главный редактор журнала — Славко Михалич.

Авторы этого номера

МУНЭТОСИ ФУКАГАВА (род. в 1921 г.).

Пережив в 1945 году уничтожение американской атомной бомбой Хиросимы — города, где родился этот прогрессивный японский поэт,— Мунэтоси Фукагава посвятил себя борьбе за мир. Видный участник антивоенных литературных организаций Хиросимы, он неизменно выступает против военной угрозы. Трагедия Хиросимы занимает значительное место и в его творчестве. М. Фукагава — автор поэтических сборников «Толпа», «Хиросима» и др.

Хиросимские пятистишия, которыми открывается эта книжка журнала, взяты из сборника «Хиросима» (1959).

ГОФФРЕДО ПАРИЗЕ—GOFFREDO PARISE (род. в 1929 г.).

В этом номере мы впервые знакомим советских читателей с творчеством известного итальянского писателя Гоффредо Паризе, публикуя его роман «Хозяин» («Il padrone»), получивший премию Виареджо 1965 года.

Войдя в итальянскую литературу в 1951 году, Г. Паризе с тех пор создал несколько романов и киносценариев. Особенно большой успех у читателей и критики принес ему «Красивый священник» («Il prete bello», 1954) — сатирический роман, высмеивающий порядки времен диктатуры Муссолини и рисующий нравы провинциального итальянского городка.

Роман «Хозяин» печатается в журнальном варианте.

СЕМБЕН УСМАН — SEMBÈNE OUSMANE (род. в 1923 г.).

В этой книжке журнала читатель найдет новую повесть известного сенегальского писателя — прозаика, поэта и драматурга Сембена Усмана — «Почтовый перевод» («Mandat»). За книгу «Вехи-Тиозане» («Vehi-Ciosane», 1965), в которую входит и публикуемая повесть, писатель был удостоен премии на Всемирном фестивале негритянского искусства в Дакаре, состоявшемся весной этого года. Рецензию Г. Потехиной на книгу «Вехи-Тиозане» см. в разделе «Среди книг» этого номера.

На страницах нашего журнала С. Усман выступает не впервые: «Иностранная литература» познакомила читателей с его романами «Тростинки господа бога» (№№ 5—6, 1962) и «Горячий ветер» (№№ 11—12, 1964). В русском переводе вышел также его роман «Сын Сенегала».

В последние годы С. Усман в качестве сценариста и режиссера многое сделал для становления национальной кинематографии. Помимо документальных им созданы художественные фильмы. Премией Дакарского фестиваля «Серебряная антилопа» отмечена его картина «Чернокожая...».

М. Б. Б. ШАХ — M. B. B. SHAH.

Под этим именем выступает со своим поэтическим творчеством король Непала Махендра Бир Бикрам Шах Дева.

Стихи, напечатанные в этом номере, взяты из сборника «Жатва стихов» («Harvest of Poems», 1958).

КАЙ ЛАЙТИНЕН — KAI LAITINEN (род. в 1924 г.).

Известный финский критик и литературовед, автор книг и статей по вопросам современной литературы, преимущественно французской, итальянской и скандинавской.

Статья «Год интересный, хотя и не богатый» написана для нашего журнала.

ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ — JAMES ALDRIDGE (род. в 1918 г.).

Со статьей о судьбах молодежи Запада, о сложных путях формирования классового

сознания молодых английских рабочих выступает в этом номере известный прогрессивный английский писатель Джеймс Олдридж. Его книги вызывают неизменный интерес советских читателей — романы «Дело чести», «Морской орел», «Охотник», «Дипломат», отмеченный золотой медалью Всемирного Совета Мира, «Герои пустынных горизонтов» изданы в нашей стране более чем миллионным тиражом. Его статьи и эссе по актуальным вопросам общественной жизни, литературы и искусства неоднократно публиковались в советской печати. В нашем журнале печатались роман «Не хочу, чтобы он умирал» (№ 11, 1957), эссе «Писатель и общественная мораль» (заметки о творчестве Силлитоу, Саган и Сэлинджера, № 9, 1963) и другие работы.

■

МИРКО МАРКОВИЧ — MIRKO MARKOVIĆ (род. в 1907 г.), югославский публицист, общественный деятель, участник гражданской войны в Испании. В последние годы приобрел литературную известность своими воспоминаниями.

В очерке «Я знал Хемингуэя» М. Маркович рассказывает о встречах с выдающимся американским писателем во время гражданской войны в Испании и впоследствии на Кубе.

■

ГЕОРГИС ПЕТРИС (род. в 1920 г.) — греческий критик, искусствовед, автор многих статей по вопросам изобразительного искусства. Г. Петрис — постоянный сотрудник журнала «Эпитеориси технис», систематически пишет для «Авги» и журнала «Вигос».

■

ГЮНТЕР АНДЕРС — GÜNTER ANDERS (род. в 1902 г.) — австрийский писатель, публицист и философ. Автор многих книг, в том числе «Кафка — за и против» («Kafka — pro und contra», 1951), «Сыновья Эйхмана» («Wir Eichmann», 1964) и др. Читателям нашего журнала Гюнтер Андерс знаком по переписке с Клодом Изерли — летчиком, бомбившим Хиросиму (№ 8, 1962 г.), и статье «Размышления об атомной бомбе» (№ 1, 1966). История Клода Изерли легла в основу книги Андерса «Разрушив Хиросиму».

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР **Б. С. РЮРИКОВ.**

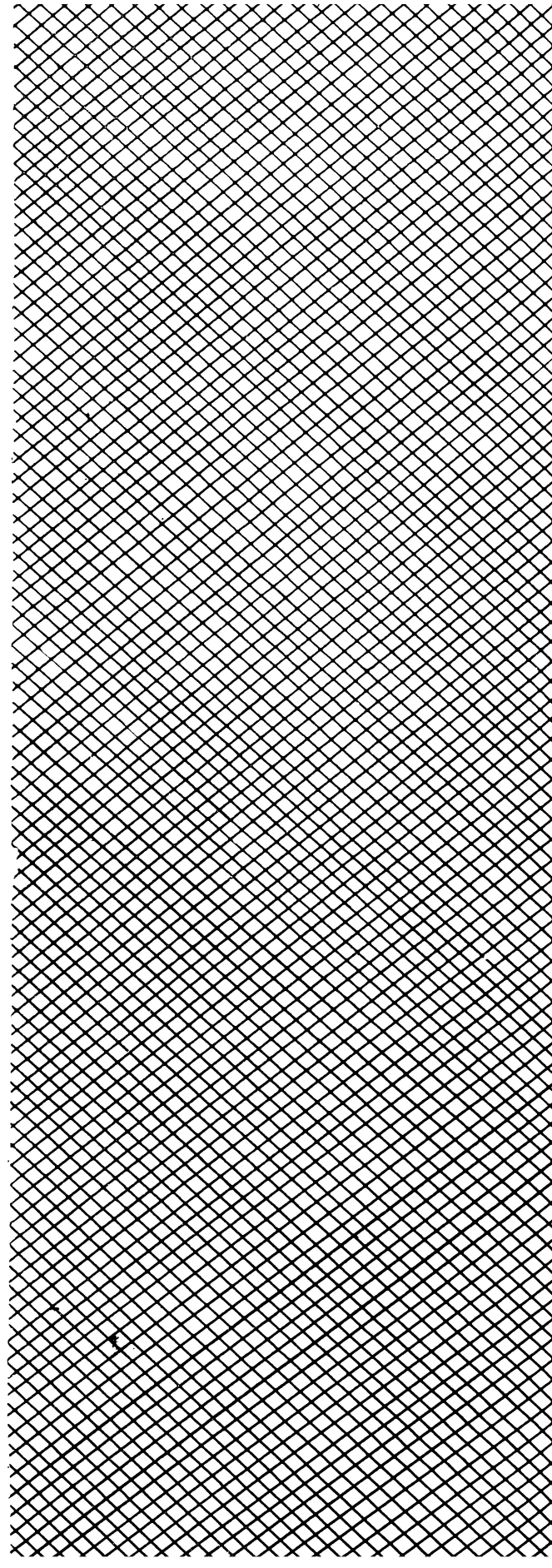
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: **Б. Г. ГАФУРОВ, С. А. ГЕРАСИМОВ, Л. П. ГРАЧЕВ, С. А. ДАНГУЛОВ** (зам. главного редактора), **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, И. М. КУЛАКОВСКАЯ** (отв. секретарь), **Т. Л. МОТЫЛЕВА, Л. В. НИКУЛИН, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, В. П. ТЕРЕШКИН, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, М. А. ШОЛОХОВ, К. ЯШЕН.**

Художеств. редактор **В. Ф. Лактионов** Технический редактор **Л. Д. Богданова**

А 15747. Сдано в производство 7/VI-66 г. Подписано к печати 27/VIII-66 г.
Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон: В 3-51-47
Бумага 70×108 1/16=9 бум. л.; 18 печ. л.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

ИНДЕКС 70394



Цена 80 коп.